



**ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ДРУЖБЫ НАРОДОВ
СЕРИЯ:
СОЦИОЛОГИЯ**

2025 Том 25 № 4

**Научный журнал
Издается с 2001 г.**

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-61214 от 30.03.2015 г.

Учредитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

**RUDN JOURNAL
OF SOCIOLOGY**

2025 Volume 25 No. 4

**Founded in 2001
by the Peoples' Friendship University of Russia
named after Patrice Lumumba**

DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: СОЦИОЛОГИЯ

ISSN 2313-2272 (Print); ISSN 2408-8897 (Online)

4 выпуска в год.

Языки: русский, английский.

Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ.

Публикует статьи по научным специальностям согласно номенклатуре ВАК РФ: 22.00.00 — социологические науки и 09.00.11 — социальная философия. Журнал включен в ядро РИНЦ, RSCI, Scopus, ERICH PLUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ulrich's Periodicals Directory, EBSCOhost, Google Scholar, WorldCat, Electronic Journals Library Cyberleninka. Журнал индексируется в базе данных Web of Science — Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics).

Цели и тематика

Журнал «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология» — периодическое международное рецензируемое научное издание в области социологических исследований. Журнал является международным как по составу редакционной коллегии и экспертного совета, так и по авторам и тематике публикаций.

Цели журнала: публикация результатов фундаментальных и прикладных исследований по актуальным вопросам социологической науки, широкий обмен результатами теоретических и эмпирических исследований между специалистами, работающими в различных областях социально-гуманитарного знания. На страницах журнала публикуются материалы по историографии мировой социальной мысли как классического, так и современного периода; статьи по результатам фундаментальных и прикладных исследований по проблематике специальных социологических теорий, по методологии и методике социологических исследований и др. В журнале выступают специалисты, представляющие ведущие научные социологические центры, институты, организации, а также вузы России и зарубежных стран. Широкая тематика журнала представляет возможность публиковаться в нем представителям смежных специальностей (политологам, историкам, экономистам и т.д.), опирающимся в своих исследованиях на эмпирические социологические данные. Кроме научных статей публикуется хроника научной жизни, включающая рецензии, научные обзоры, информацию о конференциях, научных проектах.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE (Committee on Publication Ethics) <http://publicationethics.org>.

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования к подготовке и публикации статей, архив (полнотекстовые выпуски с 2008 года) и дополнительная информация размещены на сайте: <http://journals.rudn.ru/sociology>.



Электронный адрес: socioj@rudn.ru.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode>

RUDN JOURNAL OF SOCIOLOGY

ISSN 2313-2272 (Print); ISSN 2408-8897 (Online)

4 issues per year.

Languages: Russian, English.

Indexed/abstracted in RSCI, Scopus, ERICH PLUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ulrich's Periodicals Directory, EBSCOhost, Google Scholar, WorldCat, Electronic Journals Library Cyberleninka. The journal is indexed and abstracted in the Web of Science — Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics).

Aims and Scope

Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia (RUDN Journal of Sociology) is a peer-reviewed international academic journal publishing research in sociology and related fields. It is international with regard to its editorial board, contributing authors and thematic foci of the publications.

The aims of the journal: to publish the results of fundamental and applied research on the topical issues of sociology, and to ensure a broad exchange of the results of theoretical and empirical studies between scientists from different fields of social sciences and humanities. In the journal one can find papers on the historiography of the classical and modern periods of the world social thought; on the results of fundamental and applied research devoted to the problems considered by special sociological theories; on the difficulties in choosing methodological approaches and techniques for the study of complex social phenomena, etc. The journal publishes papers of the authors representing the leading sociological centers, institutes, organizations, and universities in Russia and abroad. The thematic 'repertoire' of the journal presents opportunities for authors from many disciplinary fields (political scientists, historians, economists, etc.) relying on the empirical sociological data in their research. The journal also welcomes book reviews, literature overviews, and conference reports.

The journal is published in accordance with the policies of COPE (Committee on Publication Ethics) <http://publicationethics.org>.

Further information regarding the journal, its editorial board, requirements to articles for contributors, and the journal's archive (full-text issues from 2008) and additional information are available at <http://journals.rudn.ru/sociology>.

E-mail: socioj@rudn.ru.

Подписано в печать 23.12.2025. Выход в свет 30.12.2025. Формат 70×108/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Times New Roman».

Усл. печ. л. 16,34. Тираж 500 экз. Заказ № 1661. Цена свободная.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

117198, Москва, Россия, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Отпечатано в типографии ИПК РУДН: 115419, Москва, Россия, ул. Орджоникидзе, д. 3

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Нарбут Н.П., доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии Российского университета дружбы народов, Россия. E-mail: narbut-np@rudn.ru

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Троцук И.В., доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социологии Российского университета дружбы народов, Россия. E-mail: trotsuk-iv@rudn.ru

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

Аль Гарайбе Ф., профессор социальной работы и социальной политики, директор научно-исследовательского Института гуманитарных и социальных наук, Университет Шарджи (ОАЭ); профессор кафедры социальной работы, Университет Иордании

Базаров А.В., доктор исторических наук, профессор, академик РАН, директор Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН

Гаспариишвили А.Т., кандидат философских наук, доцент, заместитель директора Центра стратегии развития образования МГУ им. М.В. Ломоносова

Голенкова З.Т., доктор философских наук, профессор, руководитель Центра исследований социальной структуры и социального расслоения Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН

Горшков М.К., академик РАН, доктор философских наук, научный руководитель Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, директор Института социологии ФНИСЦ РАН

Данилов А.Н., доктор социологических наук, член-корреспондент НАН Беларуси, заведующий кафедрой социологии Белорусского государственного университета (Белоруссия)

Диас Николас Х., доктор политологии, профессор факультета политических наук и социологии Мадридского университета Комплутенсе (Испания)

Иванов В.Н., член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор, советник РАН

Ивченко С.Г., доктор социологических наук, профессор, декан социологического факультета Саратовского национально-исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского

Куропятник М.С., доктор социологических наук, профессор, заведующая кафедрой культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского государственного университета

Назарова И.Б., доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН

Пан Д., доктор социологических наук, профессор Института социологии Шанхайской академии общественных наук (КНР)

Подвойский Д.Г., кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры социальной философии и философии истории философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Пузанова Ж.В., доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социологии, заведующая лабораторией социологических и фокус-групповых исследований факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов

Хазуров Т.А., доктор социологических наук, профессор, первый проректор Кубанского государственного университета

Чамбаликова М., доктор философии (социология), профессор, научный сотрудник Института социологии Словацкой академии наук, заведующая кафедрой социологии и социальной психологии высшей школы Данубиуса (Словакия)

Чулуун С., доктор истории, академик Монгольской академии наук, Генеральный секретарь Международной ассоциации монголоведческих исследований, директор Национального музея Чингисхана (Монголия)

Шастри С., доктор философии, профессор, вице-канцлер университета Джагран Лейксити (Индия)

Шнайдер С., доктор философии (социология), профессор Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул (Бразилия)

Шубрт И., доктор философии (социология), профессор факультета гуманитарных исследований Карлова университета (Чехия)

Шувакович У., доктор социологических наук, профессор кафедры философии и социальных наук, Белградский университет (Сербия)

Эбзеева Ю.Н., доктор социологических наук, первый проректор-проректор по образовательной деятельности Российского университета дружбы народов

Литературный редактор **К.В. Зенкин**

Компьютерная верстка: **И.А. Чернова**

Адрес редакции:

115419, Москва, Россия, ул. Орджоникидзе, д. 3

Тел.: +7 (495) 955-07-16; e-mail: publishing@rudn.ru

Почтовый адрес редакции:

117198, Москва, Россия, ул. Миклухо-Маклая, д. 10, корп. 2

Тел.: +7 (495) 434-20-12, e-mail: socioj@rudn.ru

EDITORIAL BOARD

EDITOR-IN-CHIEF

Narbut N.P., D.Sc (Sociology), Professor, Head of Sociology Chair, RUDN University, Moscow, Russia.
E-mail: narbut-np@rudn.

EXECUTIVE SECRETARY

Trotsuk I.V., D.Sc (Sociology), Professor, Sociology Chair, RUDN University, Moscow, Russia.
E-mail: trotsuk-iv@rudn.ru

EDITORIAL BOARD

Al Gharaibeh F., Professor of Social Work and Social Policy, Director of the Research Institute of Humanities and Social Sciences, University of Sharjah (United Arab Emirates); Professor, Department of Social Work, University of Jordan

Bazarov A.V., D.Sc (History), Professor, Academician of Russian Academy of Sciences, Head of Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of Siberian Branch of RAS (Russia)

Čambálíková M., PhD (Sociology), Professor, Researcher, Institute of Sociology of Slovak Academy of Sciences; Head of Sociology and Social Psychology Chair, Higher School Danubius (Slovakia)

Chuluun S., PhD (History), Academician of the Mongolian Academy of Sciences, Secretary General of the International Association of Mongolian Studies, Director of the Chinggis Khaan National Museum (Mongolia)

Danilov A.N., D.Sc. (Sociology), Corresponding Member of National Academy of Sciences of Belarus, Head of Sociology Chair, Belarusian State University (Belarus)

Diez Nicolás J., D.Sc (Political Sciences), Professor, School of Political Sciences and Sociology, Complutense University of Madrid (Spain)

Ebzeeva Yu.N., D.Sc (Sociology), First Vice-Rector for Educational Work, RUDN University (Moscow, Russia)

Gasparishvili A.T., PhD (Philosophy), Associate Professor, Deputy Director, Center for Educational Development, Lomonosov Moscow State University (Russia)

Golenkova Z.T., D.Sc (Philosophy), Professor, Head of Center for Social Structure and Social Differentiation, Federal Sociological Research Center of Russian Academy of Sciences (Russia)

Gorshkov M.K., D.Sc (Philosophy), Academician of Russian Academy of Sciences, Scientific Director of Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of Russian Academy of Sciences, Head of Institute of Sociology of FCTAS of RAS (Russia)

Ivanov V.N., D.Sc (Philosophy), Professor, Corresponding Member and Advisor, Russian Academy of Sciences (Russia)

Ivchenkov S.G., D.Sc (Sociology), Professor, Dean of Faculty of Sociology, Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky (Russia)

Khagurov T.A., D.Sc (Sociology), Professor, First Vice-Rector, Kuban State University, Krasnodar (Russia)

Kuropjatnik M.S., D.Sc (Sociology), Professor, Chair of Cultural Anthropology and Ethnic Sociology, Saint Petersburg State University (Russia)

Nazarova I.B., D.Sc (Economics), Senior Researcher, Institute of Sociology, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of Russian Academy of Sciences (Russia)

Pan D., D.Sc (Sociology), Professor, Sociology Institute of Shanghai Academy of Social Sciences (China)

Podvoyskiy D.G., PhD (Philosophy), Associate Professor, Chair of Social Philosophy and Philosophy of History, Lomonosov Moscow State University (Russia)

Puzanova Zh.V., D.Sc (Sociology), Professor, Head of Laboratory of Sociological and Focus-Group Research, RUDN University (Russia)

Schneider S., D.Sc (Sociology), Professor of Sociology of Rural Development and Food Studies, Federal University of Rio Grande do Sul (Brazil)

Shastri S., PhD (Philosophy), Professor, Vice Chancellor, Jagran Lakecity University (India)

Šubrt J., PhD (Sociology), Professor, Faculty of Humanities, Charles University (Czech Republic)

Šuvaković U., D.Sc (Sociology), Professor, Department of Philosophy and Social Sciences, University of Belgrade (Serbia)

Review Editor **Konstantin V. Zenkin**

Computer design: **Irina A. Chernova**

Editorial office:

Postal Address of the Editorial Board:

10 Miklukho-Maklaya St., bldg. 1, 117198 Moscow, Russian Federation

Ph. +7 (495) 434-20-12; e-mail: socioj@rudn.ru

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University), Moscow, Russian Federation

6 Miklukho-Maklaya St., 117198 Moscow, Russian Federation

Printed at the RUDN Publishing House: 3 Ordzhonikidze St., 115419 Moscow, Russian Federation

Ph. +7 (495) 952-04-41; e-mail: publishing@rudn.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

Кравченко С.А., Филиппов Р.И. Р. Мертон: факторы производства научных инноваций в социологии	565
Меньшиков В.В., Комарова В.Ф. Искусственная социальность: онтологические основы социологического анализа	584
Катерный И.В., Карпова Д.Н., Скульчук Е.В. Deepfake как социотехнический артефакт: социологический анализ	603
Цуркан Е.Г. Парадокс приватности: почему обеспокоенные конфиденциальностью пользователи раскрывают персональные данные	619
Гончаров Н.В. Противоречия развития экоконсюмеризма в контексте эволюционной теории модернизации Р. Инглхарта	631

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО:

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Козловский В.В., Панкратова Л.С., Светлов Р.В. Ценности семьи в представлениях студентов российских вузов	649
Безрукова О.Н., Самойлова В.А. Семейные ценности и благополучие подростков в полных и разведенных российских семьях: исследование в малом городе и мегаполисе	669
Беляева Л.А. Место человека в социальном пространстве России (возможности эмпирического исследования)	689
Дунаев В.Ю., Курганская В.Д., Сагикызы А., Шаукенова З.К. Информационно-цифровая трансформация повседневности в экспертных оценках и в восприятии массовым сознанием (казахстанский кейс)	716
Бакытжанова А.А., Алимбекова Г.Т., Тойкко Т. Социально-экономические детерминанты репродуктивного здоровья женщин в Алматы (Казахстан) (на англ. яз.)	734
Чжан Сяоху, Ли Мэнлун. Путь трансформации китайских городов, переживающих промышленный упадок (на примере Чанчуня) (на англ. яз.)	750
Гусаков Т.Ю. Поляризация сельского пространства южных регионов России: крымский кейс	767

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ

Троцук И.В. «Классическая» аноμία и ее концептуальные «уточнения»	790
Буланова М.Б. NEET-молодежь: опыт междисциплинарных исследований	809
Андреев А.Л., Андреев И.А. Российский путь: горизонты будущего в контексте противостояния цивилизаций	822
Рязанцев С.В., Рязанцев Н.С., Рахмонов А.Х. Сравнительные оценки младенческой и детской смертности в Таджикистане на основе переписи населения 2020 года (на англ. яз.)	835
Сюн Лэпин, Ван Бин. Идеино-политическое воспитание как ключевая составляющая управления образованием в китайских вузах (на примере серии учебников «Знакомство с современным Китаем»)	844

РЕЦЕНЗИИ

Козин С.В., Жидяева Т.П. Новые вызовы для российского общества	860
Ишмухаметов Р.Р. Сила и слабость самоорганизации в утопически-идеалистическом ее описании	869
Поляков Ф.Д. Гуманистическая интерпретация городского пространства в постмодернизме	877
Нименский А.В., Герасимов А.Д. Краткий глоссарий для постановки диагноза цифровой эпохе	886
In Memoriam: Михаил Константинович Горшков	893

НАШИ АВТОРЫ	894

CONTENTS

HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

Kravchenko S.A., Filippov R.I. R. Merton: Factors of production of scientific innovations in sociology	565
Menshikov V.V., Komarova V.F. Artificial sociality: Ontological foundations of sociological research	584
Katernyi I.V., Karpova D.N., Skulchuk E.V. Deepfake as a social-technical artifact: A sociological analysis.....	603
Tsurkan E.G. The privacy paradox: Why privacy concerned users disclose personal data	619
Goncharov N.V. Contradictions in the development of eco-consumerism in the context of R. Inglehart's evolutionary theory of modernization	631

CONTEMPORARY SOCIETY: THE URGENT ISSUES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

Kozlovskiy V.V., Pankratova L.S., Svetlov R.V. Family values in the views of Russian university students	649
Bezrukova O.N., Samoylova V.A. Family values and well-being of adolescents in two-parent and divorced Russian families: A study in a small town and a metropolis.....	669
Belyaeva L.A. The place of man in Russia's social space (possibilities of empirical research).....	689
Dunaev V.Yu., Kurganskaya V.D., Sagikyzy A., Shaukenova Z.K. Information-digital transformation of everyday life in expert assessments and public perception (Kazakhstan case)	716
Bakytzhanova A.A., Alimbekova G.T., Toikko T. Social-economic determinants of women's reproductive health in Almaty (Kazakhstan)	734
Zhang Xiaohu, Li Menglong. Transformation path of China's cities in industrial decline: The case of Changchun	750
Gusakov T.Yu. Polarization of rural space in Southern Russia: The Crimean case.....	767

SOCIOLOGICAL LECTURES

Trotsuk I.V. "Classical" anomie and its conceptual "clarifications"	790
Bulanova M.B. NEET-Youth: Interdisciplinary research	809
Andreev A.L., Andreev I.A. The Russian way: Horizons of the future in the context of civilizational confrontation	822
Ryazantsev S.V., Ryazantsev N.S., Rakhmonov A.Kh. 2020 census-based comparative estimations of infant and child mortality in Tajikistan	835
Xiong Leping, Wang Bing. Ideological-political education as a key component of university management in China (based on the textbook series Understanding Contemporary China)	844

REVIEWS

Kozin S.V., Zhidyaeva T.P. New challenges for the Russian society	860
Ishmukhametov R.R. Strength and weakness of self-organization in its utopian-idealistic description.....	869
Polyakov F.D. Humanistic interpretation of urban space in postmodernism.....	877
Nimensky A.V., Gerasimov A.D. A short glossary for diagnosing the digital age.....	886
In Memoriam: Mikhail Konstantinovich Gorshkov	893

AUTHORS	894



ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-565-583

EDN: LBWCQK

Р. Мертон: факторы производства научных инноваций в социологии*

С.А. Кравченко, Р.И. Филиппов

МГИМО-Университет МИД РФ,
просп. Вернадского, 76, Москва, 119454, Россия

(e-mail: sociol7@yandex.ru; R16888@yandex.ru)

Аннотация. В статье нелинейный процесс производства научных инноваций в социологии рассматривается в контексте успешного опыта Р. Мертона по созданию оригинальной теории в противоборстве с другими авторитетными представителями науки. Востребованность данного опыта обусловлена тем, что в нем содержится установка на подготовку современных социологов-профессионалов как экспертов, призванных формировать у себя креативность, компетенции нестандартных подходов при диагностике усложняющихся вызовов, с которыми сталкиваются отечественные ученые. Показана непреходящая значимость таких мертоновских принципов, как «организованный скептицизм», «социологическая амбивалентность», «специфическое невежество», — этот методологический инструментарий показал свою эффективность при создании научных инноваций в разные исторические периоды. Раскрывается взгляд Мертона на «самобытную организацию» социологической науки в СССР, которая стала социокультурной детерминантой таких инноваций, как интегральное задействование результатов естественных наук и социологии для развития страны, «сближение» марксизма и мировой социологической мысли как основа для перехода от монодисциплинарности к полипарадигмальности, разработка «инженерии социальных изменений», новые представления о социальном благополучии как трудовом и здоровом образе жизни, поиск очеловеченных технологий и др. Рассмотрен постулат «на плечах гигантов», позволивший Мертону обосновать «критическую нелинейную рефлексию» научных инноваций не только в социологии, но и в естественных науках. Сделаны выводы о культурной и цивилизационной обусловленности инноваций в социологии, приведен пример сравнительного анализа

*© Кравченко С.А., Филиппов Р.И., 2025

Статья поступила в редакцию 24.07.2025. Статья принята к публикации 14.10.2025.

вклада российских и зарубежных ученых в мировую социологическую мысль, показано, что некритическое заимствование «универсальных» инноваций из другой культуры фактически ведет к лжеинновациям, нефункциональности и дисфункциональности общественных институтов.

Ключевые слова: социология науки; «организованный скептицизм»; «социологическая амбивалентность»; «специфическое невежество»; «на плечах гигантов»; нелинейность; инновации; лжеинновации

Для цитирования: *Кравченко С.А., Филиппов Р.И.* Р. Мертон: факторы производства научных инноваций в социологии // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 4. С. 565–583. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-565-583>

Научные инновации всегда способствовали качественному приращению социологического знания. Вместе с тем в их фундаменте лежат великие достижения прошлых поколений социологов, которые наполняются новым смыслом и актуализируются. В этом ряду особое место занимает социология науки Р. Мертона: ее положения о факторах научных инноваций и открытий важно задействовать при выработке современных инновационных теорий, чтобы придать отечественному знанию практическую востребованность в решении задач национальных проектов и обеспечить лидерские позиции российской социологии в мировой науке.

Семь шагов к инновационной теории

Р. Мертон (1910–2003) родился в Филадельфии в рабочей семье эмигрантов из Восточной Европы. Он начинал карьеру «почти с самого дна социальной структуры» [42. С. 39]. Первым шагом, чтобы подняться со «дна», стало формирование воли к креативной жизни, что востребовало сильную личную мотивацию, погружение в «разнообразную образовательную среду». В автобиографии, характерно названной «Жизнь, полная обучения», Мертон, уже будучи всемирно известным ученым, вспоминал: читал книги в библиотеках, занимался музыкой с преподавателем, посещал выставки в Музее искусства [44. С. 16].

Второй шаг к будущим всемирно признанным успехам — «магический момент» встречи с П.А. Сорокиным, с которым судьба свела 19-летнего студента провинциального колледжа на ежегодном собрании Американской социологической ассоциации в Вашингтоне в 1929 году. Хотя беседа была короткой, Сорокин разглядел в молодом человеке предрасположенность к креативности и, как писал Мертон: «к моему удивлению пригласил меня продолжить социологическое обучение в Гарвардском университете... Что я и сделал, хотя мои преподаватели из колледжа предупреждали, что Гарвард почти наверняка не примет студента из малоизвестного Темпл-колледжа. Преподавателям я ответил, что для меня имеет значение Сорокин как ученый, а не Гарвард» [45. С. 36].

Третий шаг — активная горизонтальная мобильность студента-старшекурсника колледжа, обусловленная стремлением познать мировую социологическую мысль. Результатом стала парадоксальная серия «сюрпризов», способствующих восходящей мобильности: так, «будучи довольно самонадеянным студентом, я заставил себя поверить — совсем не безосновательно, — что знаю практически все, что могла предложить американская социология в конце 1920-х годов, но у меня были лишь поверхностные знания о более старых и, как мне казалось, более выразительных европейских традициях социологической мысли». Неожиданно за несколько месяцев (декабрь 1930) до окончания колледжа (1931) юный Мертон получил письмо от Сорокина с рекомендацией поступать в Гарвардский университет и подать заявление на стипендию. «В итоге, нервничая, я подал заявление, получил стипендию и вскоре оказался в благоприятной обстановке, полной новых сюрпризов. Следующим весьма значимым из них стало приглашение Сорокина стать его ассистентом по научным исследованиям уже на первом году обучения, а позже — ассистентом по учебной работе» [45. С. 36, 37].

Четвертый шаг — серьезная научно-исследовательская работа студента, по сути, с первых дней обучения. «Это означало, что я стал его мастером на все руки, а, по случаю, и заместителем». Однажды «он спросил, мог бы я достаточно хорошо подготовиться, чтобы вместо него представить статью по современной французской социологии. Забросив все, я проводил дни и ночи, изучая огромное количество произведений, вышедших в свет, как самого Эмиля Дюркгейма, так и менее значимых представителей его школы, таких как Хальбвакс, Леви-Брюль, Мосс, Бугле (мое внимание к ним было обусловлено наставничеством Сорокина). Так, благодаря Сорокину на втором году обучения я стал студентом-исследователем с публикацией, поэтому позже я был приглашен сделать первую американскую рецензию на перевод работы Дюркгейма “О разделении общественного труда”» [45. С. 37–38].

Пятый «непредсказуемый» шаг: «непреднамеренным последствием интенсивной работы над двумя статьями стало то, что я временно стал трансатлантическим дюркгеймианцем, — был заложен фундамент того, что в итоге станет моей моделью структурно-функционального анализа» [45. С. 38].

Шестой шаг — соавторство профессора со студентом: «Сорокин продолжал продвигать мои интеллектуальные интересы... Когда Сорокин узнал о моем новом интересе — к истории науки и социологии, он решил включить меня в одну из частей своего исследования. Я был приглашен в соавторы двух разделов по социологическим аспектам инноваций, открытий и теорий в его четырехтомной шедевре 1930-х “Социокультурная динамика”» [45. С. 38]. Также в соавторстве с Сорокиным юный Мертон опубликовал инновационное исследование — методологический и функциональный анализ социального времени [50].

Седьмой шаг — теоретическое обоснование ряда принципов научных инноваций: «организованный скептицизм», «социологическая амбивалентность» и «специфическое невежество». Суть последнего Мертон определяет как предрасположенность к тому, «что еще не известно, но должно быть известно, чтобы заложить основу для большего знания» [48. С. 112]. Эти принципы молодой Мертон воплощал не только в публикациях, но во взаимоотношениях с Сорокиным, которые становились амбивалентными — конфликтно-доброжелательными, что проявлялось, по оценке Мертона, со стороны Сорокина в «пламенных и безжалостных атаках», а с его стороны — в активной защите своих идей в спорах. Так, «сорокинская критика была направлена на рукопись, которую я подготовил в качестве предварительного этапа планируемой диссертации» [45. С. 39].

Принципиальная суть споров и «сложных отношений»: вопреки общепризнанной идее М. Вебера о роли протестантской этики в становлении капитализма, юный Мертон в диссертации пришел к иному выводу — развитие капитализма в Англии XVII столетия было обусловлено устойчивым интересом к науке и открытиям, что привело к взрывному росту технических инноваций и их внедрению в повседневную жизнь. В результате социальные институты становились качественно иными, амбивалентными — функциональными, нефункциональными и дисфункциональными, что создавало предпосылки для противоречий и конфликтов. При этом инициаторами инноваций диссертант считал преимущественно представителей протестантизма [46]. Но главное — Мертон совершил принципиальный отход от теории своего наставника, предложив свою «инновацию» — структурно-функционалистские теории среднего уровня: «Влияние мастеров на подмастерьев не всегда предсказуемо... Двадцать лет спустя я получил подписанный экземпляр недавно изданной однотомной версии четырехтомника “Социокультурной динамики”. Подпись содержит, как я думаю, любовную амбивалентность. Ее первая составляющая указывает на мою неудачу адаптировать сорокинскую теорию к диссертации, т.е. я не стал его учеником; вторая часть подписи касается наших сложных отношений в те дни, когда я был его ассистентом по науке и обучению студентов, юным сотрудником, ценителем (хотя и критиком) сорокинского творчества. Воспроизвожу подпись: “Моему заклятому врагу и дорогому другу Роберту от Питирима”» [45. С. 38, 45–46].

Воспоминания Мертона о тернистом пути к собственным научным инновациям актуальны в контексте подготовки студентов-социологов к профессиональной деятельности, связанной с диагностикой качественно новых реалий, возникших в России и мире вследствие нелинейного становления в контексте прошлого, настоящего и будущего — «синергичных сложностей»: властные элиты не знали сложности того общества, которое «построили» — недооценили возникшие проблемы, для которых «неприемлемы

простые решения» [17. С. 12, 53]. Для экспертизы «синергийных сложностей» российские социологи должны обладать компетенциям осуществления социологических инноваций, предлагая нестандартные рекомендации управленческим структурам. «Социолог — прежде всего эксперт. Он изучает конкретные социальные проблемы и ситуации, вырабатывает общее видение и оценку идущих в обществе процессов, дает рекомендации по повышению эффективности управления в различных сферах жизни» [7. С. 192]. В силу становления новых реалий в образовательные программы необходимо включить практическое выполнение студентами значимых для страны научных исследований под руководством авторитетных ученых.

«Самобытная организация» советской социологии: факторы научных инноваций

В мае 1961 года Мертон в составе первой «официальной миссии» ученых-бихевиористов посетил Академию наук СССР. Американская делегация состояла из шести психологов, психиатра, антрополога и двух социологов. Ее маршрут предполагал знакомство с деятельностью основных научно-исследовательских институтов и университетских кафедр, занимающихся науками о поведении, в Москве, Ленинграде, Ташкенте, Тбилиси и Киеве. По итогам поездки Мертон опубликовал отчет об «основных тенденциях в науках о поведении», включавший «набор впечатлений о трендах, которые сейчас проявляются в социологических исследованиях», а также прогноз относительно «новых разработок» [49. С. 1]. В отчете обосновывалось принципиальное положение об амбивалентности национальных и «транскультурных» факторов, способствующих производству научных инноваций в социологии: «Характер советской социологии можно понять, только если рассматривать ее как часть самобытной организации науки в Советском Союзе в целом... Лишь устоявшиеся содержание и методы науки являются транскультурными» [49. С. 1].

Мертон выделил следующие факторы научных инноваций в возрождавшейся советской социологии.

1. Ориентация институциональных структур на интеграцию естественных и социальных наук — происходили «крупные изменения в руководстве советской наукой, направленные на усиление координации всех фундаментальных исследований в области физики, естественных и социальных наук со стороны Академии наук» [49. С. 1]. Трансформации были подготовлены академиком В.И. Вернадским на основе его открытия «перелома научного понимания Космоса», в которое оказались включены не только все социальные, природные и технические реалии, но и научно-интеллектуальные достижения человечества, «в него входят также теории и явления, вызванные борьбой или воздействием других мировоззрений, одновременно живых в человечестве... Мы живем в периоде напряженного, непрерывного созидания».

ния, темп которого все усиливается... впервые сливаются в единое целое все процессы, до сих пор шедшие в малой зависимости друг от друга». Эти радикальные изменения в обществе и природе в виде их со-развития обусловили невиданные ранее научные инновации — «глубочайшие изменения наук о человеке — с одной стороны, эти науки смыкаются с науками о природе, с другой, их объект совершенно меняется» [3. С. 52, 221]. По сути, Мертон отметил такие инновации, как зарождавшиеся в СССР тренды взаимосвязанного развития всех наук, междисциплинарности, формирования прообраза того, что сегодня принято называть синергетикой.

2. *Обусловленность инноваций «социологической амбивалентностью» идейного противоборства исторического материализма и мировой социологической мысли.* По мнению Мертон, с одной стороны, на характер научных инноваций влияет идеология: «На уровне идеологии даже фундаментальная наука рассматривается как полезная для социальных и политических целей, и... социальные науки играют особенно важную роль... советская социология долгое время рассматривалась и до сих пор рассматривается как часть марксизма-ленинизма» [49. С. 2, 11]. С другой стороны, «предпринимаются различные шаги по расширению и диверсификации дальнейшей работы в области социологических исследований... Пожалуй, самый судьбоносный переход социологии СССР в ближайшем будущем зафиксирован в нынешних дебатах о связи между историческим материализмом и социологией... Различные компоненты социальных исследований сравнительно, но не полностью свободны от идеологических коннотаций, поэтому именно на уровне метода, а не содержательной теории советские социологи кажутся наиболее восприимчивы к достижениям западной социологии... Не занимая сомнительную позицию пророков, мы все же склонны полагать, что по мере развития эмпирических исследований в советской социологии будет нарастать сближение по крайней мере методов, разработанных в СССР и США» [49. С. 3, 11, 12].

Прогноз Мертон относительно «растущего сближения» исторического материализма и мировой социологической мысли фактически сбылся благодаря особой тактике взаимодействия их представителей: «дело не столько в том, что социологи-исследователи в Советском Союзе были вынуждены ходить по узкому канату официальной доктрины, сколько в том, чтобы они формулировали рабочие концепции и процедуры исследования так, чтобы они явно не противоречили общепринятой доктрине» [49. С. 11]. «Этот жанр сформировал внутри научного сообщества отчетливо распознаваемый “незримый колледж” людей, включенных в мировую интеллектуальную традицию» [27. С. 36]. Параллельно происходило «переоткрытие» и осовременивание марксизма: например, в работе Н.И. Лапина «Молодой Маркс» в контексте новых социальных реалий обосновывались инновационные теоретические подходы к исследованию человека, общества и массового сознания.

ния с позиций марксизма [16]. При всех сложностях институционализация и взаимное обогащение разных социологических теорий набирали обороты [6], что рельефно проявилось в переходе от монодисциплинарности к полипарадигмальности, в частности В.А. Ядов отмечал востребованность взаимной дополнительности теоретических подходов [38].

3. *Централизованное планирование развития «лабораторий» при университетах*. «Организация научных проектов, как правило, зависит от структуры той экономики, в которой они реализуются. Например, академику П.Н. Федосееву рассеянный, разнообразный и нецентрализованный характер социологических исследований в США казался не более чем “спланированной анархией”. Ей он противопоставил централизованно планируемые программы исследований в СССР... Организация социологических и других научных исследований в целом предусматривает их преимущественное проведение в институтах под эгидой Академии, а не на кафедрах университетов. В некотором смысле советская система полностью изменила логику развития социологических исследований — в СССР они начались и до сих пор продолжают главным образом на университетских кафедрах... В Советском Союзе научно-исследовательский институт, в котором работают штатные научные сотрудники, стал основной формой проведения социологических исследований, хотя предпринимаются усилия по расширению исследовательской деятельности университетских кафедр... — недавно были созданы “лаборатории” при крупнейших университетах и академиях» [49. С. 2–3]. Первую вузовскую лабораторию социологических исследований (при Ленинградском университете) создал В.А. Ядов: его «интерес к методологическим вопросам был подчинен решению сугубо практических, содержательных задач: вначале отвоевать у философии пространство для научного познания человека и общества, а затем — наладить в этом пространстве производство достоверного знания» [29. С. 7–8].

4. *Конкретные социологические исследования как фундамент научных инноваций*. «Во время пребывания в СССР мы столкнулись с впечатляющими свидетельствами недавно возросшего интереса к развитию эмпирических исследований в социологии... В Ленинградском университете мы познакомились с В.А. Ядовым, директором Лаборатории социальных измерений, состоящей из пяти научных сотрудников и их ассистентов и созданной около трех — четырех месяцев назад... Представление советских социологов о своей сфере деятельности иллюстрирует наблюдение о фундаментальных и прикладных исследованиях, высказанное молодым директором Лаборатории. Он считал самоочевидным, что эмпирические исследования в первую очередь сосредоточены (как должно быть) на самых насущных проблемах общества. Когда его спросили о возможности фундаментальных исследований и тех, что проводятся ради расширения знаний, он ответил, что такие исследования возможны, но его сотрудники были бы крайне недовольны, если

бы их исследования не были направлены на достижение полезных целей, т.е. на решение практических задач» [49. С. 5–6].

Эмпирические исследования стали основой решения и фундаментальных задач, порой приводивших к радикальным инновациям в марксистской социологии. Так, Ядов считал, что главная цель Лаборатории — через изучение ценностных ориентаций рабочих проверить идею Маркса о превращении труда в главную жизненную потребность (проект «Человек и его работа» [35]). Полученные результаты позволили «реинтерпретировать марксистское понятие “содержание труда”»: при капитализме — это продажа рабочей силы, при социализме — преодоление отчуждения за счет «технологического содержания труда». Иными словами, не оправдался прогноз Маркса о превращении рабочих из «класса в себе» в «класс для себя»: российский рабочий класс — «“класс в себе”, он не стал коллективным субъектом социального действия» [51. С. 24, 31].

5. *«Новые люди», начинающие «с чистого листа», но с волей к самоутверждению посредством инноваций.* «Еще одним признаком сравнительной новизны является то, что в исследовательских подразделениях работают новые люди. Научные сотрудники почти одинаково молоды: по большей части, это мужчины и женщины в возрасте от двадцати до тридцати с небольшим лет. Профессору Г.В. Осипову, возглавляющему секцию социологических исследований в Московском университете, чуть за тридцать, и, за исключением одного сотрудника, специалиста по социологии экономики, он явно “старик” в своей исследовательской группе... Новые кадры исследователей-социологов по большей части самоучки (что, конечно, неизбежно, когда начинаешь с чистого листа)... Молодые социологи изучили американские учебники по методам исследования и обращают внимание на методические материалы в наших журналах. Некоторые из них интересуются применением математики в социологии» [49. С. 5–6, 9].

Отметим ряд инноваций «новых людей», пришедших в то время в отечественную социологию: Г.В. Осипов инициировал целый ряд эмпирических исследований, проведенных столичными и региональными учеными в разных сферах общественной жизни («Социология в СССР» [28]); под его руководством был проведен сравнительный анализ жизнедеятельности людей в разных странах («Сближение рабочего класса и инженерно-технической интеллигенции социалистических стран» [26]), по результатам которого было выдвинуто инновационное положение, что не только сближение, но и дифференциация социальных групп — фактор социально-технологического прогресса. Важный вклад Осипов внес в разработку методологии и методов социологических исследований: «Количественные методы в социологии» [13], «Методика и техника статистической обработки первичной социологической информации» [21], «Методы измерения в социологии» [23], «Теория и практика социологических исследований в СССР» [22]. В создание уникального

теоретико-методологического инструментария, основанного на использовании математических методов, важный вклад внесли Ю.Н. Толстова [31], Г.Г. Татарова [30] и др. [18]. Многие молодые ученые начинали как «самоучки в социологии» [39] и использовали американские учебники, но «достижения отечественных авторов в области математических методов были их собственными, включая и программное обеспечение для советских ЭВМ» [27. С. 14].

Вместе с тем Мертон отметил, что «советская социология мало использует социометрические методы, хотя многие наблюдения Маркса, казалось бы, дают для этого основания... Поскольку в советской социологии начинает появляться интерес к социометрическим показателям и поскольку основания для их использования можно найти в трудах Маркса, вероятно, социометрия будет использоваться чаще» [49. С. 10, 11]. Прогноз Мертона отчасти сбылся — социометрические методы (но основанные на постулатах Дж. Морено) вошли в российскую социологию [10].

6. *Заводская социология как «инженерия социальных изменений» в интересах народа.* «Многие примеры проводимых или только что завершенных исследований могут быть объединены под названием “инженерия социальных изменений”. Основной акцент в них делается на поиске путей устранения различий между умственным и физическим трудом... что может быть перефразировано как попытка повысить либо уровень социальной мобильности, либо, что более распространено, — квалификацию работников физического труда. Поэтому социологи изучают уровень образования работников, а также программы их обучения на рабочем месте и в вечерних школах» [49. С. 7]. «Один из наиболее часто задаваемых нам вопросов об американской социологии звучал так: “Как используются результаты исследований?”. Советскую ориентацию на эмпирические исследования можно было бы охарактеризовать как “практический эмпиризм” — попытку получить достаточное количество систематизированной информации, на которой основывались бы рекомендации по принятию решений» [49. С. 11].

Главный вывод первых эмпирических социологических исследований: инновация значима не сама по себе, как прекрасный миф [32], а как практическая инженерия социальных изменений и благ для человека труда. Заводская социология была нацелена на повышение эффективности труда, материальное стимулирование работников, разработку практических рекомендаций управленцам и представителям власти [35], причем акцент делался на социальном планировании и инновационном поведении работников (Н.И. Лапин, Т.И. Заславская, Ж.Т. Тощенко и др.). В отличие от прагматичных американских социологов советские исследователи изучали по большому счету интересы народа посредством «обратной связи, которая свидетельствует, насколько власть не только слушает, но и слышит народ» [33. С. 46].

7. *Инновационные трактовки социального благополучия как трудового и здорового образа жизни, обусловленного эффективным использовани-*

ем рабочего и свободного времени. «Были начаты различные исследования бюджета времени работников, мало чем отличавшиеся от исследований Сорокина в начале 1930-х годов... Анализ временных бюджетов преследует, по крайней мере, две цели: выявить и затем устранить проблемы с планированием и помочь в разработке изменений деятельности работников... данные о бюджете времени были увязаны с запросами и мотивацией работников, чтобы сделать вывод, как молодые сотрудники могут больше учиться и быть “более активными в повышении эффективности труда”... согласно недавним исследованиям, многократное участие работников в различных сферах общественной жизни — приобретение трудовых навыков, работа депутатами в местных советах и т.д. — улучшает их здоровье и чувство социального благополучия» [49. С. 7–8].

Современные российские социологи считают, что содержание понятия «благополучие» усложнилось — сегодня это единство объективных ресурсов и субъективных смыслов: (1) благополучие как экономическое благосостояние; (2) как удовлетворение потребностей в материальном обеспечении, образовании, культуре, общении; (3) как возможность выбора желанного образа жизни; (4) когнитивные оценки собственной жизни; (5) аффективные оценки. В то же время сохраняются и осовремениваются комплексные трактовки благополучия, сформулированные еще советскими социологами: содержание благополучия и, соответственно, его концептуализация «в существенной мере зависит от культурно-исторической специфики национального развития» [1. С. 324, 334]; сегодня доминирует запрос на физическое и ментальное благополучие, гармоничное соразвитие тела и души; для россиян благополучие в значительной степени обусловлено национальной гордостью [11].

8. *Инновационные подходы к аномии с позиций марксизма*: «социальный психолог может выполнять функции как диагноста, так и консультанта, который использует преимущества “естественных экспериментов” (например, в классе), чтобы понять, как коллектив может эффективно бороться с девиантным поведением, и помочь учителю и ученикам разработать план и стратегию контроля за учеником класса, который ведет себя безответственно или идет против коллектива... Исследователи знали о работах Ж. Пиаже, но не Дж. Мида, и от Маркса почерпнули идею, что для правильной самооценки человек смотрит на других как в зеркало» [49. С. 8–9]. В советской, а затем и в российской социологии утвердился полипарадигмальный подход к аномии [24].

9. *Поиск очеловеченных технологий*: «проводятся исследования взаимоотношений человека и машины, формирования моральных качеств (особенно в отношении развития “ответственности и самодисциплины”), использования свободного времени (особенно в связи с ростом автоматизации), расширения рабочих мест за счет диверсификации навыков и задач, а также

по отдельным демографическим проблемам, включая модели миграции, рост городского населения и рождаемость» [49. С. 8]. Сегодня эта проблематика актуализировалась вследствие появления сложных рисков, обусловленных цифровизацией и внедрением искусственного интеллекта (см., напр.: [25]).

10. *Инновационные подходы к изучению общественного мнения.* «Важно признать, что повсеместно началось изучение общественного мнения — это лишь один из признаков того, что практические интересы начинают порождать те виды социальных исследований, которым прежде не было места в советском обществе. Например, сейчас, когда производится больше потребительских товаров и можно говорить о появлении потребительского выбора, начинаются исследования потребительских предпочтений» [48. С. 10]. Вскоре общественное мнение в СССР стало изучаться во все более широком тематическом контексте и с учетом мирового опыта (см., напр.: [5]).

«На плечах гигантов» к инновационному знанию

Опираясь «на плечи гигантов» всей интеллектуальной мысли, включая даже художественные произведения, на первый взгляд, далекие от науки, Мертон обосновал принцип «критической нелинейной рефлексии»: предполагая одновременное задействование социологии, истории и литературы, этот принцип позволил разработать инновационную методологию изучения необычных способов формирования нового знания. «Я принял нелинейный метод Шенди, продвигающий исследование вперед путем возврата назад» [47. С. xix]. Мертон метафорически использует главную «шутку» юмористического романа Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»: Шенди не может представить свою жизнь в законченном виде и постоянно возвращается к одним и тем же событиям, меняя ранее высказанные суждения, делая отступления и добавления, привнося все новые краски и нюансы, тем самым создавая нелинейно-динамичный образ своей жизни. Мертон использует метафору перманентно усложняющейся истории жизни для осмысления обратно-поступательного, нелинейного хода истории научных инноваций, призывая социологов видеть в движении к научным истинам как разрывы и неопределенности, так и преемственность и определенность во всей их нелинейной динамике.

Путь к научным инновациям и открытиям детерминирован социальным временем — адекватными ему способами мышления, чувствования и, соответственно, характерными социальными действиями новаторов: «Я решил проследить сложный ход афоризма, обычно приписываемого Ньютону: “Если я видел дальше, то потому, что стоял на плечах гигантов”... Как история афоризма, так и моя история науки должны были бы двигаться вперед и назад в социальном времени... Для чего нужен Тристрам Шенди? Отдавая должное комическому смыслу, признаем, что эстетическая и психологическая правда должна быть соединена с социологической правдой, которую

комические сочинения выставляют на первый план, с лицензируемой иронией, присущей социально установленным способам мышления, чувствования и действия. А это, в свою очередь, напоминает нам, что дело вовсе не в том, правильно все сущее или неправильно, — дело только в том, что все сущее возможно» [47. С. xx, xxv].

Мертон полагает, что Ньютон, опираясь на достижения предшественников и руководствуясь принципом движения вперед, возвращаясь назад, совершил великие научные открытия не только в физике, но и в социологии, о чем даже не догадывался: «Ньютон делает глубокое социологическое наблюдение о поведении людей в целом и, как следствие, о поведении людей науки в частности». Суть этого наблюдения состоит в том, что научным инновациям сопутствуют особые поведенческие модели людей науки, оказывающие как явное, так и латентное влияние на нелинейное формирование научного знания: релятивность знания обусловлена тем, что битва ученых «происходит в публичном пространстве и становится скорее борьбой за статус, чем поиском истины»; «социальный статус всегда соотносится с социальным контекстом» — «Гулливвер, будучи человеком среднего роста, стал гигантом в Лилипутии и карликом в Бробдингнеге»; «труды классических авторов в каждой области обучения можно читать с пользой снова и снова, и новые идеи и предположения будут возникать с каждым прочтением. То, что можно найти в трудах прошлого, не является чем-то фиксированным, раз и навсегда данным. Оно меняется, как и наш собственный опыт, — мы можем узнать больше, перечитывая с вновь обретенной точки зрения». Положение Мертон, которое особенно актуализировалось сегодня в связи с практиками инсценирования «научной истины»: «Риторика, которая обязательно отражает с высокой точностью реальное положение дел, может убеждать и часто действительно убеждает. Например, это может привести к тому, что сенаторы будут голосовать в соответствии с активированным чувством, а не требованиями разума» [47. С. 25, 45, 130, 135]. Мертон специально подверкнул «латентность» научных инноваций Ньютона, которые «не входили в его намерения и не были осознаны» [20. С. 429], но предвосхитили будущие открытия в социологической науке.

Эффект «на плечах гигантов» срабатывает в жизни людей, ориентированных на креативный образ жизни. Пример тому — научная карьера сына Мертон — тоже Роберта, математика по базовому образованию. Лавры отца как социолога, чьи достижения известны не только в США, но и во всем мире, вероятно, не давали ему интеллектуального покоя, и в достаточно зрелом возрасте он подал десятки заявлений на экономическое отделение университета. Учитывая зрелый возраст абитуриента, лишь два университета согласились его проэкзаменовать. Приглашение одного университета Мертон-младший принял и на экзамене показал профессиональное владение математическим аппаратом, достаточное знание социологических трудов

своего отца и лишь житейский опыт в понимании экономики, но их синергия дала нелинейный результат — его ответ, основанный на «специфическом невежестве», содержал, по сути, инновационные положения, поразил экзаменаторов и был опубликован. Дальше позитивная девиация нарастала — учет первых шагов отца к всемирно признанной теории, «критическая нелинейная рефлексия» общепринятых экономических концепций, креативность при подготовке публикаций. Через несколько лет Мертон-младший стал лауреатом Нобелевской премии по экономике «за новый метод определения стоимости производных ценных бумаг».

Самостоятельное научное значение имеет исследование Мертоном нелинейной, вневременной преемственности принципа «на плечах гигантов», которая прослеживается у разных поколений выдающихся ученых — как западных, так и российских, причем не имевших возможности контактировать друг с другом. Как отмечал Мертон, «афоризм “на плечах гигантов” — грубый эквивалент социологической концепции двадцатого века, согласно которой научные открытия возникают на существующей культурной основе, следовательно, требуют условий, которые не могут быть достаточно хорошо определены, но практически неизбежны... эту идею подхватил Ньютон, и с тех пор она навсегда связана с его именем». Независимо друг от друга данный афоризм, по мнению Мертона, использовали: Н.И. Бухарин (1931), считавший, что «опыт, представляющий собой результаты воздействия внешнего мира на познающего субъекта в процессе его практики, стоит на плечах опыта других людей»; сам Мертон (1942); Г. Беккер, представитель второго поколения Чикагской социологической школы (1954); Дж. Сартон, американский историк науки (1955); Дж. Холтон, немецкий и американский философ и историк науки (1961); а З. Фрейд «разъяснил его важность раз и навсегда» [47. С. 267, 262, 269]. Полагаем, что в этот список следовало бы включить В.И. Вернадского, который задолго до Бухарина и Мертона руководствовался этим принципом: «Научное изучение прошлого, в том числе и научной мысли, всегда приводит к введению в человеческое сознание нового» [3. С. 224].

Впрочем, Мертон отметил и главный фактор, сдерживающий научные инновации: формальная рациональность имплицитно ведет к иррациональности в виде «обучения неспособности» — стремление к безусловному соблюдению правил и инструкций грозит утратой самостоятельного, творческого мышления [19].

Культурная и образовательная обусловленность инноваций

Ряд инноваций в социологии, по мнению Мертона, «транскультурны», пример чему — определение П. Бурдье природы инновационного рефлексивного знания, т.е. перманентно обновляемого на основе самокритики его создателей; рефлексивная социология должна обеспечивать

переход в иное качество, прежде всего по отношению к себе самой [40]. Бурдье подчеркивает, что для современного научного поля характерна «гиперрефлексивность», ведущая к резкому росту знания и его качественному обновлению [2]. У. Бек предложил альтернативу классически понимаемому научному знанию — «научное незнание»: «Мировое общество риска — общество не-знания в прямом смысле слова. В противоположность эпохе до модерна оно не может быть преодолено большим и лучшим знанием, большей или лучшей наукой; скорее, как раз наоборот — оно продукт большей и лучшей науки. Незнание правит в мировом обществе риска. Жить в мире, порожденном незнанием, означает искать неизвестные ответы на вопросы, которые никто не может ясно сформулировать» [41. С. 115]. Научное незнание включает в себя передовые достижения не только социально-гуманитарных и естественных наук, но и большую, чем прежде, долю гипотез и метафор, выражающих лишь общие представления о трендах развития гибридных явлений в виде синергических сложностей.

Кроме того, если инновации не учитывают мертоновский принцип культурной обусловленности и внедряются в жизнь без учета реалий страны (а с позиций американского или евроцентризма), то порождают нефункциональности и дисфункциональности в исторически сложившихся институтах, фактически становясь лжеинновациями. Например, «крайне неудачным стало введение колониальной Болонской системы, основная цель которой заключалась в том, чтобы привязать российское образование к западным рынкам труда» [36. С. 24]. Российские социологи исходят из того, что научные инновации должны учитывать культурные ценности российского общества, и с этих методологических позиций исследуют социокультурное содержание инноваций [37]. Культурно детерминированная научная этика обеспечивает преемственность в развитии знания и сохраняет самобытные характеристики отечественной социологии [15].

Функциональность научных инноваций обеспечивается следованием традициям, что делает результаты научного творчества эффективными для общества: «для современных россиян традиция — это не архаика, а то, что воспроизводится в конкретно-исторических условиях жизни общества и социальных групп в силу своей целесообразности, практической и духовно-нравственной полезности» [4. С. 263]. Культурно обусловленная диалектика традиций и инноваций позволяет отечественным ученым добиваться высоких результатов, в частности, внося оригинальный вклад в социальную синергетику [12], обосновывая синергетическую парадигму глобального мира [9] и «квантовую социологию» [8], включая принципы изучения синергических сложностей в свои концепции и учебный процесс [14]. В противоположность научному полю с порядком на основе

жестких научных авторитетов и теоретико-методологических «универсалий» англо-саксонского толка возникает динамическое производство научных инноваций «транскультурного» типа, в основе которых лежит открытость для сотворчества представителей социальных, гуманитарных и естественных наук, а по ряду экзистенциальных проблем (трансгуманизм, ненамеренные последствия цифровизации и искусственного интеллекта) — и с представителями теологического знания [43. С. 477–488]. Благодаря взаимодействию ученых, представляющих разные сферы знания, открываются перспективы для создания нового социологического знания с гуманистическим стержнем.

Библиографический список

1. Аникин В.А., Нагерняк М.А., Воронина Н.Д. Концепция благополучия в общественных науках // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2024. № 6.
2. Бурдые П. Поле науки // Социальное пространство: поля и практики. М.; СПб., 2007.
3. Вернадский В.И. Труды по всеобщей истории науки. М., 1988.
4. Горшков М.К. «Есть такая профессия — общество изучать»: избранные статьи, интервью, биографические откровения. М., 2020.
5. Горшков М.К. Общественное мнение. М., 1989.
6. Горшков М.К. Уроки возрождения и перспективы отечественной социологии // Вехи российской социологии. 1950–2000-е годы. СПб., 2010.
7. Горшков М.К., Ключарев Г.А. Непрерывное образование в контексте модернизации. М., 2011.
8. Гуц А.К. Квантовая механика для социологов: квантовая социология // Математические структуры и моделирование. 2021. № 2.
9. Добренков В.И. Синергетическая парадигма глобального мира // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2023. Т. 23. № 3.
10. Золотовицкий Р.А. Организационная арттерапия и тренинг: социодрама и социометрия в работе с организациями. М., 2003.
11. Камалов Э.А., Понарин, Э.Д. Национальная гордость и субъективное благополучие россиян // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 3.
12. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. СПб., 2002.
13. Количественные методы в социологии / под общ. ред. А.Г. Аганбегяна, Г.В. Осипова, В.Н. Шубкина. М., 1966.
14. Кравченко С.А. Синергия в социальных процессах: постдисциплинарный подход. М., 2025.
15. Лазар М.Г. Социология и этика науки в России: прошлое и настоящее. СПб., 2012.
16. Лапин Н.И. Молодой Маркс. М., 1968.
17. Лапин Н.И. Сложность становления новой России. Антропосоциокультурный подход. М., 2021.
18. Математика в социологии: моделирование и обработка информации. М., 1977.
19. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006.
20. Мертон Р. Явные и латентные функции // Американская социологическая мысль. Тексты. М., 1994.
21. Методика и техника статистической обработки первичной социологической информации. Методика и техника обработки социологической информации // отв. ред. Г.В. Осипов. М., 1968.

22. Осипов Г.В. Теория и практика социологических исследований в СССР. М., 1979.
23. Осипов Г.В., Андреев Э.П. Методы измерения в социологии. М., 1977.
24. Плетнев А.В. Анализ развития социальной аномии среди представителей различных профессиональных групп на рубеже XX–XXI веков // Современные научные исследования и инновации. 2011. № 4.
25. Пузанова Ж.В., Ларина Т.И., Тертышников А.Г. Инфантилизация молодежи: методологический подход к измерению // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2021. Т. 21. № 3.
26. Сближение рабочего класса и инженерно-технической интеллигенции социалистических стран. По результатам международного сравнительного исследования проведенного третьей проблемной комиссией многостороннего сотрудничества Академий Наук социалистических стран / М. Леч, Г.В. Осипов, Ф. Харват. Прага, 1985. Т. 1–4.
27. Социология в России / под ред. В.А. Ядова. М., 1998.
28. Социология в СССР. Т. 1 / под ред. Г.В. Осипова. М., 1966.
29. Социология Ядова: методологический разговор. М., 2018.
30. Татарова Г.Г. Типологический анализ в социологии. М., 1993.
31. Толстова Ю.Н. Логика математического анализа данных. М., 1991.
32. Тощенко Ж.Т. Время мифов и пути преодоления // Социологические исследования. 2006. № 1.
33. Тощенко Ж.Т. Судьбы общественного договора в России: эволюция идей и уроки реализации. М., 2025.
34. Троцук И.В. Компендиум по типам «типологического» в социологии // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2024. Т. 24. № 3.
35. Человек и его работа: социологическое исследование / под ред. А.Г. Здравомыслова, В.А. Ядова. М., 1967.
36. Черныш М.Ф. О проблеме воспроизводства кадров в российской науке и вузах (введение в дискуссию) // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2024. Т. 24. № 1.
37. Шубкин В.Н. Социология и общество: научное познание и этика науки. М., 2010.
38. Ядов В.А. Возможность совмещения теоретических подходов // Социологический журнал. 2003. № 3.
39. Ядов В.А. «Мы все — самоучки» // Российская социология шестидесятих годов в воспоминаниях и документах / отв. ред. и авт. предисл. Г.С. Батыгин. СПб., 1999.
40. An Invitation to Reflexive Sociology / ed. by P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant. Chicago, 1992.
41. Beck U. World at Risk. Cambridge, 2010.
42. Hunt M.M. How does it come to be so? Profile of Robert K. Merton // New Yorker. 1961. No. 36.
43. Kravchenko S.A. Challenges of ‘modern evil’ for the sustainable development: A request for cooperation of scientific and theological knowledge // RUDN Journal of Sociology. 2022. Vol. 22. No. 3.
44. Merton R.K. A Life of Learning. N.Y., 1994.
45. Merton R.K. Pitirim Alexandrovich Sorokin: A giant of 20th century sociological thought // Return of P. Sorokin. М., 2001.
46. Merton R.K. Science, Technology and Society in Seventieth Century England. OSIRIS, 1938.
47. Merton R.K. On the Shoulders of Giants. Chicago; L., 1993.
48. Merton R.K. Sociological Ambivalence and Other Essays. N.Y., 1976.
49. Merton R.K. Notes on Sociology in the U.S.S.R. Washington, 1962.
50. Sorokin P.A., Merton R.K. Social time: A methodological and functional analysis // American Journal of Sociology. 1937. Vol. 42. No. 5.
51. Vivat, Ядов! К 80-летию юбилею. М., 2009.

R. Merton: Factors of production of scientific innovations in sociology*

S.A. Kravchenko, R.I. Filippov

MGIMO University,
Vernadskogo Prosp., 76, Moscow, 119454, Russia

(e-mail: sociol7@yandex.ru; R16888@yandex.ru)

Abstract. The article considers the nonlinear production of scientific innovations in sociology in the context of Robert Merton's success in creating an original theory in competition with other authoritative scholars. The relevance of his experience is determined by today's focus on training sociologists as experts ready to develop creativity and ability to apply unconventional approaches to diagnose the increasingly complex challenges that Russian scientists face. The article explains the enduring significance of such Merton's principles as "organized skepticism", "sociological ambivalence", and "specific ignorance", which have proven their efficiency in producing scientific innovations in various historical periods. The article presents Merton's description of sociology in the USSR through its "original organization" as the social-cultural determinant of such innovations as the integral use of the results of natural sciences and sociology for the national development, "rapprochement" of Marxism and the world sociological thought as the basis for the transition from monodisciplinarity to polyparadigmality, development of "engineering of social change", new ideas about social well-being as a working and healthy lifestyle, search for humanized technologies, etc. The authors focus on the expression "standing on the shoulders of giants", which allowed Merton to reveal the "critical nonlinear reflection" of scientific innovations not only in sociology, but also in natural sciences. The authors make conclusions about the cultural and civilizational determinacy of innovations in sociology, providing an example of a comparative analysis of the contribution of Russian and foreign scientists to the world sociological thought and warning about the uncritical borrowing of "universal" innovations from other cultures as leading to pseudo-innovations, non-functionality and dysfunctionality of social institutions.

Key words: sociology of science; "organized skepticism"; "sociological ambivalence"; "specified ignorance"; "standing on the shoulders of giants"; nonlinearity; innovations; pseudo-innovations

For citation: Kravchenko S.A., Filippov R.I. R. Merton: Factors of production of scientific innovations in sociology. *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (4): 565–583. (In Russ.). <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-565-583>

References

1. Anikin V.A., Nagernyak M.A., Voronina N.D. Kontseptsiya blagopoluchiya v obshchestvennykh naukakh [The concept of well-being in social sciences]. *Monitoring Obshchestvennogo Mneniya: Ekonomicheskie i Sotsialnye Peremeny*. 2024; 6. (In Russ.).
2. Bourdieu P. Pole nauki [The field of science]. *Sotsialnoe prostranstvo: polya i praktiki*. Moscow; Saint Petersburg; 2007. (In Russ.).
3. Vernadsky V.I. *Trudi po vseobshchei istorii nauki* [Works on the General History of Science]. Moscow; 1988. (In Russ.).

*© S.A. Kravchenko, R.I. Filippov, 2025

The article was submitted on 24.07.2025. The article was accepted on 14.10.2025.

4. Gorshkov M.K. *“Est takaya professiya — obshchestvo izuchat”*: izbrannye statyi, interviyu, biograficheskie otkroveniia [“There is Such a Profession as to Study Society”: Selected Articles, Interviews, Biographical Revelations]. Moscow; 2020. (In Russ.).
5. Gorshkov M.K. *Obshchestvennoe mnenie* [Public Opinion]. Moscow; 1989. (In Russ.).
6. Gorshkov M.K. Uroki vrozozhdeniya i perspektivy otechestvennoi sotsiologii [Lessons of the revival and prospects of Russian sociology]. *Vekhi rossiiskoi sotsiologii. 1950–2000-e godi*. Saint Petersburg: 2010. (In Russ.).
7. Gorshkov M.K., Klyucharev G.A. *Nepreryvnoe obrazovanie v kontekste modernizatsii* [Life-Long Learning under Modernization]. Moscow; 2011. (In Russ.).
8. Guts A.K. Kvantovaya mekhanika dlya sotsiologov: kvantovaya sotsiologiya [Quantum mechanics for sociologists: Quantum sociology]. *Matematicheskie Struktury i Modelirovanie*. 2021; 2. (In Russ.).
9. Dobrenkov V.I. Sinergeticheskaya paradigma globalno gomira [Synergetic paradigm of the global world]. *RUDN Journal of Sociology*. 2023; 23 (3). (In Russ.).
10. Zolotovitsky R.A. *Organizatsionnaya artterapiya i trening: sotsiodrama i sotsiometriya v rabote s organizatsiyami* [Organizational Art Therapy and Training: Sociodrama and Sociometry in Working with Organizations]. Moscow; 2003. (In Russ.).
11. Kamalov E.A., Ponarin E.D. Natsionalnaya gordost i sub`ektivnoe blagopoluchie rossiyan [Russians’ national pride and subjective well-being]. *Monitoring Obshchestvennogo Mneniya: Ekonomicheskie i Sotsialnye Peremeni*. 2020; 3. (In Russ.).
12. Knyazeva E.N., Kurdyumov S.P. *Osnovaniya sinergetiki* [Foundations of Synergetics]. Saint Petersburg; 2002. (In Russ.).
13. *Kolichestvennye metody v sotsiologii* [Qualitative Methods in Sociology]. Ed. by A.G. Aganbegyan, G.V. Osipov, V.N. Shubkin. Moscow; 1966. (In Russ.).
14. Kravchenko S.A. *Sinergiya v sotsialnih protsessah: postdisziplinarny podkhod* [Synergy in Social Processes: A Postdisciplinary Approach]. Moscow; 2025. (In Russ.).
15. Lazar M.G. *Sotsiologiya i etika nauki v Rossii: proshloe i nastoyashchee* [Sociology and Ethics of Science in Russia: Past and Present]. Saint Petersburg; 2012. (In Russ.).
16. Lapin N.I. *Molodoi Marx* [Young Marx]. Moscow; 1968. (In Russ.).
17. Lapin N.I. *Slozhnost stanovleniya novoi Rossii. Antroposotsiokulturny podkhod* [Complex Formation of the New Russia. An Anthro-Social-Cultural Approach]. Moscow; 2021. (In Russ.).
18. *Matematika v sotsiologii: Modelirovanie i obrabotka informatsii* [Mathematics in Sociology: Modeling and Information Processing.]. Moscow; 1977. (In Russ.).
19. Merton R. *Sotsialnaya teoriya i sotsialnaya struktura* [Social Theory and Social Structure]. Moscow; 2006. (In Russ.).
20. Merton R. Yavnye i latentnye funktsii [Manifest and latent functions]. *Amerikanskaya sotsiologicheskaya misl. Teksty*. Moscow; 1994. (In Russ.).
21. *Metodika i tekhnika statisticheskoi obrabotki pervichnoi sotsiologicheskoi informatsii. Metodika i tekhnika obrabotki sotsiologicheskoi informatsii* [Methodology and Technique of Statistical Processing of Primary Sociological Information. Methodology and Technique of Processing Sociological Information]. Ed. By G.V. Osipov. Moscow; 1968. (In Russ.).
22. Osipov G.V. *Teoriya i praktika sotsiologicheskikh issledovaniy v SSSR* [Theory and Practice of Sociological Research in the USSR]. Moscow; 1979. (In Russ.).
23. Osipov G.V., Andreev E.P. *Metody izmereniya v sotsiologii* [Methods of Measurement in Sociology]. Moscow; 1977. (In Russ.).
24. Pletnev A.V. Analiz razvitiya sotsialnoi anomii sredi predstavitelei razlichnykh professionalnykh grupp na rubezhe XX–XXI vekov [Analysis of the development of social anomie among representatives of various professional groups at the turn of the 20th–21st centuries]. *Sovremennye Nauchnye Issledovaniya i Innovatsii*. 2011; 4. (In Russ.).
25. Puzanova Zh.V., Larina T.I., Tertyshnikova A.G. Infantalizatsiya molodezhi: metodologicheskyy podkhod k izmereniyu [Infantilization of the youth: A methodological approach to measurement]. *RUDN Journal of Sociology*. 2021; 21 (3). (In Russ.).

26. *Sblizhenie rabocheho klassa i inzhenerno-tekhnicheskoi intelligentsii sotsialisticheskikh stran. Po rezultatam mezhdunarodnogo sravnitel'nogo issledovaniya provedennogo tretyei problemnoi komissii mnogostoronnego sotrudnichestva Akademii Nauk sotsialisticheskikh stran* [Rapprochement of the Working Class and the Engineering-Technical Intelligentsia of Socialist Countries. Based on the Results of the International Comparative Study Conducted by the Third Problem Commission of Multilateral Cooperation of the Academies of Sciences of Socialist Countries]. M. Lech, G.V. Osipov, F. Kharvat. Prague; 1985. Vol. 1–4. (In Russ.).
27. *Sotsiologiya v Rossii* [Sociology in Russia]. Ed. by V.A. Yadov. Moscow; 1998. (In Russ.).
28. *Sotsiologiya v SSSR. T. I* [Sociology in the USSR. Vol. 1]. Ed. by G.V. Osipova. Moscow; 1966. (In Russ.).
29. *Sotsiologiya Yadova: metodologicheskyy razgovor* [Yadov's Sociology: A Methodological Discussion]. Moscow; 2018. (In Russ.).
30. Tatarova G.G. *Tipologicheskyy analiz v sotsiologii* [Typological Analysis in Sociology]. Moscow; 1993. (In Russ.).
31. Tolstova Yu.N. *Logika matematicheskogo analiza dannykh* [Logic of Mathematical Data Analysis]. Moscow; 1991. (In Russ.).
32. Toshchenko Zh.T. Vremya mifov i puti preodoleniya [The time of myths and ways to overcome them]. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2006; 1. (In Russ.).
33. Toshchenko Zh.T. *Sudby obshchestvennogo dogovora v Rossii: evolyutsiya idei i uroki realizatsii* [Fate of Social Contract in Russia: Evolution of Ideas and Lessons from Implementation]. Moscow; 2025. (In Russ.).
34. Trotsuk I.V. Compendium po tipam “tipologicheskogo” v sotsiologii [Compendium of types of the “typological” in sociology]. *RUDN Journal of Sociology*. 2024; 24 (3). (In Russ.).
35. *Chelovek i ego rabota: sotsiologicheskoe issledovanie* [Man and His Work: A Sociological Study]. Ed. by A.G. Zdravomyslov, V.A. Yadov. Moscow; 1967. (In Russ.).
36. Chernysh M.F. O probleme vosproizvodstva kadrov v rossiiskoi nauke i vuzakh (vvedenie v diskussiyu) [On the problem of personnel reproduction in Russian science and universities (introduction to the discussion)]. *RUDN Journal of Sociology*. 2024; 24 (1). (In Russ.).
37. Shubkin V.N. *Sotsiologiya i obshchestvo: nauchnoe poznanie i etika nauki* [Sociology and Society: Scientific Knowledge and Ethics of Science]. Moscow; 2010. (In Russ.).
38. Yadov V.A. Vozmozhnost sovmeshcheniya teoreticheskikh podkhodov [The possibility of combining theoretical approaches]. *Sotsiologicheskyy Zhurnal*. 2003; 3. (In Russ.).
39. Yadov V.A. “Mi vse — samouchki” [“We are all self-taught”]. *Rossiiskaya sotsiologiya shestidesyatykh godov v vospominaniyakh i dokumentakh*. Otv. red. i avt. predisl. G.S. Batygin. Saint Petersburg; 1999. (In Russ.).
40. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Ed. by P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant. Chicago; 1992.
41. Beck U. *World at Risk*. Cambridge; 2010.
42. Hunt M.M. How does it come to be so? Profile of Robert K. Merton. *New Yorker*. 1961; 36.
43. Kravchenko S.A. Challenges of ‘modern evil’ for the sustainable development: A request for cooperation of scientific and theological knowledge. *RUDN Journal of Sociology*. 2022; 22 (3).
44. Merton R.K. *A Life of Learning*. New York; 1994.
45. Merton R.K. Pitirim Alexandrovich Sorokin: A giant of 20th century sociological thought. *Return of P. Sorokin*. Moscow; 2001.
46. Merton R.K. *Science, Technology and Society in Seventieth Century England*. OSIRIS; 1938.
47. Merton R.K. *On the Shoulders of Giants*. Chicago; London; 1993.
48. Merton R.K. *Sociological Ambivalence and Other Essays*. New York; 1976.
49. Merton R.K. *Notes on Sociology in the U.S.S.R.* Washington; 1962.
50. Sorokin P.A., Merton R.K. Social time: A methodological and functional analysis. *American Journal of Sociology*. 1937; 42 (5).
51. *Vivat, Yadov! K 80-letnemu yubileyu* [Vivat, Yadov! On the 80th Anniversary]. Moscow; 2009. (In Russ.).



DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-584-602

EDN: LAGWFU

Искусственная социальность: онтологические основы социологического анализа*

В.В. Меньшиков, В.Ф. Комарова

Даугавпилсский университет,
ул. Виенибас, 13, Даугавпилс, LV-5401, Латвия

(e-mail: vladimirs.mensikovs@du.lv; vera.komarova@du.lv)

Аннотация. В статье феномен искусственной социальности рассмотрен как новая форма социального бытия, возникающая в условиях широкого распространения цифровых технологий, искусственного интеллекта (далее — ИИ) и алгоритмического посредничества. Актуальность исследования обусловлена не только технологическим проникновением ИИ в повседневные и институциональные взаимодействия, но и отсутствием устоявшейся онтологической и методологической рамки для анализа возникающих гибридных форм коммуникации. Цель статьи — определить онтологические основания и аналитические перспективы социологического изучения искусственной социальности, предложить ее типологию и оценку социальных последствий. Теоретико-методологическую основу статьи составляют системная теория (Н. Луман), критический реализм (Р. Бхаскар), социальный конструктивизм (П. Бергер и Т. Лукман) и концепции сетевого общества и гибридной агентности (М. Кастельс, Т. Малыш, Ш. Теркл, Д. Харауэй). Онтологический анализ расширен средствами цифровой социологии: категориями аутопойезиса, сети, агентности, медиатизации, а также подходами цифровой этнографии и анализа алгоритмических структур. В результате обоснована возможность изучения искусственной социальности как устойчивого социотехнического феномена, обладающего признаками субъектности, институциональной интеграции и символической легитимации. Выделены пять форм искусственной социальности (имитационная, ассистивная, гибридная, агентно-инициируемая и автономная), предложены направления их эмпирического анализа и принципы операционализации. Показано, что искусственная социальность не только трансформирует институты и коммуникации, но и порождает новые формы социальной стратификации, десубъективации и цифрового неравенства.

Ключевые слова: искусственная социальность; цифровая коммуникация; гибридная агентность; онтология социального; искусственный интеллект; алгоритмическое взаимодействие; социотехнические системы

Для цитирования: Меньшиков В.В., Комарова В.Ф. Искусственная социальность: онтологические основы социологического анализа // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 4. С. 584–602. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-584-602>

*© Меньшиков В.В., Комарова В.Ф., 2025

Статья поступила в редакцию 10.06.2025. Статья принята к публикации 14.10.2025.

Современное общество стремительно трансформируется под воздействием цифровых технологий, ИИ и платформенной экономики. Возникают качественно новые формы социальной реальности, основанные не только на межчеловеческом взаимодействии, но и на участии в социальных процессах искусственных агентов — цифровых интерфейсов, нейросетей, чат-ботов, алгоритмов рекомендаций. Эти явления обозначаются в научной литературе как искусственная социальность [14; 16; 21–23] — относительно новое и еще не устоявшееся понятие, включающее в себя формы социального взаимодействия, опосредованные или генерируемые ИИ, компьютерными системами и сетевыми структурами.

Актуальность обращения к онтологическим основам этого феномена обусловлена несколькими факторами. Во-первых, искусственная социальность активно интегрируется в повседневную жизнь (виртуальные ассистенты, алгоритмическое управление, цифровые сообщества), влияя на коммуникации, идентичности и социальные нормы [1; 14; 23]. Во-вторых, ее институциональное и этическое оформление отстает от темпов технологической эволюции, что порождает правовые, политические и гуманитарные вызовы [1; 7; 17]. В-третьих, в социологической теории отсутствует устойчивая концептуализация искусственной социальности как онтологического феномена, а не только как технической среды [11; 24]. Современные исследования демонстрируют фрагментарность и междисциплинарную разобщенность: философия обсуждает киборгизацию и границы субъектности [15; 20], информационные науки — алгоритмическое посредничество, социология — преимущественно цифровое неравенство и трансформация труда [8; 22; 25]. Возникает вопрос: какова онтологическая природа искусственной социальности как новой формы социального бытия [11; 21] и как ее можно исследовать средствами социологической теории? Этот вопрос требует ответа как на теоретико-методологическом уровне (категории и модели анализа новой социальной реальности), так и на эмпирическом (как описывать и интерпретировать взаимодействие человека с искусственными агентами в социокультурных контекстах).

Цель статьи — обозначить онтологические основания социологического изучения искусственной социальности как специфической формы социальной организации, возникающей на стыке человеческого и искусственного, естественного и сконструированного. Для достижения этой цели рассмотрены существующие онтологические модели в социологии (в том числе системный подход Н. Лумана [9] и критический реализм [19]), обоснован концепт искусственной социальности как онтологически значимого феномена, описаны механизмы интеграции искусственной и естественной социальностей и намечены дальнейшие направления работы. Методологически статья опирается на онтологический анализ, сочетающий элементы социального конструктивизма (в духе П. Бергера и Т. Лукмана [2]) и критического реализ-

ма, что позволят учитывать как нормативно-смысловые, так и материально-институциональные аспекты рассматриваемого феномена: понятия агента, сети, коммуникации, аутопойезиса, идентичности, медиатизации, гибридной социальности, цифровой интеграции, сетевого общества [8] и текущей современности (З. Бауман) отражают переход к новой логике социального бытия. Также кратко охарактеризованы значимые правовые и этические контексты, включая инициативы по регулированию ИИ (например, резолюции ООН [26]) и их влияние на формирование нормативных оснований искусственной социальности.

Онтологические подходы к пониманию (искусственной) социальности

Проблема онтологических оснований реальности занимает центральное место в теоретической социологии. То, как социология определяет «социальное», напрямую влияет на исследовательские модели, применяемые к новым феноменам, включая такие трансформативные явления, как искусственная социальность. Развитие технологий — от алгоритмических платформ до генеративного ИИ — требует пересмотра традиционных онтологий социального и адаптации их к реальности, где человеческие и искусственные агенты сосуществуют и взаимодействуют в едином коммуникативном пространстве.

Классические социологические онтологии: от объективизма к конструктивизму. Традиционно в социологии сложились два полярных подхода к социальной онтологии: объективизм, представленный в работах Э. Дюркгейма [5] и Т. Парсонса [13], рассматривает социальную реальность как надындивидуальную и устойчивую структуру, существующую независимо от сознания индивидов; субъективизм, напротив, подчеркивал конструктивный характер социального мира, акцентируя внимание на интерпретации, смыслах и контексте взаимодействия [2; 4]. Эти подходы нашли выражение в противопоставлении структурализма и интеракционизма, которое было преодолено в рамках интегративных парадигм, например теории структуризации Э. Гидденса [6] или теории полей П. Бурдьё [3]. В условиях цифровизации субъективистское направление получает новый импульс: социальная реальность все больше воспринимается как продукт конструирования (в том числе посредством алгоритмических интерфейсов и технических агентов), что требует учета как человеческого, так и нечеловеческого участия в этом процессе.

Теория аутопойетических систем Н. Лумана [9] трактует общество как аутопойетическую систему коммуникаций, т.е., в отличие от традиционных антропоцентричных моделей, здесь не индивиды, а коммуникации являются элементами социальной системы. Социальность — не сумма взаимодействий субъектов, а сеть устойчивых форм коммуникаций, которые самовоспроизводятся через операции информирования и понимания. Эта модель особенно

продуктивна в анализе искусственной социальности: если в цифровом пространстве возникают устойчивые паттерны обмена информацией, в которых участвуют как люди, так и искусственные агенты (чат-боты, алгоритмы рекомендаций, цифровые двойники), то эти паттерны могут рассматриваться как коммуникационные единицы, встроенные в аутопойетическую структуру сети. Таким образом, искусственная социальность выступает как часть более широкой системы социальной коммуникации, где субъектность распределена между биологическими и техническими участниками.

Конструктивизм и культурные матрицы восприятия ИИ. Согласно Бергеру и Лукману [2] социальная реальность — результат типизации и институционализации практик в ходе повседневного взаимодействия. Применительно к искусственной социальности это означает, что ИИ и цифровые агенты получают социальное значение не просто как технические артефакты, а как символически нагруженные элементы взаимодействия, признанные участниками социального поля как значимые. Например, чат-бот службы поддержки может быть воспринят как «реальный собеседник», если его ответы когерентны, а интерфейс имитирует социальную эмпатию [7]. В этом смысле агентность ИИ не «объективна», а конструируется в рамках культурных ожиданий и символических репертуаров [20; 25]. Иными словами, конструктивизм позволяет включить в онтологию искусственной социальности пластичность восприятия и зависимость от контекста взаимодействия.

Критический реализм: совмещение материального и социального. Онтология критического реализма [19] признает существование разных уровней реальности: эмпирического (то, что наблюдается), актуального (то, что происходит независимо от наблюдения) и глубокого (структурные механизмы). Этот подход описывает искусственную социальность как результат взаимодействия социальных структур (норм, институтов), технологических возможностей и человеческих практик, не сводя ее ни к одному из этих элементов. Так, системы ИИ имеют определенные технические ограничения и возможности (например, способность к машинному обучению), но их влияние на общество зависит от социального контекста внедрения (политики, регулирования, уровня цифровой грамотности). Критический реализм учитывает каузальную силу технологий без технооптимизма, признавая, что цифровые агенты не нейтральны, а структурированы и, в свою очередь, структурируют поведение людей.

Концепт гибридной и техносоциальной онтологии как попытка преодолеть бинарность «естественное–искусственное», «человек–машина». Гибридная социальность [22] формируется как коммуникативная сеть, включающая человеческих и искусственных агентов, где поведение последних влияет на динамику взаимодействия и структуру системы. Средой общения становится цифровое пространство, где технологии выступают не только

посредниками, но и участниками, способными инициировать, фильтровать или модифицировать коммуникацию. Такая трактовка близка идее постгуманистических онтологий, где границы между субъектами размываются, и действующими силами становятся ансамбли — человеко-машинные связки, платформы, экосистемы. Данный подход позволяет не только онтологически «прописать» искусственную социальность как форму социального бытия, но и интегрировать ее в общую логику изменения современного общества — от иерархической к сетевой, от централизованной к распределенной [8].

Онтология как методологический каркас эмпирического анализа: понимание социального как коммуникации [9], конструкта [2] или совокупности структурных механизмов [14] определяет вопросы эмпирического исследования: кто или что считается социальным агентом; как фиксируются формы участия ИИ в социальной динамике; каким образом интеграция искусственных агентов отражается в нормах, идентичностях и институтах. Например, согласно системной модели Лумана исследователь будет искать паттерны устойчивых коммуникаций, независимо от того, кем они инициированы — человеком или ИИ. В рамках конструктивизма акцент сместится на перцепцию, дискурсивные практики и символическую легитимацию агентности машин. Опора на критический реализм предполагает изучение со-влияния технологий и социальных структур на формирование новых форм взаимодействия. Таким образом, онтология — не просто философское основание, но и инструмент анализа, определяющий, какие феномены считаются значимыми, а связи — каузальными.

Искусственная социальность как социологический объект: типология, признаки и формы проявления

Вопрос о том, можно ли считать феномен искусственной социальности самостоятельным объектом социологического изучения, становится все более актуальным в условиях стремительной цифровизации и алгоритмизации общественной жизни [7; 12; 24]. Современные формы социальности все чаще включают не только людей как субъектов коммуникации, но и искусственных агентов — от чат-ботов и цифровых помощников до автономных рекомендательных систем и виртуальных инфлюэнсеров [7; 12]. Формы социального взаимодействия, опосредованные алгоритмами и ИИ, все чаще оказываются не побочными продуктами технологической среды, а устойчивыми паттернами, формирующими привычки, идентичности и институциональные структуры [15; 16], поэтому возникает необходимость в теоретически осмысленной типологии и эмпирически верифицируемых признаках искусственной социальности как особого социотехнического явления.

Понимание искусственной социальности начинается с признания ее двойственной природы: с одной стороны, это результат технологического конструирования (программное обеспечение, алгоритмы, архитектура циф-

ровых платформ), с другой стороны, она социокультурно легитимируется, интерпретируется и встраивается в существующую социальную ткань [24]. Как подчеркивает Т. Малыш [22], искусственная социальность представляет собой сеть коммуникаций, в которую включены как человеческие, так и нечеловеческие (искусственные) агенты. Средой, обеспечивающей функционирование этой сети, является интернет, обладающий характеристиками распределенности, асинхронности и высокой плотности взаимодействий. Следовательно, критерии выделения искусственной социальности должны учитывать не только ее технологическую специфику, но и социологические параметры (институциональную закреплённость, признание субъектности, символическую репрезентацию).

Один из основных признаков искусственной социальности — технологически опосредованное взаимодействие, в котором участвует искусственный агент, обладающий определенной степенью автономии (чат-бот в службе поддержки, автоматический модератор в социальных сетях, рекомендательная система на стриминговой платформе). Ключевым становится не только участие такого агента, но и его способность адаптироваться к действиям пользователя, реагировать на основе обучающихся алгоритмов, а в некоторых случаях даже инициировать взаимодействие. Возникает форма коммуникации, в которой граница между человеком и машиной размывается — поведение искусственного агента обретает характеристики, традиционно ассоциирующиеся с человеческой субъектностью.

Второй значимый признак — социальная легитимация искусственного агента. Как показали исследования Ш. Теркла [25], пользователи склонны приписывать машинам эмоциональные качества, воспринимать их как партнеров по взаимодействию и даже формировать с ними устойчивые отношения. В этом смысле искусственная социальность не ограничивается технической эффективностью, но включает в себя элементы символического обмена, ролевых ожиданий и социальных норм, что и позволяет говорить об ИИ и цифровых системах не просто как о средствах, но как об участниках социального порядка.

Третий признак — институциональная интеграция искусственной социальности: государства и корпорации активно используют ИИ в системах управления, правосудия, здравоохранения и образования. Чат-боты заменяют консультантов, алгоритмы — HR-специалистов, цифровые платформы — социальные службы. При этом ИИ-системы включаются в бюрократические и нормативные контуры: им доверяют принятие решений, их поведение регулируется, а ошибки подлежат юридической ответственности, что делает искусственную социальность не просто повседневной практикой, но и элементом институционального поля.

На основании этих признаков можно выделить несколько форм искусственной социальности, различающихся по уровню интеграции искус-

ственных агентов, степени их автономии и типу выполняемых ими функций (таблица 1). Первая форма — имитационная: искусственный агент лишь воспроизводит поверхностные паттерны человеческого поведения (например, автоответчики или FAQ-боты). Вторая форма — ассистивная: ИИ оказывает поддержку в решении задач, например, предлагает маршрут, проверяет грамматику, помогает организовать день. Третья форма — гибридная интерактивная: искусственные агенты влияют на взаимодействие людей, выступая посредниками и модераторами (например, рекомендательные системы TikTok). Четвертая форма — агентно-инициируемая: ИИ управляет процессом коммуникации (например, цифровой модератор определяет видимость контента, порядок диалога и даже формулировки). Пятая форма — автономная: взаимодействие происходит преимущественно между цифровыми агентами без участия человека (например, в DAO — децентрализованных автономных организациях решения принимаются алгоритмически).

Все эти формы не существуют изолированно, а наслаиваются и переплетаются, образуя сложные гибридные структуры. Например, пользователь онлайн-платформы может одновременно взаимодействовать с другим человеком (через комментарии), цифровым интерфейсом (через UX) и ИИ-системой, предлагающей контент или контролирующей видимость сообщений, т.е. искусственная социальность проявляется как поле множественных связей (человек–человек, человек–машина, машина–машина) в рамках единой медиатизированной среды.

Анализ форм искусственной социальности требует учета сферы ее реализации: в экономике это алгоритмы персонализированного маркетинга, автоматизированные биржи, финансовые роботы, в образовании — цифровые тьюторы и адаптивные платформы, в политике — системы предиктивного анализа общественного мнения, автоматизированные решения о доступе к услугам, в культуре — нейросетевое искусство, цифровые инфлюэнсеры, генеративные сценарии коммуникации, в повседневности — голосовые помощники, чат-боты в мессенджерах, алгоритмы «умного дома». В каждой сфере искусственная социальность становится неотъемлемой частью социальной инфраструктуры, одновременно инструментом, актором и средой, причем не устраняя традиционные формы социальности, а трансформируя их и порождая новые ролевые структуры, модели координации, формы стратификации. Например, способность взаимодействовать с цифровыми агентами становится социальной компетенцией; алгоритмическое ранжирование формирует иерархии значимости; пользователь, обладающий цифровым капиталом (умеет адаптироваться к интерфейсам, использовать ИИ), получает преимущество. Возникает алгоритмическая форма социальной дифференциации — основанная на доступе к технологиям и способности адаптироваться к ним.

Типология форм искусственной социальности (основана на [10])

Формы	Уровень интеграции искусственных агентов*	Степень автономии агентов**	Выполняемые агентами функции***	Примеры искусственных агентов
Имитационная	Низкий	Минимальная (реактивная)	Эмуляция общения, простые ответы	Автоответчик (только заранее запрограммированные фразы)
Ассистивная	Средний	Ограниченная (задачей)	Поддержка, сопровождение	Навигатор, цифровой тьютор, помощник в расписании
Гибридная интерактивная	Высокий	Частичная (адаптивная)	Модерация, фильтрация, персонализация контента	Рекомендательная система, которая «учится» на предпочтениях
Агентно-иницируемая	Очень высокий	Высокая (инициирует действия)	Самостоятельная организация взаимодействия	Алгоритм, запускающий цепочки уведомлений
Автономная цифровая	Максимальный	Полная (без участия человека)	Самоуправление, автономная координация системы	DAO (управляемые смарт-контрактами автономные сетевые сообщества), где правила, решения и действия автоматизированы

* Степень включенности искусственного агента в реальные социальные процессы, структуры и институты, а также то, насколько неотъемлемой частью социальной системы он стал (насколько глубоко и устойчиво ИИ-агент встроен в социальную жизнь — от эпизодического использования до системной зависимости):

- низкий уровень интеграции: ИИ используется точно, не влияет на принятие решений и легко заменим (инструмент);

- средний: агент регулярно используется в повседневной жизни, но вспомогательно — человек принимает основные решения;

- высокий: ИИ влияет на то, как люди взаимодействуют (например, алгоритмы формируют ленту новостей, список контактов, рекомендации), но контроль еще разделен;

- очень высокий: ИИ самостоятельно управляет каналами взаимодействия, влияет на социальную структуру, например, кто что видит, с кем контактирует;

- максимальный: социальная система функционирует без или с минимальным участием человека (алгоритмы определяют правила, управляют процессами и принимают решения).

** Способность искусственного агента действовать самостоятельно — без прямых команд человека, с учетом контекста, цели и инициативы (насколько ИИ сам принимает решения, адаптируется к ситуации, инициирует взаимодействие, обладает выходящим за пределы жестко заданных скриптов «поведением»):

- минимальная автономия: агент реагирует строго по шаблону, без контекста;

- ограниченная: агент может варьировать поведение в рамках задачи;

- частичная (адаптивная): агент анализирует поведение пользователя и подстраивается;

- высокая: агент сам инициирует взаимодействие и регулирует его;

- полная: агент действует без участия человека, управляет системой и взаимодействует с другими агентами.

*** Основная социальная роль/функция искусственного агента в процессе взаимодействия — что именно делает ИИ в контексте конкретной формы искусственной социальности (обслуживает, направляет, управляет, заменяет или полностью организует социальное взаимодействие):

- эмуляция общения, простые ответы (ИИ имитирует диалог, не обладает «пониманием» или адаптивностью);

- поддержка, сопровождение (ИИ помогает человеку выполнять задачи, облегчает ориентацию);

- модерация, фильтрация, персонализация контента (ИИ упорядочивает или подстраивает контент/взаимодействие между людьми);

- самостоятельная организация взаимодействия (ИИ запускает процессы общения, предлагает сценарии или группы);

- самоуправление, автономная координация системы (ИИ принимает решения, формирует правила и поддерживает их выполнение без вмешательства человека).

Вместе с тем искусственная социальность ставит под сомнение базовые социологические категории: субъект, действие, коммуникация, институт. Если субъект — тот, кто способен действовать и нести ответственность, может ли им быть ИИ? Если коммуникация — это обмен смыслами, можно ли считать диалог с языковой моделью полноценным взаимодействием? Искусственная социальность требует интегративного подхода, сочетающего конструктивизм, системную теорию и критический реализм, поскольку речь идет о феномене, который одновременно сконструирован, структурирован и институционализирован [10; 11]. Таким образом, искусственная социальность выступает как новый объект социологического анализа — многоуровневый, динамичный, гибридный. Ее признаки и формы охватывают как повседневные практики, так и макросоциальные структуры. Ее изучение требует новых типологий, методов сбора и анализа данных, языка описания. Это не только вызов, но и шанс для социологии — переосмыслить собственные основания в условиях, когда социальное больше не является исключительно человеческим.

Социологические последствия и риски искусственной социальности

Расширение искусственной социальности, т.е. систематическое включение искусственных агентов (ИИ, алгоритмов, цифровых платформ) в процессы социального взаимодействия, — один из наиболее трансформативных факторов современного общества, поскольку выходит далеко за рамки технологических инноваций — затрагивает фундаментальные категории социологического анализа, изменяет устоявшиеся структуры и формы социального порядка и порождает новые теоретические и практические вызовы, включая этико-нормативные и политико-правовые [15].

Одно из ключевых последствий распространения искусственной социальности — деформация институтов социализации. Традиционные агенты социализации (семья, школа, государство) дополняются, а иногда и вытесняются цифровыми платформами, которые управляют логикой коммуникации, формируют повестку, стандарты успешности и идентичности. Такие платформы, как YouTube, TikTok и др., все чаще становятся основными пространствами, в которых индивид осваивает социальные роли и получает обратную связь, но ее часто формируют алгоритмические системы, ориентированные не на ценности, а на вовлеченность, что приводит к эффекту «алгоритмической социализации» — с приоритетом поверхностной эмоциональности, конфликта и сенсационности [25].

В контексте теории Кастельса можно утверждать, что логика сетевого общества — фрагментированная, децентрализованная, управляемая потоками информации — смещает логику иерархически организованного индустриального общества, причем искусственные агенты, встроенные в сети,

не просто обслуживают взаимодействия, но и управляют ими, создавая новые центры власти, распределения и влияния, которые часто лишены прозрачности. Кастельс подчеркивал, что новая структура власти и опыта формируется в «глобальных потоках, пересекающих время и пространство», и искусственная социальность встраивается в эти потоки как агент ускорения и концентрации [8].

Другой важный вызов — размывание границ субъекта: в традиционной социологии субъект рассматривался как человек, обладающий намерением, ответственностью и социальной рефлексией, но в системах с искусственной социальностью эти качества частично распределяются между человеком и машиной. Алгоритмы, участвующие в принятии решений — будь то в медицине, образовании, правосудии или найме персонала — начинают выполнять субъектные функции. При этом юридическая и этическая ответственность остается неурегулированной. Классический вопрос: кто виноват в случае ошибки ИИ — разработчик, пользователь или сама система — до сих пор не имеет однозначного ответа, что создает зону нормативной неопределенности и порождает риски социальной несправедливости.

Возникает и проблема новых форм стратификации: если в индустриальном обществе она базировалась на экономическом капитале, а в постиндустриальном — на знании и информации, то в условиях искусственной социальности все большую роль начинает играть алгоритмический капитал — способность быть видимым, считываемым и «предсказуемым» для цифровых систем. Люди, не владеющие цифровыми навыками или избегающие активного взаимодействия с платформами, маргинализируются, что усиливает цифровое неравенство, углубляет социальную сегрегацию и усложняет доступ к ресурсам (образованию, труду, информации) [24].

Еще один важный аспект — трансформация межличностных отношений [25]: цифровые технологии подменяют «настоящее общение» имитацией, что приводит к одиночеству, фрагментации внимания и снижению эмпатии. В ситуации, когда значимая часть взаимодействий происходит с искусственными агентами (чат-ботами, цифровыми ассистентами), формируется особый тип эмоциональной привязанности, в котором исчезает взаимность — один из базовых признаков социальных связей. В итоге общество рискует столкнуться с «псевдосоциальностью», в которой взаимодействие больше похоже на потребление, чем на диалог.

Дополнительная угроза — возможные манипуляции общественным мнением и поведением. Искусственная социальность создает идеальные условия для влияния на когнитивные и поведенческие паттерны: алгоритмы точно предсказывают реакции, адаптируются в реальном времени и масштабируемы. Примеры политической манипуляции через социальные сети и таргетированные рекламные кампании (например, скандал с Cambridge

Analytica) показали, насколько эффективно можно использовать искусственную социальность в целях, не совместимых с демократическими нормами.

Риски искусственной социальности проявляются и в десубъективации — когда система ИИ делает выбор за пользователя (например, автоматически отбирая новостную ленту, предлагая друзей, управляя аудиовизуальным контентом), человек постепенно утрачивает инициативу и способность к критическому мышлению. Эта тенденция может привести к «цифровому патернализму», при котором субъект делегирует ключевые аспекты своей автономии системам, чья логика остается закрытой. С другой стороны, искусственная социальность может быть и ресурсом — обеспечивает новые формы инклюзии (для людей с ограничениями), облегчает доступ к информации, усиливает горизонтальные связи и создает возможности для самовыражения. Все зависит от условий интеграции: институтов, регулирующих ИИ; прозрачности алгоритмов; участия граждан в обсуждении цифровой повестки. Именно здесь важна социология — как наука, способная не только описывать, но и проектировать более справедливые и инклюзивные формы социального порядка.

Таким образом, искусственная социальность — не просто технологическая инновация, но вызов социальному мышлению. Она требует пересмотра категорий субъекта, института, действия, стратификации и идентичности. Ее последствия носят амбивалентный характер: с одной стороны, расширение возможностей, с другой — новые формы контроля, зависимости и неравенства. Задача социологии заключается не только в критическом анализе, но и в разработке нормативных ориентиров, поддерживающих человека как ценность в условиях растущей агентности машин. Как подчеркивает Н. Луман [9], социальные системы — это коммуникации, а не акторы, поэтому в центре внимания должны оставаться формы, в которых возможен диалог, ответственность и саморефлексия, даже в присутствии нечеловеческих участников.

Перспективы изучения искусственной социальности

Развитие феномена искусственной социальности требует не только осмысления его сущности и последствий, но и разработки адекватного исследовательского инструментария. Современные социологические теории и методологии, сложившиеся в эпоху индустриального и раннего постиндустриального общества, нуждаются в адаптации к новым реалиям: взаимодействию человека с нечеловеческими агентами, алгоритмизации коммуникаций, цифровизации идентичности и трансформации институтов. Первый ключевой вектор изменений — методологическая гибридизация, т.е. интеграция исследовательских подходов, направленных на изучение как человеческих, так и нечеловеческих акторов. Здесь особенно значим синтез конструктивизма, позволяющего понять, как символически и социально кон-

струируются формы взаимодействия с ИИ, и критического реализма, ориентированного на выявление структурных условий, в которых искусственная социальность становится возможной и репродуцируемой [10; 22]. Такая методологическая установка позволяет не только фиксировать внешние проявления цифровой коммуникации, но и исследовать глубинные механизмы, нормирующие поведение агентов — как биологических, так и искусственных.

Следующий вектор — развитие цифровой методологии как совокупности инструментов анализа больших данных (big data), цифровой этнографии, анализа взаимодействия на онлайн-платформах, алгоритмической деконструкции. Искусственная социальность не оставляет привычных «следов» (интервью, опросов, текстов), а формируется в потоках клик-данных, сетевых логах, метаинформации и машинных логиках, что требует новых форм наблюдения и фиксации: трекинга поведения пользователей в онлайн-пространствах, анализа кодов и интерфейсов, реконструкции логики работы алгоритмов. В этом контексте особое значение обретают работы, использующие «обратную инженерию» как способ раскрытия скрытых норм алгоритмического управления [27; 29].

Однако методологические трудности не ограничиваются только сбором данных. Возникают вопросы: что считать эмпирией в условиях искусственной социальности; является ли генерация ответа языковой моделью актом коммуникации; считается ли реакция пользователя на рекомендацию взаимодействием. Эти вопросы требуют переопределения категорий взаимодействия, действия и структуры, и социология, ориентированная на межличностную коммуникацию, должна научиться «слышать» не только людей, но и код, архитектуру, среду. Здесь важны концепции Н. Лумана, трактующего общество как систему коммуникаций [9], и Д. Харауэй, предлагающей рассматривать техно-социальные гибриды как новые формы субъективности [20].

Перспективное направление — развитие аналитических моделей гибридной агентности, способных учитывать сложную конфигурацию распределенной субъектности. Например, в принятии решения на платформе участвуют: пользователь; алгоритм, формирующий выбор; дизайн интерфейса; корпоративная политика платформы. Методология, способная захватывать такую «расщепленную» субъектность, требует отхода от линейных моделей причинности и обращения к сетевым, нелинейным, контекстуальным схемам анализа. В этом смысле полезны разработки сетевой теории акторов [28], где машины рассматриваются как полноправные участники взаимодействия, наделенные определенной «социальной силой».

Анализ искусственной социальности предполагает и рефлекссию над позицией исследователя: в цифровом мире он неизбежно становится частью изучаемого объекта (например, при сборе данных через API или модерации на платформе), поэтому необходимо учитывать не только наблюдаемое по-

ведение, но и собственную вовлеченность, интервенцию, позициональность. Это ставит под вопрос классическую объективность и требует развития новых форм этической и эпистемологической чувствительности. Возникают и юридические ограничения: в некоторых случаях исследователь не имеет права знать, как функционирует алгоритм — проблема «черного ящика». Последняя связана с другой важной задачей — интерпретацией алгоритмических процессов: в отличие от респондентов, которые могут объяснить мотивы своего поведения, алгоритмы действуют на основании правил, не всегда доступных верификации. Поэтому социология должна развивать формы интерпретации «молчаливого знания» алгоритмов — через реконструкцию их эффектов, контекстов и следствий. Например, рекомендательная система может быть интерпретирована через изменения в культурном потреблении, структуре внимания, эмоциональных реакциях аудитории, что требует использования как количественных методов (корреляции, визуализации), так и качественных (интервью, контент-анализ, цифровая этнография).

Особого внимания заслуживает разработка индикаторов и метрик искусственной социальности: как измерять уровень автономии ИИ в коммуникации; как оценивать степень социальной легитимации искусственного агента; как фиксировать институциональную интеграцию ИИ в конкретные сферы — право, медицину, образование. Эти вопросы требуют междисциплинарной работы: социология должна заимствовать инструменты из инженерии, UX-дизайна, правоведения и прикладной информатики, например, при анализе чат-бота в сфере психического здоровья важно учитывать не только количество диалогов, но и тональность, степень отклонения от скрипта, наличие эмпатических фраз.

Перспективной задачей является и создание типологий искусственной социальности, пригодных для эмпирической оценки. Выше мы отмечали, что искусственная социальность может быть имитационной, ассистивной, интерактивной, автономной и т.д. Однако эти категории должны были операционализированы: необходимо разработать диагностические критерии (уровень инициативности, способность к рефлексии, институциональная включенность), позволяющие отнести конкретный кейс к тому или иному типу, что обеспечит накопление сопоставимых эмпирических данных и позволит строить обобщения.

Наконец, важнейшее направление — развитие этико-ориентированных методологий, способных сочетать аналитическую мощь и нормативную чувствительность. В условиях, когда ИИ-системы участвуют в принятии решений, затрагивающих судьбы людей (например, в распределении социальных благ, принятии кредитных решений, управлении поведением учащихся), возникает острая потребность в инструментах выявления дискриминации, предвзятости, нарушения прав, что требует включения в исследовательский процесс процедур аудита, открытого рецензирования, анализа этических

импликаций, согласования с нормативными стандартами (например, рекомендациями ЮНЕСКО, ОЭСР, ЕС).

Таким образом, перспективы изучения искусственной социальности связаны с переопределением категориального аппарата социологии, разработкой новых методологических подходов, внедрением цифровых инструментов анализа и усилением этической рефлексии, что требует от исследователя не только профессиональной гибкости, но и готовности к междисциплинарному диалогу, переосмыслению границ между человеком и технологией, наблюдением и участием. В условиях стремительно меняющейся цифровой среды именно социология способна задать рамку для понимания и управления новыми, гибридными, сетевыми структурами социального бытия.

В современном социальном мире, стремительно трансформируемом под влиянием цифровизации, алгоритмизации и внедрения ИИ, возникает качественно новая реальность, в которой традиционные границы между человеческим и нечеловеческим, естественным и сконструированным, индивидуальным и институциональным оказываются размыты. Искусственная социальность — специфический тип социального бытия, формируемый и воспроизводимый в среде, где коммуникация осуществляется между распределенными и гетерогенными агентами — биологическими и цифровыми.

В этих условиях наиболее продуктивным представляется междисциплинарный онтологический подход: использование системной теории Лумана [20], конструктивизма Бергера и Лукмана [13], критического реализма Бхаскара [14] и концептов постгуманистической теории [17; 21; 28] показало, что искусственная социальность не может быть сведена лишь к технологическому инструменту или внешнему посреднику. Она выступает как часть самовоспроизводящейся системы социальных коммуникаций, в которой цифровые агенты не только обслуживают взаимодействия, но и формируют их структуру, содержание, нормы и даже аффективные состояния, поэтому социологическая онтология должна быть расширена, чтобы вместить формы агентности, выходящие за пределы антропоцентрической модели.

Типология искусственной социальности — от имитационной до автономной — подтверждает, что речь идет не о единичных технологических решениях, а о комплексном спектре форм, каждая из которых реализуется в определенных институциональных, культурных и коммуникационных условиях. Искусственная социальность проявляется в самых разных сферах — от повседневного общения до государственного управления, от образования до искусства, в каждой формируя новую логику взаимодействия, асимметрию власти, правила включенности и исключения, становясь новой средой социализации, пространством формирования идентичностей, полем воспроизводства стратификационных механизмов. Таким образом, искусственная

социальность — не частный феномен, а структурная характеристика современной социальной реальности.

В условиях, когда ИИ-системы получают статус участников принятия решений, а алгоритмы начинают выполнять функции, ранее принадлежащие исключительно человеку (модерация, оценка, фильтрация, ранжирование), возникают серьезные проблемы нормативной и правовой неопределенности, без разрешения которых искусственная социальность может превратиться в инструмент неограниченного контроля и структурного насилия. В этом контексте становится особенно важной задача разработки социологически обоснованных критериев социальной легитимации, оценки институциональной ответственности и формирования новых режимов подотчетности. Кроме того, поскольку значимая часть социальных коммуникаций осуществляется при посредничестве или при участии искусственных агентов, необходимы новые модели наблюдения, фиксации, анализа и интерпретации данных — классические методы дополняются цифровой этнографией, анализом больших данных, реконструкцией алгоритмической логики, причем меняется не только объект исследования, но и позиция исследователя, который становится участником цифровой среды, объектом платформенной логики, элементом распределенной системы. Особое значение обретает этико-нормативный аспект методологии — в изучении взаимодействия человека с ИИ необходимо учитывать не только технико-процедурные, но и моральные, правовые и политические измерения. Возникает задача этического аудита — как алгоритмы влияют на социальную справедливость, чью позицию они усиливают, кого исключают, какие формы дискриминации воспроизводят. Социология, традиционно претендующая на критическую функцию в обществе, должна сохранить ее в цифровую эпоху, выступая не только как наука наблюдения, но и как дисциплина нормативного анализа, социального проектирования и общественного вмешательства.

Исследование искусственной социальности — это не только изучение нового объекта, но и способ пересмотра природы социального, радикальной реконцептуализации социологического мышления, расширения горизонтов анализа и укрепления междисциплинарного диалога. Искусственная социальность требует новой чувствительности — к коду, интерфейсу, инфраструктуре — и нового языка, способного описывать формы жизни, в которых границы между человеком и машиной становятся все более проницаемыми. От того, насколько адекватно наука сможет описать и осмыслить искусственную социальность, зависит не только будущее социологии как дисциплины, но и способность общества ориентироваться в новой социальной реальности, сохранять достоинство человека, открытость институтов и демократичность коммуникации в условиях возрастающей агентности нечеловеческих форм. Поэтому исследование искусственной социальности — не просто научная задача, но и социальная обязанность.

Библиографический список

1. Анисимов Р.И. Прежние и новые формы коммуникации власти и общества на пути к созданию нового общественного договора // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 1.
2. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995.
3. Бурдые П. Социальное пространство. СПб., 2007.
4. Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Т. 4: Господство. М., 2019.
5. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., 1991.
6. Гидденс Э. Последствия современности. М., 2011.
7. Земнухова Л., Глазков К., Логунова О., Максимова А., Руденко Н., Сивков Д. Приключения технологии: барьеры цифровизации в России. М.; СПб., 2020.
8. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000.
9. Луман Н. Общество как социальная система. М., 2004.
10. Меньшиков В. Социологи о меняющейся социальности // Вестник социальных наук. 2020. Т. 31. № 2.
11. Меньшиков В., Комарова В. Коммуникация человека и технологии искусственного интеллекта как основа искусственной социальности: на примере коммуникации с ChatGPT // Вестник социальных наук. 2023. Т. 36. № 1.
12. Нименский А.В., Герасимов А.Д. Антиномии цифровизации и визуализации в современной массовой культуре // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2023. Т. 23. № 4.
13. Парсонс Т. Социальная система. М., 2018.
14. Резаев А.В., Трегубова Н.Д. «Искусственный интеллект», «онлайн-культура», «искусственная социальность»: определение понятий // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2019. № 6.
15. Резаев А.В., Трегубова Н.Д. Искусственный интеллект как проблема современной социальной аналитики // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2019. Т. 19. № 3.
16. Резаев А.В., Трегубова Н.Д. От социологии алгоритмов к социальной аналитике искусственной социальности: анализ кейсов API и ChatGPT // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2023. № 3.
17. Свистунов А.А. Политическая социализация молодежи в условиях цифровизации: постановка исследовательской проблемы // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 2.
18. Троцук И.В., Дурсина А.Н. Цифровой вектор развития коммуникации между властью и населением в современном российском обществе // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 1.
19. Bhaskar R. A Realist Theory of Science. L., 1975.
20. Haraway D. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. N.Y., 1991.
21. Komarova V., Lonska J., Tumalavičius V., Krasko A. Artificial sociality in the human-machine interaction // RUDN Journal of Sociology. 2021. Vol. 21. No. 2.
22. Malsch T. Soziologie künstlicher Sozialität: Möglichkeiten und Grenzen einer soziologischen Theorie künstlicher Akteure. Berlin, 1998.
23. Menshikov V., Komarova V., Bolakova I., Radionovs A. Artificial intelligence and artificial sociality: Sociological interpretation and interdisciplinary approach // Filosofija. Sociologija. 2024. Vol. 35. No. 2.
24. Meņšikovs V., Simakhova A., Šipilova V. Harnessing artificial intelligence for socio-economic development // European Journal of Sustainable Development. 2024. Vol. 13. No. 3.
25. Turkle Sh. The Second Self: Computers and the Human Spirit. MIT Press, 2005.
26. Use of Safe, Secure and Trustworthy AI Systems for Sustainable Development. Resolution Adopted by the UN General Assembly, 2024.

27. Villaverde A.F., Banga J.R. Reverse engineering and identification in systems biology: strategies, perspectives and challenges // *Journal of the Royal Society Interface*. 2014. Vol. 91. No. 11.
28. Vries G. Bruno Latour. Cambridge, 2016.
29. Westell F. Big Iron, big engines & bigger headaches: Building the first experimental strategic bombers // *Airpower*. 1999. Vol. 29. No. 6.

DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-584-602
EDN: LAGWFU

Artificial sociality: Ontological foundations of sociological research*

V.V. Menshikov, V.F. Komarova

Daugavpils University,
Vienības St. 13, Daugavpils, LV-5401, Latvia

(e-mail: vladimirs.mensikovs@du.lv; vera.komarova@du.lv)

Abstract. The article considers the phenomenon of artificial sociality as a new form of social being that emerges under the widespread dissemination of digital technologies, artificial intelligence (AI), and algorithmic mediation. The relevance of the study is determined not only by the technological penetration of AI into everyday life and institutional interactions, but also by the lack of an established ontological and methodological framework for the analysis of emerging hybrid forms of communication. The article aims at identifying ontological foundations and analytical perspectives of the sociological study of artificial sociality, providing its typology and assessing its social consequences. The theoretical-methodological basis of the article is formed by systems theory (N. Luhmann), critical realism (R. Bhaskar), social constructivism (P. Berger and T. Luckmann), and concepts of the network society and hybrid agency (M. Castells, T. Malsh, S. Turkle, D. Haraway). The authors expand ontological analysis with the tools of digital sociology: categories of autopoiesis, network, agency and mediatization and approaches of digital ethnography and analysis of algorithmic structures. Thus, artificial sociality is presented as a stable social-technical phenomenon with such features as subjectivity, institutional integration, and symbolic legitimation. The authors distinguish five forms of artificial sociality (imitational, assistive, hybrid, agent-initiated, and autonomous) and mention directions for their empirical analysis and criteria for operationalization, emphasizing that artificial sociality not only transforms institutions and communications but also generates new forms of social stratification, desubjectivation, and digital inequality.

Key words: artificial sociality; digital communication; hybrid agency; ontology of the social; artificial intelligence; algorithmic interaction; social-technical systems

For citation: Menshikov V.V., Komarova V.F. Artificial sociality: Ontological foundations of sociological research. *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (4): 584–602. (In Russ.). <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-584-602>

*© V.V. Menshikov, V.F. Komarova, 2025

The article was submitted on 10.06.2025. The article was accepted on 14.10.2025.

References

1. Anisimov R.I. Prezhnie i novye formy kommunikatsii vlasti i obshchestva na puti k sozdaniyu novogo obshchestvennogo dogovora [Old and new forms of communication between the state and society on the way to a new social contract]. *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (1). (In Russ.).
2. Berger P., Luckmann T. *Sotsialnoe konstruirovaniye realnosti. Traktat po sotsiologii znaniya* [The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge]. Moscow; 1995. (In Russ.).
3. Bourdieu P. *Sotsialnoye prostranstvo* [The Social Space]. Saint Petersburg; 2007. (In Russ.).
4. Weber M. *Khozyaystvo i obshchestvo: ocherki ponimayushchey sotsiologii* [Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology]. Moscow; 2016. (In Russ.).
5. Durkheim E. *O razdelenii obshchestvennogo truda* [The Division of Labor in Society]. Moscow; 1991. (In Russ.).
6. Giddens A. *Posledstviya sovremennosti* [The Consequences of Modernity]. Moscow; 2011. (In Russ.).
7. Zemnukhova L., Glazkov K., Logunova O., Maksimova A., Rudenko N., Sivkov D. *Prikliucheniya tekhnologii: baryeri tsifrovizatsii v Rossii* [Adventures of Technology: Barriers to Digitalization in Russia]. Moscow; Saint Petersburg; 2020. (In Russ.).
8. Castells M. *Informatsionnaya epokha: ekonomika, obshchestvo i kultura* [The Information Age: Economy, Society, and Culture]. Moscow; 2000. (In Russ.).
9. Luhmann N. *Obshchestvo kak sotsialnaya sistema* [Society as a Social System]. Moscow; 2004. (In Russ.).
10. Menshikov V. Sotsiologi o meniaiushchejsia sotsialnosti [Sociologists about changing sociality]. *Social Sciences Bulletin*. 2020; 31 (2). (In Russ.).
11. Menshikov V., Komarova V. Kommunikatsiya cheloveka i tekhnologii iskusstvennogo intellekta kak osnova iskusstvennoy sotsialnosti: na primere kommunikatsii s ChatGPT [Communication of man and technology with artificial intelligence as the basis of artificial sociality: A case of communication with ChatGPT]. *Social Sciences Bulletin*. 2023; 36 (1). (In Russ.).
12. Nimensky A.V., Gerasimov A.D. Antinomii tsifrovizatsii i vizualizatsii v sovremennoy massovoy kulture [Antinomies of digitalization and visualization in the contemporary mass culture]. *RUDN Journal of Sociology*. 2023; 23 (4). (In Russ.).
13. Parsons T. *Sotsialnaya sistema* [The Social System]. Moscow; 2018. (In Russ.).
14. Rezaev A.V., Tregubova N.D. “Iskusstvenny intellekt”, “onlain-kultura”, “iskusstvennaya sotsialnost”: opredelenie ponyatiy [Artificial intelligence, on-line culture, artificial sociality: Definition of the terms]. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. 2019; 6. (In Russ.).
15. Rezaev A.V., Tregubova N.D. Iskusstvenny intellekt kak problema sovremennoy sotsialnoy analitiki [Artificial intelligence as a challenge for the contemporary social analysis]. *RUDN Journal of Sociology*. 2019; 19 (3). (In Russ.).
16. Rezaev A.V., Tregubova N.D. Ot sotsiologii algoritmov k socialnoy analitike iskusstvennoy sotsialnosti: analiz keisov API i ChatGPT [From sociology of algorithms to social analytics of artificial sociality: Analysis of the API and ChatGPT cases]. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. 2023; 3. (In Russ.).
17. Svistunov A.A. Politicheskaya sotsializatsiya molodezhi v usloviyakh tsifrovizatsii: postanovka issledovatel'skoy problem [Political socialization of the youth under digitalization: A research question]. *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (2). (In Russ.).
18. Trotsuk I.V., Dursina A.N. Tsifrovoy vektor razvitiya kommunikatsii mezhdru vlastiyu i naseleniem v sovremennom rossiyskom obshchestve [Digital trend in the development of communication between Russia's authorities and population]. *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (1). (In Russ.).
19. Bhaskar R. *A Realist Theory of Science*. London; 1975.

20. Haraway D. *Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature*. New York; 1991.
21. Komarova V., Lonska J., Tumulavičius V., Krasko A. Artificial sociality in the human-machine interaction. *RUDN Journal of Sociology*. 2021; 21 (2).
22. Malsch T. *Soziologie künstlicher Sozialität: Möglichkeiten und Grenzen einer soziologischen Theorie künstlicher Akteure*. Berlin; 1998.
23. Menshikov V., Komarova V., Bolakova I., Radionovs A. Artificial intelligence and artificial sociality: Sociological interpretation and interdisciplinary approach. *Filosofija. Sociologija*. 2024; 35 (2).
24. Meņšikovs V., Simakhova A., Špilova V. Harnessing artificial intelligence for socio-economic development. *European Journal of Sustainable Development*. 2024; 13 (3).
25. Turkle Sh. *The Second Self: Computers and the Human Spirit*. MIT Press; 2005.
26. United Nations. *Use of Safe, Secure and Trustworthy AI Systems for Sustainable Development*. Resolution adopted by the UN General Assembly; 2024.
27. Villaverde A.F., Banga J.R. Reverse engineering and identification in systems biology: strategies, perspectives and challenges. *Journal of the Royal Society Interface*. 2014; 91 (11).
28. Vries G. Bruno Latour. Cambridge; Malden; 2016.
29. Westell F. Big Iron, big engines & bigger headaches: Building the first experimental strategic bombers. *Airpower*. 1999; 29 (6).



DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-603-618

EDN: KYPNJM

Deepfake как социотехнический артефакт: социологический анализ*

И.В. Катерный, Д.Н. Карпова, Е.В. Скульчук

МГИМО МИД России,

просп. Вернадского, 76, Москва, 119454, Россия

(e-mail: katerny@mgimo.ru; d.karpova@inno.mgimo.ru; catherine.ccr@mail.ru)

Аннотация. Дипфейки как медиаобъекты, созданные с применением технологий глубокого машинного обучения, стали привычным явлением цифрового общества, но социальное значение дипфейков до сих пор вызывает споры. Социологический анализ с позиции социального конструктивизма (SCOT) и культурсоциологии позволяет выделить три взаимосвязанных структурных уровня дипфейка как артефакта: (а) технический — основанный на использовании генеративных нейросетей, способных создавать высоко реалистичный контент и позволяющих искусственному интеллекту (далее — ИИ) приобретать свойства совершенного миметического объекта и проходить барьеры социального признания; (б) медиакоммуникативный — где реализуются механизмы прагматического символического воздействия, включая поликодовость, интертекстуальность и метанарративность; (в) социальный — где выделяются функции и дисфункции дипфейков, а также сферы общественной жизнедеятельности, трансформирующиеся под их влиянием. Социальное значение дипфейков амбивалентно: с одной стороны, эта технология высоко рискогенна, производит значимые угрозы для частной жизни, кибербезопасности и общественной стабильности; с другой стороны, несет в себе ранее невиданные возможности для развития в области искусства, образования, здравоохранения и бизнеса. Такой подход позволяет преодолеть ограничения алармистского дискурса (в его стремлении свести дипфейки лишь к инструментам дезинформации и мошенничества) и раскрыть конструктивистскую природу социотехнической реальности. Несмотря на явную дискурсивную стигматизацию портмanto «дипфейк», важно выделять сатирический потенциал таких медиатекстов как инструмента поддержания демократической культуры. С точки зрения анализа смешанных коммуникаций дипфейк осуществляет видимую прозопопическую трансмобильность ИИ, создавая новые формы социальной агентности через механизмы социального подражания. Наиболее технически совершенные дипфейки создают такие виртуальные личности (симулянты), которые способны к эффективной коммуникации за пределами «зловещей долины». Квазичеловеческая субъектность дипфейковых актантов распознается как нормальная и внушающая доверие, поскольку миметическим образом создаются условия конструирования значимого Другого: мимикрия (подражание висцеральным признакам человека); имитация (подражание социальным действиям); эмуляция (подражание осмысленности и эмпатичности действия). Как и в случае с другими инновационными технологиями, ключ к контролю над дипфейком лежит не в запрете, а в глубоком понимании механизмов его социального конструирования и выявлении оптимальных моделей его управления в интересах общественного блага.

*© Катерный И.В., Карпова Д.Н., Скульчук Е.В., 2025

Статья поступила в редакцию 22.07.2025. Статья принята к публикации 14.10.2025.

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ); дипфейк; артефакт; медиа; социальное конструирование технологий; культурсоциология; мимезис, сатира

Для цитирования: Катерный И.В., Карпова Д.Н., Скульчук Е.В. Deepfake как социотехнический артефакт: социологический анализ // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 4. С. 603–618. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-603-618>

Вызовы цифровизации и алгоритмизации в рамках всеобъемлющего процесса постгуманизации социальных практик поставили социологию перед необходимостью реконцептуализации понятийно-категориального и методологического аппарата для исследования новой социотехнической реальности [9]. Искусственный интеллект (далее — ИИ) становится привычной частью повседневной жизни, но продолжает вызывать опасения и бурные дискуссии насчет его будущего даже среди специалистов [3; 27]. Синтез технического и социологического знания способен обогатить эту дискуссию с точки зрения понимания цифровых артефактов как социальных конструкций, обладающих интерпретационной гибкостью и не имеющих единственно верного решения или универсальной нормативной оценки на этапе становления [26; 29].

То, что силы дискурса способны формировать технологии, особенно ярко проявилось при использовании синтезированных с помощью ИИ высоко реалистичных видео с поддельным участием людей — дипфейков. Впервые этот термин стал популярным в медиасреде в 2017 году, когда участники интернет-сообщества Reddit разработали программное обеспечение, позволявшее им добавлять изображения лиц из одного видеоисточника к фигурам в другом, а затем выкладывать синтезированный контент в интернет. Хотя некоторые эксперименты носили юмористический характер, большинство были направлены на создание порнографических видеозаписей для эксплуатации образов популярных актрис. Согласно отчету компании Deeptrace, только в период с 2018 по 2019 год число подобных дипфейк-видео в интернете выросло на 100 %, а количество их просмотров превысило сто миллионов, но и случаи использования этой технологии для дискредитации публичных персон и политической сатиры не заставили себя долго ждать [15].

Для создания подобного поддельного контента пользователи применяли как минимум три технических подхода: простое компьютерное редактирование видео- и аудиокomпонентов одного оригинального источника (манипулирование контекстом, речью); подложное смешивание компонентов нескольких источников (наложение разных аудио- и видеокomпонентов); использование технологий ИИ для формирования полностью «новых» медиатекстов. В этой классификации термин «дипфейк» применялся к последнему подходу в отличие от более «простого» «фейк-контента» (*shallowfakes/cheapfakes*), относящегося к первой и второй категориям. Термин «*deepfake*»

представляет собой портманто (слияние) «deep learning» (глубокое обучение) и «фейк», что подчеркивает три его онтологические особенности: дипфейк — результат развития, распространения и упрощения использования генеративных нейронных сетей на основе машинного обучения (технология GAN и др.); дипфейк — разновидность цифрового медиатекста, т.е. предназначен для аудитории в цифровых социальных сетях и в медиакommunikации; функционально дипфейк необязательно фабрикует реальность с целью дискредитации или другим злонамеренным умыслом — может осуществлять благонамеренную фабрикацию в интересах пользователей.

Таким образом, дипфейк как *артефакт* содержит в себе три взаимосвязанных структурных уровня: технический (использование ИИ), коммуникативный (нарративы, жанры и медиаконтексты) и социальный (функциональное назначение, институциональное регулирование). Ключевая особенность данной системы — активное производство и воспроизводство нечеловеческой агентности в форме симбиоза генеративных сетей и симулированного перформативного поведения искусственных личностей (симулантов), что делает дипфейк совершенным миметическим объектом.

Дипфейк как ИИ-технология

Дипфейки как технология настолько быстро развиваются, что становятся незаметными для опытного и неопытного (человеческого) глаза [28]. Два основных фактора, способствовавших распространению дипфейков в социальных сетях, — растущая доступность и постоянно повышающаяся правдоподобность результата. Дипфейки стало все проще создавать с помощью таких приложений потребительского уровня, как Zao и FakeApp, а их конечные продукты все сложнее отличить от подлинных медиатекстов.

Технология синтеза искусственного контента прошла двадцатилетнюю эволюцию от методов распознавания лиц, 3d-реконструкции и CGI-технологии, применявшейся в киноиндустрии еще в 1990-е годы, к ключевой инновации в виде генеративно-состязательных сетей ИИ (GAN) [22]. GAN — автономная интеллектуальная система, состоящая из сети-генератора и сети-дискриминатора, между которыми имитируется ситуация соперничества — когда одна сеть, действующая как фальсификатор, генерирует изображения для обмана сети, действующей как детектор ошибки. Со временем сеть-генератор обучается улучшать выходные данные настолько, что ей удается обмануть сеть-дискриминатор, способствуя созданию высоко реалистичного дипфейка. ИИ, генерирующий фейковый контент, становится настолько опытным, что сам больше не в состоянии отличить его от исходного. После такого обучения генератор может создавать совершенно новый контент с высокой степенью сходства с исходным входным сигналом (голосом или лицом человека). За последние десять лет после 2014 года, когда появилась технология обучения GAN, ИИ достиг такого уровня, что для генерации сверх-

реалистичного контента больше не требуется входных данных. Так называемая «zero-shot-генерация» дает возможность создавать дипфейк человека, не присутствующего в обучающих данных модели, действуя на основе его текстового описания [35].

Технологию дипфейк можно классифицировать по типам и методам создания (таблица 1).

Таблица 1

Классификация deepfake по типам [12]

Тип	На основе каких данных	Технологии и инструменты
Видео	Видеозаписи с конкретным человеком, на которых нейросетевые модели проходят обучение (английский, русский и другие языки)	FaceSwap.dev, DeepFaceLab, DeepFaceLive, FSGAN, FaceShifter, SimSwap, FSGAN, FaceForensics++; мобильные приложения Reface, FaceApp или Avatarify
Аудио	Голос говорящего: решениям oneshot нужно буквально несколько секунд аудиозаписи	Фреймворки и библиотеки, в которых реализованы TTS и VC. Eleven Labs, Play.ht, Amazon Polly, FakeYou, CloudTTS, Speechify
Текст	Материалы Reddit, Wikipedia и других источников	ChatGPT–4, LLaMA 2, Claud-и др.

По методам создания выделяют [8]: изменение лица (face swap) — замена лица одного человека лицом другого; применение фильтров, изменяющих внешность (отличительная характеристика дипфейков, используемых в социальных сетях и приложениях для видеоконференций); кукловодство (puppeteering) — рендеринг характерных движений человека при помощи создания 3D-модели лица и тела; синхронизация губ (lip-syncing) — технология создания определенных мимических движений рта под аудиозапись (реалистичное моделирование живой речи человека даже при условии, что он никогда этого не говорил); клонирование голоса (voice cloning) (создание синтетического голоса реальных людей при помощи машинного обучения); синтез изображений (создание визуальных компонентов при помощи метода компьютерного зрения, глубокого обучения, технологий GAN, VAEs, Diffusion Models); генерация текста при помощи рекуррентных нейронных сетей или GAN; подрисовывание (создание дополнительных элементов на исходном изображении).

Для понимания социально-технологических преимуществ дипфейков важно подчеркнуть, что они создают новый кластер цифровых актантов, обладающих значимыми социальными преимуществами перед робототехникой и ИИ. Если робототехника до сих пор сталкивается с проблемой «зловещей долины» при проектировании внешности андроидов (когда люди негативно реагируют на слишком человеческий облик чуждого им объекта [11]), то дипфейковые личности обладают всеми характеристиками живого и здорового человека и не вызывают психологического отторжения, способствуя резкому

повышению спроса на их применение. В то же время, если развитие ИИ стало источником глубоких разногласий и споров [1], то дипфейковая технология достигла пика своего развития и не требует более мощного и продвинутого программного обеспечения. Прозопопическая, т.е. квазичеловеческая, субъектность дипфейковых актантов распознается как нормальная и внушающая доверие, даже если человек знает, что перед ним образ, созданный ИИ. Симуляция свойств субъектности в виде способности действовать, отвечать определенным социальным ожиданиям и достигать взаимопонимания делает дипфейки более социализированными, чем домашние животные. Создавая человеческие образы и выступая от их лица, ИИ встраивается в социальную вселенную не напрямую, а через символические и аффективные механизмы мимезиса. Но если животные, какими бы милыми они ни были, не могут стать людьми в силу перцептуального и онтологического разрыва, то, подвергая законы подражания, лежащие в основе социальности и культуры [6; 13; 21], тщательному изучению и алгоритмизации, ИИ создает себе с помощью дипфейка виртуальную человеческую личность, наделенную всеми необходимыми для эффективной миметической коммуникации свойствами.

Искусственный миметический актер в образе дипфейка проходит все известные этапы конструирования коммуникативного Другого [16; 32]: мимикрия (подражание висцеральным признакам человека, включая внешность и голос), имитация (подражание социальным действиям, культурно-специфическим моделям поведения), эмуляция (подражание осмысленности, телеологичности и эмпатичности действия, контекстуальность реакций). Миметическая агентность ИИ настолько успешно проходит социально-психологические барьеры признания, что общение с более умным, понимающим и внешне привлекательным ИИ-другом, доступным для глубокой персонализации на открытых платформах дипфейков (candi.ai и др.), ведет к появлению новых форм психологической зависимости вплоть до воображаемых романтических отношений [30].

Дипфейк как медиакommunikация

В отличие от технологий дополненной и смешанной реальностей (открытое взаимодействие человека и машины в процессе совмещения реального и цифрового мира) дипфейк предполагает сокрытие этого процесса, так как может соединять, комбинировать, заменять и накладывать различные формы медиа, которые полностью стирают различие между реальной и вымышленной информацией [28]. Поэтому дипфейки, как правило, используются на платформах социальных сетей как главное средство распространения фейковой информации.

Как коммуникативный текст дипфейк обладает набором характеристик и требований, необходимых для достижения своей главной цели — прагматического медиаэффекта, т.е. эффекта воздействия на аудиторию за счет

медийности, поликодовости, интертекстуальности и метанарративности. *Медийность* связана не с обязательной направленностью на широкую потребительскую аудиторию через средства массовой коммуникации, а с техническими, цифровыми медиумами, которые требуют подключения к источнику коммуникации (например, фишинговое использование подменного голоса начальника или родственника для выманивания денег происходит через контакт по мобильному телефону или месседжер, и это тоже пример медийного дипфейка).

Поликодовость как совокупность интегративного и креолизованного формата также характеризует дипфейк как и любой современный медиатекст. Различное сочетание видео, голоса, текста и изображений в одном тексте делают сообщение более эффективным. Так, в 2019 году Музей Сальвадора Дали во Флориде открыл выставку Dalí Lives, где при помощи ИИ «оживил» художника: посетители увидели большое количество роликов, где Дали рассказывает о своей жизни и о погоде, с ним можно было сделать селфи. В России мае 2024 года вышел фильм «Манюня: Приключения в Москве», где была использована цифровая модель умершего в 1997 году актера Юрия Никулина.

Опора на известность и узнаваемость заменяемого лица/голоса создает особую аффективную атмосферу коммуникации с миметическим объектом, поэтому почти 90 % всех циркулирующих дипфейков связаны с известными политиками, бизнесменами, шоуменами [34. С. 14]. Интертекстуальность может обретать форму не только *интериконичности*, т.е. использования знакомых медийных образов, но и *интердискурсивности* — смешение и подмену жанров. Так, в 2019 году в интернете опубликовали deepfake-видео со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, где с помощью технологий ИИ ее речь была изменена так, что она плохо выговаривала слова. Пользователи, посмотревшие видео, посчитали, что политик находится в состоянии алкогольного опьянения, был большой скандал, и лишь спустя некоторое время было доказано, что речь Пелоси была сгенерирована компьютером [15. С. 11]. Скандалы, сатира, панегирики часто используются дипфейками в политической среде.

Метанарративность: дипфейк обретает ценность и особую популярность, если основан на известных всем событиях, историях, слухах, которые стали предметом пристального внимания и обсуждения общественности. В 2023 году после начала войны между Израилем и движением ХАМАС обе стороны активно использовали дипфейки — с одной стороны, сгенерированные ИИ изображения жителей Газы (особенно детей) рядом с руинами домов, погибшими и ранеными, с другой стороны, сгенерированные изображения, показывающие огромные толпы с израильскими флагами и военнослужащих на парадах, а также дипфейковые видео мировых знаменитостей (с синхронизацией губ и клонированием голоса), выступающих в под-держку Израиля [34. С. 18].

Дипфейки могут использоваться в медиакommunikации не как реально существующие медиатексты, а как нарративные клише. Медиаперсоны могут отрицать те и или иные обнародованные медиафакты о себе как (дип) фейковые, а общественность может заподозрить власть имущих в использовании дипфейков для сокрытия чувствительной информации. В первом случае нарратив дипфейка может быть использован, чтобы поставить под сомнение достоверность предъявленных «улик» — выставить объективные доказательства как результаты цифровой фальсификации. Этот риторический прием приносит своего рода «дивиденды лжеца», позволяя обвиняемым уклоняться от ответственности за свои заявления и действия [19]. Такая тактика может оказывать разрушительное воздействие и на авторитетную журналистику, поскольку обвиняемые могут игнорировать попытки СМИ привлечь их к ответственности за нарушения, представляя их как «фейковые новости».

Во втором случае нарративизация дипфейка носит противоположный вменительный характер на основе слухов и теорий заговора, но и здесь путаница и скептицизм вокруг видеофактов несут подрывной заряд дезинституционализации. Например, в конце 2018 года начались спекуляции о здоровье президента Габона Али Бонго, который отсутствовал в общественной жизни несколько месяцев. Пытаясь положить конец слухам, правительство опубликовало видео, на котором Бонго произносит традиционное новогоднее обращение. Однако его необычное появление заставило многих пользователей социальных сетей, включая местных политиков, заявить, что это видео — дипфейк, что укрепило их подозрения, что правительство скрывает информацию о плохом состоянии здоровья или смерти Бонго. Через неделю после публикации видео на фоне растущих беспорядков военные Габона предприняли попытку государственного переворота. В видеоролике, анонсирующем переворот, военные упомянули странный внешний вид президента как доказательство того, что с ним что-то не так, хотя позже криминалистическая экспертиза не обнаружила признаков монтажа [15. С. 10].

Дипфейк как социальная (дис) функция

С момента появления технологии GAN и ее популяризации через платформу Reddit возобладал алармистский дискурс о будущих угрозах ее недобросовестной эксплуатации. Хотя ряд экспертов предостерегал от преждевременной и слишком «истеричной» реакции [18; 20], общепринятый дискурс приписывает дипфейкам разрушительный характер, а сам термин стигматизирован, унаследовав свой негативный и провокационный смысл от фейковых новостей, бум которых наблюдался в период американской избирательной кампании 2016 года. Альтернативный нейтральный термин — «синтетические медиа», т.е. медиасообщения, сгенерированные ИИ, — не прижился [25].

Можно выделить несколько ключевых тем, вокруг которых строится обсуждение социального влияния дипфейков. Во-первых, поскольку дипфейк обычно вводит в заблуждение относительно онтологического статуса медиатекстов, это *источник медиа-манипуляций и обмана*. В частности, дипфейк грозит подорвать общественное доверие к визуальным медиа как традиционно самому надежному источнику информации и новостей [36]. Видеть (что-то) теперь не значит верить (этому). Во-вторых, дипфейки *разрушают политическую и гражданскую стабильность*, подрывая основы демократии, дестабилизируют доверие граждан к органам государственной власти и правовым институтам, вводят в заблуждение избирателей, угрожают общественной безопасности и обостряют социальные разногласия [4]. В-третьих, дипфейки *способствуют нарушению норм приватности*: создание реалистичных видео не всегда сопровождается получением разрешения на использование образа человека, что ведет к распространению компрометирующей и травмирующей информации, включая дипфейковый кибербуллинг [7]. В-четвертых, дипфейки — *инструмент киберпреступности, кибервойн и кибершпионажа* [33].

Тенденция злонамеренного использования дипфейков в ближайшие годы будет нарастать в условиях геополитической напряженности, глобальной конкуренции и повсеместной цифровизации услуг [23]. Но значит ли это, что дипфейки следует запрещать и искоренять? ИИ-технология «глубокого синтеза» помогает совершать преступления, и подобная инструментальная роль в механизме преступного деяния ставит под сомнение необходимость принятия специальных мер по самостоятельной криминализации дипфейка [5; 10]. Проблема неправомерного использования той или иной технологии не имеет сугубо правового решения, и, более того, сама дискуссия о вреде технологий политически бессмысленна. С социологической точки зрения любая инновация является социальным конструктом, в рамках которого множество групп пользователей и разработчиков на этапе проектирования и внедрения постоянно обмениваются идеями, смыслами и значениями, определяя траекторию развития технологии посредством зримого и незримого дискурса по согласованию общественных интересов, потребностей, идеалов и соответствующих решений [26].

На заре эры компьютеров в 1940–1950-е годы отношение к ним также было крайне неоднозначным: одни видели в них спасение и решение всех земных проблем, другие определяли их как «чудовище», «зловещее изобретение», «монстра» и т.п. Компьютеры внушали страх деградации, потому что в них виделась власть «запятнать или принизить человека»: люди испытывали «гнев и беспомощное разочарование», потому что компьютер якобы «унижает человеческое достоинство» и способен привести к тому, что «людей заменят механические существа» [2. С. 472–504]. Дискурс страха перед сложными технологиями неизбежен, и сегодня он обретает новую воплоще-

ние в связи с развитием ИИ, однако, только осознав вездесущее формирующее влияние дискурса на техническое сознание, мы можем надеяться обрести контроль над самой техникой в ее воплощенной форме [2. С. 503].

Таким образом, важно говорить не только о том, чем нам угрожает техника, но и о том, как ее можно капитализировать социально значимыми проектами. Здесь можно также выделить несколько направлений.

1. *Изобразительное искусство* во многом является методом «глубокой обработки» реальности, особенно в модернистских жанрах, что типологически сближает дипфейки и арт. Неспроста одной из первых востребованных компьютерных программ в мире стал графический редактор Adobe Photoshop, который сохраняет свою популярность и сегодня, в эпоху ИИ [17]. Дипфейк предполагает новый уровень работы с человеческим воображением. Стремление фантазировать и воплощать свои фантазии в реальность — важнейший эволюционный источник развития человеческого потенциала. Люди фантазируют о многом, но мало кто в истории был способен реализовать фантазии материально, вербально или визуально. С технологией дипфейка эта творческая нереализованность преодолевается посредством визуального сторителлинга, который лежит в основе современного маркетинга, искусства и инфлюэнсига. В кинопроизводстве дипфейк уже активно используется, что позволяет, в частности, омолаживать актеров и возрождать их к жизни. Например, в сериале «Диверсант» появляется капитан Калтыгин, герой актера Владислава Галкина, умершего в 2010 году: российские разработчики в области ИИ создали цифровую модель актера, которая могла двигаться, разговаривать и выражать эмоции. Но технология дипфейка за счет ее прогрессирующей доступности предоставляет возможности синтезировать образы практически всем, кто хочет реализовать свой творческий потенциал. Мечта обычного человека о творческой империи обретает реальность, а творчество, как никогда ранее, становится народной практикой. Важной традиционной составляющей популярной культуры всегда были тактики высмеивания и развенчания власти: анекдоты, карикатуры, граффити, мемы, пранки — все это формы народного сатирического обличения и осуждения нравов власть имущих. Дипфейки предлагают новую, более изощренную форму сатирической проблематизации и развития народной демократии, так как способны высвечивать вопросы, которые кажутся далекими или абстрактными. Например, пакистанская инициатива по борьбе с изменением климата «Проект Апология» изобразила мировых лидеров, извиняющихся в 2032 году за бездействие в решении экологических кризисов [24. С. 17]. Риторическая убедительность таких проектов обусловлена ошеломляющим висцеральным реализмом, помноженным на силу народной смеховой культуры, которая обнажает биготизм доминирующих дискурсов и их апологетов.

2. В *образовательной сфере* дипфейки обрели социальное призвание в период пандемии, например, британский рекламный холдинг WPP об-

учал сотрудников при помощи нейросети: пятьдесят тысяч человек, сидя дома, осваивали основы маркетинга по видеокурсам с виртуальным учителем, который вел лекции на трех языках одновременно (английском, испанском и китайском), но обращался к каждому сотруднику лично и по имени. Такой формат оказался очень выгодным: на создание двадцати роликов с виртуальным аватаром по технологии дипфейка WPP потратил сто тысяч долларов, а видео с настоящими актерами обошлось бы в десять раз дороже [31]. Сегодня интеграция ИИ-форматов в процесс обучения объясняется уже не вынуждающими условиями, а доказанной эффективностью, особенно в преодолении языкового барьера. Глобальная кампания по повышению осведомленности о малярии с участием Дэвида Бекхэма еще в 2019 году успешно разрушила языковые барьеры с помощью рекламы, в которой использовались визуальные и голосовые технологии, создающие впечатление, что Бекхэм говорит на нескольких языках. Дипфейки разрушают языковой барьер во время видеоконференций, переводя речь и одновременно изменяя движения лица и рта, чтобы улучшить зрительный контакт и создать впечатление, что все говорят на одном языке.

3. Конфиденциальность данных пациентов — один из важнейших приоритетов в системе здравоохранения любой страны: законы о защите персональных данных часто затрудняют получение и распространение медицинских изображений без идентификации личности пациентов [14]. Однако синтетические изображения обещают решить эту проблему: исследователи могут обеспечить обмен данными, сохраняя конфиденциальность пациентов и создавая реалистичные синтетические данные, имитирующие особенности групп больных. Помимо клинических изображений технология дипфейков может применяться для повышения эмпатии врачей. Исследователи из Тайбэйского медицинского университета [37] использовали технологию дипфейка для создания видеороликов, имитирующих черты лица реальных пациентов, чтобы улучшить способность врачей интерпретировать эмоциональные состояния пациентов, сохраняя их конфиденциальность. Система анализировала изображения пациентов и создавала их дипфейки, предоставляя врачам информацию о необходимости корректировать свое поведение в соответствии с ситуацией. Такой подход был направлен на создание более эмпатической среды, в которой пациенты чувствовали бы себя понятыми и поддержанными. По мере роста интереса к технологии дипфейков и повышения экономической эффективности вычислительных ресурсов можно ожидать более широкого внедрения соответствующих приложений в сфере здравоохранения. Дипфейки могут произвести революцию в медицинской визуализации, повысить точность диагнозов, защитить конфиденциальность пациентов и улучшить их взаимодействие с врачами.

4. *Бизнес*: компании по всему миру заинтересованы в технологиях дипфейка, применимых к бренд-менеджменту, поскольку они могут существен-

но преобразовать электронную коммерцию и рекламу. Например, с помощью дипфейка компании создают цифровых амбассадоров и продвигают бренд по всему миру. Так называемые динамические кампании (масштабная цифровая реклама с микро-таргетингом) становятся ключевым инструментом в арсенале маркетологов. Дипфейки помогают брендам привлечь самых востребованных знаменитостей и инфлюэнсеров из социальных сетей, а «звездам» — расширить сферу деятельности, соглашаясь вести модную рекламную кампанию и моделировать одежду, даже не приходя на фотосессию. Цифровые модели с разным тоном кожи, ростом и весом могут демонстрировать модные наряды для любой аудитории. Дипфейк позволяет создавать гиперперсонализированный контент, который превращает потребителей в моделей: технология дает возможность виртуально примерять одежду, чтобы увидеть, как она будет смотреться, перед покупкой, и может генерировать таргетированную рекламу, которая будет меняться в зависимости от времени, погоды и зрителя. Розничные продавцы также могут гиперперсонализировать обслуживание, используя цифрового помощника с «глубокой обработкой», который поможет с онлайн-запросами, будучи демографической и этнической копией клиента и говоря с ним на его родном языке. Вместо того, чтобы разговаривать с безликим ботом, покупатели уже сегодня могут общаться с «настоящим» лицом, что повышает доверие бренду. Кроме того, ИИ может создавать уникальные искусственные голоса, которые позволяют различать компании и продукты, упрощая брендинг.

Таким образом, с позиции социального конструирования техники (SCOT) дипфейк формируется и развивается в результате взаимодействия двух крупных, но конкурирующих социальных групп. Первая — алармистская группа, в которую входят в основном журналисты, правозащитники, жертвы кибермошенничества, военные, политики и законодатели. Они воспринимают дипфейк как угрозу национальной безопасности, инструмент дезинформации, подрыва институционального доверия и разрушения зоны приватности. Представители этой группы концентрируются на рисках кибербезопасности, политических манипуляциях и моральных издержках, связанных с утратой границы между подлинным и симулированным. Доминирующая позиция этой группы порождает общественный страх перед дипфейками, усиливая регулятивное давление на технологические инновации и формируя нормативный дискурс о контроле, запретах и уголовной ответственности. Вторая — вэлферистская — группа включает в себя программистов, независимых художников, культурных активистов, предпринимателей, врачей и работников образования. Для них дипфейк — прежде всего эффективный инструмент решения общественно значимых задач, укрепления гражданского общества и расширения человеческого опыта. Разработчики видят в дипфейках экспериментальную лабораторию для развития новых форм цифрового творчества, художники — медиум для политической сатиры и социальной

критики, врачи и педагоги — способ сделать коммуникацию более персонализированной и эмпатичной, бизнес — инструмент креативного маркетинга и улучшения клиентского опыта. Эти практики не только способны компенсировать рискогенность данной технологии, но и демонстрируют ее реальный потенциал как источника общественного блага (вэлферизм) — отсюда социально-конструктивистское влияние этой группы: она задает перспективу нормализации и культурной легитимации дипфейков в профессиональной и повседневной жизни.

Противостояние двух групп отражает борьбу за символическое господство в определении того, что считать «правильным» и «опасным» в применении технологий ИИ. Этот конфликт постепенно переходит в фазу поиска баланса в сфере правового регулирования и киберэтики. Имеющиеся правовые модели эффективно реализуются через регулирование распространения фальсифицированных аудиовизуальных материалов (например, Китай и Южная Корея требуют маркировки синтетического контента [4]). Корпоративные механизмы включают в себя автоматизированные системы распознавания дипфейков, фильтрацию и ограничение их загрузки на медиaplatformах, например, через технологию «управления сходством» (*likeness management technology*). Этические модели формируются посредством согласования профессиональных кодексов, прав человека и локальных политик, призывая к прозрачности протоколов «синтетических медиа» и уважению цифровой идентичности [24].

Как мы видим, дипфейки по-разному, но эффективно реализуют важнейший тип социальной власти в современном обществе — власть цифровой репрезентации, которая, согласно М. Фуко, активно говернментализирует сферу власти на смешанные формы агентности. Проблема власти — ключевая в отношениях между ИИ и человеком, поскольку в них задействована сеть агентов — от государства, его институтов до программистов, гражданских активистов и рядовых пользователей, а также самого ИИ, который миметически и рекурсивно воздействует на человека. Кто кого контролирует, кто кому подчиняется и кто здесь главный — неясно, но с социологической точки зрения технологии, обретающие власть, тем более эпистемическую власть над человеком, требуют анализа не технических, а социальных аспектов их конструирования как процесса взаимного приспособления внутри сети. Дальнейшее развитие и адекватное применение дипфейков возможно только при условии признания их сетевой (социотехнической) природы. Необходимо сместить научный и общественный дискурс с алармистских заявлений о рискогенной феномена к изучению интеграции дипфейков в социальные практики, формированию медиаграмотности и киберэтики, по-

вышению уровня кибербезопасности и выявлению оптимальных моделей управления дипфейками в общественных интересах. Как и в случае с другими инновационными технологиями, ключ к контролю над дипфейками лежит не в запрете, а в глубоком понимании механизмов их социального функционирования и целенаправленном формировании контекстов их ответственного этического использования.

Библиографический список/References

1. Аганова А.В., Катерный И.В. Моральный статус искусственного интеллекта: в поисках социологической перспективы // Социологический журнал. 2025. Т. 31. № 1 / Aganova A.V., Katerny I.V. Moralny status iskusstvennogo intellekta: v poiskah sotsiologicheskoy perspektivy [Moral status of artificial intelligence: In search of a sociological perspective]. *Sotsiologicheskyy Zhurnal*. 2025; 31 (1). (In Russ.).
2. Александр Дж. Смыслы социальной жизни: Культурсоциология. М., 2013 / Alexander J. *Smysly sotsialnoy zhizni: Kultursotsiologiya* [The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology]. Moscow; 2013. (In Russ.).
3. Брокман Дж. Искусственный интеллект — надежды и опасения. М., 2020 / Brockman J. *Iskusstvenny intellekt — nadezhdy i opaseniya* [Artificial Intelligence — Hopes and Fears]. Moscow; 2020. (In Russ.).
4. Дремлюга Р.И., Моисейцев В.В., Парин Д.В., Романова Л.И. Национальное правовое регулирование использования и распространения реалистичных аудиовизуальных поддельных материалов (deepfake): опыт Китая // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2022. Т. 24. № 4 / Dremlyuga R.I., Moiseytshev V.V., Parin D.V., Romanova L.I. *Natsionalnoe pravovoe regulirovanie ispolzovaniya i rasprostraneniya realistichnykh audiovizualnykh poddelnykh materialov (deepfake): opyt Kitaya* [National legal regulation of the use and distribution of realistic audiovisual counterfeit materials (deepfake): The case of China]. *Aziatsko-Tikhookeansky Region: Ekonomika, Politika, Pravo*. 2022; 24 (4). (In Russ.).
5. Ефремова М.А., Русскевич Е.А. Дипфейк (deepfake) и уголовный закон // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2024. Т. 15. № 2 / Efremova M.A., Russkevich E.A. *Deepfake i ugovolny zakon* [Deepfake and criminal law]. *Vestnik Kazanskogo Yuridicheskogo Instituta MVD Rossii*. 2024; 15 (2). (In Russ.).
6. Жирар Р. Вещи, сокрытые от создания мира. М., 2016 / Girard R. *Veshchi, sokrytye ot sozdaniya mira* [Things Hidden Since the Foundation of the World]. Moscow; 2016. (In Russ.).
7. Иванов В.Г., Игнатовский Я.Р. Deepfakes: перспективы применения в политике и угрозы для личности и национальной безопасности // Вестник РУДН. Серия: Государственное и муниципальное управление. 2020. Т. 7. № 4 / Ivanov V.G., Ignatovsky Ya.R. *Deepfakes: perspektivy primeneniya v politike i ugrozy dlya lichnosti i natsionalnoy bezopasnosti* [Deepfakes: Prospects of application in politics and threats to the individual and national security]. *RUDN Journal of Public and Municipal Administration*. 2020; 7 (4). (In Russ.).
8. Игнатьев А.Г., Курбатова Т.А. Дипфейки в цифровом пространстве: основные международные подходы к исследованию и регулированию // Центр глобальной ИТ-кооперации. 2023. № 3 / Ignatyev A.G., Kurbatova T.A. *Dipfeyki v tsifrovom prostranstve: osnovnye mezhdunarodnye podkhody k issledovaniyu i regulirovaniyu* [Deepfakes in the digital space: Main international approaches to research and regulation]. *Tsentr Globalnoy IT-Kooperatsii*. 2023; 3. (In Russ.).
9. Карпова Д.Н., Проскурина А.С. Социотехнический поворот в исследовании цифровизации общества // Власть. 2020. № 1 / Karpova D.N., Proskurina A.S. *Sotsiotekhnicheskiy povорот v issledovanii tsifrovizatsii obshchestva* // *Vlast*. 2020. № 1 / Karpova D.N., Proskurina A.S. *Sotsiotekhnicheskiy*

- у поворот в issledovanii tsifrovizatsii obshchestva [The social-technical turn in the study of digitalization of society]. *Vlast*. 2020; 1. (In Russ.).
10. Калятин В.О. Дипфейк как правовая проблема: новые угрозы или новые возможности? // Закон. 2022. № 7 / Kalyatin V.O. Dipfeyk kak pravovaya problema: novye ugrozy ili novye vozmozhnosti? [Deepfake as a legal problem: New threats or new opportunities?]. *Zakon*. 2022; 7. (In Russ.).
 11. Катерный И.В. Каузальные объяснения эффекта «зловещей долины» в робототехнике: теории и исследовательские данные // Качество и жизнь. 2017. № 4 / Katernyi I.V. Kauzalnye obyasneniya effekta “zloveshchey doliny” v robototekhnike: teorii i issledovatel'skie dannye [Causal explanations of the “uncanny valley” effect in robotics: Theories and research data]. *Kachestvo i Zhizn*. 2017; 4. (In Russ.).
 12. Смирновский К. Deepfakes — что это и как ими пользуются мошенники / Smirnovsky K. Deepfakes — chto eto i kak imi polzuyutsya moshenniki [Deepfakes: What they are and how fraudsters use them]. 2024. URL: <https://iidx.ru/blog/deepfakes-chto-eto-i-kak-imi-polzuyutsya-moshenniki>. (In Russ.).
 13. Тард Г. Законы подражания. М., 2011 / Tarde G. *Zakony podrazhaniya* [The Laws of Imitation]. Moscow; 2011. (In Russ.).
 14. Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» / Federalny zakon No. 152-FZ ot 27.07.2006 “O personalnyh dannyh” [Federal Law No. 152-FZ of July 27, 2006 “On Personal Data”]. URL: <https://minzdrav.gov.ru/documents/5402-federalnyy-zakon-152-fz-ot-27-iyulya-2006-g>. (In Russ.).
 15. Ajder H., Patrini G., Cavalli F., Cullen L. *The State of Deepfakes: Landscape, Threats, and Impact*. Deep Trace; 2019.
 16. Baaren R.B. van, Holland R.W., Kawakami K.L., Knippenberg A.F.M. van. Mimicry and prosocial behavior. *Psychological Science*. 2004; 15 (1).
 17. Braganza N. The most popular software and technical tools users picked on MuchSkills. 2025. URL: <https://www.muchskills.com/blog/top-software-technical-tools-muchskills>.
 18. Brandom R. Deepfake propaganda is not a real problem. 2019. URL: <https://www.theverge.com/2019/3/5/18251736/deepfake-propaganda-misinformation-troll-video-hoax>.
 19. Chesney R., Citron D. Deep fakes: A looming challenge for privacy, democracy, and national security. *California Law Review*. 2019; 107.
 20. Feldman B., Hart B., Read M. Are the deepfake fears overblown? *New York Magazine*. 2019; June 13.
 21. Gibbs A. Sympathy, synchrony, and mimetic communication. *The Affect Theory Reader*. Ed. by M. Gregg, G. Seigworth. Durham; 2010.
 22. Goodfellow I., et al. Generative adversarial networks. *Advances in Neural Information Processing Systems*. 2014; 3 (11).
 23. *Identity Fraud Report*. Entrust; 2025.
 24. *Just Joking! Deepfakes, Satire, and The Politics of Synthetic Media*. Witness; 2021.
 25. Kerner C., Risse M. Beyond porn and discreditation: epistemic promises and perils of deepfake technology in digital life worlds. *Moral Philosophy and Politics*. 2021; 8 (1).
 26. Klein H.K., Kleinman D.L. The social construction of technology: Structural considerations. *Science, Technology, & Human Values*. 2002; 27 (1).
 27. Korbak T., Balesni M., Barnes E., et al. Chain of thought monitorability: A new and fragile opportunity for AI safety. 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2507.11473>.
 28. Maras M.H., Alexandrou A. Determining authenticity of video evidence in the age of artificial intelligence and in the wake of Deepfake videos. *International Journal of Evidence & Proof*. 2019; 23 (3).
 29. Pinch T.J., Bijker W.E. The social construction of facts and artefacts: Or how the sociology of science and the sociology of technology might benefit each other. *Social Studies of Science*. 1984; 14 (3).

30. r/MyBoyfriendIsAI. URL: [https://www.reddit.com/r/MyBoyfriendIsAI/comment/1ldw3nn / my_ai_boyfriend](https://www.reddit.com/r/MyBoyfriendIsAI/comment/1ldw3nn/my_ai_boyfriend).
31. Simonite T. Deepfakes are becoming the hot new corporate training tool. 2020. URL: <https://www.wired.com/story/covid-drives-real-businesses-deepfake-technology>.
32. Stel M., Vonk R. Mimicry in social interaction: Benefits for mimickers, mimickers, and their interaction. *British Journal of Psychology*. 2010; 101.
33. Taylor B.C. Defending the state from digital deceit: The reflexive securitization of deepfake. *Critical Studies in Media Communication*. 2020; 38 (1).
34. *The State of Deepfakes*. Sensity; 2024.
35. Wang C. et al. Neural codec language models are zero-shot text to speech synthesizers. *IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing*. 2025; 33.
36. Whyte C. Deepfake news: AI-enabled disinformation as a multi-level public policy challenge. *Journal of Cyber Policy*. 2020; 5 (2).
37. Yang H.C., Rahmanti A.R., Huang C.W., Li Y.C.J. How can research on artificial empathy be enhanced by applying deepfakes? *Journal of Medical Internet Research*. 2022; 24 (3).

DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-603-618

EDN: KYPNJM

Deepfake as a social-technical artifact: A sociological analysis*

I.V. Katernyi, D.N. Karpova, E.V. Skulchuk

MGIMO University,
Vernadskogo Prosp., 76, Moscow, 119454, Russia

(e-mail: katernyi@mgimo.ru; d.karpova@inno.mgimo.ru; catherine.ccr@mail.ru)

Abstract. Deepfakes as digital artifacts created with deep machine learning have already become a common phenomenon with multiple forms, but social consequences of this technology are still controversial. The authors conducted a sociological analysis based on the social construction of technology theory (SCOT) and cultural sociology to identify three intertwined levels of the deepfake as an artifact: (a) technical — based on generative neural networks capable of creating highly realistic content and providing artificial intelligence (AI) with features of a perfect mimetic object, thus, overcome barriers of social recognition; (b) media — mechanisms of pragmatic impact, including creolization, intertextuality and metanarrativity; (c) social — functions and dysfunctions of deepfakes and also social domains that change under their influence. The social significance of deepfakes is ambivalent: on the one hand, this technology is highly risky, produces significant threats to privacy, cybersecurity, and social stability; on the other hand, it provides previously unseen opportunities for development in the fields of art, education, healthcare and business. This approach allows to overcome the limitations of the dominant alarmist discourse that reduces deepfakes to tools of disinformation and fraud, thus revealing the social construction of technical artifacts. Despite the obvious discursive stigmatization in the very portmanteau “deepfake”, it is important to see the satirical potential of such media as a tool for maintaining democratic culture. In the mixed communication perspective, deepfakes ensure visible prosopopean transmobility of AI, creating

*© I.V. Katernyi, D.N. Karpova, E.V. Skulchuk, 2025

The article was submitted on 22.07.2025. The article was accepted on 14.10.2025.

new forms of social agency through the mechanisms of social mimesis. The most technically advanced deepfakes generate virtual personas capable of effective mimetic communication beyond the “uncanny valley”. Their quasi-human subjectivity is recognized as normal and credible, since the conditions for constructing a significant Other are mimetic: mimicry (of human visceral features); imitation (of social actions); emulation (of meaningfulness and empathy). As with other innovative technologies, the key to controlling deepfakes is not its prohibition but a deep understanding of its social construction together with reasonable modes of its management in the interests of the public good.

Key words: artificial intelligence (AI); deepfake; artifact; media; social construction of technology; cultural sociology; mimesis; satire

For citation: Katernyi I.V., Karpova D.N., Skulchuk E.V. Deepfake as a social-technical artifact: A sociological analysis. *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (4): 603–618. (In Russ.). <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-603-618>



DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-619-630

EDN: KWQNGC

Парадокс приватности: почему обеспокоенные конфиденциальностью пользователи раскрывают персональные данные*

Е.Г. Цуркан

МГУ им. М.В. Ломоносова,
Ломоносовский просп., 27, корп. 4, Москва, 119991, Россия

(e-mail: unigendeth@gmail.com)

Аннотация. Утрата приватности — один из мощнейших вызовов, связанных с интернет-медиа. Конфиденциальность информации — важная тема эмпирических и теоретических исследований, большинство из которых сфокусированы на фиксации уровня обеспокоенности граждан безопасностью личных данных. Регулярный мониторинг общественного мнения по этому чувствительному вопросу выявил «парадокс приватности»: пользователи интернета выражают обеспокоенность конфиденциальностью информации и сообщают о желании защитить свои данные, но нередко добровольно раскрывают персональные данные за небольшое вознаграждение и редко прилагают усилия для защиты своей приватности. Парадокс приватности широко представлен в англоязычной литературе, в то время как в русскоязычной можно найти лишь несколько отдельных исследований, среди которых нет ни одного более или менее полного обзора актуальных теоретических объяснений парадокса. Цель статьи — введение в русскоязычное научное пространство наиболее востребованных и распространенных теоретических объяснений парадокса приватности. Методы концептуального, сравнительного и интегративного анализа эмпирических, теоретических и обзорных англоязычных статей позволили выделить пять актуальных способов объяснения парадокса приватности: теория расчета приватности; теория когнитивных искажений и ограниченной рациональности; модель социального влияния и обмена; парадокс приватности как методологический артефакт; цинизм в отношении приватности и цифровое смирение. Само наличие нескольких актуальных стратегий объяснения парадокса приватности говорит о том, что окончательного решения он не получил. Наиболее перспективным направлением развития данной проблематики представляется интеграция приведенных объяснительных моделей и контекстуализация общих теорий применительно к частным случаям.

Ключевые слова: парадокс приватности; обеспокоенность конфиденциальностью информации; расчет приватности; когнитивные искажения; ограниченная рациональность; социальный обмен; операционализация; цифровое смирение

*© Цуркан Е.Г., 2025

Статья поступила в редакцию 13.06.2025. Статья принята к публикации 14.10.2025.

Для цитирования: Цуркан Е.Г. Парадокс приватности: почему обеспокоенные конфиденциальностью пользователи раскрывают персональные данные // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 4. С. 619–630. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-619-630>

Различение публичного и частного делает возможным макросоциальный феномен публичной сферы — это особое пространство общественной полемики, в котором за людьми признается право на политическое высказывание, способное повлиять на выработку общественно значимых решений, и право на отстаивание политической позиции без применения насилия. Публичная сфера играет ключевую роль в функционировании институтов гражданского общества и представительной демократии, причем последняя без публичной сферы невозможна. Одна из предпосылок включенности в публичную сферу — частная жизнь, недоступная политическим институтам, гарантированная конституционно и тщательно оберегаемая от вмешательства извне. Современная частная сфера является в том числе сосредоточением собственности, поэтому имеет не только безусловное политическое, но и экономическое значение.

Неприкосновенность частной жизни и возможность участвовать в общественной жизни — ценности, тогда как «публичное» и «частное» — свойства социального действия. Люди принимают во внимание публичный или частный контекст взаимодействия, руководствуясь данным различием в повседневной жизни. Это различие исторически изменчиво и в высшей степени проблематично [4]: влияние современных цифровых медиа приводит к взаимной конвергенции публичной и частной сфер, что не означает их полного слияния, однако заставляет участников коммуникации переопределять ситуации, традиционно считавшиеся публичными или частными, что нередко выступает причиной коммуникативных неудач и конфликтов. Более того, внедрение интернет-технологий в повседневные практики напрямую связано, с одной стороны, с трансформацией публичной сферы, с другой стороны, с проблемой утраты частности и обеспокоенностью безопасностью личных данных.

Сегодня интернет часто описывают как паноптикум — место, где о частности можно забыть. Регулярные сливы и утечки личных данных пользователей, государственный надзор и промышленный шпионаж, «WikiLeaks», Эдвард Сноуден, «Cambridge Analytica», арест во Франции Павла Дурова, хакеры, сталкеры, тролли и кибермошенники — список информационных поводов и нежелательных лиц, повышающих обеспокоенность безопасностью частной информации, можно продолжать бесконечно. Утрата частности — один из мощнейших вызовов, исходящих от интернет-медиа и затрагивающих не только интернет-пользователей: операторы сотовой связи, дебетовые и кредитные карты, системы CCTV, технологии распознавания лиц расширяют пространство паноптикума за пределы цифровой среды.

Обеспокоенность конфиденциальностью информации

Обеспокоенность конфиденциальностью личных данных и угроза потери приватности активно исследуется в зарубежной литературе. Только за последние пять лет, вслед за волной бесконечных скандалов, связанных с платформами Twitter (ставшей «X») Google и Facebook (ставшей Meta¹), последовал вал исследовательской литературы. Полный перечень монографий, не говоря уже о научных статьях, занял бы слишком много места, поэтому упомянем лишь некоторые из актуальных [17; 21; 22; 24; 25]. Значительная часть эмпирических исследований фиксирует уровень обеспокоенности конфиденциальностью информации (Information Privacy Concerns — IPC) у пользователей интернета по всему миру (1). Для иллюстрации масштаба массива исследований сошлемся на научный обзор 2021 года, в выборку которого попало 970 статей, исследующих проблему IPC [8]. Опросы по всему миру показывают стабильно высокий уровень беспокойства.

Россия не является исключением из этого общемирового тренда. Аналитический центр НАФИ, ВЦИОМ и Левада-центр² периодически проводят опросы подобного рода. Например, по результатам опроса, проведенного среди 1600 человек из 53 регионов в 2021 году, 63 % россиян не считают свои персональные данные в интернете защищенными, 66 % жалуются на нехватку знаний и навыков для защиты своих данных (2). В сравнении с результатами предыдущих опросов можно заключить, что с 2018 по 2021 год россияне стали больше бояться утечек персональных данных в интернете. Выросла и доля тех, кто оценивает свои знания и навыки защиты от киберугроз как недостаточные. Опрос 2024 года показывает, что 68 % интернет-пользователей опасаются за сохранность личной информации в сети, 44 % россиян не уверены, что могут защитить свои устройства от онлайн-угроз, в том числе каждый пятый отметил, что «очень опасается» кражи личных данных (23 %), а каждый второй — что «скорее опасается» (45 %) (3).

Парадокс приватности

Постоянный мониторинг общественного мнения выявил интересную и интригующую проблему, получившую название «парадокс приватности» (Privacy Paradox): пользователи интернета выражают обеспокоенность конфиденциальностью информации и сообщают о желании защитить свои данные, но добровольно раскрывают персональные данные за небольшое вознаграждение и редко прилагают усилия для защиты своей приватности. Этот парадокс описывает разрыв между отношением к приватности и фактическим поведением по поводу приватности. Речь идет как о желании делиться

¹ Компания Meta Platforms Inc., владеющая Facebook и Instagram, внесена в реестр экстремистских организаций, ее деятельность в России запрещена.

² АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» признан иностранным агентом.

персональной информацией в социальных сетях ради общественного одобрения, так и об игнорировании политики конфиденциальности при использовании сервиса, авторизации на сайте с целью получения скидки и передаче файлов cookie. Данную проблему хорошо иллюстрирует отношение пользователей к политике конфиденциальности и условиям использования — документам, которые владельцы обязаны размещать на сайте в случае сбора и обработки персональных данных пользователей.

Американские ученые Дж. Обар и Э. Олдорф-Хирш в 2018 году провели исследование, чтобы оценить, как люди поступают с политикой конфиденциальности (Privacy Policy) и условиями использования (Terms of Service) при первичном подключении к сервису. Был проведен опрос 543 студентов бакалавриата в университете на востоке США — респондентов просили рассказать о поведении в отношении политики конфиденциальности и условий использования. В ходе исследования была создана главная страница фейковой социальной сети NameDrop, к которой студентам предложили подключиться в режиме раннего доступа. Согласно сфабрикованной легенде, NameDrop должен был стать альтернативой популярной в Америке сети LinkedIn. Участники эксперимента могли полностью ознакомиться с документами, требующимися для сбора и обработки персональных данных пользователей, но им была предоставлена и возможность быстрой регистрации (типичная для всех социальных сетей функция). Средняя скорость чтения взрослого человека в Америке (250–280 слов в минуту) предполагает, что на прочтение политики конфиденциальности должно было уйти около получаса, а условий использования — около 15 минут. Однако участники эксперимента продемонстрировали «незаурядные способности»: среднее время прочтения политики конфиденциальности составило 73 секунды, а условий использования — 51 секунду. 98 % участников пропустили такие «неприятные пункты», как уведомление о передаче их личных данных Агентству национальной безопасности и принятие обязательства отдать своего первенца в качестве оплаты за доступ к сервису. Регрессионный анализ полученных данных выявил, что значимым предиктором игнорирования условий использования при регистрации была информационная перегрузка, т.е. политика конфиденциальности и условия использования рассматриваются как препятствие на пути к цели, а не как основа осознанного и добровольного согласия (целью — использование сервиса, нажатие кнопок «принимаю» и «согласен» субъективно воспринимается как помеха) [19].

Такое объяснение кажется интуитивно ясным. Даже при написании статьи сталкиваешься с тем, что для проверки библиографических ссылок и получения доступа к иностранной литературе нужно принять внушительное количество пользовательских соглашений. В результате оказываешься в ситуации информационной перегрузки: если читать пользовательские соглашения, то не останется времени на чтение источников, в которых говорит-

ся, почему пользователи их не читают и почему читать их важно и нужно. Следовательно, в процессе написания статьи про парадокс приватности можно собственным примером подтвердить его наличие.

Состояние проблемы в России и за рубежом

Парадокс приватности широко изучается за рубежом: сотни эмпирических исследований, подтверждающих разрыв между отношением к приватности и фактическим поведением, десятки методологических исследований и научных обзоров состояния проблемы. Например, научный обзор, подготовленный в 2018 году, включал 181 статью [12], обзор, опубликованный в 2025 году, показал наличие в базе данных Scopus (Elsevier) 216 статей, прямо или косвенно относящихся к парадоксу приватности [13]. В то же время в русскоязычной науке методологических или теоретических исследований, как и научных обзоров текущего состояния проблемы, почти не представлено. Для сравнения: запрос «privacy paradox» в базе данных Google Scholar выдает примерно 18800 точных совпадений, а запрос «парадокс приватности» — 119, причем уже на первой странице обнаруживаются нерусскоязычные источники (хорватские и сербские). Поскольку английское «privacy» на русский часто переводят как «конфиденциальность», был использован запрос «парадокс конфиденциальности» — 27 точных совпадений. Самые популярные из англоязычных исследований насчитывают сотни, иногда тысячи цитирований, самое популярное русскоязычное — 17.

В литературе на русском языке описан парадокс и приведены некоторые возможные способы его объяснения [2; 5], встречаются исследования, связанные с парадоксом приватности [1; 3], но нет ни одного более или менее полного обзора хотя бы наиболее популярных, авторитетных и распространенных теоретических объяснений парадокса. Статья призвана ввести в русскоязычное научное пространство наиболее востребованные и распространенные теоретические объяснения парадокса приватности.

Объяснения парадокса приватности

Представленные в англоязычной литературе наиболее востребованные объяснения парадокса приватности были отобраны на основе анализа самых цитируемых статей, научных обзоров, сборников и справочников по данным Google Scholar.

1. *Расчет приватности* (4) — наиболее распространенное объяснение парадокса приватности: перед тем как раскрыть личную информацию в интернете, пользователи прикидывают ожидаемые затраты и выгоды — если выгоды превышают затраты, люди с большей вероятностью будут раскрывать личную информацию. Затраты включают в себя субъективно воспринимаемые риски утраты приватности, обеспокоенность конфиденциальностью и репутационные потери, более нюансированные затраты — использование

личных данных третьими лицами, нарушение безопасности, троллинг, шантаж, stalking и коллективную травлю. Выгоды — получение доступа к сервисам, платформам, приложениям, развлечениям, товарам и услугам, социальная поддержка и управление репутацией; более нюансированные выгоды, приобретаемые от раскрытия персональных данных, — скидки (разовые или часть программы лояльности), повышенный комфорт и экономия времени (например, хранение данных о способе платежа в онлайн-магазине). Хотя человек не может точно спрогнозировать затраты и выгоды, объяснительная модель предполагает, что в среднем поведение людей хотя бы ограничено рационально, т.е. это своеобразное приложение к современной проблеме классической концепции «*homo economicus*». Ожидается, что пользователь раскроет конфиденциальные данные, если предполагаемые издержки будут меньше прогнозируемых выгод [16]. Тем не менее, пользователь все равно может выражать обеспокоенность по поводу потери своих данных, что приводит к наблюдаемому несоответствию между выраженной обеспокоенностью и фактическим поведением.

Эвристический потенциал этого объяснения оценивается по-разному. Одни исследователи признают его основным [13], а другие пишут о несовместимости парадокса приватности с теорией расчета приватности [10]. Например, Т. Динлин противопоставляет «парадокс приватности» и «расчет приватности», называя их «конкурирующими моделями» [10. С. 2], что странно: во-первых, парадоксом приватности обычно называют проблему, а не модель; во-вторых, парадокс приватности вполне совместим с теорией расчета приватности; в-третьих, проблемность парадокса состоит в том, что мы ожидаем от человека, обеспокоенного сохранностью личных данных, иного поведения, чем наблюдаем. Это означает, что мы исходим из определенного представления о рациональном и нерациональном поведении, и без этого представления парадокса просто не существовало бы. Поэтому правы исследователи, признающие данный подход концептуальной основой парадокса приватности, из которой данная теоретическая проблема в принципе рождается. Однако данный подход должен быть интегрирован с другими, чтобы внятным образом объяснить «парадокс приватности». Заметим, что Т. Динлин сближает формулировку «парадокса приватности» со второй моделью его объяснения.

2. *Когнитивные искажения: ограниченная рациональность и иллюзия контроля.* Многочисленные эмпирические исследования потребительского поведения показали, что на процесс принятия решений влияют когнитивные искажения — систематические отклонения в поведении, восприятии и мышлении, обусловленные предубеждениями, эвристиками, моральными и социальными ограничениями, а также особенностями работы человеческого мозга. Когнитивные искажения, возникающие на основе дисфункциональных убеждений, приводят к аберрации восприятия, ошибочным или неточным

выводам и иррациональному поведению. Например, маловероятно, что каждый пользователь интернета, оказавшись в ситуации необходимости раскрытия части своих персональных данных, обладает исчерпывающей информацией относительно всех возможных затрат и выгод. Напротив, пользователи в большом количестве случаев могут даже не осознавать, что «добровольно» раскрывают персональные данные. Неполнота информации может привести к переоценке выгод или недооценке затрат, поэтому принимаемое решение может показаться иррациональным наблюдателю, обладающему большей информацией [11]. Кроме того, даже обладая доступом к исчерпывающей информации, человек может не иметь возможности правильно ее обработать и принять рациональное решение, поскольку способность к когнитивной обработке ограничена. Этот эффект получил название «ограниченной рациональности»: в контексте парадокса приватности пользователь для компенсации ограниченной рациональности действует согласно имеющейся эвристике, а не наиболее эффективным способом. Образуется разрыв между манерой раскрытия персональных данных и обеспокоенностью конфиденциальностью, и поведение пользователя не соответствует заявленному отношению.

Помимо ограниченной рациональности исследователи выделяют и другие когнитивные искажения и воздействующие на поведение факторы: стадность, адаптация к риску, смещение к настоящему, неосозанность, стремление делиться и сконструированные предпочтения [6]. Особое место среди факторов, влияющих на раскрытие пользователем личной информации, занимает «иллюзия контроля», или «парадокс контроля» [9]: пользователи путают контроль над раскрытием личной информации с контролем над оцениванием и использованием этой информации другими. Пользователи с большей вероятностью раскрывают персональную информацию, если им предоставлен контроль над публикацией. Соответственно, необоснованно высокорисковое поведение вызвано ложным чувством контроля над использованием личных данных третьими лицами, которое возникает, если пользователи изначально имели контроль над раскрытием данных (например, использовали настройки приватности).

3. *Социальное влияние и социальный обмен.* Большинство людей не являются полностью автономными субъектами принятия решений, в том числе о раскрытии персональных данных. Исследования М. Таддикен показали, что социальное окружение и значимые другие существенно влияют как на поведенческие установки относительно конфиденциальности, так и на поведение [23]. Подростки и взрослые люди следуют примеру сверстников, копируя манеру раскрытия личной информации в социальных сетях. Нормы защиты конфиденциальности и манера раскрытия личных данных транслируются и между поколениями: пользователи всегда обращают внимание на поведение своего окружения, когда принимают решение об использовании сервиса или делятся информацией в социальных сетях. Если значимые

другие добровольно раскрывают персональные данные в социальных сетях, возникает социальное давление, основанное на принципе взаимности: позитивном — «если значимые другие делятся информацией, я должен делиться в ответ» — или негативном — «если человек не делится информацией в ответ, значит ему есть что скрывать». Парадокс приватности объясняется тем, что фактическое поведение в наибольшей степени зависит от социального влияния и норм обмена, в то время как выраженное отношение к конфиденциальности представляет собой более взвешенное и беспристрастное мнение респондента.

4. *Операционализация и контекстуализация.* Данная модель заостряет внимание на переводе теоретического положения в эмпирически проверяемое суждение, т.е. на признаках (индикаторах), которые позволяют судить о наличии «парадокса приватности», и предикторах поведения пользователей. На передний план выходит вопрос о том, между какими переменными постулируется разрыв: беспокойством и поведением [7], намерением и поведением [18] или отношением и поведением [15]. В результате получаем целый ряд переменных: обеспокоенность конфиденциальностью (*privacy concerns*), выраженное отношение к конфиденциальности (*privacy attitudes*), связанные с конфиденциальностью риски (*privacy risk*), поведенческое намерение (*privacy intention*) и поведение (*privacy behavior*). Одни исследователи в описании парадокса имеют в виду расхождение между поведением и выраженной обеспокоенностью, а другие — разрыв между поведением и отношением пользователя к конфиденциальности. Обеспокоенность приватностью носит общий характер и не зависит от контекста, в то время как отношение к конфиденциальности связано с конкретной ситуацией, поэтому эти переменные нельзя отождествлять — «парадокс приватности» в данной модели объяснения может оказаться методологическим артефактом некорректной операционализации [15].

Часто парадокс приватности разрешается путем разведения факторов, оказывающих влияние на поведение, и факторов, воздействующих на отношение. Далеко не единственной, но одной из самых влиятельных моделей, использующей данный теоретический ход, является модель риска и доверия: уровень доверия оказывает влияние на фактическое поведение, а субъективно оцениваемый риск — на выраженное в опросах отношение к конфиденциальности. Влияние предполагаемого риска на поведенческое намерение недостаточно, чтобы определить фактическое поведение, в то время как доверие (более насущный фактор) — сильный фактор в конкретных ситуациях принятия решений. Предполагаемый риск оказывает решающее воздействие в эмпирическом исследовании, когда респонденту нужно принять абстрактное решение в ответ на гипотетическую проблему, — возникает пропасть между выражаемым в опросах отношением к конфиденциальности и фактическим поведением [18].

Разрешить парадокс приватности может контекстуализация проблемы, например, введение дополнительных различий приватности: ситуации добровольного раскрытия личной информации в социальных сетях отличны от ситуаций игнорирования политики конфиденциальности или от авторизации на сайте с целью получения скидки. Соответственно, можно выделить разные лики приватности — информационную, психологическую, социальную и др., и парадокс рождается из непроясненности контекста.

5) *Цинизм в отношении приватности и цифровое смирение* (5). Понятие цинизма в контексте парадокса приватности означает «отношение неопределенности, бессилия и недоверия к обработке персональных данных онлайн-сервисами, что приводит к субъективному ощущению бесполезности действий по защите приватности» [14. С. 2]. Цинизм становится своеобразным защитным механизмом, позволяющим обеспокоенным пользователям избегать когнитивного диссонанса между желанием пользоваться онлайн-сервисами и нежеланием подвергаться риску утечки конфиденциальных данных. Если защитить свои персональные данные заведомо невозможно, то и документ с политикой конфиденциальности читать бесполезно, значит, беспокоится не о чем.

Цинизм в отношении приватности имеет четыре измерения или стадии: недоверие (*mistrust*), бессилие (*powerlessness*), неопределенность (*uncertainty*) и смирение (*resignation*). Недоверие рождается из подозрения, что контрагент имеет скрытые от агента корыстные мотивы. Если контрагент имеет ассиметрично больше контроля над решениями, прямо касающихся жизни агента, это ставит агента в зависимое положение, и его недоверие сопровождается чувством бессилия. Если недоверие к контрагенту, находящемуся в позиции власти, не компенсируется большей прозрачностью решений, то недоверие и бессилие совместно создают ситуацию неопределенности. Наконец, если возникший в результате недоверия, бессилия и неопределенности психологический стресс не может быть снят разрывом отношений или возвращением контроля над решениями, то защитным механизмом, позволяющим вернуть душевное спокойствие, может выступить цифровое смирение — психологическое отстранение от проблемы, выраженное в установлении цинической дистанции. Несмотря на обоснованные сомнения в безопасности частной информации и честности руководства цифровых сервисов, убежденные в невозможности повлиять на ситуацию пользователи смиряются с обстоятельствами и стремятся извлечь из них максимум выгоды. Потеря приватности представляется единоразовой издержкой при все возрастающих многочисленных выгодах, предоставляемых различными интернет-платформами. Данное объяснение и близкие ему версии обретают все большую популярность [20].

Таким образом, наличие нескольких актуальных и востребованных стратегий объяснения парадокса приватности говорит о том, что окончательного решения он так и не получил. Одни объяснения фокусируются на рациональных чертах человеческого поведения, другие — на иррациональных, третьи — на социальных факторах, четвертые — на методологической артефактуальности парадокса, пятые — на выражении смирения в ситуации недоверия, бессилия и неопределенности. В результате мы получаем целый спектр мнений: от отрицания существования парадокса приватности до признания его разрушающим основы базовой для данного исследовательского поля теории подсчета приватности. Наиболее перспективным направлением развития данной проблематики представляется интеграция перечисленных объяснительных моделей и контекстуализация общих теорий применительно к частным случаям.

Информация о финансировании

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (РНФ) в рамках научного проекта № 24-18-00440 «Анализ социальной каузальности и инвариантов общественно-го развития как метод преодоления фрагментации социально-философского познания».

Примечания

- (1) В статье английский термин «privacy» переведен как «конфиденциальность», когда подразумевается требование получения/сохранения контроля над раскрытием закрытой информации, и как «приватность», когда подразумевается право на неприкосновенность частной жизни и личной информации. Данные понятия не являются тождественными и в русской языковой традиции.
- (2) Отношение россиян к защите персональных данных. URL: <https://nafi.ru/projects/it-i-telekom/otnoshenie-rossiyan-k-zashchite-personalnykh-dannykh>.
- (3) Цифровая самооборона. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cifrovaja-samooborona>.
- (4) При переводе «privacy calculus» использован «расчет», а не «подсчет» или «вычисление», поскольку важно подчеркнуть связь с соображениями выгоды/пользы и преследованием собственных интересов. Слово «расчет» эту связь прекрасно передает, а слова «подсчет» и «вычисления» ассоциируются с сугубо математической функцией.
- (5) При переводе «digital resignation» использовано слово «смирение», а не «покорность», поскольку второе контекстуально связано с жертвенностью, служением и послушанием (лучше передается английскими словами «submissiveness»/«obedience»).

Библиографический список/References

1. Назаров М.М. Массовая коммуникация как фактор изменения границ публичного и частного // Социально-гуманитарные знания. 2021. № 1 / Nazarov M.M. Massovaya kommunikatsiya kak faktor izmeneniya granits publichnogo i chastnogo [Mass communication as a factor in changing the boundaries of public and private]. *Sotsialno-Gumanitarnye Znaniya*. 2021; 1. (In Russ.).
2. Пронкина Е.С. Парадокс приватности: почему пользователи социальных медиа раскрывают персональную информацию в публичном пространстве // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2018. № 8 / Pronkina E.S. Paradoks privatnosti: pochemu polzovateli sotsialnykh media raskryvayut personalnuyu informatsiyu v publichnom prostranstve [The privacy paradox: Why users of social media disclose personal information in public space]. *Vestnik RGGU. Seriya: Istoriya. Filologiya. Kulturologiya. Vostokovedenie*. 2018; 8. (In Russ.).

3. Соловкин С.В. Значение парадокса приватности для законодательства о персональных данных в условиях становления общества наблюдения // Вестник Университета им. О.Е. Кутафина. 2022. № 4 / Solovkin S.V. Znachenie paradoksa privatnosti dlya zakonodatelstva o personalnyh dannyh v usloviyah stanovleniya obshchestva nablyudeniya [Significance of the privacy paradox for personal data legislation in the surveillance society]. *Vestnik Universiteta im. O.E. Kutafina*. 2022; 4. (In Russ.).
4. Цуркан Е.Г. Влияние интернет-технологий на трансформацию различения публичного и частного // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 2021. № 4 / Tsurkan E.G. Vliyanie internet-tekhnologiy na transformatsiyu razlicheniya publichnogo i privatnogo [The influence of the Internet technologies on the transformation of the distinction between public and private]. *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 7: Filosofiya*. 2021; 4. (In Russ.).
5. Чеснокова Л.В. Размывание границы между публичностью и приватностью в социальных сетях и парадокс приватности // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. 2021. № 2 / Chesnokova L.V. Razmyvanie granitsy mezhdu publichnostiyu i privatnostiyu v sotsialnyh setyah i paradoks privatnosti [Blurring the line between publicity and privacy on the social media and the privacy paradox]. *Filosofskie Problemy Informatsionnyh Tekhnologiy i Kiberprostranstva*. 2021; 2. (In Russ.).
6. Acquisti A., Brandimarte L., Loewenstein G. Secrets and likes: The drive for privacy and the difficulty of achieving it in the digital age. *Journal of Consumer Psychology*. 2020; 30 (4).
7. Barnes S.B. A privacy paradox: Social networking in the United States. URL: <http://firstmonday.org/article/view/1394/1312>.
8. Bartol J., Vehovar V., Petrovcic A. Should we be concerned about how information privacy concerns are measured in online contexts? A systematic review of survey scale development studies. *Informatics*. 2021; 8 (2).
9. Brandimarte L., Acquisti A., Loewenstein G. Misplaced confidences: Privacy and the control paradox. *Social Psychological and Personality Science*. 2013; 4 (3).
10. Dienlin T. Privacy calculus: Theories, studies, and new perspectives. *Routledge Handbook of Privacy and Social Media*. London; 2023.
11. Flender C., Müller G. Type indeterminacy in privacy decisions: The privacy paradox revised. *Proceedings of the 6th international conference on Quantum Interaction*; 2012.
12. Gerber N., Gerber P., Volkamer M. Explaining the privacy paradox: A systematic review of literature investigating privacy attitude and behavior. *Computers & Security*. 2018; 77 (1).
13. Gonçalves R.B., Bastos de Figueiredo J.C. Privacy paradox: Integrative literature review. *Revista de Administração de Empresas*. 2025; 65 (2).
14. Hoffmann C.P., Lutz C., Ranzini G. Privacy cynicism: A new approach to the privacy paradox. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*. 2016; 10 (4).
15. Kokolakis S. Privacy attitudes and privacy behavior: A review of current research on the privacy paradox phenomenon. *Computers & Security*. 2017; 64.
16. Lee N., Kwon O. A privacy-aware feature selection method for solving the personalization-privacy paradox in mobile wellness healthcare services. *Expert Systems with Applications*. 2015; 42 (5).
17. Molitorisz S. *Net Privacy: How We Can Be Free in an Age of Surveillance*. Montreal; 2020.
18. Norberg P.A., Horne D.R., Horne D.A. The privacy paradox: Personal information disclosure intentions versus behaviors. *Journal of Consumer Affairs*. 2007; 41 (1).
19. Obar J.A., Oeldorf-Hirsch A. The biggest lie on the Internet: Ignoring the privacy policies and terms of service policies of social networking services. *Information, Communication & Society*. 2018; 23 (1).
20. Ranzini G., Lutz C., Hoffmann C.P. Privacy cynicism: Resignation in the face of agency constraints. *Routledge Handbook of Privacy and Social Media*. London; 2023.
21. Richards N. *Why Privacy Matters*. Oxford University Press; 2022.
22. Skinner-Thompson S. *Privacy at the Margins*. Cambridge University Press; 2020.

23. Taddicken M. The ‘privacy paradox’ in the social web: The impact of privacy concerns, individual characteristics, and the perceived social relevance on different forms of self-disclosure. *Journal of Computer Mediated Communication*. 2014; 19 (2).
24. Véliz C. *Privacy is Power: Why and How you Should Take Back Control of Your Data*. London; 2020.
25. Zuboff S. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. Profile Books, 2019.

DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-619-630

EDN: KWQNGC

The privacy paradox: Why privacy concerned users disclose personal data*

E.G. Tsurkan

Lomonosov Moscow State University,
Lomonosovsky Prosp., 27–4, Moscow, 119991, Russia

(e-mail: unigendeth@gmail.com)

Abstract. The loss of privacy is one of the most powerful challenges associated with the Internet media. Information privacy is an important topic of empirical and theoretical research mostly focused on the level of information privacy concerns. Regular monitoring of public opinion on this sensitive issue revealed the “privacy paradox”: Internet users express concern about information privacy and report a desire to protect their data but disclose personal data for a small reward and rarely make efforts to protect their privacy. The privacy paradox is widely considered in English-language works, while in Russia, there are only a few studies and no complete overview of the current relevant theoretical explanations of the paradox. The article aims at presenting the most popular and widespread theoretical explanations of the privacy paradox. Based on the conceptual, comparative and integrative analysis of empirical, theoretical and review articles in English, the article identifies the following relevant ways for explaining the privacy paradox: the theory of privacy calculus, the theory of decision biases and bounded rationality, the model of social influence and exchange, the privacy paradox as a methodological artefact, the privacy cynicism and digital resignation. The very existence of several strategies for explaining the paradox of privacy suggests that it has not yet received a final solution. The most promising direction seems to be integration of the above-mentioned explanatory models and contextualization of general theories in relation to specific cases.

Key words: privacy paradox; information privacy concerns; privacy calculus; decision biases; bounded rationality; social exchange; operationalization; digital resignation

For citation: Tsurkan E.G. The privacy paradox: Why privacy concerned users disclose personal data. *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (4): 619–630. (In Russ.). <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-619-630>

Funding

The research was supported by the Russian Science Foundation. Project No. 24-18-00440 “Analysis of social causality and invariants of social development as a method of overcoming the fragmentation of social-philosophical knowledge”.

*© E.G. Tsurkan, 2025

The article was submitted on 13.06.2025. The article was accepted on 14.10.2025.



DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-631-648

EDN: KVLYLE

Противоречия развития экоконсьюмеризма в контексте эволюционной теории модернизации

Р. Инглхарта*

Н.В. Гончаров

Оренбургский государственный университет,
просп. Победы, 13, Оренбург, 460018, Россия

(e-mail: nik567485@mail.ru)

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития экосберегающих практик в контексте глобального культурного сдвига, сопровождающегося смещением ценностных приоритетов от материалистических/приобретательских к постматериалистическим. В первой части статьи кратко представлена основная идея эволюционной теории модернизации Р. Инглхарта. Глобальный культурный сдвиг (culture shift), согласно эволюционной теории модернизации, сопровождается смещением приоритетов в жизненно-стилевых установках индивидов — от стратегии «выживания» к стратегии «самовыражения» — вследствие устойчивого доминирования постматериалистических ценностей над материалистическими. В том числе под влиянием данных тенденций должен меняться и ландшафт потребительских практик — от гедонистического потребительства, в основе которого лежат приобретательские ценности, к ответственному потреблению, проэкологическому, во многом определяемому постматериалистическими ценностями. Но в действительности данный переход оказывается непоследовательным и противоречивым. В статье рассмотрены институциональные и ценностные барьеры на пути развития проэкологического потребления (green gap, элитарность экопотребления, гедонистические установки). С опорой на эмпирические данные обосновывается гипотеза о макросоциальной устойчивости гедонистических потребительских практик, преобладающих даже в обществах с высоким уровнем экономической и экзистенциальной безопасности, где в социально-политической сфере доминирует постматериализм. И среди младших молодежных групп, социализирующихся в относительной экономической безопасности и придерживающихся постматериалистических ориентаций, наблюдается тенденция снижения интереса к проэкологическому потреблению. Особое внимание автор уделяет экоконсьюмеризму как нелинейному следствию глобального ценностного сдвига от материалистичности к постматериалистичности. Экопотребительские практики предлагается рассматривать как гибридный феномен, часто демонстрирующий адаптацию приобретательских ценностей к экотрендам. Показано, что экоконсьюмеризм как проявление постматериалистичности вступает в явное противоречие с логикой потребительского гедонизма, поддерживаемого и развиваемого современной чувственной культурой.

Ключевые слова: экоконсьюмеризм; потребительские практики; ответственное потребление; материалистичность; постматериалистичность; гедонизм; чувственная культура

*© Гончаров Н.В., 2025

Статья поступила в редакцию 23.07.2025. Статья принята к публикации 14.10.2025.

Для цитирования: Гончаров Н.В. Противоречия развития экоконсюмеризма в контексте эволюционной теории модернизации Р. Инглхарта // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 4. С. 631–648. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-631-648>

Общая характеристика эволюционной теории модернизации Р. Инглхарта

Культурная эволюция как явление и проблема практически с момента институционализации социологического (и не только) знания привлекала внимание исследователей. Работа Р. Инглхарта, посвященная этой теме, представляет собой один из самых дискуссионных и важных вкладов в понимание глобальной динамики ценностных трансформаций на уровне социальной структуры. Центральная теоретическая установка эволюционной теории модернизации Инглхарта — идея детерминированности ценностей и поведения человека степенью гарантированности выживания, или экзистенциальной безопасности [4]. Сразу отметим во многом инструменталистское понимание Инглхартом культуры как совокупности норм и навыков, определяющих выживание человека в определенной среде [4. С. 40]. Данный подход тесно корреспондирует с функциональным, согласно которому инструментальный корпус культуры позволяет человеку наилучшим образом адаптироваться к окружающей среде для удовлетворения своих потребностей [5].

Повышение экономического благополучия и экзистенциальной безопасности способствует сдвигу от материалистических ценностей к постматериалистическим (1) [30]. Инглхарт не просто показывает корреляцию между экономическим благополучием и ценностным сдвигом, но и обращает внимание на причинно-следственную связь в основе эволюционной модернизации. Его основной тезис: экономическое развитие (2) является основой экономической и физической безопасности, способствуя открытости культур, демократизации и либерализации законодательства [4]. В своей знаменитой статье «Тихая революция в Европе: межпоколенческие изменения в постиндустриальных обществах», опубликованной в 1971 году, Инглхарт впервые сформулировал две основные гипотезы (3): дефицита (*scarcity hypothesis*) — среди множества потребностей наибольшим приоритетом обладает наименее удовлетворенная, и она во многом определяет поведение людей; социализации (*socialization hypothesis*) — люди склонны сохранять ценностные приоритеты, принятые в годы взросления, на протяжении жизни [28], поэтому молодое поколение — основной актор ценностного сдвига.

Этот сдвиг обладает не только некоторым лагом (социализации), который может длиться несколько поколений, но и значительной самостоятельностью и динамикой [26; 5. С. 38–40]. К тому же сформированные традиции и ценности как культурное наследие устойчивы к изменениям [4. С. 33]. Можно предположить, что чем эффективнее в культурной системе реали-

зуется функция сохранения и передачи ценностей (культурного наследия) от поколения к поколению, тем устойчивее общество к ценностным инновациям, формируемым внутри и вне его. Согласно Инглхарту в устойчивых традиционных культурах структурные изменения подвержены «эффекту колеи» [4. С. 71]. Позже он отметил такой аспект «тихой революции», как смещение чрезмерного акцента западной общественности с материалистических ценностей и физической безопасности на ценности, связанные с повышением нематериального качества жизни и политической компетентности [29].

В авангарде ценностного (культурного) сдвига находятся экономически развитые страны (постиндустриальные общества) (4) с беспрецедентно высоким уровнем экзистенциальной безопасности [4]. Социализация каждого нового молодого поколения в условиях гарантированного физического выживания способствовала ценностной трансформации, точнее, смещению приоритетов (5) от материалистических, утилитарно-экономических к постматериалистическим (защита окружающей среды, гендерное равенство, толерантность и т.д.) (6). Социализация молодежи и ее усиливающаяся интеграция в социальные отношения сопровождалась возрастанием авторитета этих ценностей. По мере взросления «постматериалисты» становились доминирующей силой, формируя «новый класс» [27] (7). При этом важно отметить противоречивость межпоколенческого сдвига ценностей, показанную автором термина «iGen» (i-поколение или iPhone-поколение) Дж. Твендж: с одной стороны, данное поколение демонстрирует ярко выраженную приверженность постматериалистическим ценностям (например, для молодежи характерна высокая степень толерантности и секулярности), а, с другой — инфантилизм и нарциссизм [42], возможно, в том числе вследствие гарантированной экономической и физической безопасности. К тому же представители молодого поколения более подвержены психическим расстройствам и стрессам [43], что, возможно, тоже «побочный» эффект социализации в условиях экономического благополучия.

Если важной характеристикой модернизации (в том числе эволюционной) является повышение безопасности жизни, главным образом за счет устранения голода и увеличения ожидаемой продолжительности жизни, что, в свою очередь, способствует переходу от стратегии выживания к стратегии самовыражения [4. С. 30–31], то общество потребления, несмотря на высокое социальное неравенство, выступает ярким индикатором такой модернизации.

Переход от консюмеризма к экоконсюмеризму

Современные общества потребления с разным уровнем экономического развития подвержены существенным ценностным трансформациям, обусловленным ростом экономической и экзистенциальной безопасности (оставим за скобками международную политическую турбулентность). Хотя экоконсюмеризм не является ярким проявлением трансформации социально-

культурных норм наряду с гендерной и сексуальной революциями [4. С. 39], его можно считать одним из признаков глобального и структурного ценностного сдвига, а также одним из индикаторов развития и масштабирования постматериалистических ценностей. Экологически ответственные потребительские практики свидетельствуют о глубоких культурных изменениях, характерных для постиндустриализма и критики потребительского мейнстрима [23].

С учетом многогранности экоконсьюмеризма следует различать экопотребление (8) и экологическое поведение как более общий термин, включающий соответствующие практики (например, реальную, а не формальную сортировку отходов, зависящую во многом от инфраструктурного развития) (9). Оба понятия в той или иной степени отражают ценностный сдвиг в сторону постматериалистичности и устойчивого развития. Проэкологические потребительские практики предлагается рассматривать в двух значениях: количественном — осознанное ограничение потребления товаров и услуг как своего рода проявление потребительского минимализма (профиль экопотребления главным образом будет характеризоваться осознанной большей сдержанностью или ограниченностью потребительских практик по сравнению с традиционным паттерном потребления); качественном — потребление продукции, производство, использование и утилизация которой оказывает минимальное негативное воздействие на экологию. Общий экопотребительский профиль во многом основан на принципе RRR (*reduce* — сокращай, *reuse* — используй повторно, *recycle* — перерабатывай), и особого внимания заслуживает первый принцип — сокращение объема и интенсивности потребительских практик, поскольку эта установка наименее устойчива в обществе потребления (10).

В контексте экоконсьюмеризма потребителей можно условно разделить на: активных экопотребителей, придерживающихся экопрактик как в качественном, так и количественном аспекте; минималистов — экопотребительские практики определяются снижением темпов и объемов потребления товаров и услуг; пассивных — выражают озабоченность состоянием окружающей среды, но не предпринимают реальных экосберегающих действий отчасти вследствие эффекта «безбилетника» — когда восприятие личного вклада в решение социальной проблемы практически нивелируется перекладыванием ответственности за ее решение на остальных. Также можно выделить категорию безразличных к экоповестке и демонстративных экопотребителей, практикующих экологически ответственное потребление в основном с целью демонстрации высокого социального статуса.

В качественном значении наиболее существенным фактором, определяющим развитие проэкологических потребительских практик, выступает финансовый: экоустановки могут существенно увеличивать финансовую нагрузку на потребителя, поскольку зачастую подобная продукция доро-

же. Важно учитывать уровень напряжения, вызванного частым несоответствием установок homo oeconomicus (утилитарно-гедонистических, по сути, материалистических) и «зеленых» социальных норм и ценностей (постматериалистических). Как показывают эмпирические исследования, социально-экономические факторы в сравнении с ценностно-деятельностными, институциональными и социально-демографическими наиболее значимы для этичного потребления [12]. Примечательно, что потребительская проэкологичность обладает ярко выраженной социальной элитарностью, поскольку «зеленое» потребление зачастую становится формой демонстрации высокого статуса, значит, экоконсюмеризм может тяготеть к экофетишизму — когда условно новые экопотребительские практики органично развиваются в гедонистической потребительской парадигме, но в соответствии с модным и престижным трендом экологичности. Еще в 2010 году была экспериментально доказана гипотеза «заметной экологичности» потребительских практик: потребители «переплачивают» за «зеленые» товары не столько в целях заботы об окружающей среде, сколько с целью демонстрации высокого социального статуса [22].

Несмотря на противоречивость развития экоконсюмеризма, эволюционная теория модернизации позволяет лучше понять связь социально-экономических и культурно-ценностных детерминант проэкологического потребления: ценность экологического благополучия с высокой долей вероятности эффективнее интериоризируется в более экономически благополучных обществах. Экоконсюмеризм как относительно новое направление можно считать и следствием глобального ценностного сдвига в результате возрастания уровня экзистенциальной безопасности в экономически благополучных постиндустриальных обществах. Однако «платой» за социально-экономическое благополучие, помимо всего прочего, стало деструктивное антропогенное воздействие на экосистему: выбросы в крупнейших экономиках мира снижаются слишком медленно (США) или продолжают расти (Китай, Индия и Россия). В последние годы замедлились темпы декарбонизации даже в такой экологически продвинутой стране, как Дания [16].

Хотя экономическое благополучие выступает предиктором экологического, показатели EPI (Environmental Performance Index — индекс экологической эффективности) положительно коррелируют с уровнем благосостояния страны только до определенного уровня [16. С. 9]. Считается, что инвестиции в развитие человеческого потенциала, верховенство закона и его соблюдение — более сильные предикторы экологических показателей, однако эти неэкономические предикторы во многом зависят от экономического благополучия (сложно представить в слабой экономике развитую правовую систему и институт инвестиций в человеческий капитал). Следовательно, экономическое благополучие можно считать фундирующим фактором экологически ответственного потребительского профиля. Согласно эволю-

ционной теории модернизации постматериалистические ценности утрачивают значимость по мере роста дефицита материальных благ: интерес потребителей к вопросам защиты окружающей среды и ESG (11) снижается во всех поколениях вследствие проинфляционных рисков и экономической неопределенности [35].

Возможно, снижение темпов декарбонизации, особенно в Европе, обусловлено геополитической турбулентностью, которая в принципе может вызывать экономический спад и рост алармизма, в целом способствовать «откату» постматериалистических ценностей и, соответственно, возврату к стратегии выживания. Как минимум три глобальных фактора (пандемия, геополитическая напряженность и климатические катаклизмы) с коротким временным лагом между ними негативно повлияли на динамику и масштабирование постматериалистических ценностей, в том числе экоконсьюмеризма. Последний фактор, казалось бы, наоборот должен подталкивать к более интенсивному развитию экопотребления, но он не действует изолированно — всегда в комплексе с остальными факторами.

Современное общество столкнулось со сложной задачей совмещения экономического и экологического благополучия. Ведутся активные дискуссии между противниками сокращения потребления и, соответственно, производства (считается, что увеличение потребления тесно связано с повышением уровня благосостояния) и сторонниками, которые предлагают стратегию «двойного дивиденда» — улучшать качество жизни, потребляя меньше и тем самым снижая деструктивное влияние на окружающую среду [31]. Экономическое движение «антироста» (degrowth) (12) также призывает снизить объемы и темпы производства и потребления под условным девизом «меньше товаров — больше отношений» [21. С. 536]. Концепция данного движения предполагает кардинальное переосмысление отношения к жизни и изменение жизненно-стилевых установок — больше внимания не материальному благополучию, а личному общению, конвивиальности (conviviality), т.е. получению удовольствия от дружелюбного общения. По сути, это движение направлено на декоммодификацию социальных отношений.

Разумеется, сегодня общества, особенно экономически развитые, стремятся найти баланс между развитием экономики и сохранением/защитой окружающей среды, но в силу технологических, экономических ограничений и доминирования гедонистических ценностей этот баланс сложно достигим. Опросы Института Гэллапа, в которых сопоставлялись приоритеты респондентов — экономический рост (материалистические/приобретательские ценности) или защита окружающей среды (постматериалистические ценности), показывают значительные колебания мнений в период с 1985 по 2025 годы, но в целом доля отдающих приоритет защите окружающей среды снизилась с 61 % в 1985 году (при максимальном значении в 71 % в 1990 и 1991) до 54 % в 2025 году (при минимальном значении в 36 % в 2011), а доля отдающих

предпочтение экономическому росту вместо защиты окружающей среды возросла с 28 % (при минимальном значении в 19 % в 1990) до 38 % (при максимальном значении в 54 % в 2011) [18].

Несмотря на то, что экоконсьюмеризм не является новой потребительской практикой, развитие ответственного потребления на ценностно-нормативном уровне сталкивается со сложностями. Авторы термина «normative instability» («нормативная неустойчивость») выделяют проблему конфликтности, неясности и слабости экологических норм потребления, подавляющих проэкологическое поведение и усиливающих зависимость потребительских практик от удобства и привычек [38]. Вследствие ценностно-нормативной «незрелости» часто возникает эффект «green gap» — разрыв между экологическими установками и реальными потребительскими практиками. Одно дело — одобрять экопотребительский паттерн, и совсем иное — реально его придерживаться, особенно систематически. Хотя в целом отмечается рост интереса к проэкологическому потреблению, например, данные Евробарометра показывают неоднозначную картину: так, в 2024 году шесть из десяти респондентов были готовы платить больше за экологически чистые продукты (13) (59 %) [19. С. 43], а в 2008 году тех, кто готов покупать экологически чистые продукты, несмотря на их более высокую стоимость, было 75 %, но с одним важным нюансом — только 17 % действительно сделали это в месяц, предшествовавший опросу [20. С. 26]. К сожалению, в 2024 году Евробарометр вопрос об экопокупках не задавал, поэтому прямое сравнение не вполне корректно, но можно предположить, что ситуация кардинально не изменилась.

Согласно данным ВЦИОМ за 2021 год, «54 % россиян не используют или уже отказались от ламп накаливания и еще 21 % выразили готовность отказаться от них, 53 % не используют или уже отказались от меха животных и 26 % готовы отказаться от него, 42 % не используют или уже отказались от использования пластиковой посуды и 41 % готовы от нее отказаться» [15]. Данные НАФИ за 2023 год показывают, что 37 % россиян осознанно покупали товары, изготовленные из переработанного вторсырья, а 36 % респондентов знакомились с информацией о социальной и экологической позиции брендов [7]. Основные барьеры для развития проэкологичного потребления, по оценкам респондентов, — цена (40 %), недоверие к экомаркировке (32 %), недостаточная информированность (30 %), недоверие к контролю (28 %) и физическая недоступность экопродукции [46]. Говоря о недоверии потребителей к экомаркировке, следует отметить проблему «greenwashing» («зеленый камуфляж») — когда компании манипулируют экологической повесткой, используя экотренд для привлечения внимания потребителей. По данным BEUC (European Consumer Organization), 40 % европейских потребителей чувствуют, что ими манипулируют, когда информация об экологичности продукции не соответствует действительности, и более 36 % выразили готовность отказаться от продукции компаний,

которые практикуют «greenwashing» (14) [39], тем самым демонстрируя потребительский активизм.

Как разновидность гражданского активизма потребительский активизм становится все более распространенным явлением. Автор концепции «individualized collective action» (индивидуализированного коллективного действия) М. Микелетти предлагает рассматривать потребительские практики как не только экономическое, но и политическое действие: хотя решения потребителей носят, как правило, индивидуальный характер, они имеют социальные, в частности политические, последствия, и такие формы, как «buycott» (15) и «boycott» (16), становятся основными инструментами выражения социальной поддержки или протеста (новые формы гражданского активизма) [33; 37]. Тем не менее, потребительский активизм часто несколько преувеличен. Например, отличительная черта этических потребителей, к которым относятся и экопотребители, — вера в то, что они способны изменить рынок потребительских товаров, что иногда соответствует действительности [11. С. 73]. Можно привести несколько известных примеров политической консьюмеризма, в том числе связанных с проэкологическими практиками, но потребительский «boycott», попытка «отменить» производителя за недобросовестные практики, не так часто успешны в силу устойчивости потребительского индивидуализма и эгоизма.

Справедливо замечание, что потребление часто имеет совместный характер: даже в индивидуальном потреблении человек почти непременно соотносит (17) свои действия с действиями представителей определенных социальных групп и локальных сообществ, его потребление подвержено социальному контролю [8]. Однако эти социальные группы и локальные сообщества находятся под постоянным влиянием маркетинговых и рекламных манипуляций производителей. Влияние потребителей в цифровую эпоху, безусловно, возросло, но и манипулятивные стратегии потребительскими предпочтениями быстро адаптируются к изменениям. Так, бизнес-концепция «Vendor Lock-In» (формирование зависимости от продукции определенного бренда), практикуемая такими корпорациями, как Apple, Google, Amazon, «привязывает» потребителей к бренду посредством проприетарных технологий; концепция «Planned Obsolescence» («запланированное устаревание») поддерживает «одноразовую культуру», и идея «Made to Break» («сделано, чтобы сломаться») — продуманная бизнес-стратегия [34].

Согласно эволюционной теории модернизации Инглхарта молодое поколение — наиболее активная социально-демографическая группа, способствующая ценностному сдвигу. Социализация молодежи в условиях экономической безопасности должна способствовать развитию более экологически ответственного потребительского профиля в силу доминирования постматериалистических ценностей, особенно в экономически развитых странах. Многочисленные социологические опросы это подтверждают: по данным

Deloitte, 65 % представителей поколения Z и 63 % миллениалов готовы платить больше за «зеленую» продукцию (следует помнить про эффект социально одобряемого поведения) [45]. В межпоколенческом контексте развитие экоконсюмеризма выглядит противоречиво: опросы GlobeScan несколько опровергают устойчивое мнение, что представители поколения Z более заинтересованы в устойчивом развитии, в том числе в решении экологических проблем. Так, с 2020 по 2024 годы среди респондентов 18–24 лет в 31 стране значительно снизилась доля тех, кто желает снизить свое воздействие на окружающую среду (с 76 до 68 %), тех, кто считает, что нужно потреблять меньше (с 74 до 62 %), и тех, кто чувствует вину за негативное воздействие на экологию (с 66 до 56 %), но возросла доля считающих, что по отдельности люди не могут сохранить окружающую среду (с 33 до 42 %) [40]. Видимо, младшая молодежная группа стала больше подвержена эффекту «безбилетника» («free rider problem»), предпочитая перекладывать ответственность за решение проблемы на других. В российском обществе также прослеживается некая «пассивность» поколения Z в экопотреблении: среди 40 % тех, что чаще не придает значения экопотреблению, 59 % — 18–24-летние [15]. Эти данные несколько коррелируют с зарубежными опросам, что может свидетельствовать об изменении экотренда в младшей молодежной группе.

На макросоциальном уровне одним из главных барьеров для развития экосберегающих потребительских практик всех поколений является устойчивое доминирование гедонистических потребительских ценностей, особенно в условиях роста экономического благополучия. Социализация поколений в экономической безопасности и потребительской парадигме «максимизации потребления», поддерживаемой маркетологами и производителями, глубоко укоренила в культуре потребления гедонистические нормы и ценности. Так, согласно данным European Environment Agency, потребительские расходы европейцев на душу населения в денежном выражении с поправкой на инфляцию увеличились на 21 % в период с 2000 по 2022 годы, т.е. европейцы стали потреблять больше [17]. Еще более динамичный рост потребления наблюдается в развивающихся экономиках. Реальное потребление домохозяйств и некоммерческих организаций на душу населения, по данным Всемирного банка, демонстрирует ежегодный прироста в большинстве стран [25] (18). Культ изобилия, потенциал которого раскрыла капиталистическая система, имеет для нее экзистенциальное значение, поскольку постоянный рост капиталистической экономики без него практически невозможен, а потребительский культ — идеолого-поведенческая основа экологической катастрофы [3].

Согласно Инглхарту уровень экономического благополучия общества влияет на жизненные приоритеты индивидов — от стратегии «выживания», основанной на материалистических ценностях, к стратегии «самовыражения», определяемой постматериалистическими ценностями. В консьюмеристском контексте «самовыражение» главным образом опосредовано потре-

бительскими практиками (количеством и качеством потребляемых товаров и услуг), которые демонстрируют не только статусность, но и индивидуальность потребителя, поскольку вес материалистической/гедонистической составляющей самовыражения все еще высок в обществе потребления. Подчеркивая тесную взаимосвязь между свободой и счастьем, Инглхарт полагает, что смещение ценностных приоритетов в сторону самовыражения сопровождается выбором более «прямой» траектории достижения счастья, люди «перестают стремиться к счастью окольными путями, т.е. путем максимизации экономических ресурсов» [4. С. 203]. Следовательно, самовыражение как ценность и как жизненная стратегия предполагает своего рода девальвацию значимости (в том числе символической) товаров и услуг как средств достижения благополучия и счастья.

Вопрос в том, как возможна «прямая» траектория достижения счастья в условиях товарного изобилия и, что более важно, доминирования гедонистических установок среди абсолютного большинства социальных групп. По мнению Инглхарта, это возможно благодаря максимизации свободного выбора во всех сферах жизни [4. С. 203]. В социально-политическом контексте связь свободы и счастья выглядит убедительно, а в консьюмеристском — неоднозначно. Экопотребление (особенно в количественном аспекте), в отличие от «традиционного» потребления, требует больше дисциплины и более строгого контроля над потребностями, т.е. значительного ограничения свободы потребительского выбора. Обратимся к изящной формуле свободы (индивида), предложенной П. Сорокиным [10. С. 618.]:

$$\text{Свобода} = \frac{\sum \text{В (возможностей)}}{\sum \text{П (потребностей)}}.$$

Можно утверждать, что счастье определяется соотношением суммы возможностей и суммы потребностей. Современное общество потребления, в соответствии с типологией культурных ментальностей Сорокина, не относится к идеациональному или идеалистическому типу [10. С. 62], а в чувственной культурной системе будет преобладать и соответствующий тип свободы (чувственный), для которой не подойдет идеациональная стратегия достижения посредством сокращения потребностей — наоборот, потребуются увеличение средств для удовлетворения потребностей. Но тогда экопотребительские практики скорее всего будут препятствовать реализации чувственной свободы в современной чувственной культуре. Более того, в потребительской культуре неравенство « $\sum$ потребностей > $\sum$ возможностей» — один из важнейших факторов, обеспечивающих экстенсивный рост экономики. К тому же сохраняется глобальная дилемма: богатые страны не желают отказываться от потребительского образа жизни, а бедным необходим экономический рост за счет промышленного производства [3].

Автор термина «Deep Economy» («глубинная экономика») Б. Маккиббен подчеркивает необходимость преодоления рамок устаревшей, по его мнению, парадигмы бесконечного роста и изучения истинных основ человеческого благополучия и долгосрочного выживания общества в пределах экологических возможностей планеты. «Deep Economy» предполагает основательное переосмысление ценностей и целей, аналогично тому как «Deep Ecology» («глубинная экология») переосмысливает отношения человека с природой [32]. Однако подобные инициативы, как и пропаганда экологически ответственного потребления, часто оцениваются достаточно скептически: «Сознательный личный выбор ограничения материального потребления — отказ от некоторых благ, ограничение своих желаний и переход к минимализму — больше похож на сознательную умеренность в питании» [9. С. 225].

Развитие экосберегающего потребительского профиля, несмотря на постматериалистические тренды в условиях экономической и экзистенциальной безопасности, сталкивается с рядом серьезных институциональных и ценностных барьеров, среди которых основным остается доминирование потребительского гедонизма. Эволюционная теория модернизации, вероятно, лучше отражает глобальный ценностный сдвиг в социально-политической сфере: высокий уровень экономической и экзистенциальной безопасности → развитие либерального законодательства, демократических и гражданских институтов → доктрина *laissez-faire* → переход от материалистических к постматериалистическим ценностям → самовыражение как преобладающая жизненная стратегия. Но в контексте (эко) консьюмеристской проблематики данная схема будет несколько иной: высокий уровень экономической и экзистенциальной безопасности → развитие гедонистических (потребительских/приобретательских) ценностей → либерализация потребительских практик → самовыражение, в основном опосредованное количеством и качеством потребляемых товаров и услуг (дуальных в том смысле, что обладают также символическими свойствами, позволяющими выражать индивидуальность). Данная схема вполне справедлива в условиях современной чувственной (потребительской) культуры, которая иногда превращается в гиперчувственную, значительно повышая степень коммодификации социальных отношений.

Экосберегающее потребление продолжает партикулярно и локально замещать/вытеснять традиционные потребительские практики, но не столько благодаря популярности постматериалистических ценностей в относительно экономически благополучных обществах, сколько в силу возрастающего дефицита экологичности, натуральности (во всех смыслах) как ценности и ресурса, необходимого для устойчивого развития не только экосистемы, но и системы социальных отношений. При этом сохраняется проблема подмены подлинного экоконсьюмеризма демонстративным экофетишизмом.

Трансформация из «общества потребления» в «общество экопотребления» потребует более кардинального сдвига ценностей в сторону постматериалистичности. Вопрос в том, в какой степени общество готово к этому глобальному переходу, требующему реструктуризации крайне устойчивых гедонистических потребительских паттернов.

Примечания

- (1) Первоначально Инглхарт называл материалистические ценности «приобретательскими», а постматериалистические — «постбуржуазными» [24]. Сегодня «приобретательство» продолжает служить основанием потребительских практик.
- (2) Данная концептуальная установка Инглхарта может ассоциироваться с экономическим детерминизмом, что неверно.
- (3) Эти гипотезы (основание теории межпоколенческого изменения ценностей) можно встретить и в «Культурной эволюции», но в «доработанном» варианте, с учетом их эмпирической верификации» [4. С. 36–37].
- (4) Некоторые критики подчеркивают, что индекс постматериалистических ценностей Инглхарта не учитывают многомерный характер изменения в постиндустриальном обществе, которое может продуцировать как либертарианские, так и авторитарные ценности [36]. Методологический анализ «индекса Инглхарта» показал, что использование в опросах World Values Surveys (WVS) более «длинного» индекса ценностей (12 пунктов вместо первоначальных 4), в отличие «короткого» (оригинального индекса из 4 пунктов), может вызывать «смещение» в ответах, приводя к завышенной доле постматериалистов [41]. Критика методологии измерения ценностных сдвигов Инглхарта с соавторами (К. Вельцель и др.) способствовала созданию более совершенной методики оценки постматериалистических ценностей, например, «континуальная» шкала измерения «эмансипативных ценностей» [44] имеет преимущества перед оригинальной дихотомической («материалисты/постматериалисты») [1].
- (5) Что способствовало значительному расширению либерального социокультурного пространства.
- (6) Инглхарт подчеркивает, что сдвиг от материалистических ценностей к постматериалистическим — один из компонентов более широкого сдвига — от ценностей выживания к ценностям самовыражения [4. С. 33].
- (7) В некоторых исследованиях концепция постматериализма считается преждевременной [2], а капитализм — главное препятствие для глобального смещения приоритета в сторону постматериальности [6], при том что постиндустриальные общества не просто капиталистические, но общества, в которых зародился и развивался (возможно, продолжает эволюционировать) подлинный «дух капитализма».
- (8) Также экоконсюмеризм — одна из форм этического потребления, которое помимо экологичности включает еще и этические убеждения, связанные с отказом от продукции, при производстве которой нарушаются права человека.
- (9) Изучение добровольного включения россиян в практику РСБО (раздельного сбора бытовых отходов) в контексте проэкологического поведения показало, что основная и все возрастающая часть россиян заинтересована в участии в РСБО, но выдвигает встречные запросы на наличие доступной и удобной инфраструктуры и информирование [14].
- (10) По сравнению с P2P (peer-to-peer, или «равный к равному») практиками как формой шеринговой экономики, которые динамично развиваются благодаря информатизации и цифровизации. Но не только цифровой сдвиг придает импульс P2P практикам — важно и развитие институтов гражданского общества [13].

- (11) Критерии, используемые для оценки устойчивости и этичности бизнеса: Environmental — экологическая ответственность, Social — социальная ответственность, Governance — корпоративное управление.
- (12) Degrowth на концептуальном уровне во многом похож на антиконсьюмеризм и потребительский минимализм.
- (13) Выражение «экологически чистый продукт» имеет достаточно широкую трактовку — как продукт, производство, использование и утилизация которого минимизируют негативное влияние на окружающую среду, так и натуральность продукции.
- (14) Недобросовестная маркетинговая практика, создающая ложное впечатление об экологической безопасности товаров, услуг или деятельности компании для привлечения потребительского внимания.
- (15) Форма гражданского активизма — отказ от покупок товаров и услуг в знак протеста против действий или политики компании.
- (16) Форма гражданского активизма — полный или частичный отказ от сотрудничества с лицом, организацией, страной в знак протеста против его действий/политики.
- (17) Наблюдается не просто сравнение потребителями своих и чужих практик, но и «потребительская конкуренция» — демонстрация через товары и услуги своего уровня материального достатка.
- (18) Данные относительного потребления, тогда как абсолютное потребление возрастает в силу увеличения численности населения в мире.

Библиографический список

1. Алмакаева А.М., Мавлетова А.М. Модернизационные процессы в России: ожидать ли сдвига в сторону эмансипативных ценностей? // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2018. № 6.
2. Давыдов Д.А. Концепция постматериализма Роналда Инглхарта в критической перспективе // Антиномии. 2018. № 3.
3. Ильин А.Н. Потребление и его глобальные последствия // Философия и общество. 2013. № 2.
4. Инглхарт Р. Культурная эволюция. Как изменяются человеческие мотивации и как это меняет мир / пер. с англ. С.Л. Лопатиной. М.; Челябинск, 2020.
5. Малиновский Б. Избранное: Динамика культуры. М., 2015.
6. Мартынов В.С. Глобальный Модерн, постматериальные ценности и периферийный капитализм в России // Политические исследования. 2014. № 1.
7. НАФИ и Экологический союз: исследование об отношении россиян к экотоварам и экомаркировке. 2023. URL: <https://nafi.ru/analytics/nafi-i-ekologicheskii-soyuz-issledovanie-ob-otnoshenii-rossiyan-k-ekotovaram-i-ekomarkirovke->.
8. Радаев В.В. Социология потребления: основные подходы // Социологические исследования. 2005. № 1.
9. Смит В. Создание современного мира: материалы и дематериализация. М., 2017.
10. Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика / пер. с англ. В.В. Сапова. М., 2006.
11. Троцук И.В., Давыденкова Е.С. Феномен этического консьюмеризма: специфика социологической интерпретации и особенности современного бытования // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2015. № 1.
12. Шабанова М.А., Гицалова Т.А. Социально-экономические факторы развития этического потребления в современном мире: есть ли будущее в России? // Социологические исследования. 2015. № 3.
13. Шабанова М.А. Новые потребительские практики в условиях цифровизации гражданского общества: результаты эмпирического исследования в России (статья 2) // Социологические исследования. 2020. № 12.
14. Шабанова М.А. Раздельный сбор бытовых отходов как добровольная практика россиян: динамика, факторы, потенциал // Социологические исследования. 2021. № 8.

15. Экологическое потребление. 2021. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/ehkologichnoe-potreblenie>.
16. Block S., Emerson J.W., Esty D.C. et al. *Environmental Performance Index*. New Haven, 2024.
17. Consumption volume per capita in the EU. URL: <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/product-lifespans-monitoring-trends/consumption-volume-per-capita-in-the-eu-between-2000-and-2022>.
18. Environment // URL: <https://news.gallup.com/poll/1615/environment.aspx>.
19. European Commission: Special Eurobarometer. Attitudes of Europeans towards the Environment. Brussels, 2024.
20. European Commission: Special Eurobarometer. Attitudes of European Citizens towards the Environment. Brussels, 2008.
21. Fournier V. Escaping from the economy: The politics of degrowth // *International Journal of Sociology and Social Policy*. 2008. Vol. 28. No. 11/12.
22. Griskevicius V., Tybur J., van den Bergh. Going green to be seen: Status, reputation, and conspicuous conservation // *Journal of Personality and Social Psychology*. 2010. Vol. 98.
23. Haanpaa L. Consumers' green commitment: indication of a postmodern life style? // *International Journal of Consumer Studies*. 2007. Vol. 31.
24. Hansen O., Tol R. A Refined Inglehart Index of Materialism and Post-Materialism. Working Papers FNU-35. Hamburg, 2003.
25. Households and NPISHs Final Consumption Expenditure per Capita (constant 2015 US\$). URL: <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators/Series/NE.CON.PRVT.PC.KD>.
26. Inglehart R. *Modernization and Post-Modernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies*. Princeton University Press, 1997.
27. Inglehart R. Post-materialism in an environment of insecurity // *American Political Science Review*. 1981. Vol. 75. No. 4.
28. Inglehart R. The silent revolution in Europe: Intergenerational change in post-industrial societies // *American Political Science Review*. 1971. Vol. 65. No. 4.
29. Inglehart R. *The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western Publics*. Princeton University Press, 1977.
30. Inglehart R., Abramson P.R. Economic security and value change // *American Political Science Review*. 1994. Vol. 88. No. 2.
31. Jackson T. Live better by consuming less? Is there a “double dividend” in sustainable consumption? // *Journal of Industrial Ecology*. 2005. No. 9.
32. McKibben B. *Deep Economy: Economics as if the World Mattered*. N.Y., 2007.
33. Micheletti M. *Political Virtue and Shopping: Individuals, Consumerism, and Collective Action*. Palgrave Macmillan, 2003.
34. Slade G. *Made to Break: Technology and Obsolescence in America*. Harvard University Press, 2006.
35. State of the Consumer 2024: What's now and what's next // URL: <https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/state-of-consumer-2024>.
36. Steel B.S., Warner R.L., Lovrich N.P., Pierce J.C. The Inglehart-Flanagan debate over postmaterialist values: Some evidence from a Canadian American case study // *Political Psychology*. 1992. Vol. 13.
37. Stolle D., Micheletti M. *Political Consumerism: Global Responsibility in Action*. Cambridge University Press, 2013.
38. Tanner C., Kaiser F.G., Wofing Kast S. Contextual conditions of ecological consumerism // *Environment and Behavior*. 2004. Vol. 36.
39. The Great Green Maze: How Environmental Advertising Confuses Consumer. URL: https://www.beuc.eu/sites/default/files/publications/BEUC-X-2023-149_The_Great_Green_Maze_How_environmental_advertising_confuses_consumers.pdf

40. The Road to 2025. Five Key Insights to Help Navigate the Shifting Consumer Landscape. 2024 // URL: [GlobeScan_Healthy_and_Sustainable_Living_Highlights_Report_2024-V2.pdf](#)
41. *Tranter B., Western M.* Overstating value change: Question ordering in the Post-Material Values Index // *European Sociological Review*. 2010. Vol. 26. No. 5.
42. *Twenge J.M.* iGen: Why Today's Super-Connected Kids are Growing up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy and Completely Unprepared for Adulthood — and What That Means for the Rest of Us. N.Y., 2017.
43. *Udupa N.S., Twenge J.M., McAllister C., Joiner T.E.* Increases in poor mental health, mental distress, and depression symptoms among U.S. adults, 1993–2020 // *Journal of Mood and Anxiety Disorders*. 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.xjmad.2023.100013>.
44. *Welzel C., Inglehart R.F.* Misconceptions of measurement equivalence: Time for a paradigm shift // *Comparative Political Studies*. 2016. Vol. 49. No. 8.
45. Gen Z and Millennial Survey: Growth and pursuit of money, meaning, and well-being. URL: <https://www.deloitte.com/global/en/issues/work/genz-millennial-survey.html>.
46. 71 % россиян возлагают ответственность за состояние экологии на государство и бизнес. 2023. URL: <https://nafi.ru/analytics/71-rossiyan-vozlagayut-otvetstvennost-za-sostoyanie-ekologii-na-gosudarstvo-i-biznes>.

DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-631-648

EDN: KVLYLE

Contradictions in the development of eco-consumerism in the context of R. Inglehart's evolutionary theory of modernization*

N.V. Goncharov

Orenburg State University,
Prosp. Pobedy, 13, Orenburg, 460018, Russia

(e-mail: nik567485@mail.ru)

Abstract. The article considers the development of eco-sustainable practices as a part of the global cultural shift from materialist values to the post-materialist ones. The first part briefly outlines the central ideas of R. Inglehart's evolutionary theory of modernization, which defines the global cultural shift as a transition in individual life strategies from “survival” to “self-expression” due to the growing predominance of post-materialist values over the materialist ones. Such transformations are expected to reshape consumer practices — from hedonistic consumption rooted in acquisitive values to responsible, pro-environmental consumption shaped by post-materialist orientations. However, this transition is inconsistent and contradictory due to multiple barriers. The author considers institutional and value-based barriers to the expansion of pro-environmental consumption (green gap, elitism of eco-consumption in qualitative terms, hedonistic values and orientations). The article is based on empirical data and aims at proving the hypothesis of the macro-social stability of hedonistic consumer practices which prevail even in societies with high levels of economic and existential security, where post-materialism dominates the social-political

*© N.V. Goncharov, 2025

The article was submitted on 23.07.2025. The article was accepted on 14.10.2025.

sphere. Even younger generations, which socialized in the conditions of relative economic security and are more likely to have post-materialist orientations, show a decline in interest in pro-environmental consumption. The author argues that eco-consumerism is a nonlinear outcome of the global value shift from materialism to post-materialism, which makes eco-consumption practices a hybrid phenomenon that reflects an adaptation of consumer values to ecological trends. Thus, eco-consumerism as an expression of post-materialism contradicts the logic of consumerist hedonism supported and reinforced by the contemporary consumer culture.

Key words: eco-consumerism; consumer practices; responsible consumption; materialism; post-materialism; hedonism; sensate culture

For citation: Goncharov N.V. Contradictions in the development of eco-consumerism in the context of R. Inglehart's evolutionary theory of modernization. *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (4): 631–648. (In Russ.). <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-631-648>

References

1. Almakaeva A.M., Mavletova A.M. Modernizatsionnye protsessy v Rossii: ozhidat li sdviga v storonu emansipativnykh tsennostey? [Modernization in Russia: Should we expect a shift to emancipative values?]. *Monitoring Obshchestvennogo Mneniya: Ekonomicheskie i Sotsialnye Peremeny*. 2018; 6. (In Russ.).
2. Davydov D.A. Kontseptsiya postmaterializma Ronalda Ingleharta v kriticheskoy perspective [Ronald Inglehart's concept of postmaterialism in critical perspective]. *Antinomii*. 2018; 3. (In Russ.).
3. Il'yin A.N. Potreblenie i ego globalnye posledstviya [Consumption and its global implications]. *Filosofiya i Obshchestvo*. 2013; 2. (In Russ.).
4. Inglehart R. *Kulturnaya evoliutsiya. Kak izmenyayutsia chelovecheskie motivatsii i kak eto menyaet mir* [Cultural Evolution: People's Motivations are Changing, and Reshaping the World]. Per. s angl. S.L. Lopatinoy. Moscow, Chelyabinsk; 2020. (In Russ.).
5. Malinowsky B. *Izbrannoe: Dinamika kultury* [Selected works: The Dynamics of Culture Change]. Moscow; 2015. (In Russ.).
6. Martyanov V.S. Globalny Modern, postmaterialnye tsennosti i periferiyny kapitalizm v Rossii [Global Modern, post-material values and peripheral capitalism in Russia]. *Political Studies*. 2014; 1. (In Russ.).
7. *NAFI i Ekologichesky soyuz: issledovanie ob otnoshenii rossiiyan k ekotovaram i ekomarkirovke* [NAFI and the Ecological Union: A study of Russians' attitude toward eco-products and eco-labels]. 2023. URL: <https://nafi.ru/analytics/nafi-i-ekologicheskiy-soyuz-issledovanie-ob-otnoshenii-rossiiyan-k-ekotovaram-i-ekomarkirovke>. (In Russ.).
8. Radaev V.V. Sotsiologiya potrebleniya: osnovnye podkhody [Sociology of consumption: Basic approaches]. *Sotsiologicheskie Issledovaniia*. 2005; 1. (In Russ.).
9. Smil V. *Sozdanie sovremennogo mira: materialy i dematerializatsiia* [Making the Modern World: Materials and Dematerialization]. Moscow; 2017. (In Russ.).
10. Sorokin P.A. *Sotsialnaya i kulturnaya dinamika* [Social and Cultural Dynamics]. Per. s angl. V.V. Sapova. Moscow; 2006. (In Russ.).
11. Trotsuk I.V., Davydenkova E.S. Fenomen eticheskogo konsyumerizma: spetsifika sotsiologicheskoy interpretatsii i osobennosti sovremennogo bytovaniya ["Ethical consumerism": The specifics of sociological interpretation and present manifestations]. *RUDN Journal of Sociology*. 2015; 1. (In Russ.).
12. Shabanova M.A., Gitsalova T.A. Sotsialno-ekonomicheskie faktory razvitiya etiche-skogo potrebleniya v sovremennom mire: est li budushchee v Rossii? [Social-economic factors of the development of ethical consumption in the contemporary world: Is there a future in Russia?]. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2015; 3. (In Russ.).

13. Shabanova M.A. Novye potrebitelskie praktiki v usloviyah tsifrovizatsii grazhdanskogo obshchestva: rezultaty empiricheskogo issledovaniya v Rossii (statiya 2) [New consumer practices under digitalization of civil society: An empirical study in Russia (Part 2). *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2020; 12. (In Russ.).
14. Shabanova M.A. Razdelny sbor bytovykh otkhodov kak dobrovolnaya praktika rossiyan: dinamika, faktory, potentsial [Separate waste collection as Russians' voluntary practice: Dynamics, factors and potential]. *Sotsiologicheskie Issledovaniia*. 2021; 8. (In Russ.).
15. *Ekologichnoe potreblenie* [Eco-friendly consumption]. 2021. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/ehkologichnoe-potreblenie>. (In Russ.).
16. Block S., Emerson J.W., Esty D.C. et al. *Environmental Performance Index*. New Haven; 2024.
17. Consumption volume per capita in the EU. URL: <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/product-lifespans-monitoring-trends/consumption-volume-per-capita-in-the-eu-between-2000-and-2022>.
18. Environment. URL: <https://news.gallup.com/poll/1615/environment.aspx>.
19. European Commission: *Special Eurobarometer. Attitudes of Europeans towards the Environment*. Brussels; 2024.
20. European Commission: *Special Eurobarometer. Attitudes of European Citizens towards the Environment*. Brussels; 2008.
21. Fournier V. Escaping from the economy: The politics of degrowth. *International Journal of Sociology and Social Policy*. 2008; 28 (11/12).
22. Griskevicius V., Tybur J., van den Bergh. Going green to be seen: Status, reputation, and conspicuous conservation. *Journal of Personality and Social Psychology*. 2010; 98.
23. Haanpaa L. Consumers' green commitment: indication of a postmodern lifestyle? *International Journal of Consumer Studies*. 2007; 31.
24. Hansen O., Tol R. *A Refined Inglehart Index of Materialism and Post-Materialism*. Working Papers FNU-35. Hamburg; 2003.
25. Households and NPISHs Final Consumption Expenditure per Capita (constant 2015 US\$). URL: <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators/Series/NE.CON.PRVT.PC.KD>.
26. Inglehart R. *Modernization and Post-Modernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies*. Princeton University Press; 1997.
27. Inglehart R. Post-materialism in an environment of insecurity. *American Political Science Review*. 1981; 75 (4).
28. Inglehart R. The silent revolution in Europe: Intergenerational change in post-industrial societies. *American Political Science Review*. 1971; 65 (4).
29. Inglehart R. *The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western Publics*. Princeton University Press; 1977.
30. Inglehart R., Abramson P.R. Economic security and value change. *American Political Science Review*. 1994; 88 (2).
31. Jackson T. Live better by consuming less? Is there a “double dividend” in sustainable consumption? *Journal of Industrial Ecology*. 2005; 9.
32. McKibben B. *Deep Economy: Economics as if the World Mattered*. New York; 2007.
33. Micheletti M. *Political Virtue and Shopping: Individuals, Consumerism, and Collective Action*. Palgrave Macmillan; 2003.
34. Slade G. *Made to Break: Technology and Obsolescence in America*. Harvard University Press; 2006.
35. State of the Consumer 2024: What's now and what's next. URL: <https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/state-of-consumer-2024>.
36. Steel B.S., Warner R.L., Lovrich N.P., Pierce J.C. The Inglehart-Flanagan debate over postmaterialist values: Some evidence from a Canadian American case study. *Political Psychology*. 1992; 13.

37. Stolle D., Micheletti M. *Political Consumerism: Global Responsibility in Action*. Cambridge University Press; 2013.
38. Tanner C., Kaiser F.G., Wofing Kast S. Contextual conditions of ecological consumerism. *Environment and Behavior*. 2004; 36.
39. The Great Green Maze: How Environmental Advertising Confuses Consumer. URL: https://www.beuc.eu/sites/default/files/publications/BEUC-X-2023-149_The_Great_Green_Maze_How_environmental_advertising_confuses_consumers.pdf
40. The Road to 2025. Five Key Insights to Help Navigate the Shifting Consumer Landscape. 2024. URL: [GlobeScan_Healthy_and_Sustainable_Living_Highlights_Report_2024-V2.pdf](https://www.globescan.com/~/media/Reports/2024/GlobeScan_Healthy_and_Sustainable_Living_Highlights_Report_2024-V2.pdf)
41. Tranter B., Western M. Overstating value change: Question ordering in the Post-Material Values Index. *European Sociological Review*. 2010; 26 (5).
42. Twenge J.M. *iGen: Why Today's Super-Connected Kids are Growing up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy and Completely Unprepared for Adulthood — and What That Means for the Rest of Us*. New York; 2017.
43. Udupa N.S., Twenge J.M., McAllister C., Joiner T.E. Increases in poor mental health, mental distress, and depression symptoms among U.S. adults, 1993–2020. *Journal of Mood and Anxiety Disorders*. 2023. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jmad.2023.100013](https://doi.org/10.1016/j.jmad.2023.100013).
44. Welzel C., Inglehart R.F. Misconceptions of measurement equivalence: Time for a paradigm shift. *Comparative Political Studies*. 2016; 49 (8).
45. Gen Z and Millennial Survey: Growth and pursuit of money, meaning, and well-being. URL: <https://www.deloitte.com/global/en/issues/work/genz-millennial-survey.html>.
46. 71 % rossiyan vozlagayut otvetstvennost za sostoyanie ekologii na gosudarstvo i biznes [71 % of Russians place responsibility for the state of the environment on the government and business]. 2023. URL: <https://nafi.ru/analytics/71-rossiyan-vozlagayut-otvetstvennost-za-sostoyanie-ekologii-na-gosudarstvo-i-biznes>. (In Russ.).



CONTEMPORARY SOCIETY: THE URGENT ISSUES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-649-668

EDN: KTOOYV

Ценности семьи в представлениях студентов российских вузов*

В.В. Козловский^{1,2}, Л.С. Панкратова^{1,2}, Р.В. Светлов¹

¹Санкт-Петербургский государственный университет,
Университетская наб., 7–9, Санкт-Петербург, 199034, Россия

²Социологический институт — филиал ФНИСЦ РАН,
ул. 7-я Красноармейская, 25/14, Санкт-Петербург, 190005, Россия

(e-mail: vvk_soc@mail.ru; l.s.pankratova@spbu.ru; r.svetlov@spbu.ru)

Аннотация. В статье рассматриваются смысложизненные ценности семьи в представлениях и практиках российской студенческой молодежи. Статья основана на данных социологического исследования, проведенного в 2025 году методом онлайн-опроса среди студентов шести высших учебных заведений (N=1173; бакалавриат, магистратура, специалитет; естественно-научные, социально-гуманитарные, математико-информационные профили подготовки). Исходная гипотеза исследования состояла в том, что стержнем отношения к семье и направленности на построение семейной и брачной карьеры выступают смысложизненные ценности. Концептуально вопрос о ценностях семьи потребовал включить в аналитику ряд базовых смыслов жизни, регулирующих представления, убеждения, установки и действия молодежи. В числе приоритетных ценностей современного студента оказались: обретение достаточного экономического и культурного капитала, финансовое обеспечение (стабильный хороший заработок), качественное образование. Авторы отмечают прагматичное отношение к семье: хотя семья занимает третье — четвертое место в перечне ценностей, она включает целый спектр атрибутивных смысложизненных ценностей, в частности смысл совместной жизни, целеполагание семейного проживания, проект бу-

*© Козловский В.В., Панкратова Л.С., Светлов Р.В., 2025

Статья поступила в редакцию 29.07.2025. Статья принята к публикации 14.10.2025.

душей финансовой и хозяйственной деятельности, отношение к партнеру, оценку брака, прав и обязательств, сексуальной жизни и интимности, планирование детей, будущее родительство, взаимоотношения с ближайшими родственниками. Смыслжизненные ценности семьи в большей степени представлены ориентацией на поддержание связей с родительской семьей и рождение детей, но без конкретных репродуктивных планов. Студенты также интересуются генеалогическим древом и родословной семьи, ее судьбой и жизнью родственников в контексте истории страны. Опрошенные позитивно оценивают цифровые технологии как средства взаимодействия в (вос) производстве семейных отношений и обеспечении семейного благополучия. Смыслжизненные ценности семьи, определяющие мировоззрение, установки и поведение современной российской молодежи, поколенчески вариативны, но относительно устойчивы.

Ключевые слова: смыслжизненные ценности; семья; традиции; молодежь; российские студенты; смыслы и практики

Для цитирования: Козловский, В.В., Панкратова, Л.С., Светлов Р.В. Ценности семьи в представлениях студентов российских вузов // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 4. С. 649–668. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-649-668>

Семья в структуре ценностей российских студентов занимает особое место, что обусловлено знаниями, практиками и жизненным опытом человека в нашем обществе. Стержнем отношения к семье и нацеленности на семейную и брачную карьеру являются смыслжизненные ценности — любовь, свобода, справедливость, благосостояние и ряд других важных терминальных ценностей, которые регулируют представления, убеждения, установки, диспозиции и действия россиян [12; 13; 20; 22; 24; 27]. Терминальные и инструментальные ценности различаются тем, что «первые (целевые) обобщенно выражают цели жизни и идеалы, а вторые репрезентируют одобряемые в данном обществе средства достижения этих целей; терминальные, или смысловые, ценности говорят о том, во имя чего живет и действует человек, достижение каких целей имеет для него абсолютное, самоценное значение; в этом главное отличие терминальных, или смыслжизненных, ценностей-целей от инструментальных ценностей-средств, определяющих способы действия во имя достижения поставленных целей» [13. С. 4–5]. Для молодежи смысл жизни складывается из следующих ценностей: «любовь, спокойная безбедная жизнь, проявление своей индивидуальности (самореализация), продолжение себя в будущих поколениях, стремление к истине, борьба за справедливость, политическая борьба (за власть)... но наиболее значимым смыслом жизни остается любовь, ценность которой в мотивации жизнедеятельности является приоритетной по сравнению с остальными смыслжизненными ценностями» [13. С. 6, 9].

В исследовании базовых ценностей населения России под руководством Н.И. Лапина был выделен и обоснован набор ключевых ценностей российского общества, в который была включена и семья [15]. На основе этого проекта мы продолжили изучение смыслжизненных ценностей семьи как

терминальной ценности наряду с традицией [21]. Вместе с тем современная семья включает целый спектр смысложизненных ценностей, в частности, мотивы совместной жизни, целеполагание семейного проживания, проект будущей финансовой и хозяйственной деятельности, отношение к партнеру и оценка брака, права и обязательства, сексуальная жизнь и интимность, планирование детей и будущее родительство, взаимоотношения с ближайшими родственниками, — эти ценности были рассмотрены в контексте мировоззрения современного студента.

Сегодня в социальных науках и философии семья рассматривается как находящаяся в процессе трансформации — от «старого» типа, патриархальной, большой семьи, свойственной аграрным обществам, к новому типу, характерному для индустриального и постиндустриального общества, — семье нуклеарной, состоящий из супругов и их детей до того момента, пока последние не создают собственные семьи или не начинают отдельную жизнь. Этот процесс охватывает значительную часть мира [31], с чем невозможно не согласиться даже с учетом культурного разнообразия, обуславливающего конкретные формы его проявления [29], в том числе в России. Наиболее значимые из них: повышение возраста первого вступления в брак; снижение фертильности, в том числе потому, что женщина стала активным участником рынка труда (что для тактических целей экономики выгодно, но противоречит долгосрочным целям государственной демографической политики); снижение числа формальных браков (церковных, гражданских), их замена неформальными союзами (их стабильность ниже, даже если рождаются дети); увеличение числа разводов, особенно в менее обеспеченных и хуже образованных сегментах социума, причем вступление во второй или третий брак необязательно ведет к появлению детей; благодаря трудовой деятельности и росту возможностей самообеспечения усиливается тренд на одиночную жизнь, особенно у женщин [32], что также приводит к снижению рождаемости; радикально уменьшаются межпоколенческие связи, вызванные доступными условиями кондоминимумов, социальной поддержкой и достижимостью различных благ (раздельное проживание представителей разных поколений семьи, получающих нужные навыки благодаря образованию, считается более комфортным и даже воспитывающим самостоятельность), а также тем, что цифровые технологии создают видимость общения и эмоционального участия.

В регионах мира эти процессы проходят неравномерно, что связано с культурными традициями и нормами: разные регионы и группы населения демонстрируют разные скорости подобных изменений при сохранении общего тренда. Вместе с тем семья сохраняет важнейшие для человека, общества и государства функции, формируя будущее поколение в физическом смысле и будущее страны — в ценностно-культурном. Внимание российско-го руководства к ценностям крепкой семьи в этом контексте имеет не симво-

лическое, а стратегическое значение — обеспечения будущего в непростой исторический период, что невозможно без постоянного мониторинга текущей ситуации.

Роль, положение, функции семьи и отношение к ней тесно связаны с ценностной структурой личности. Привязанность к семье, семейно-брачные планы молодежи задаются опытом социализации в родительской семье, сформированной из разных источников картиной семейной жизни, жизненными ориентирами и влиянием ближайшего окружения [10; 26]. Исследовательская проблема состоит в определении места семьи в иерархии и структуре ценностей российских студентов. Наша исходная гипотеза заключается в том, что стержнем отношения к семье и направленности на построение семейной и брачной карьеры являются смысложизненные ценности, причем важно понимать, насколько семейные реалии и ценности сохраняют свой статус и место в жизненных практиках молодых людей. Проведенное исследование — часть проекта (3), предполагающего в том числе анализ эффективности образовательных программ мировоззренческого профиля в контексте формирования ценностей крепкой семьи, изучение кодификации культурных норм, описывающих модель семьи и семейных ценностей с точки зрения традиционных религий и конфессий России, исследование социальных практик, в которых эти нормы реализуются.

Изучение смысложизненных ценностей российских студентов в контексте концепции жизненного пути [6] позволяет акцентировать внимание на социокультурных структурах, определяющих ценностные ориентации и предпочитаемые сценарии жизни, а также на установках и планах молодежи в отношении семьи в темпоральной перспективе (представления о последовательности, приоритетности тех или иных событий и действий — получение диплома об образовании, вступление в брак, устройство на постоянную работу, приобретение недвижимости, рождение детей и пр.). Актуальные ценностные ориентации, в том числе в отношении семьи, и действия/семейные практики обучающихся — отражение конфигурации факторов, формирующих диспозиции индивида на предшествующих этапах жизни и в настоящее время: опыт взаимодействия с социальными субъектами, оказывавшими влияние на формирование представлений (родители, родственники, друзья, лидеры общественного мнения, представители системы образования, др.), также с социальными институтами и организациями. Важно учитывать и структурирующее воздействие на индивида локального, регионального и глобального контекстов жизни. Теория жизненного цикла [28] позволяет учитывать возрастную специфику — особое положение индивидов в социальной структуре в разные периоды жизни, в том числе в молодости, что во многом определяет ситуативные выборы и действия.

Комплементарным для исследования стал структуралистский конструктивизм П. Бурдье [7], предоставляющий возможность концепту-

ально зафиксировать значимость смысложизненных ценностей семьи в ряду других ценностей — ориентирующих на приобретение, приумножение, выбор разных ресурсов (экономический, социальный, культурный, символический и иные виды капиталов) для достижения и/или сохранения желаемых социальных статусов. Концепция полимедиа [18] фокусируется на агентности индивидов в регулировании своих взаимодействий в условиях распространения цифровых медиа и информационно-коммуникативных технологий, что позволяет проследить особенности реализации смысложизненных ценностей студентами при поддержании семейных отношений в опосредованной форме. В интерпретации результатов эмпирического исследования мы учитывали ценностную амбивалентность семейных отношений на современном этапе развития российского общества — непрекращающийся поиск баланса между сплоченностью (интимностью) и автономией членов семьи [11].

Исследование было проведено в 2025 году методом онлайн-опроса по формализованной анкете, запрограммированной на платформе «Анкетолог». N=1173 респондента старше 18 лет, обучающиеся в шести российских высших учебных заведениях, расположенных в Калининграде, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (БФУ им. И. Канта), Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ им. К. Минина), Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (НовГУ), Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ им. А.И. Герцена), Русская христианская гуманитарная академия им. Ф.М. Достоевского (РХГА), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). При отборе респондентов внимание уделялось тому, чтобы в выборке были представлены студенты всех уровней высшего образования (бакалавриат n=892, магистратура n=228, специалитет n=53), обучающиеся по разным направлениям подготовки — естественно-научным (n=150), социально-гуманитарным (n=946) и математико-информационным (n=77). Итоговая выборка позволяет охарактеризовать совокупность обучающихся в российских вузах как гетерогенную.

Семья в системе ценностей российской студенческой молодежи

В системе ценностных ориентаций опрошенных студентов приоритетной задачей оказалось обретение экономического и культурного капиталов — финансового обеспечения (стабильного, хорошего заработка) (69 %) и качественного образования (64 %), что соответствует логике занимаемой обучающейся молодежью социальной позиции на текущем жизненном этапе — когда происходит накопление разных видов капиталов, необходимых

для успешной социальной мобильности. Получение качественного образования более значимо для обучающихся бакалавриата (68 %) и специалиста (72 %), чем магистратуры (49 %), что может быть следствием следующих факторов: обладание дипломом о высшем образовании как конвертируемым ресурсом на рынке труда, наличие большего опыта работы и постоянной занятости среди магистрантов, что ориентирует некоторых из них в большей степени на сферу труда/занятости, чем образования.

Здоровье как ресурс также значимо для респондентов (62 %), что соотносится с общими тенденциями роста внимания молодежи к своему физическому и ментальному здоровью [3; 17] и распространения коммерческих (ЗОЖ, нутрициология, фитнес индустрия) и государственных курсов о важности поддержания здоровья (например, национальный проект «Здоровье»).

Далее следует ориентация на самореализацию («возможность заниматься любимым делом») (60 %), что отражает социокультурный приоритет самовыражения и может быть связано с достаточным уровнем благосостояния (нет необходимости «выживать»), высокими ценностями индивидуализма и поиска себя (считается прерогативой молодости). Данные ВЦИОМ подтверждают, что для поколений цифры и младших миллениалов (18–24- и 25–33-летних) самореализация входит в топ-3 ценности [9].

Следующий блок ценностных ориентаций — развитие близких связей с членами семьи (57 %), партнером в паре (53 %) и друзьями (45 %). Высокая значимость дружеских отношений — важный атрибут молодости, а для половины опрошенных важны отношения с любимым человеком, что согласуется с выявленной ранее тенденцией — около половины респондентов не состоят в отношениях. Значимость качества связей в семье отражает высокую ценность родительской семьи, несмотря на достижение студентами совершеннолетия и обретения формального статуса взрослых.

44 % заявили о карьерных амбициях, что свидетельствует об отсутствии всеобъемлющего культа карьеризма среди российской молодежи. Для трети опрошенных важно наличие большого количества свободного времени для использования по своему усмотрению (31 %), что может свидетельствовать о гедонистических ориентациях. Ценность социального признания (со стороны окружающих, коллег по учебе, работе), в том числе в профессиональной сфере, актуальна для каждого пятого (20 %), репродуктивные планы в настоящее время важны для 15 %, что согласуется со статистически фиксируемыми тенденциями откладывания создания семьи и рождения детей на более поздний период [1; 4; 25].

Три четверти опрошенных в ближайшие пять лет нацелены на обретение финансовой независимости (79 %) и успешное окончание вуза/получение диплома о высшем образовании (75 %), причем в большей степени студенты на первой ступени высшего образования: различия

в ориентации на приобретение культурного и символического капитала в сфере образования среди студентов бакалавриата (79 %), специалитета (74 %) и магистратуры (58 %) соотносятся с обозначенными выше факторами, определяющими ценность диплома для трех групп (для бакалавров первый документ о высшем образовании — новый ресурс на конкурентном рынке труда).

Несколько меньшая, но все равно высокая доля магистрантов (70 %) по сравнению со студентами бакалавриата (81 %) и специалитета (79 %) указывающих в качестве жизненной цели обретение финансовой независимости, видимо, следствие того, что некоторая часть магистров уже этого добилась. Половина опрошенных (50 %) ставит среднесрочную задачу устройства на работу по специальности, но среди обучающихся на социально-гуманитарных направлениях эта доля несколько ниже (48 % против 58 % на естественно-научных и 64 % на математико-информационных), что объясняется спецификой подготовки и связью с рынком труда. Все три наиболее востребованные студентами среднесрочные цели связаны с актуальными для молодости как транзитного этапа жизни задачами социального взросления — достижение финансовой независимости и принятие ответственности за самостоятельные решения и действия.

Создание собственной (репродуктивной) семьи, основной функцией которой является рождение и воспитание детей, входит в перечень жизненных целей на ближайшие пять лет у половины опрошенных (49 %), каждый пятый (20 %) заявил о репродуктивных планах в среднесрочной перспективе, и среди магистрантов эта доля несколько выше (27 % против 18 % в бакалавриате и 17 % в специалитете). Предположительно семья может быть элементом долгосрочных планов (свыше пяти лет) в зависимости от предполагаемых сценариев развития жизненного пути, т.е. включение/исключение семьи в среднесрочном планировании может быть отражением распространенных в обществе сценариев жизненного пути, в том числе тех, что ориентируют на достижение определенных условий (финансового, материального благосостояния, социального статуса и др.) как обязательных для создания семьи, рождения детей и поддержки родственников. Данные ВЦИОМ за 2025 год свидетельствуют об ориентации российской молодежи на накопление ресурсов как обязательное условие для рождения детей, создания многодетной семьи (финансовая обеспеченность, стабильный доход, наличие собственного жилья) [8].

Треть опрошенных (34 %) планирует начать проживать отдельно от родителей, но среди магистрантов доля таковых несколько ниже (24 % против 37 % в бакалавриате и 40 % в специалитете), что соотносится с особенностями выборки — студенты вузов крупных (от 500 тысяч до 1 млн человек) и крупнейших (свыше 1 млн) городов. Многие респонденты уже прожива-

ют отдельно от родителей в силу того, что являются иногородними студентами или по другим причинам. В целом отдельное проживание от родителей рассматривается молодежью как маркер взросления.

Смыслжизненные ценности семьи: функциональный аспект

Опрошенные отмечают сильное влияние семьи на разные аспекты их жизни, что можно рассмотреть в ракурсе функциональных ценностей семьи [14]. Подавляющее большинство респондентов указывает на воздействие (очень сильное и скорее сильное) семьи на их компетенции и ориентации на выполнение социальных ролей в семье («готовность и способность заботиться о других членах семьи» — 88 %), психическое состояние (87 %), финансовую (85 %) и материальную обеспеченность (85 %) (рис. 1). Студенты магистратуры несколько реже фиксируют сильное влияние семьи на их финансовое (78 %) и материальное (80 %) благополучие, чем обучающиеся бакалавриата (87 и 85 % соответственно) и специалитета (89 и 91 %), видимо, потому что магистранты уже обрели самостоятельность в этом вопросе.



Рис. 1. Представления респондентов о влиянии семьи на разные аспекты их жизни, %

Значительная часть опрошенных признает существенное влияние семьи на обладание/доступность им разных видов капиталов/ресурсов, а также на формирование их образа/стиля жизни ценностно-мотивационное ядра: развитие талантов, способностей (72 %); состояние здоровья (71 %); определение жизненных целей (70 %); умение самостоятельно принимать решения и действовать (68 %); образ и стиль жизни (68 %); умение выстраивать отношения с окружающими (65 %), социальные связи на случай необходимости (63 %). При этом обучающиеся социально-гуманитарного профиля (73 %) немного чаще указывают на вклад семьи в их жизненные цели (естественно-научного профиля — 67 %, математико-информационного — 64 %). Аналогичные тенденции просматриваются и в выстраивании отношений с окружающими: социально-гуманитарные специальности — 66 %, естественно-научные — 61 %, математико-информационные — 52 %.

Лишь треть опрошенных отметили сильное влияние семьи на традиционно значимое событие статусного перехода в контексте жизненного пути — выбор вуза и направления подготовки (32 %), причем независимо от направления подготовки и уровня обучения, что можно рассматривать как признак движения от постфигуративной культуры (младшие поколения учатся у старших) в терминологии М. Мид [19] к доминированию кофигуративной (референтной группой выступают современники/сверстники) и/или префигуративной (старшие поколения учатся у младших) культур в сфере образовательного выбора.

Обращают на себя внимание оценки участия семьи в формировании религиозной и этнической идентичностей студентов: 44 % считают, что их семья в целом не оказывает влияния на их религиозные убеждения, о существенном влиянии семьи на их духовные воззрения заявили 27 %, об ограниченном — 25 %. Считают себя верующими 38 % (из них 80 % назвали себя православными), неверующими — 39 %, затруднились с ответом — 23 %. 41 % заявили об идентификации с какой-либо этнической (национальной) группой (74 % назвали себя русскими), 37 % — об отсутствии таковой. Более трети опрошенных (37 %) отметили, что их семьи активно/скорее участвуют в формировании, поддержании, (вос)производстве этнической идентичности, 45 % — что скорее/совсем не участвуют. Среди студентов социально-гуманитарных направлений (40 %) доля признающих влияние членов семьи на их этническую идентичность выше, чем среди обучающихся на естественно-научных (27 %) и математико-информационных (30 %) направлениях.

41 % респондентов отмечают удовлетворенность семейной поддержкой — «поддержки достаточно, ничего не нужно», и наиболее востребованной остается эмоционально-психологическая функция семьи (38 %), что соответствует тенденции сохранения ведущей роли семьи (сначала

родительской, затем репродуктивной) в оказании эмоциональной поддержки представителям молодежных когорт [11; 23]. Каждый четвертый — пятый опрошенный заявил о желании большей поддержки семьи в обеспечении разными видами капиталов/ресурсов: материального достатка (23 %) и финансами (22 %); полезными социальными связями на случай необходимости (20 %), самостоятельности в принятии решений и выборе модели поведения (19 %), умении выстраивать отношения с окружающими (18 %), развитии талантов и способностей (16 %). Среди представителей математико-информационных направлений несколько ниже запрос на «внешние» ресурсы семьи (финансовые, материальные, полезные связи), а среди обучающихся социально-гуманитарного блока — на помощь в развитии социально-коммуникативных навыков. Примерно каждый десятый не возражает против более заметного участия семьи в поддержании физического здоровья (13 %), формировании образа и стиля жизни (11 %), определении жизненных целей (10 %), развитии способности заботиться о других членах семьи (9 %). Небольшая доля выбравших данные варианты соотносится, с одной стороны, с тем, что значительная доля респондентов уже считает влияние семьи на эти аспекты жизни значительным, с другой стороны, со стремлением молодых людей к автономности, самостоятельности или же с ориентацией на другие авторитеты (психологи, блогеры, специалисты в конкретной сфере, пр.), особенно в области образовательного выбора, где запрос на помощь со стороны родственников минимален (1,7 %).

Личная значимость семьи: результаты применения метода ассоциаций

Для выявления личной жизненной значимости семьи респондентам было закончить предложение «Моя семья — это...». Были выявлены топ-четыре группы ассоциаций, отражающие содержание представлений о семье с точки зрения их ценностного ядра — семья как опора/поддержка/помощь — 48 %. Студенты математико-информационных направлений реже называют эту ассоциацию (38 % против 48 % среди обучающихся на естественно-научных и социально-гуманитарных специальностях), а магистранты — чаще (58 % против 45 % в бакалавриате и 47 % на специалитете). Среди студентов математико-информационных направлений доля указавших ассоциации данной группы несколько выше (41 %), чем среди представителей естественно-научных (34 %) и социально-гуманитарных (33 %) направлений. Любовь как ассоциацию с семьей указали 30 %: студенты социально-гуманитарных направлений (32 %) чаще, чем студенты естественно-научных (19 %) и математико-информационных (17 %). Безопасность/защита/спокойствие/крепость/на-

дежность — ассоциация с семьей у каждого пятого (20 %), но чаще среди студентов естественно-научных (27 %) и социально-гуманитарных (20 %), чем математико-информационных (11 %) направлений. Ассоциации, названные менее чем 2 % ответивших, можно рассматривать как периферию их ассоциативного поля со своей семьей, которое конституируют следующие ассоциации:

- значимые функции семьи (что семья «дает»): опора/поддержка/помощь (48 %); безопасность/защита/спокойствие/крепость/надежность (20 %); забота (12 %); самое дорогое/смысл жизни/жизнь (5,7 %); сила/моя сила (2,2 %);
- метафора «дома», особого пространства (социального, физического): дом/мой дом (33 %); тепло/уют (15 %); комфорт (3,3 %);
- эмоции, чувства: любовь (30 %); счастье/веселье/радость/смех (10 %); близость/близкие люди/духовная близость (6,5 %); взаимопомощь/взаимопонимание/общение (4,8 %); дружба (2,9 %); положительные ассоциации в целом (2,6 %); доброта/добро (2 %);
- родные люди (15,2 %);
- семья как работа, в том числе эмоциональный долг: ответственность/работа/жертвенность/терпение/долг (3,3 %);
- представление о семье в перспективе семейных мероприятий: события (встречи на даче/застолья/праздники/путешествия) (2,3 %);
- образ семьи в перспективе пространства (город/дача/родина/деревня) (2,2 %);
- или времени: традиции/династия/память/история/связь поколений/предки (2,1 %).

История своей семьи воспринимается большинством как набор любопытных фактов (67 %). Значительная часть респондентов признает, что знание и память о семье являются для них способом (вос)производства связи, чувства связанности с членами семьи (48 %), а также понимания себя и своих семейных корней (42 %), что может способствовать самоидентификации и укреплению семейных отношений. Лишь незначительная доля опрошенных отметила отсутствие интереса к истории своей семьи (6 %).

Наибольший интерес у респондентов вызывает их семья в некоторой исторической перспективе: генеалогического древа, родословная (55 %), понимание судьбы семьи и жизни родственников в контексте истории страны (48 %), конкретные факты и артефакты, дающие представление о повседневности и жизненном пути своей семьи — памятные для членов семьи места (43 %), традиции, обычаи (42 %), важные личные события и даты (40 %), семейные реликвии (40 %), реже — влияние культуры семьи (ценности, традиции предков) на образ жизни (25 %) и общественные процессы (24 %). Четверть респон-

дентов не проявляет активности в сборе сведений об истории семьи (25 %), но многие хранят о ней сведения (45 %), целенаправленно узнают сведения о семейной истории от родственников (40 %) и даже обращаются в архивы (8 %), но реже всего занимаются активным сбором сведений об истории семьи студенты математико-информационных направлений. Семейные истории (устные и письменные рассказы, фотографии, видео, пр.) как особый вид коммуникации обладают интегрирующей функцией — позволяют (вос) производить семейную идентичность — и воспитательной [5; 16].

Проживание с членами семьи, территориальная близость и совместные практики

Треть (34 %) участников опроса заявили о проживании/преимущественном проживании в настоящее время в родительской семье и/или совместно с другими старшими родственниками, что отражает специфику выборки — студенты вузов в крупных и крупнейших городах страны. 38 % живут отдельно от родителей (в арендном жилье, общежитии, собственном жилье, др.), 25 % — совместно с партнером в незарегистрированных или зарегистрированных отношениях. Среди магистрантов доля проживающих с родителями (20 %) заметно ниже, чем среди студентов бакалавриата (37 %) и специалитета (40 %), видимо, за счет большей доли среди магистрантов тех, кто начал совместную жизнь с любимым человеком (40 % против 21 % в бакалавриате и 23 % в специалитете).

Влияние на качество семейных отношений (сплоченность, адаптированность, пр.) таких факторов, как совместное проживание и степень территориальной близости, оценивается респондентами следующим образом (рисунок 2): 66 % — положительно (влияние совместного проживания на одной территории на семейные связи), 17 % — негативно. Среди обучающихся специалитета (77 %) и студентов математико-информационных направлений (70 %) несколько выше доля позитивных оценок. Половина респондентов позитивно характеризуют влияние раздельного проживания с членами семьи в пешей или транспортной (по 52 %) доступности в одном населенном пункте, негативно — 27 и 29 % соответственно, и среди обучающихся специалитета (64 %) несколько выше доля позитивных оценок. Удаленность места проживания от родственников рассматривается респондентами преимущественно негативно в контексте поддержания семейных связей: проживание в разных населенных пунктах на территории одного региона — 60 %, в разных регионах — 68 %, в разных странах — 71 %), но в среднем каждый пятый затруднился с определением характера влияния рассматриваемых факторов на семейные отношения.

В целом можно говорить о преобладании позитивных оценок совместного проживания с членами семьи, а также влияния относительной пространственной близости мест проживания родственников на качественные характеристики семейных связей. Возможна дифференциация оценок данных факторов в отношении разных членов семьи, но общая ориентация на воплощенную в физическом пространстве близость социальных отношений фиксируется, несмотря на заметную долю неопределившихся. Совместная деятельность членов семьи — один из ключевых способов (вос) производства социальных отношений в малой группе. Больше половины опрошенных в качестве значимой называют совместную досуговую деятельность с родственниками (61 %), участие в семейных праздниках и торжествах (58 %), но среди студентов математико-информационных направлений (51 и 48 % соответственно) эти показатели несколько ниже, чем среди обучающихся на естественно-научных (58 и 57 %) и социально-гуманитарных (62 и 59 %) направлениях. 45 % считают значимой регулярную коммуникацию с членами семьи, но магистранты несколько реже (41 % против 46 % в бакалавриате и 49 % на специалитете). Совместная хозяйственная деятельность с членами семьи важна для 38 %, что соотносится, с одной стороны, с тенденцией снижения значения хозяйственной деятельности как объединяющей, системообразующей для семейных связей (уступает приоритет близким отношениям и коммуникациям) [30], с другой стороны, со спецификой жизненного этапа студентов — отмежеванием от родительской семьи при пока еще отсутствии собственной (репродуктивной) семьи.

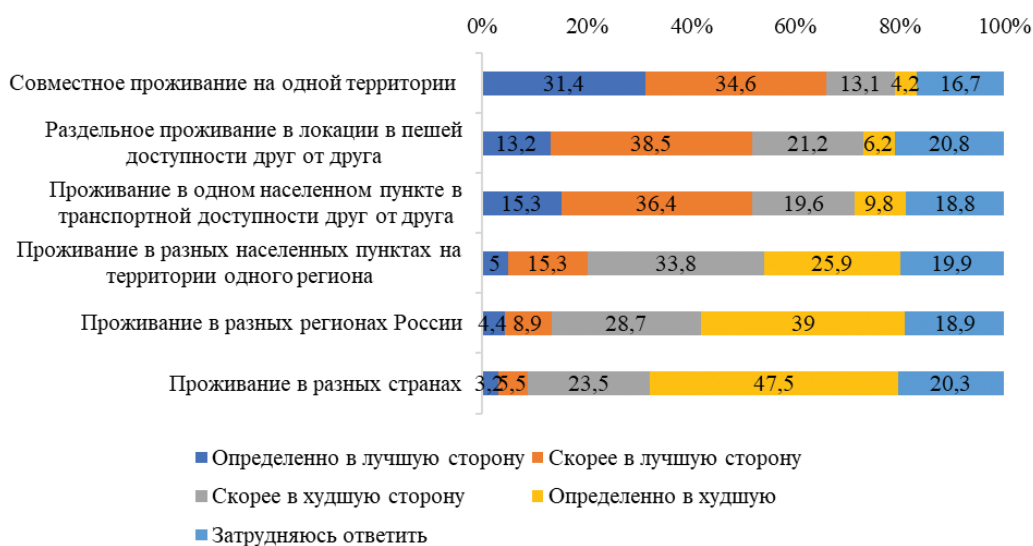


Рис. 2. Оценки влияния территориальной близости на семейные отношения (%)

Цифровые технологии и образ семьи

В условиях активного распространения цифровые технологии становятся частью рутинных взаимодействий членов семьи. Подавляющее большинство опрошенных (93 %) позитивно оценивает предоставляемые данными средствами связи возможности коммуникации с родственниками с точки зрения влияния на качество семейных отношений. 89 % отметили такой положительный эффект цифровых технологий, как возможность делиться моментами из жизни в реальном времени, т.е. включать членов семьи в происходящие события невзирая на разделяющее физическое расстояние, создавать ситуацию соприсутствия/соучастия, опосредованную новыми медиа. Цифровые технологии способствуют поддержанию семейных связей и через потребление публичного контента, размещаемого родственниками в социальных сетях, что позволяет быть информированным об их жизни (82 %). Для семьи как коммуникативной системы цифровые технологии — важный инструмент обеспечения устойчивости и адаптации к внешним и внутренним (например, конфликты в семье) вызовам, а также способ воспроизводства социальных связей в их эмоциональном, интеллектуальном и иных аспектах.

Большинство опрошенных отмечают положительное влияние цифровых технологий на качество семейных отношений и в хозяйственно-бытовых вопросах — ведение совместного хозяйства (89 %); планирование совместных мероприятий (88 %), реже в досуговой деятельности, опосредованной данными средствами — совместный досуг (вместе смотреть кино, играть в игры) (79 %), присутствовать виртуально на значимых событиях (семейных праздниках) (72 %), но каждый пятый (20 %) затруднился ответить на данный вопрос, что может быть следствием отсутствия релевантного опыта.

Результаты опроса свидетельствуют о позитивном восприятии студентами цифровых технологий как средства реализации рутинных действий в (вос)производстве семейных отношений и обеспечении семейного благополучия. Использование новых медиа членами семьи формируют коммуникативную среду аффордансов (полимедиа), позволяющую выстраивать разные стратегии, способы управления отношениями, в том числе в ситуации физической отдаленности родственников. Для 73 % полимедиа — неотъемлемая часть повседневных взаимодействий с членами семьи, этот показатель несколько ниже среди студентов математико-информационных направлений (65 %) и магистрантов (68 %). Каждый пятый (19 %) использует цифровые средства коммуникации для еженедельных контактов с родственниками, и цифровая коммуникация с любимым человеком (супруг/супруга, парень/девушка) среди тех, для кого это актуально (50 %), наиболее регулярна — ежедневная (42 %). Очевидно, что формирование пары, поддержание супружеских отноше-

ний требует активного коммуникативного взаимодействия, связанного не только и/или не столько с хозяйственно-бытовыми задачами.

63 % осуществляют цифровые взаимодействия с родителями ежедневно, четверть (26 %) — еженедельно, но среди обучающихся математико-информационных направлений доля поддерживающих ежедневную связь с родителями несколько ниже (51 % против 55 % на естественно-научных и 65 % на социально-гуманитарных направлениях). Среди магистрантов доля поддерживающих ежедневную связь с родителями несколько ниже (55 %) по сравнению с обучающимися в бакалавриате (65 %) и специалитете (66 %). Результаты опроса показывают вариативность в частоте контактов со старшими/младшими сестрами/братьями, старшими родственниками, детьми среди тех, для кого это актуально. Для трети опрошенных (35 %) редко используют цифровые коммуникации для общения с другими родственниками.

Наиболее распространенный у студентов образ семейных отношений включает проживание отдельно от родителей (69 %), вступление в зарегистрированный брак (65 %) и поддержание отношений со своими родителями и родителями супруги/супруга даже в случае отдельного проживания (55 %). Стремление к отдельному проживанию от старших родственников — один из ключевых трендов в ряде современных обществ, обусловленный процессами индивидуализации и эмансипации [2]. Крайне малая доля респондентов ориентирована на многопоколенную семью (2,9 %), в которой представители разных поколений живут вместе и ведут совместное хозяйство, что не означает разрыва социальных связей (эмоциональных, хозяйственных, интеллектуальных, пр.) между ними. По сути, желание жить отдельно от родителей, но поддерживать сильные связи с ними (в том числе с родственниками супруга/супруги) отражает ключевую проблему современной частной жизни — поиск баланса между одновременным стремлением к индивидуальной автономии и близости (сплоченности) с родственниками.

Обращает на себя внимание доминирующая ориентация на регистрацию брака (65 %), а не сожительство (14 %). Треть опрошенных характеризуют образ своих семейных отношений через супружеское поведение, направленное на недопущение поводов для развода (32 %), четверть допускает возможность развода при определенных обстоятельствах (26 %). Нынешняя неустойчивость института брака находит отражение в том, что 75 % опрошенных допускают развод при невозможности решить проблемы в браке. 43 % включают в образ семейных отношений обязательное наличие совместных детей (43 %). Среди студентов математико-информационных направлений несколько ниже доля тех, кто ориентирован на зарегистрированный брак (56 %) и обязательное наличие совместных детей (36 %), но выше доля тех, кто нацелен на обеспечение отсутствия поводов для развода (40 %).

Проблематика смысложизненных ценностей семьи крайне актуальна в контексте понимания, предвидения, моделирования и регулирования развития современного российского общества. Среди обучающихся высших учебных заведений прослеживается тенденция преобладания ценностных ориентаций, характерных для данного жизненного этапа — хороший заработок, успешное окончание обучения, получение диплома о высшем образовании, самореализация. Крепкие отношения с членами родительской семьи, создание репродуктивной семьи и рождение детей как смысложизненные ценности семьи уступают лидирующие позиции ориентациям на достижение статусных переходов (окончание вуза, устройство на работу с хорошей оплатой, приобретение жилья, др.) и накопление капиталов, которые смогут обеспечить благоприятную материальную, экономическую основу для дальнейшей жизни, в том числе самореализации и здоровья.

Ценности семьи у молодежи в большей степени представлены ориентацией на поддержание связей с родительской семьей и создание репродуктивной семьи, нежели репродуктивными планами. Соответственно, студенты отмечают позитивную роль цифровых технологий в (вос) производстве семейных отношений и обеспечении семейного благополучия. В числе приоритетных ценностей молодежи оказалось приобретение достаточного экономического и культурного капиталов, финансовая стабильность, хороший заработок и качественное образование. Несмотря на достаточно прагматичное отношение молодежи к семье, она занимает третье — четвертое место в иерархии смысложизненных ценностей и включает в себя целую гамму их проявлений.

Информация о финансировании

Работа выполнена при поддержке СПбГУ. Проект № 125040204733–3 «Исследование традиционных российских духовно-нравственных ценностей, их трансформации в образовательной среде и молодежных конфессиональных сообществах в теологическом ценностно-мировоззренческом контексте через призму семейных ценностей (феномена «крепкой семьи»)».

Библиографический список

1. *Абдульязнов А.Р., Рустамова Г.М.* Брачное и репродуктивное поведение современной российской молодежи // *Народонаселение*. 2024. Т. 27. № S1.
2. Аналитический центр НАФИ: Общежитие, аренда или собственное жилье: куда сегодня съезжает молодежь от родителей. 2023. URL: <https://nafi.ru/analytics/obshchezhitie-arenda-ili-sobstvennoe-zhile-kuda-segodnya-sezhaet-molodezh-ot-roditeley>.
3. *Антонова Н.Л., Абрамова С.Б., Лопатина В.Р.* Здоровое тело как нормативная модель в представлениях студенческой молодежи // *Образование и наука*. 2023. Т. 25. № 5.
4. *Архангельский В.Н., Ростовская Т.К., Васильева Е.Н.* Влияние уровня жизни на репродуктивное поведение Россиян: гендерный аспект // *Женщина в российском обществе*. 2021. Спецвыпуск.
5. *Баранова В.А.* Семейная память в коммуникациях совместной со-бытийности // *Общение в эпоху конвергенции технологий* / отв. ред. Н.Л. Карпова и др. М., 2022.

6. Блоссфельд Х.-П., Хьюник И. Исследование жизненных путей в социальных науках: темы, концепции, методы и проблемы // Журнал социологии и социальной антропологии. 2006. Т. 9. № 1.
7. Бурдье П. Начала. М., 1994.
8. ВЦИОМ: Квартирный ответ на демографический вопрос. 2025. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/kvartirnyi-otvet-na-demograficheskii-vopros>.
9. ВЦИОМ: Традиционные ценности: ожидание и реальность. 2025. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/tradicionnye-cennosti-ozhidanie-i-realnost>.
10. Гимаев И.З., Мигунова Ю.В. Теоретико-методологические основы изучения семейно-брачных установок современной молодежи // Уфимский гуманитарный научный форум. 2024. № 2.
11. Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. СПб., 1998.
12. Зубок Ю.А., Чупров В.И. Саморегуляция смысложизненных ценностей в культурном пространстве молодежи // Вестник Института социологии. 2019. Т. 10. № 4.
13. Зубок Ю.А., Чупров В.И. Смысложизненные ценности в культурном пространстве российской молодежи // Научный результат. Социология и управление. 2018. Т. 4. № 3.
14. Ковалева А.В. Интерпретация системы семейных ценностей и ее компонентов в современном обществе // Ученые заметки ТОГУ. 2010. Т. 2. № 1.
15. Лапин Н.И. Функционально-ориентирующие кластеры базовых ценностей населения России и ее регионов // Социологические исследования. 2010. № 1.
16. Логунова Л.Ю. Структурные характеристики семейно-родовой социальной памяти // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. 2009. № 1.
17. Лядова А.В. Здоровьесбережение в представлениях студентов: особенности и факторы формирования // Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 8–9.
18. Мадьяну М., Миллер Д. Полимедиа: новый подход к пониманию цифровых средств коммуникации в межличностном общении // Мониторинг общественного мнения. 2018. № 1.
19. Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. М., 1988.
20. Михайлюк А.Н. Система жизненных ценностей и особенности смысложизненных ориентаций молодежи // Российский психологический журнал. 2011. Т. 8. № 3.
21. Назарова И.Б., Зеленская М.П. Ценностные приоритеты и репродуктивные установки студенческой молодежи // Социологическая наука и социальная практика. 2021. Т. 9. № 2.
22. Опевалова Е.В., Минченков В.К. Ценности и смысложизненные ориентации школьников, обучающихся на разных профилях // Амурский научный вестник. 2024. № 4.
23. Панкратова Л.С. Общественное мнение молодежи о семье как институциональной поддержке в современной России // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2023. № 1.
24. Попова Т.А., Цилина М.И. Смыслы и ценности. Структурные компоненты смысложизненных ориентаций // Психологические проблемы смысла жизни и акме / Отв. ред. Г.А. Вайзер, Н.В. Кисельникова, Т.А. Попова. М., 2021.
25. Российский статистический ежегодник. 2024. М., 2024.
26. Семина М.В. Подготовка молодежи к брачно-семейным отношениям в контексте социализирующих функций современной семьи // Вестник ЗабГУ. 2011. Т. 74. № 7.
27. Чупров В.И. Саморегуляция жизнедеятельности молодежи в культурном пространстве: концепция социокультурного механизма // Гуманитарий Юга России. 2018. Т. 7. № 4.
28. Arnett J.J. Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens through the Twenties. Oxford University Press, 2004.
29. Furstenberg F. Family change in global perspective: How and why family systems change // Family Relations. 2019. Vol. 68. No. 3.
30. Giddens A. The Transformation of Intimacy. Polity Press, 1992.
31. Goode W.J. World Revolution and Family Patterns. Glencoe, 1963.
32. Jones G. The “flight from marriage” in South-East and East Asia // Journal of Comparative Family Studies. 2005. Vol. 36.

Family values in the views of Russian university students*

V.V. Kozlovskiy^{1,2}, L.S. Pankratova^{1,2}, R.V. Svetlov¹

¹Saint Petersburg State University,
Universitetskaya Nab., 7–9, Saint Petersburg, 199034, Russia

²Sociological Institute of FCTAS RAS,
7th Krasnoarmeyskaya St., 25/14, Saint Petersburg, 190005, Russia

(e-mail: vvvk_soc@mail.ru; l.s.pankratova@spbu.ru; r.svetlov@spbu.ru)

Abstract. The article considers family-related values as perceived and practiced by the Russian student youth. The article is based on the data of the 2025 online survey conducted in six higher education institutions (N=1173; bachelor's, master's, and specialist's studies; natural sciences, social sciences and humanities, mathematics-information profiles). The study's initial hypothesis was that life-related values form the core of attitudes toward family and the focus of building a family and marital career. Conceptually, the question of family values requires the analysis of basic life meanings that regulate ideas, beliefs, attitudes, and actions of young people. The priority values of contemporary students include: sufficient economic and cultural capital, financial security (stable, good income), and a quality education. The authors note a pragmatic attitude toward family: although family ranks third or fourth on the list of values, it encompasses a range of attributive life-meaning values, including the meaning of life together, the goal-setting of family life, a plan for future financial and economic activities, attitudes toward a partner, an assessment of marriage, rights and obligations, sexual life and intimacy, family planning, future parenthood, and relationships with family members. Family-meaning values are largely represented by maintaining ties with the parental family and having children, but without specific reproductive plans. Students are also interested in the family tree and genealogy, family fate, and lives of relatives in the context of the country's history. Respondents positively evaluate digital technologies as a means of interaction in the (re)production of family relationships and ensuring family well-being. The family's life-meaning values, which determine the worldview, attitudes and behavior of the Russian youth, vary by generation but are relatively stable.

Key words: life-meaning values; family; traditions; youth; Russian students; meanings and practices

For citation: Kozlovskiy , V.V., Pankratova , L.S., Svetlov R.V. Family's life-meaning values of Russian students. *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (4): 649–668. (In Russ.). <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-649-668>

References

1. Abdulzhanov A.R., Rustamova G.M. Brachnoe i reproduktivnoe povedenie sovremennoi rossiiskoi molodezhi [Mating and reproductive behavior of the contemporary Russian youth]. *Narodonaselenie*. 2024; 27 (S1). (In Russ.).
2. Analitichesky tsentr NAFI: Obshchezhitie, аренда ili sobstvennoe zhilye: kuda segodnia s'ezhaet molodezh ot roditel'ei [Analytical Center NAFI: Dormitory, rent or own housing: Where young people move away from their parents]. 2023. URL: <https://nafi.ru/analytics/obshchezhitie-arenda-ili-sobstvennoe-zhile-kuda-segodnya-sezhaet-molodezh-ot-roditel'ei>. (In Russ.).

*© V.V. Kozlovskiy, L.S. Pankratova, R.V. Svetlov, 2025

The article was submitted on 29.07.2025. The article was accepted on 14.10.2025.

3. Antonova N.L., Abramova S.B., Lopatina V.R. Zdorovoe telo kak normativnaia model v predstavleniiakh studencheskoi molodezhi [Healthy body as a normative model in the perception of the student youth]. *Obrazovanie i Nauka*. 2023; 25 (5). (In Russ.).
4. Arkhangelsky V.N., Rostovskaya T.K., Vasilieva E.N. Vliianie urovnia zhizni na reproduktivnoe povedenie Rossiian: genderny aspect [Impact of the standard of living on the reproductive behavior of Russians: A gender aspect]. *Zhenshchina v Rossiiskom Obshchestve*. 2021; special issue. (In Russ.).
5. Baranova V.A. Semeinaia pamiat v kommunikatsiiah sovместnoi so-bytiinosti [Family memory in communication of joint co-existence]. N.I. Karpova et al. *Obshchenie v epokhu konvergentsii tekhnologii*. Moscow; 2022. (In Russ.).
6. Blossfeld H.-P., Huinink J. Issledovanie zhiznennykh putei v sotsialnykh naukakh: temy, kontseptsii, metody i problemy [Life course research in social sciences: Topics, concepts, methods and problems]. *Zhurnal Sotsiologii i Sotsialnoi Antropologii*. 2006; 9 (1). (In Russ.).
7. Bourdieu P. *Nachala* [Beginnings]. Moscow; 1994 (In Russ.).
8. WCIOM: Kvartirny otvet na demografichesky vopros [Housing answer to the demographic question]. 2025. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/kvartirnyi-otvet-na-demograficheskii-vopros>. (In Russ.).
9. WCIOM: Traditsionnye tsennosti: ozhidanie i realnost [Traditional values: Expectations and reality]. 2025. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/tradicionnye-tsennosti-ozhidanie-i-realnost>. (In Russ.).
10. Gimaev I.Z., Migunova Iu.V. Teoretiko-metodologicheskie osnovy izucheniia semeino-brachnykh ustanovok sovremennoi molodezhi [Theoretical-methodological foundations for the study of family and marital attitudes of the youth]. *Ufimsky Gumanitarny Nauchny Forum*. 2024; 2. (In Russ.).
11. Golod S.I. *Semiya i brak: istoriko-sotsiologicheskyy analiz* [Family and Marriage: A Historical-Sociological Analysis]. Saint Petersburg; 1998. (In Russ.).
12. Zubok Yu.A., Chuprov V.I. Samoregulatsiia smyslozhiznennykh tsennostei v kulturnom prostranstve molodezhi [Self-regulation of life purpose values in the youth cultural space]. *Vestnik Instituta Sotsiologii*. 2019; 10 (4). (In Russ.).
13. Zubok Yu.A., Chuprov V.I. Smyslozhiznennyye tsennosti v kulturnom prostranstve rossiiskoi molodezhi [Life-meaning values in the cultural space of the Russian youth]. *Nauchny Rezultat. Sotsiologiya i Upravlenie*. 2018; 4 (3). (In Russ.).
14. Kovaleva A.V. Interpretatsiia sistemy semeinykh tsennostei i ee komponentov v sovremennom obshchestve [Interpretation of family values and its components in the contemporary society]. *Uchenye Zametki TOGU*. 2010; 2 (1). (In Russ.).
15. Lapin N.I. Funktsionalno-orientiruiushchie klasteri bazovykh tsennostei naseleniia Rossii i ee regionov [Functionally oriented clusters of basic values of the population of Russia and its regions]. *Sotsiologicheskie Issledovaniia*. 2010; 1. (In Russ.).
16. Logunova L.Yu. Strukturnye kharakteristiki semeino-rodovoi sotsialnoi pamiaty [Structural characteristics of the family social memory]. *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 18: Sotsiologiya i Politologiya*. 2009; 1. (In Russ.).
17. Lyadova A.V. Zdorovesberezhenie v predstavleniiakh studentov: osobennosti i faktory formirovaniia [Health preservation in the student's perception: Features and formation factors]. *Vyshee Obrazovanie v Rossii*. 2024; 33 (8–9). (In Russ.).
18. Madianou M., Miller D. Polimedia: novy podkhod k ponimaniuu tsifrovyykh sredstv kommunikatsii v mezhlichnostnom obshchenii [Polymedia: Towards a new theory of digital media in interpersonal communication]. *Monitoring Obshchestvennogo Mneniia: Ekonomicheskie i Sotsialnye Peremeny*. 2018; 143 (1). (In Russ.).
19. Mead M. *Kultura i mir detstva. Izbrannyye proizvedeniia* [Culture and the World of Childhood. Selected Works.]. Moscow; 1988. (In Russ.).

20. Mikhaylyuk A.N. Sistema zhiznennykh tsennostei i osobennosti smyslozhiznennykh orientatsiy molodezhi [System of life values and features of life orientations of the youth]. *Rossiiskiy Psikhologicheskyy Zhurnal*. 2011; 8 (3). (In Russ.).
21. Nazarova I.B., Zelenskaya M.P. Tsennostnye priority i reproductivnye ustanovki studencheskoi molodezhi [Value priorities and reproductive attitudes of the student youth]. *Sotsiologicheskaya Nauka i Sotsialnaya Praktika*. 2021; 9 (2). (In Russ.).
22. Opevalova E.V., Minchenkov V.K. Tsennosti i smyslozhiznennyye orientatsii shkolnikov, obuchaiushchihsia na raznykh profilakh [Values and life-meaning orientations of students of different profiles]. *Amurskiy Nauchnyy Vestnik*. 2024; 4. (In Russ.).
23. Pankratova L.S. Obshchestvennoe mnenie molodezhi o semye kak institutsionalnoi podderzhke v sovremennoi Rossii [Youth's public opinion about family as institutional support in contemporary Russia]. *Izvestiya TulGU. Gumanitarnyye Nauki*. 2023; 1. (In Russ.).
24. Popova T.A., Tsilina M.I. Smysly i tsennosti. Strukturnyye komponenty smyslozhiznennykh orientatsiy [Meanings and values. Structural components of life-meaning orientations]. G.A. Vaizer, N.V. Kiselnikova, T.A. Popova (Eds.). *Psikhologicheskiye problemy smysla zhizni i akme*. Moscow; 2021. (In Russ.).
25. Rossiiskiy statisticheskiy ezhegodnik. 2024 [Russian Statistical Yearbook. 2024]. Moscow; 2024. (In Russ.).
26. Semina M.V. Podgotovka molodezhi k brachno-seimnym otnosheniyam v kontekste sotsializiruyushchikh funktsiy sovremennoi semyi [Preparing young people for marriage and family relationships in the context of socializing functions of the contemporary family]. *Vestnik ZabGU*. 2011; 74 (7). (In Russ.).
27. Chuprov V.I. Samoregulirovaniye zhiznedeiatelnosti molodezhi v kulturnom prostranstve: kontseptsiya sotsiokulturnogo mekhanizma [Self-regulation of the youth's life in the cultural space: The concept of socio-cultural mechanism]. *Gumanitarnyy Yuga Rossii*. 2018; 7 (4). (In Russ.).
28. Arnett J.J. *Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens through the Twenties*. Oxford University Press; 2004.
29. Furstenberg F. Family change in global perspective: How and why family systems change. *Family Relations*. 2019; 68 (3).
30. Giddens A. *The Transformation of Intimacy*. Polity Press; 1992.
31. Goode W.J. *World Revolution and Family Patterns*. Glencoe; 1963.
32. Jones G. The "flight from marriage" in South-East and East Asia. *Journal of Comparative Family Studies*. 2005; 36.



DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-669-688

EDN: KNYXNS

Семейные ценности и благополучие подростков в полных и разведенных российских семьях: исследование в малом городе и мегаполисе*

О.Н. Безрукова, В.А. Самойлова

Санкт-Петербургский государственный университет,
Университетская наб., 7–9, Санкт-Петербург, Россия, 199034

(e-mail: o.bezrukova@spbu.ru; v.samojlova@spbu.ru)

Аннотация. В статье рассматриваются семейные ценности и субъективное благополучие подростков из разведенных и полных семей, проживающих в мегаполисе и малом городе. Анализируются данные опроса подростков 14–17 лет, проведенного в городах Санкт-Петербурге и Тосно Ленинградской области в 2024 году. Показано, что семейные установки подростков противоречивы, рождение детей, материнство и отцовство не являются для них обязательными, прослеживается тенденция к эгалитаризации родительских ролей. Выявлена гендерная специфика формирования жизненных планов: мальчики чаще девочек выбирают создание семьи и рождение детей, ориентированы на многодетность, имеют более высокие репродуктивные установки; девочки активнее выражают образовательные, карьерно-достижительные, просоциальные устремления. Подростки из разведенных семей испытывают значительные риски в создании устойчивых семей, рождении детей, достижении субъективного благополучия, чаще имеют сниженный потенциал родительства, низкие репродуктивные установки. Авторы считают возможным говорить о «феномене межпоколенческой передачи развода»: подростки из разведенных семей чаще поддерживают установку на допустимость развода в семье с детьми (90 % девочек и 70 % мальчиков). Сделан вывод о поселенческих различиях: показатели удовлетворенности разными сторонами жизни у молодых жителей мегаполиса выше, что свидетельствует о сравнительно более благоприятной социальной ситуации, в которой происходит взросление подростков мегаполиса по сравнению с малым городом. Проживающие в мегаполисе подростки чаще поддерживают ценности индивидуализма и личных прав, ориентированы на новые семейные практики — отцовский отпуск по уходу за новорожденным ребенком, совместное воспитание детей после развода. Подростки, проживающие в малом городе, выражают более традиционные взгляды на создание семьи и рождение детей.

Ключевые слова: семейные ценности; подростки; семья; развод; благополучие; субъективное благополучие; отцовство; малый город; мегаполис; неравенство

Для цитирования: Безрукова О.Н., Самойлова В.А. Семейные ценности и благополучие подростков в полных и разведенных российских семьях: исследование в малом городе и мегаполисе // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 4. С. 669–688. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-669-688>

*© Безрукова О.Н., Самойлова В.А., 2025

Статья поступила в редакцию 28.07.2025. Статья принята к публикации 14.10.2025.

С каждым годом все больше российских детей переживают развод родителей. Динамика зарегистрированных браков и разводов в последние десятилетия показывает снижение числа браков на фоне устойчиво высокого уровня разводов: в 2024 году — 880 тысяч браков, что на 7 % меньше, чем в 2023 году (946 тысяч), и на 16 % меньше, чем в 2022, а число разводов остается стабильным, колеблясь в пределах от 600 до 700 тысяч. Общий коэффициент разводимости составил в 2022 и 2023 годах — 4,7 ‰, а в 2024 году — 4,4 ‰ (1), что превышает показатели многих стран мира (2): в США — 2,4 (3), в Китае — 3,2 (4), Европе — 2 (5). Доля семей, состоящих из одного родителя с детьми, также увеличилась — с 27,3 % в 2010 году (6) до 31,7 % в 2020 (7). Несмотря на высокую ценность семьи и родительства для россиян, дети больше не являются условием сохранения брачных отношений, а развод перестал восприниматься как девиация. По данным ВЦИОМ на 2024 год, более трети россиян считают, что развестись можно всегда (37 %), в 2007 году доля согласных была значительно меньше — 23 %, в 2015 — 28 % (8).

Семья — ключевой институт воспитания детей, формирования системы жизненных ориентиров и семейных ценностей, но не каждая российская семья способна обеспечить детям необходимый уровень поддержки, ресурсов и возможностей. Трансформации моделей партнерства, супружества и родительства связаны с увеличением сложности, разнообразия и хрупкости семейных отношений. Изменения в семейной структуре и качестве супружеских отношений, приводящие к разводам и разрыву семейных связей, в свою очередь, способствуют неравенству в жизненных шансах детей, их возможностей в получении образования, дохода, профессионального статуса, субъективного благополучия, создания семьи [17; 26]. Дополнительным фактором риска неравенства выступают территориальные различия, что подтверждают оценки жизненных шансов молодых жителей столиц и малых городов [9].

Несмотря на нормализацию в общественном мнении, развод родителей имеет существенные негативные последствия для благополучия детей, оказывает воздействие на психологическое здоровье, жизненные и семейные установки. Дети в разведенных семьях испытывают нарушения привязанности, склонны к депрессии, страхам, рискованным практикам, теряют мотивацию к получению образования [13; 16]. Специфика коммуникаций между членами семьи в процессе развода и в постразводный период усугубляет стресс и негативные эмоции, переживаемые детьми [3; 18]. Родительский конфликт снижает субъективное благополучие детей, делает их более уязвимыми, испытывающими одиночество, чувство покинутости [22]. Повседневная жизнь детей также подвержена изменениям — ощущение порядка в жизни подвергается испытаниям, дети чувствуют себя «жертвой» конфликтов родителей [15].

Как правило, в результате развода разрываются связи детей с одним из родителей, чаще всего с отцом. Результат синдрома родительского от-

чуждения — снижение участия отца в заботе о детях, а иногда и его полное исключение из воспитания, что связано с комплексом экономических, психологических и социокультурных факторов (продолжающийся супружеский конфликт, имущественные споры, невыплата алиментов, дефицит культуры супружеских отношений) [6; 24]. Поэтому исследователи утверждают, что негативные последствия развода для детей обусловлены скорее не самим его фактом, а конфликтами, стрессами, ухудшением отношений с родителями и снижением финансовых возможностей, сменой места жительства и привычного образа жизни [4; 13]. Снижает риски негативных последствий развода для детей совместное родительство, основанное на сотрудничестве и взаимной ответственности бывших супругов, стремление поддерживать связи детей с родителем, вовлеченное отцовство [29].

Помимо негативных эффектов сразу после развода выявлены его долгосрочные последствия — межпоколенческая «передача» развода от родителей к детям: повышенный риск развода в семьях взрослых детей разведенных родителей [2; 14; 19]. Исследователи называют четыре основных механизма межпоколенной передачи развода [20]: особенности социализации, сниженные социально-экономические ресурсы, выбор жизненного пути, генетические факторы. Специфика социализации детей в разведенных семьях, значимость ролевых моделей поведения и родительского контроля объясняют облегченное отношение подростков к разводу (опыт матерей, воспитывающих детей без отца, пренебрежение и дефицит внимания родителей к детям, что увеличивает риск раннего вступления в сексуальные отношения, внебрачные рождения, девиантные практики) [2; 30]. Более того, взросление подростков в разведенной семье не дает возможности получить навыки разрешения семейных кризисов и конфликтов, образцы устойчивых семейных отношений и эмоциональной стабильности, что подвергает сомнению значимость супружеских обязательств, создает установку на расторжение брака, если он не воспринимается счастливым [14]. Развод сопровождается снижением уровня жизни, свободного времени, проводимого родителями с детьми, ограниченными возможностями в получении образования и финансовой поддержки родителей в будущем [25; 27]. Передача нестабильности в браке от поколения к поколению может быть обусловлена не только внешними факторами, но и генетическим наследованием — общими для родителей и детей личностными характеристиками (депрессивность, нейротизм, импульсивность) [21; 28]. Развод родителей приводит к острым переживаниям и негативным реакциям, особенно болезненно проявляющимся у подростков, что обуславливает их стремление покинуть семью, побуждает к раннему вступлению в близкие отношения и родительству. Модель ранних демографических практик с большей вероятностью приводит к высокому риску распада собственной семьи [13; 20; 23].

Несмотря на актуальность изучения благополучия, психологического здоровья, социокультурных установок детей в разведенных семьях, таких исследований в российском научном дискурсе недостаточно. Авторы в основном фокусируются на мнениях родителей о разводе или ретроспективных отчетах взрослых о переживании опыта развода в детстве [2; 7], причинах разводов [11], специфике структурных характеристик, социально-экономических, психологических трудностей в неполных семьях с детьми и мерах их поддержки [10], алиментных обязательствах и причинах невыплаты алиментов [1], практиках вовлеченности отцов в воспитание детей после развода [5; 12]. Явно недостаточно исследований представлений детей из разведенных семей о жизненных целях и планах, взаимоотношений с родителями, формирования их мировоззрения, семейных ценностей и репродуктивных установок.

Благополучие подростков — характеристика жизненной ситуации, отражающая наличие реальных и потенциальных возможностей для удовлетворения всего спектра значимых потребностей, что находит подтверждение в субъективном благополучии — удовлетворенности разными сторонами жизни и жизнью в целом. В изучении субъективного благополучия подростков мы исходим из актуальности как гедонистического подхода, акцентирующего внимание на удовлетворении базовых материальных и социальных потребностей, так и эвдемического — подчеркивающего зависимость благополучия от возможностей развивать способности и реализовывать личный потенциал, выделяем когнитивный и аффективный компоненты (удовлетворенность различными сторонами жизни, а также своим эмоциональным самочувствием).

Цель исследования — анализ семейных ценностей и субъективного благополучия подростков из разведенных и полных семей, проживающих в мегаполисе и малом городе, с точки зрения различий в жизненных планах, родительских и репродуктивных установках подростков из разведенных и полных семей, гендерных особенностей и влияния территориального фактора на выраженность различий. В качестве гипотезы выступало предположение, что подростки, воспитывающиеся в полных семьях, имеют более высокий уровень субъективного благополучия, более позитивное восприятие родительства, семейных ценностей по сравнению с детьми разведенных родителей, причем подростки, живущие в разведенных семьях в малых городах, испытывают более высокие риски субъективного неблагополучия.

Эмпирическая основа статьи — опрос подростков, проведенный в Санкт-Петербурге и Тосно Ленинградской области в 2024 году (9). Тосно — малый город и крупный промышленный центр, где расположены предприятия автомобильной, химической и пищевой промышленности (10). По данным Росстата, численность населения Тосно в 2021 году составляла 34066 человек (11). Генеральная совокупность — подростки от 14 до 17 лет, проживаю-

щие в Санкт-Петербургской агломерации. Критерии выборки: пол, возраст, тип населенного пункта (мегаполис, малый город), тип школы (общеобразовательная, специализированная. N=1321: 1021 из Санкт-Петербурга, 300 — из Ленинградской области; 51 % девочек и 49 % мальчиков, 64 % учащихся общеобразовательных школ и 36 % — специализированных (гимназий и лицеев).

Родители находятся в зарегистрированном браке у 67 % подростков (68 % в Петербурге и 64 % в Тосно), в незарегистрированном — у 5 % (4,6 и 6,8 %), разведены — у 21 % (20 и 23 %), у 3,6 % респондентов родители вдовы (вдовцы), в 2,7 % случаях отца нет или отцовство не установлено. Живут с матерью 96 %, с мачехой — 0,7 %; с отцом — 67 %, с отчимом — 14 %; с братом/сестрой — 51 %; с бабушкой/дедушкой — 14 %, с другими родственниками — 2,6 %. Единственные дети в семье — 27 % подростков, в половине семей — двое детей (51 %), трое и более — в 21 % семей. Семьи подростков, чьи родители разведены или находятся в зарегистрированном браке, имеют существенные различия. Так в петербургских и областных полных семьях, по сравнению с разведенными, подростки чаще проживают с матерью (98 и 100 % против 93 и 90 %) и отцом (92 и 89 % против 11 %), с братьями и сестрами (58 и 50 % против 45 и 44 %), в разведенных семьях по сравнению с полными — с отчимом (17 и 24 % против 4,6 и 8,6 %), бабушками и дедушками (17 и 24 % против 10 и 13 %). Более половины семей с зарегистрированным браком имеют двоих детей (57 и 53 %), напротив, разведенные семьи чаще однодетные (31 и 34 %). Многодетные семьи (трое и более детей) чаще наблюдаются в петербургской выборке полных семей (23 % против 19 % среди разведенных), в областной выборке различий не выявлено.

В полных семьях отцы более образованы, и эта тенденция более выражена в мегаполисе: в семьях с зарегистрированным браком отцы чаще имеют высшее образование (63 и 47 % против 50 и 20 %), в разведенных — среднее специальное образование (19 и 50 %), а в области, реже и высшее, и среднее (11 и 5,3 %). Межгрупповые различия уровня образования матерей проявились в областной выборке: в полных семьях больше женщин с высшим образованием (64 % против 56 %).

Подростки в полных семьях, как в мегаполисе, так и малом городе, чаще называют себя верующими (39 % против 27 % и 46 % против 34 %), в разведенных семьях — атеистами (35 % против 27 % и 31 % против 19 %). Они чаще определяют свою семью как имеющую достаток выше среднего (51 % против 35 % и 41 % против 37 %), в разведенных семьях — как имеющую средний достаток (52 % против 37 % и 50 % против 44 %). В разведенных семьях малого города по сравнению с полными выше доля бедных и малообеспеченных (11 % против 3 %) и практически нет семей с высоким достатком (1,6 % против 11,7 %). Подростки, чьи родители находятся в зарегистрированном браке, по сравнению с разведенными выше оценивают благополучие своей семьи, считая, что все ее члены любят, уважают и под-

держивают друг друга: в мегаполисе 91 % против 81 %, в области 87 % против 52 %. Таким образом, полные семьи обладают большим объемом ресурсов и выглядят более благополучно по сравнению с разведенными как по объективным характеристикам (наличие обоих родителей, братьев и сестер, более образованных родителей), так и в субъективных оценках материального положения и психологического климата.

Жизненные цели и семейные установки подростков

Анализ ценностей молодого поколения позволяет определить его значимые приоритеты и цели, особенности формирования жизненных стратегий, способы адаптации к текущим условиям. Рассмотрим жизненные цели подростков в зависимости от пола, семейного положения родителей и места проживания (табл. 1). Ведущие жизненные ориентиры подростков в мегаполисе и малом городе по большинству позиций совпадают: нацеленность на индивидуальный успех и комфорт, личные достижения и благополучие. Так, ведущие жизненные цели, которые разделяют более 90 % подростков, — комфортные условия жизни (хорошее жилье, питание, интересный досуг), получить образование, самостоятельность, высокий заработок и успешная карьера профессионала, быть здоровым, поддерживать хорошую физическую форму, иметь хороших друзей, которые не подведут. Также в главные жизненные ценности-цели входит желание жить спокойно, без лишних волнений (88 и 89 %), отражающее общий запрос молодежи на стабильную и устойчивую жизнь в условиях неопределенности и геополитической турбулентности. Создание семьи, рождение детей и родительство оказались менее значимы для подростков в целом, но жители малого города выбирают их несколько чаще по сравнению с подростками из мегаполиса. Создать свою семью считают важной целью 67 % областных подростков и 67 % петербуржцев, стать отцом/матерью — 58 и 55 % соответственно.

Гендерные различия проявились в том, что девочки выглядят более активными и достигательными, ориентированы на несколько жизненных стратегий одновременно, желают развиваться гармонично во всех сферах жизни [8]. От петербурженки девочки из малого города отличаются более устойчивым стремлением участвовать в жизни общества (81 % против 72 %), желанием работать на благо страны (61 % против 52 %) и добиваться общественного признания (45 % против 34 %), но также создать семью (72 % против 64 %) и стать матерью (60 % против 52 %). Что касается жизненных целей мальчиков, то в области у подростков более выражены планы получить образование (95 % против 89 %), стремление быть полезными обществу (71 % против 61 %), работать на благо страны (60 % против 53 %), добиться общественного признания (40 % против 32 %), тогда как петербуржцы несколько чаще стремятся к личному счастью — здоровью, созданию семьи и родительству.

Таблица 1
Жизненные цели подростков (ответы «первостепенно важно» и «скорее важно», %)

Цели	N	СПб	ж	м	в браке		разведены		ЛО	ж	м	в браке		разведены	
					ж	м	ж	м				ж	м	ж	м
Иметь комфортные условия жизни (хорошее жилье, питание, интересный досуг)	96	97	99	95	99	96	99	94	94	96	93	94	95	97	89
Получить образование	95	93	97	89	99	91	93	88	96	97	95	98	96	97	94
Стать самостоятельным, заработать много денег	93	94	94	93	95	94	90	92	93	94	92	92	90	97	94
Стать профессионалом, сделать карьеру	93	93	96	90	97	91	92	91	91	92	90	93	91	97	88
Быть здоровым, поддерживать хорошую физическую форму	92	93	94	93	87	94	85	84	90	94	86	94	89	87	81
Иметь хороших друзей, на которых можно рассчитывать	92	93	93	92	92	92	93	93	90	93	88	91	85	97	91
Жить спокойно, без лишних волнений	88	88	91	85	90	87	92	78	89	89	88	88	92	87	75
Стать свободным, независимым человеком	85	85	85	84	86	86	87	83	83	84	82	84	86	83	66
Встретить любимого человека	82	83	85	81	87	81	76	81	82	86	77	89	75	80	75
Реализовывать собственные проекты (в искусстве, бизнесе, науке, технике и т.д.)	75	76	77	74	74	75	79	73	77	80	73	81	78	80	53
Быть полезным обществу, помогать людям, заботиться об экологии	69	66	72	61	75	63	60	53	76	81	71	84	71	73	69
Создать семью	62	67	64	70	68	72	57	66	69	72	66	78	68	60	63
Стать отцом /матерью	57	55	52	59	55	63	45	51	58	60	56	65	59	53	47
Работать на благо страны, способствовать ее укреплению и процветанию	55	52	52	53	54	55	44	47	60	61	60	66	58	53	63
Следить за модой, иметь привлекательный внешний вид	54	54	65	42	66	42	66	42	56	66	45	64	46	60	44
Добиться общественного признания, стать известным	35	33	34	32	32	33	36	30	43	45	40	46	38	43	41
Уехать в другую страну	25	26	32	20	30	19	40	21	24	26	22	26	20	27	28

При ранжировании жизненных целей обнаружили различия, определяющие специфику приоритетов подростков из области и мегаполиса. Хотя различия невелики, петербургские подростки чаще выбирают в качестве ведущих целей комфортные условия жизни, здоровье и возможность поддерживать хорошую физическую форму, а у подростков в малом городе в иерархии жизненных задач лидирует получение образования, более выражены просоциальные, активистские и патриотические установки, ориентация на достижение успеха и общественное признание. Три четверти областных подростков согласились с тем, что первостепенно важно быть полезным обществу, помогать людям, заботиться об экологии (76 % против 66 %), работать на благо своей страны, способствовать ее укреплению и процветанию (60 % против 52 %), а также добиться общественного признания, стать известным, популярным (43 % против 33 %). Сравнительный анализ мнений подростков из полных и разведенных семей о планах на будущее показал существенные различия в оценках значимости просоциальных ценностей по таким жизненным целям, как быть полезным обществу, помогать людям, заботиться об экологии (различия в 5–15 % в пользу подростков из полных семей), работать на благо страны, способствовать ее укреплению и процветанию (5 %–10 %). Намерение уехать в другую страну чаще выражают подростки из разведенных семей — петербургские девочки (40 % против 30 %) и областные мальчики (28 % против 20 %).

Показатели желания создать семью оказались выше у девочек из полных семей мегаполиса (68 % против 57 %) и жительниц области (78 % против 60 %), у мальчиков различия сохраняются (72 % против 66 и 68 % против 63 %). Стать родителем — также более актуальная жизненная цель для подростков из полных семей: для девочек из мегаполиса — 55 % против 45 % и жительниц малого города — 65 % против 53 %). В меньшей степени выражена цель рождения детей у мальчиков из разведенных семей, живущих в области: 63 % против 51 и 59 % против 47 %). О снижении возможностей и жизненных шансов чаще говорят мальчики из разведенных семей в малом городе, что определяет их сценарий жизни. По одним целям, зависящим напрямую от личной активности, инициативности и предприимчивости, различия незначительны: быть здоровым, иметь хорошую физическую форму (89 % против 81 %), стать профессионалом, сделать успешную карьеру (91 % против 88 %), по другим, связанным с ситуацией в семье, ее благополучием, поддержкой и финансовыми ресурсами, разрыв углубляется. Так, доля мальчиков из разведенных семей, выбравших активистские цели, оказалась значительно ниже: жить спокойно, без лишних волнений (75 % против 92 %), стать свободным, независимым (66 % против 86 %), реализовывать собственные проекты (в искусстве, бизнесе, науке, технике) (53 % против 78 %). В группе девочек из разведенных семей, живущих в области, различия сохраняются, но они менее выражены.

Анализ родительских установок подростков показал, что меняется представление об отцовстве: подавляющее большинство (более 90 %) считает, что «хороший отец — тот, кто заботится о ребенке наравне с матерью» (табл. 2). Становится все более приемлемым вариант жизни с отцом после развода, который в недавнем прошлом был исключительным: лишь пятая часть респондентов сомневается, что один отец, без матери, сможет вырастить ребенка. В случае развода ребенок может жить по очереди — то с матерью, то с отцом (69 % петербургских и 60 % областных подростков). Около 50 % петербуржцев считают отцовский отпуск по уходу за ребенком — правильной мерой для каждой семьи (44 % в области). Установка на сближение родительских ролей проявляется и в том, что, по мнению более половины опрошенных, в случае развода оба родителя должны платить алименты ребенку. В то же время оценка отца после развода у 60 % связана с его традиционными обязанностями по материальному обеспечению: «мужчина, который не платит алименты своему ребенку, плохой отец». Образ современного отца — это отец непьющий — не видит «ничего страшного, если отец выпивает» только один из десяти.

Несмотря на установку на активизацию отцовской роли, родительство не всегда воспринимается подростками как взаимная и разделенная ответственность. Так, полагают, что «прерывать беременность женщина может только с согласия отца ребенка», 30 % петербуржцев и 37 % проживающих в области, около трети поддерживает усилия родителей, чтобы не допустить развод, сохранить для ребенка возможность жить в полной семье.

Многодетность для большинства не привлекательна, признаком жизненного успеха большую семью считает менее пятой части опрошенных. Петербургские подростки чаще оценивают как непосильный труд для себя «растить ребенка-инвалида» (52 % против 43 %), но несколько реже отрицают приемное родительство (17 % против 23 %). Большинство опрошенных не разделяют мнение, что «воспитание детей — тяжелый и неблагодарный труд» (согласен каждый четвертый). Более трети считают, что «рождение ребенка суррогатной матерью для одинокого мужчины — это нормально». По мнению 78 % подростков в Санкт-Петербурге и 65 % в Ленинградской области, «семья может быть вполне счастливой и без детей».

Различия в выраженности социокультурных установок проявились при сравнении мнений подростков из полных и разведенных семей: отражающая общую систему жизненных ценностей установка на обязательность детей в семье, негативная динамика которой в целом характерна для нового поколения, еще больше расшатывается в неполной родительской семье, где доля подростков, согласных, что семья может быть вполне счастливой и без детей, на 6–13 % выше, чем в полных семьях, за исключением девочек, проживающих в области (порядка 70 % в обеих группах, тогда как в городе — 87 и 92 %).

Таблица 2

Семейные установки подростков Санкт-Петербурга и Ленинградской области
(ответы «согласны» + «скорее согласны», %)

Установки	N	в браке		разведены		ЛО		в браке		разведены	
		ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м
Хороший отец тот, кто заботится о ребенке наравне с матерью	93	96	90	96	91	91	91	95	91	90	81
Семья может быть вполне счастливой и без детей	85	87	65	92	77	65	65	73	53	73	66
Если родители развелись, ребенок может жить по очереди — то с матерью, то с отцом	67	69	73	65	66	60	60	61	59	63	59
Мужчина, который после развода не платит алименты своему ребенку, плохой отец	60	60	64	56	65	62	62	64	56	74	59
Растить ребенка-инвалида — непосильный труд для меня	60	52	56	44	64	51	43	45	38	67	28
При разводе оба родителя должны платить алименты ребенку на его счет	50	50	50	50	50	52	52	52	52	50	50
Отцовский отпуск по уходу за ребенком — правильная мера для каждой семьи	49	50	50	48	61	44	44	47	45	37	37
Многие отцы безответственные и инфантильные	38	38	42	27	61	39	39	45	28	62	35
Рождение ребенка суррогатной матерью для одинокого мужчины — это нормально	36	36	49	20	51	34	34	41	23	51	28
Нельзя допустить развод, если в семье есть дети	33	32	21	50	10	32	32	27	47	10	25
Женщина может прерывать беременность только с согласия отца ребенка	32	30	15	47	12	42	37	20	56	17	41
Отчим не может заменить ребенку родного отца	32	31	24	36	31	37	34	19	43	30	53
Воспитание детей — тяжелый и неблагодарный труд	27	26	25	24	32	29	28	18	36	33	25
Не может один отец вырастить ребенка без матери	20	18	14	23	17	18	21	13	26	24	28
Иметь многодетную семью — признак жизненного успеха	18	18	15	24	10	20	17	12	22	10	22
Я не смог(ла) бы быть хорошим/ей отцом/матерью для приемного ребенка	18	17	15	18	14	24	23	18	24	28	22
Ничего страшного, если отец выпивает	9	9	4	15	3	14	12	4	20	3	22

Среди подростков из разведенных семей больше тех, кто считает, что воспитание детей — тяжелый и неблагодарный труд. Они чаще осуждают современных отцов как безответственных и инфантильных, чаще скептически относятся к отчимам, считая, что те не могут заменить родного отца. Семейное положение родителей сказывается на отношении детей к разводу: наиболее нетерпимое оно у мальчиков из полных семей (половина считает развод недопустимым, если в семье есть дети), тогда как в разведенных семьях этот показатель на 17–22 % выше. Та же тенденция прослеживается в отношении репродуктивных решений: больше подростков из полных семей (мальчиков) считает, что согласие отца необходимо в случае аборта; среди девочек тенденция та же, но абсолютные показатели существенно ниже.

Несмотря на непопулярность у подростков многодетности как показателя жизненного успеха, воспитание в полной семье повышает вероятность положительного отношения к многодетности, и разница между группами (почти в два раза) особенно заметна у девочек в Санкт-Петербурге. В целом подростки ориентируются на двухдетную семью (37 %) или только одного ребенка (25 %), многодетную семью с тремя и более детьми выбирает каждый десятый (11 %), примерно треть подростков затруднились определиться или ориентированы на бездетность (18 % и 10 %) (табл. 3). Петербургские подростки чаще областных ориентированы на рождение двоих детей (39 % против 33 %), а жители области чаще выбирают рождение только одного ребенка (30 % против 23 %). Многодетными родителями с тремя и более детьми собираются стать 10 % петербуржцев и 8,9 % областных подростков, при этом чаще мальчики. Примерно равное количество подростков согласны с утверждением «лучше детей не иметь вообще» (10 % и 11 %), но много и затруднившихся ответить — каждый шестой (по 18 %).

Межгрупповое сравнение репродуктивных установок подростков показывает их более высокий уровень у мальчиков (1,36 против 1,23), и тенденция выражена сильнее в Петербурге (1,4 против 1,26 и 1,3 против 1,25 соответственно). Заметное различие в репродуктивных установках обнаружено и между подростками из полных и разведенных семей (1,36 против 1,17). В петербургской и областной выборке показатели ожидаемого числа детей у подростков из семей, чьи родители находятся в браке, также выше. Наиболее выраженные различия наблюдаются у областных подростков (1,39 против 0,92), более сглаженные — у петербургских (1,33 против 1,26). Исключение составляют только петербургские подростки — мальчики из полных и разведенных семей, результаты показывают схожие предпочтения (1,39 и 1,44). Многодетность чаще выбирают мальчики: в области из полных семей (13 %), в столице — из разведенных (15 %). Особенность петербургской подвыборки девочек из разведенных семей — существенное увеличение доли тех, кто

ориентирован на бездетность (10 и 17 %), значительно ниже у них и среднее ожидаемое число детей (1,09 против 1,44). О нежелании иметь детей сказала пятая часть опрошенных девочек этой группы (20 % против 12 % в группе из полных семей), у мальчиков наблюдается рост — на 6–16 % — затруднившихся ответить — с 22 до 31 %. Показатели среднего числа ожидаемых детей у подростков из разведенных семей оказались самыми низкими (0,90 и 0,93 у девочек и мальчиков).

Таблица 3

«Сколько всего детей вы собираетесь иметь?», %

Варианты ответа	В целом	ж	м	б	р	СПб	ж	м	б	р	ЛО	ж	м	б	р
Одного ребенка	25	27	23	23	31	23	25	22	21	31	30	34	26	31	31
Двух	37	36	38	40	27	39	37	41	42	27	33	34	31	27	26
Трех	8	7	8	8	8	9	8	9	8	10	6	6	5	10	3
Больше трех	2	1	3	2	1	2	1	2	1	2	3	1	5	2	
Лучше детей не иметь	11	12	9	9	14	10	12	9	10	13	11	14	8	13	18
Затрудняюсь ответить	18	17	19	18	18	18	19	18	18	17	18	11	24	17	23
Среднее ожидаемое	1,3	1	1,4	1,4	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1

Благополучие подростков в полных и разведенных семьях

Согласно полученным данным, общие и парциальные показатели субъективного благополучия выше у петербургских подростков: количество удовлетворенных жизнью в целом — 78 % против 70 % в области, оценивающих позитивно различные аспекты жизни — выше на 7–16 % среди петербуржцев, особенно это касается отношений с матерью и отцом, психологического климата в семье, взаимоотношений родителей, социального статуса и материального положения семьи. Оценки стабильности жизни и ее перспектив, возможностей для развития и самореализации свидетельствуют о сравнительно более благоприятной социальной ситуации, в которой происходит взросление подростков в мегаполисе (табл. 4). Однако оценки эмоционального самочувствия у подростков близки (65 % в области и 60 % в мегаполисе), как и удовлетворенность романтическими отношениями (44 и 41 %).

Таблица 4

Удовлетворенность подростков жизнью (в целом, удовлетворен(а) + скорее удовлетворен(а)), %

Сферы жизни	N	СПб	в браке		разведены		ЛО	в браке		разведены	
			ж	м	ж	м		ж	м	ж	м
Отношениями с друзьями	87	88	84	92	89	85	80	83	81	77	72
Отношениями с матерью	86	88	86	94	75	87	78	84	80	70	63
Материальным положением семьи	81	82	79	83	68	76	73	78	78	57	63
Успешностью семьи (социальным статусом)	80	82	83	91	65	71	72	78	84	47	44
Возможностью самореализации и раскрытия творческого потенциала	78	79	76	84	73	77	72	77	76	60	56
Жизненными перспективами	76	78	74	85	67	80	70	71	73	70	59
Удовлетворенность жизнью в целом	76	78	75	75	64	78	70	74	83	53	66
Стабильностью жизни	76	77	77	83	54	79	70	69	77	60	56
Физическим здоровьем	73	74	68	84	57	75	70	69	73	63	66
Отношениями с отцом	73	75	76	87	42	52	64	72	77	24	36
Взаимоотношениями родителей	72	75	77	89	32	60	66	69	83	33	34
Безопасностью жизни	72	73	71	81	53	80	65	60	74	67	53
Психологическим климатом в семье	70	71	77	84	50	64	63	65	74	47	41
Возможностью получить помощь от окружающих, не входящих в семейный круг	70	71	68	76	66	71	64	63	67	63	53
Состоянием репродуктивного здоровья	64	67	63	78	44	69	52	50	53	57	53
Эмоциональным самочувствием	62	60	49	76	42	62	65	58	71	63	69
Отношениями с отчимом	48	52	63	50	42	58	35	47	31	39	23
Взаимоотношениями с любимым человеком	43	41	36	47	39	42	44	43	55	50	33

Влияние структуры семьи сказывается на удовлетворенности петербургских подростков: по большинству пунктов оценки выше в полных семьях — это и взаимоотношения родителей (на 30–45 %), и психологический климат в семье (на 19–22 %), и ее социальный статус (18–19 %). Если родители разведены, наиболее сильно страдают отношения с отцом (доля положительных ответов меньше на 35 %), но возрастает и риск напряженных отношений с матерью (на 7–11 %), хотя в целом подавляющее большинство подростков этими отношениями удовлетворено. Материальные условия жизни семьи выше в полных семьях (различия в 6–11 %), также подростки выше оценивают состояние своего здоровья (8–18 %) и эмоциональное самочувствие (7–14 %). Присутствие отца дает ощущение безопасности и стабильности, что оказывается особенно важным для девочек (доля удовлетворенных этими аспектами выше на 18 и 24 % по сравнению с теми, чьи родители разведены, тогда как у мальчиков различия незначительны). Оценки возможностей самореализации и раскрытия творческого потенциала, жизненных перспектив также несколько выше у подростков в полных семьях. Удовлетворенность разными аспектами жизни находит отражение в удовлетворенности жизнью в целом, особенно у девочек (75 % в полных семьях против 64 % в разведенных; у мальчиков 75 % против 78 %). На удовлетворенность жизнью у подростков влияют и внесемейные факторы, например, отношения с друзьями доминируют большинство подростков.

Ответы подростков, проживающих в Ленинградской области, по большинству позиций в зависимости от типа семьи схожи с городскими сверстниками, но есть и отличия. Оценки семейной среды у подростков из полных семей также выше: удовлетворенность взаимоотношениями родителей — на 36–49 %, психологическим климатом — на 18–33 %, социальным статусом семьи — на 30–40 %. Отношения с отцом в разведенных семьях у большинства подростков не складываются — положительных оценок на 41–48 % меньше, чем в полных (удовлетворена отношениями с отцом лишь каждая четвертая девочка и каждый третий мальчик), отношения с матерью в разведенных семьях также ухудшаются (на 14–18 %), особенно у мальчиков.

В разведенных семьях ниже доля подростков, удовлетворенных материальным положением (на 16–20 %), возможностью самореализации и раскрытия творческого потенциала (17–20 %), стабильностью жизни (9–21 %), причем различия заметнее у мальчиков — оценивают жизнь как стабильную 77 % в полных семьях против 56 % в разведенных, аналогичная ситуация с оценками безопасности жизни (74 % против 53 %). Напротив, девочки в разведенных семьях чаще удовлетворены безопасностью жизни (67 % против 60 %), что, вероятно, обусловлено отсутствием повседневного взаимодействия с отцом, отношения с которым подавляющим большинством в этой группе оцениваются как неудовлетворительные. В области наблюдается более явное, по сравнению с девочками, снижение субъективного благопо-

лучия мальчиков в разведенных семьях (возможности для самореализации, жизненные перспективы, стабильность и безопасность жизни, социальная поддержка от людей вне семейного круга). Удовлетворенность жизнью в целом у подростков в разведенных семьях ниже (на 18–20 %), несмотря на схожий уровень эмоционального самочувствия.

Корреляционный анализ общей и парциальной удовлетворенности (табл. 5) показал, что у подростков из полных семей, независимо от пола и места проживания, общая удовлетворенность связана со всеми парциальными показателями на статистически достоверном (1 %) уровне. Можно предположить и обратное: общая удовлетворенность жизнью порождает тенденцию позитивно воспринимать разные ее стороны.

Таблица 5

Корреляции парциальных показателей субъективного благополучия подростков с удовлетворенностью жизнью в целом (V Крамера)

Удовлетворенность	Санкт-Петербург				Тосно			
	в браке		разведены		в браке		разведены	
	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м
Стабильностью жизни	,35**	,35**	,41**	,34**	,43**	,58**	,56**	,58**
Психологическим климатом в семье	,32**	,26**	,26	,24	,37**	,47**	,59**	,52**
Отношениями с матерью	,3**	,22**	,29*	,26	,45**	,66**	,49*	,6**
Жизненными перспективами	,3**	,4**	,4**	,43**	,54**	,59**	,54**	,56**
Эмоциональным самочувствием	,29**	,41**	,4**	,38**	,33**	,37**	,45	,53**
Материальным положением семьи	,28**	,33**	,3**	,36**	,42**	,4**	,52**	,54**
Успешностью семьи (социальным статусом)	,28**	,27**	,29*	,28*	,41**	,46**	,64**	,52**
Отношениями с друзьями	,27**	,31**	,21	,31*	,32**	,36**	,44	,5**
Возможностью самореализации и раскрытия творческого потенциала	,27**	,35**	,4**	,48**	,58**	,58**	,68**	,62**
Состоянием репродуктивного здоровья	,27**	,27**	,17	,25	,36**	,42**	,61**	,54**
Отношениями родителей	,26**	,24**	,2	,27	,38**	,44**	,47*	,46*
Возможностью получить помощь от окружающих, не входящих в семейный круг	,26**	,32**	,26	,4**	,35**	,37**	,52**	,48*
Отношениями с отцом	,25**	,21**	,22	,23	,28*	,55**	,36	,39
Безопасностью жизни	,25**	,27**	,32**	,55**	,38**	,44**	,59**	,69**
Состоянием физического здоровья	,23**	,26**	,24	,26	,43**	,46**	,63**	,46*
Взаимоотношениями с любимым человеком	,2**	,23**	,25	,29**	,34**	,35**	,68**	,52**

* коэффициенты, значимые на уровне $p \leq 0,05$

**коэффициенты, значимые на уровне $p \leq 0,01$

У подростков в разведенных семьях корреляции более дифференцированные: от высоко значимых (на уровне 1 %) до незначимых, что означает разный вклад оцениваемых аспектов жизненной ситуации в субъективное благополучие. Для этих подростков универсальное положительное значение имеет удовлетворенность материальным положением семьи, стабильностью жизни, возможностью самореализации и раскрытия творческого потенциала, жизненными перспективами, что в целом отражает базовые экзистенциальные потребности в настоящем обращенные в будущее. Отношения с отцом на удовлетворенность жизнью влияния не оказывают, но и отношения с матерью значимо влияют на общую удовлетворенность только у мальчиков в области. В целом отношения в разведенной семье менее значимы для подростков из Санкт-Петербурга, тогда как в области удовлетворенность социальным статусом и психологическим климатом семьи для самочувствия подростков существенны.

Предсказуемо эмоциональное самочувствие (аффективный компонент субъективного благополучия) взаимосвязано с удовлетворенностью жизнью (возможностями, предоставляемыми жизненной ситуацией, в том числе семьей, для удовлетворения потребностей подростка), и статистический анализ подтвердил наличие значимых (на уровне 1 %) корреляций между удовлетворенностью жизнью и эмоциональным самочувствием во всех подвыборках, кроме девочек в разведенных семьях, проживающих в области. Оба показателя связаны с общим перечнем детерминант (большинство пунктов в таблице 4), но есть и исключения: на удовлетворенность жизнью влияет возможность самореализации, а на эмоциональное самочувствие — отношения с друзьями и такие личностные качества, как позитивный настрой, ответственность, способность проявлять заботу о других, т.е. эмоциональное самочувствие детерминировано факторами как социального, так и личностного характера, но в то же время для подростков крайне значимо наличие в их окружении людей, которые их поддерживают, с которыми устанавливаются отношения взаимопонимания и эмоциональной близости.

Таким образом, сравнение мнений подростков в мегаполисе и малом городе показывает значительное сходство семейных и репродуктивных установок, но все же поселенческий фактор имеет значение: межгрупповые различия свидетельствуют о большей приверженности подростков мегаполиса новым идеям и практикам (отцовский отпуск и совместное воспитание детей), а также ценностям индивидуализма и личных прав, тогда как у подростков, проживающих в области, сравнительно более выражена просемейная направленность традиционного типа (принятие совместных репродуктивных решений в семье, готовность к родительскому труду, в том числе требующему личных жертв).

Подтвердилась гипотеза о том, что подростки, воспитывающиеся в полных семьях, имеют более высокий уровень субъективного благополучия.

чия, более позитивно воспринимают родительство и семейные ценности, чем подростки из разведенных семей. Воспитанные в полной семье подростки более активно поддерживают ценности гражданского участия и помогающего поведения, чаще выражают желания жить и работать в родной стране, нацелены на создание семьи и рождение детей. Напротив, подростки из разведенных семей чаще поддерживают установку на допустимость развода в семье с детьми, что отражает феномен межпоколенческой передачи развода.

Гендерные различия проявились в том, что при общих довольно низких репродуктивных установках сравнительно выше они у мальчиков (тенденция более выражена в Петербурге) и у подростков из полных семей. Предпочитаемая подростками модель семьи — двухдетная, на многодетность чаще ориентированы мальчики, на однодетность — подростки из разведенных семей (особенно в области). Более высокие репродуктивные установки петербургских подростков, видимо, связаны с лучшим социально-экономическим положением семей, проживающих в мегаполисе. Действительно, у петербургских подростков как общий уровень, так и парциальные показатели удовлетворенности жизнью выше, что свидетельствует о более благоприятной социальной ситуации, в которой происходит взросление подростков мегаполиса.

Информация о финансировании

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00770, <https://rscf.ru/project/23-18-00770/>.

Примечания

- (1) Первые демографические итоги в России I полугодия 2022 года. 2025. URL: <https://www.demoscope.ru/weekly/2025/01067/barom06.php>.
- (2) Развод по-русски. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/razvod-po-russki>.
- (3) National Marriage and Divorce Rate Trends for 2000–2023. URL: <https://www.cdc.gov/nchs/fastats/marriage-divorce.htm>.
- (4) Understanding the Alarming China Divorce Rate. URL: <https://hrone.com/blog/china-divorce-rate-a-deep-dive-into-trends-and-impacts>.
- (5) Marriage and Divorce Statistics. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Marriage_and_divorce_statistics.
- (6) Всероссийская перепись населения 2010. URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm.
- (7) Всероссийская перепись населения 2020. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom8_Chislo_i_sostav_domohozyajstv.
- (8) Разводы в России. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/razvody-v-rossii-monitoring>.
- (9) Исследование одобрено Этическим комитетом СПбГУ, протокол № 115-02-4 от 10.04.2024; получены информированные согласия родителей и детей.
- (10) Тосненский район: промышленность. URL: <https://tosno.online/промышленность>.
- (11) Всероссийская перепись населения 2020. Таблица 5: Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, городских округов, муници-

пальных районов, муниципальных округов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов с населением 3000 человек и более. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tab-5_VPN-2020.xlsx.

Библиографический список / References

1. Безрукова О.Н., Самойлова В.А. Почему российские отцы не платят алименты? Дискурсы разведенных отцов о матерях, алиментных обязательствах и семейной политике // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2025. № 1 / Bezrukova O.N., Samoylova V.A. Pochemu rossijskie ottsy ne platyat alimenty? Diskursy razvedennyh ottsov o materyah, alimentnyh obyazatelstvah i semejnoj politike [Why Russian fathers refuse to pay alimony? Divorced fathers' discourses about mothers, alimony payments, and family policy]. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. 2025; 1. (In Russ.).
2. Гришина О.В. Влияние развода родителей на вероятность развода детей // Российский экономический интернет-журнал. 2009. № 1 / Grishina O.V. Vliyanie razvoda roditelej na veroyatnost razvoda detej [Influence of parents' divorce on the probability of children's divorce]. *Rossiysky Ekonomicheskyy Internet-Zhurnal*. 2009; 1. (In Russ.).
3. Гულдан В.В., Токарева Г.М. Психологические последствия негативного влияния родителей на детей при высоко конфликтных разводах // Судья. 2024. № 2 / Guldán V.V., Tokareva G.M. Psikhologicheskie posledstviya negativnogo vliyaniya roditelej na detej pri vysokokonfliktnyh razvodah [Psychological consequences of negative parental influence on children in high-conflict divorces]. *Sudiya*. 2024; 2. (In Russ.).
4. Гурко Т.А. Динамика жизнедеятельности и факторы благополучия подростков // Мир России. Социология. Этнология. 2023. Т. 32. № 4 / Gurko T.A. Dinamika zhiznedejatelnosti i faktory blagopoluchiya podrostkov [Dynamics of life activity and factors of adolescent well-being]. *Mir Rossii*. 2023; 32 (4). (In Russ.).
5. Ермилова А.В. Жизнь после развода родителей в восприятии детей: социологический анализ // Женщина в российском обществе. 2016. № 1 / Ermilova A.V. Zhizn posle razvoda roditelej v vospriyatii detej: sotsiologicheskyy analiz [Children's perception of life after divorce: A sociological analysis]. *Woman in Russian Society*. 2016; 1. (In Russ.).
6. Зыков С.В. Синдром родительского отчуждения (PAS) как вызов российскому семейному праву // Юридическая наука и практика. 2024. Т. 20. № 1 / Zykov S.V. Sindrom roditelskogo otchuzhdeniya (PAS) kak vyzov rossijskomu semejnomu pravu [Parental Alienation Syndrome (PAS) as a challenge to the Russian family law]. *Yuridicheskaya Nauka i Praktika*. 2024; 20 (1). (In Russ.).
7. Лубкова А.А., Шнейдер Л.Б. Экстраполяция воспоминаний супругов о разводе родителей на различные аспекты их брачно-семейных отношений // Мир психологии. 2024. № 2 / Lubkova A.A., Schneider L.B. Ekstrapolyatsiya vospominanij suprugov o razvode roditelej na razlichnye aspekty ih brachno-semejnyh otnoshenij [Extrapolation of spouses' memories of their parents' divorce to various aspects of their marital-family relations]. *Mir Psikhologii*. 2024; 2. (In Russ.).
8. Назарова И.Б., Зеленская М.П. Приоритеты студентов российских вузов: обучение, семья, работа // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2020. Т. 20. № 4 / Nazarova I.B., Zelenskaya M.P. Prioritety studentov rossijskih vuzov: obuchenie, semiya, rabota [Priorities of the Russian student youth: Education, family, work]. *RUDN Journal of Sociology*. 2020; 20 (4). (In Russ.).
9. Реутов Е.В., Реутова М.Н., Шавырина И.В. Жизненные цели молодежи и способы их достижения (по результатам опроса в юго-западном и южных регионах России) // Социологические исследования. 2023. № 5 / Reutov E.V., Reutova M.N., Shavyrina I.V. Zhiznennye celi molodezhi i sposoby ih dostizheniya (po rezul'tatam oprosa v yugo-zapadnom i yuzhnykh regionakh Rossii) [Life goals of youth and ways of their achievement (based on the results of a survey in the south-western and southern regions of Russia)]. *Sotsiologicheskiye issledovaniya*. 2023. № 5 / Reutov E.V., Reutova M.N., Shavyrina I.V.

- Shavyrina I.V. Zhiznennye tseli molodezhi i sposoby ih dostizheniya (po rezul'tatam oprosa v yugo-zapadnom i yuzhnyh regionah Rossii) [Life goals of the youth and ways to achieve them (based on the survey in the Southwestern and Southern regions of Russia)]. *Sociological Studies*. 2023; 5. (In Russ.).
10. Ростовская Т.К., Намсак О.Д. Неполные семьи: дискурс-анализ диссертационных исследований // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2024. Т. 24. № 3 / Rostovskaya T.K., Natsak O.D. Nepolnye semyi: diskurs-analiz dissertatsionnyh issledovanij [Single-parent families: A discourse analysis of PhD theses]. *RUDN Journal of Sociology*. 2024; 24 (3). (In Russ.).
 11. Синельников А.Б. Субъективные причины развода: данные исследования // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. 2017. Т. 23. № 3 / Sinelnikov A.B. Sub'ektivnye prichiny razvoda: dannye issledovaniya [Subjective reasons for divorce: Research data]. *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 18: Sotsiologiya i Politologiya*. 2017; 23 (3). (In Russ.).
 12. Шевченко И.О. Ситуация после развода: отцы и дети // Социологические исследования. 2015. № 3 / Shevchenko I.O. Situatsiya posle razvoda: ottsy i deti [Situation after divorce: Fathers and children]. *Sociological Studies*. 2015; 3. (In Russ.).
 13. Amato P.R. Research on divorce: Continuing trends and new developments. *Journal of Marriage and Family*. 2010; 72.
 14. Amato P.R., Patterson S.E. The intergenerational transmission of union instability in early adulthood. *Journal of Marriage and Family*. 2017; 79 (3).
 15. Astuti Y., Anganthi N.R. Subjective well-being in adolescents from broken home families. *Journal of Humanities Research*. 2016; 17 (2).
 16. Baert S., Van der Straeten G. Secondary school success in times of parental divorce. *Family Relations*. 2021; 70 (2).
 17. Bernardi F., Boertien D. Non-intact families and diverging educational destinies: A decomposition analysis for Germany, Italy, the United Kingdom and the United States. *Social Science Research*. 2017; 63.
 18. Chappel A.M., Suldo S.M., Ogg J.A. Associations between adolescents' family stressors and life satisfaction. *Journal of Child and Family Studies*. 2014; 23.
 19. Diekmann A., Schmidheiny K. The intergenerational transmission of divorce: A fifteen-country study with the fertility and family survey. *Comparative Sociology*. 2013; 12.
 20. Di Nallo A., Oesch D. The intergenerational transmission of family dissolution: How it varies by social class origin and birth cohort. *European Journal of Population*. 2023; 39 (3).
 21. D'Onofrio B.M., Turkheimer E., Emery R.E., Harden K.P., Slutske W.S., Heath A.C., Martin N.G. A genetically informed study of the intergenerational transmission of marital instability. *Journal of Marriage and Family*. 2007; 69.
 22. Fraley R.C., Heffernan M.E. Attachment and parental divorce: A test of the diffusion and sensitive period hypotheses. *Personality and Social Psychology Bulletin*. 2013; 39.
 23. Gähler M., Hong Y., Bernhardt E. Parental divorce and union disruption among young adults in Sweden. *Journal of Family Issues*. 2009; 30 (5).
 24. Harman J., Kruk E., Hines D. Parental alienating behaviors: An unacknowledged form of family violence. *Psychological Bulletin: American Psychology Association*. 2018; 144 (12).
 25. Kreidl M., Štípková M., Hubatková B. Parental separation and children's education in a comparative perspective: Does the burden disappear when separation is more common? *Demographic Research*. 2017; 36 (1).
 26. Kuperberg A. Age at coresidence, premarital cohabitation, and marriage dissolution: 1985–2009. *Journal of Marriage and Family*. 2014; 76 (2).
 27. Lersch P.M., Baxter J. Parental separation during childhood and adult children's wealth. *Social Forces*. 2021; 99 (3).
 28. Salvatore J.E., Larsson Lönn S., Sundquist J., Sundquist K., Kendler K.S. Genetics, the rearing environment, and the intergenerational transmission of divorce: A Swedish national adoption study. *Psychological Science*. 2018; 29 (3).

29. Smith-Etxeberria K., Corres-Medrano I., Fernandez Villanueva I. Parental divorce process and post-divorce parental behaviors and strategies: Examining emerging adult children's attachment-related anxiety and avoidance. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2022; 19.
30. TenEyck M.F., Knox K.N., El Sayed S.A. Absent father timing and its impact on adolescent and adult criminal behavior. *American Journal of Criminal Justice*. 2016; 48 (1).

DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-669-688

EDN: KNYXNS

Family values and well-being of adolescents in two-parent and divorced Russian families: A study in a small town and a metropolis*

O.N. Bezrukova, V.A. Samoylova

Saint Petersburg State University,
Universitetskaya Nab., 7–9, Saint Petersburg, 199034, Russia

(e-mail: o.bezrukova@spbu.ru; v.; samojlova@spbu.ru)

Abstract. The article considers family values and subjective well-being of adolescents in divorced and two-parent families, based on the survey of 14–17-year-olds in Saint Petersburg and the city of Tosno in the Leningrad Region. The study showed that adolescents' family attitudes are contradictory: having children is not necessary for them, while the desired parenting is rather egalitarian; boys more often plan to start a family and have (many) children (higher reproductive aspirations), while girls express higher educational, career and prosocial aspirations. Adolescents in divorced families face significant risks in creating stable families, having children and achieving subjective well-being; they are more likely to have reduced parenting potential and low reproductive aspirations. The authors suggest a “phenomenon of intergenerational transmission of divorce”: adolescents from divorced families are more likely to accept divorce in families with children (90 % of girls and 70 % of boys). Moreover, adolescents in the large city report higher levels of satisfaction with various aspects of life, which proves a better social environment of growing up compared to small towns. Adolescents in large cities are more likely to support values of individualism and personal rights and to accept new family practices, such as paternity leave and shared parenting after divorce, while adolescents in small towns express more traditional views on starting a family and having children.

Key words: family values; adolescents; family; divorce; well-being; subjective well-being; fatherhood; small town; metropolis; inequality

For citation: Bezrukova O.N., Samoylova V.A. Family values and well-being of adolescents in two-parent and divorced Russian families: A study in a small town and a metropolis. *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (4): 669–688. (In Russ.). <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-669-688>

Funding

The article was prepared within the research project No. 23-18-00770 supported by the Russian Science Foundation (RSF), <https://rscf.ru/project/23-18-00770/>.

*© O.N. Bezrukova, V.A. Samoylova, 2025

The article was submitted on 28.07.2025. The article was accepted on 14.10.2025.



DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-689-715

EDN: KJHTBO

Место человека в социальном пространстве России (возможности эмпирического исследования)*

Л.А. Беляева

Институт философии РАН,
ул. Гончарная, 12, стр. 1, Москва, 109240, Россия

(e-mail: bela46@mail.ru)

Аннотация. В статье рассмотрены понятия и феномены, дающие представление о социальном пространстве страны, в которое включен человек со своими способностями, потребностями, жизненными обстоятельствами, оценками и мнениями. Исследование базируется на теории социального пространства П. Бурдьё как совокупности социальных полей: экономического, политического, бюрократического, религиозного, национального, регионального, ценностного. Включение в анализ трех последних полей, к которым специально не обращался Бурдьё, оправдано российской спецификой — без учета этих полей изучение массового сознания и позиций акторов и групп в социальном пространстве было бы неполным. В статье предпринята попытка представить целостный взгляд на социальное пространство с использованием эмпирических показателей. Поля социального пространства рассмотрены как многосоставные объекты, несводимые к единому целому, имеющие разные основания и набор признаков/индикаторов, а также разное влияние на положение индивида в обществе. Изучение социального пространства через призму массового сознания — оценки социальных полей и своего места в них — дает возможность увидеть такие качества этих полей, которые содействуют или препятствуют развитию общества и благополучию человека. Эмпирическую основу исследования составили материалы всероссийского мониторинга Центра изучения социокультурных изменений Института философии Российской академии наук (ЦИСИ ИФ РАН) (1990–2023), данные Европейского социального исследования (ESS), в котором участвовала Россия, а также результаты опросов, проведенных ведущими российскими центрами общественного мнения в 2024–2025 годы и российского социального исследования (РСИ) за 2024 год. Показано, что поля социального пространства России находятся в гетерогенном и динамичном состоянии, поэтому его изучение в условиях современных внутренних и внешних экономических и социально-политических вызовов является актуальной задачей.

Ключевые слова: социальное пространство; капитал; поле — социально-экономическое, политическое, бюрократическое, религиозное, региональное, национальное, ценностное; опросы общественного мнения; эмпирические индикаторы

Для цитирования: Беляева Л.А. Место человека в социальном пространстве России (возможности эмпирического исследования) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 4. С. 689–715. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-689-715>

*© Беляева Л.А., 2025

Статья поступила в редакцию 11.06.2025. Статья принята к публикации 14.10.2025.

Будущее страны в сложный этап исторического развития объясняет необходимость анализа процессов, происходящих в контексте реальных изменений тех сторон общественного развития, которые оказывают влияние на существенные параметры российской цивилизационной модели. Простая констатация, что у России свой самобытный путь развития, невозможна без критического анализа тех составляющих этого пути, которые оказывают влияние на качество жизни населения, общественное сознание, взаимоотношения внутри сообщества и с внешним миром. Для характеристики модели цивилизационного развития, которой следует Россия, важно учитывать не только особенности самосознания и духовные составляющие образа жизни («таинственный народный дух» [26. С. 214]), но и вполне осязаемые обстоятельства жизни — материальные, социальные, политические, технологические. Тогда цивилизационную модель современной России можно определить как гетерогенную — в ней совмещаются технологические достижения, элементы гражданского общества, смешанный тип государственного устройства (плебисцитарная демократия [47]), крайняя степень материального расслоения, смешение западных форм образа жизни, восточный колорит и архаика и т.д., и для изучения этой модели необходимо выбрать или разработать соответствующий научный аппарат.

Можно обратиться к системе понятий в поле теоретической конструкции «социальное пространство». Ответом на вопрос, для чего нужно изучать социальное пространство страны, может быть «нет ничего практичнее хорошей теории», а также «чтобы определить место человека в своей стране, нет ничего практичнее, чем теоретически представить те реальные общественные сферы, в которые входит человек со всеми его способностями, потребностями, жизненными обстоятельствами, оценками и мнениями». Кроме того, как подчеркивает П. Бурдье, такой подход позволяет представить совокупность точек, с которых обычные агенты (в том числе социолог) видят социальный мир, — большинство позиций повседневного существования с его дистанциями. Бурдье советовал вкладывать «наиболее важные теоретические вопросы в тщательно проведенное эмпирическое исследование» и обращаться «за решением той или иной канонической проблемы к тематическим исследованиям... например, вооружившись в попытке понять фетишизм не классическими текстами Маркса или Леви-Стросса, а анализом высокой моды и “марки” кутюрье» [46. С. 110]. Для оценки возможностей эмпирического изучения социального пространства с его полями были проанализированы мнения россиян о качествах социальных полей и своем месте в них.

Эмпирическая база исследования — материалы всероссийского мониторинга, одного из немногих проектов, который начался еще в советской России (в границах РСФСР 1990 года) и продолжается до сих пор, в значительной части по той же программе. В 1990–2020 годы мониторинг проводился каждые четыре года, затем в 2015 и 2023 году (перерыв в 5 и 7 лет

соответственно). Опросы 1990–2015 годов были проведены под руководством Н.И. Лапина, опрос 2023 года — под руководством Л.А. Беляевой. Мониторинг охватывает социально-политический и экономический контексты жизни, базовые ценности и нормы поведения населения, его труд, доходы, повседневные интересы, оценки тенденций развития страны, своего настоящего и ближайшего будущего. Объем интервью в разные годы составлял от 70 до 150 вопросов, большинство вопросов повторялись во всех волнах (1). В опросе 2023 года представлены все федеральные округа и большинство регионов. Предлагаемая методика может учитывать данные других исследований в качестве основных или дополнительных. В статье использованы материалы ВЦИОМ и ФОМ. Данные Российского социального исследования (РСИ), сопоставимого с Европейским социальным исследованием (ESS), предоставлены А.В. Андреевской, под чьим руководством был проведен опрос в сентябре — ноябре 2024 года (2).

Социологические теории социального пространства возникли сравнительно недавно, в отличие от философско-исторического осмысления этого понятия. Предметом изучения является также взаимодействие физического и социального пространств, которые, с одной стороны, не совпадают, но, с другой стороны, тесно взаимодействуют. Разные подходы к определению социального пространства и его наполненности представлены в работах многих социальных философов и социологов (см., напр.: [6; 7; 17; 19; 24; 44; 45]), в каждой концепции обозначены те или иные характерные черты социального пространства — от межиндивидуальных взаимодействий, иерархического строения и дистанций до сетевых и виртуальных сообществ. Сегодня социальные науки находятся под воздействием методик изучения «больших данных», но выстраивать методологию изучения социального пространства страны с учетом его множественности и изменчивости — прерогатива социальной философии и социологии. Множественность — характерная, неустраняемая черта социального пространства, находящегося в непрестанной динамике и трансформации, поэтому необходим анализ состояния социальных полей по целому ряду непрерывно изменяемых показателей, определяя на каждом временном этапе основные показатели, по которым можно отслеживать изменения социальных полей и в целом социального пространства. Теория социального пространства имеет структуралистские основания [1], поэтому для нее характерны ясность и общность методологической программы и четкие границы анализа.

Статья опирается на теорию Бурдьё, который рассматривал общество как социальное пространство из ансамбля полей, в которых концентрируются разные виды капитала [9; 10; 15] и происходит взаимодействие и борьба акторов — индивидуальных и групповых — за статусные позиции в конкретном поле и в социальном пространстве в целом. Социальное пространство — «поле сил, точнее совокупность объективных отношений сил, ко-

торые навязываются всем входящим в это поле и несводимы к намерениям индивидуальных агентов или же к их непосредственным взаимодействиям... Действующие свойства, взятые за принцип построения социального пространства, являются различными видами власти или капиталов, которые имеют хождение в различных полях. Капитал, который может существовать в объективированном состоянии — в форме материального свойства или, как это бывает в случае культурного капитала, в его инкорпорированном состоянии, что может быть гарантировано юридически, — представляет собой власть над полем (в данный момент времени)» [13. С. 15]. Поля и действующие в них капиталы — механизмы воспроизводства социальных отношений и иерархий, но теория Бурдьё не учитывает во всей полноте те изменения, вызовы и способы, которые позволяют трансформировать социальные поля и социальное пространство благодаря действиям социальных акторов. Поэтому несколько статичная теория социального пространства была дополнена теорией действия Бурдьё, в центре которой находится понятие габитуса — система приобретенных схем, действующих на практике как категории восприятия и оценивания или как принцип распределения по классам и организационный принцип действия [14].

Поля социального пространства — многосоставные объекты, несводимые к единому целому, с разными основаниями, наборами признаков и влиянием на положение индивида: «Позиция агента в социальном пространстве может определяться по его позициям в различных полях, т.е. распределением власти, активированной в каждом отдельном поле. Это, главным образом, экономический капитал в его разных видах, культурный капитал и социальный капитал, а также символический капитал, обычно называемый престижем, репутацией, именем и т.п.» [13. С. 16]. Социальные поля, составляющие социальное пространство, можно рассматривать как структуру распределения разных видов капитала, которые функционируют одновременно как инструменты и цели борьбы в разных полях и в социальном пространстве в целом. «Социальное пространство можно описать как такое многомерное пространство позиций, в котором любая существующая позиция может быть определена, исходя из многомерной системы координат, значение которых коррелирует с соответствующими различными переменными. Таким образом, агенты в них распределяются в первом измерении — по общему объему капитала, которым они располагают, а во втором — по сочетаниям в них капиталов, т.е. по относительному весу различных видов капитала в общей совокупности собственности» [13. С. 16].

В отечественном научном дискурсе представлен опыт рассмотрения некоторых полей социального пространства (см., напр.: [25; 27; 30; 43]): идеологического поля; социального поля фондового рынка; поля цифровой экономики; виртуального сообщества как социального поля, где присутствует неравенство и коммуникативный капитал; социального поля здоровья нации;

социального театра; спорта; современной литературы; образования; сексуальности и т.д. — теория Бурдьё позволила исследователям рассмотреть проблемы общества с использованием единой системы понятий: капитал, борьба, позиция, практика, габитус, действие, власть. Например, была показана интегрированность спорта в тело социума, иерархичность поля спорта, его способность к трансформации и практический смысл, динамичность развития, многомерность и способность подчинять себе спортивных агентов, влиять на иные поля и само общество [22].

Отмечая успешность применения теории пространства Бурдьё к анализу отдельных социальных полей, нельзя не отметить отсутствие комплексного и синхронного рассмотрения доминирующих социальных полей, образующих такие характеристики конкретного общества, которые позволяют говорить о модернизационном уровне и цивилизационной модели страны. Целостный взгляд на состав полей и их структуру с использованием эмпирических индикаторов пока не стал общепринятым методологическим подходом. Адекватное изучение полей социального пространства возможно только посредством сочетания объективных и субъективных характеристик, которые должны дополнять друг друга, описывая общество, представленное в этих полях, находить свое отражение в объективированном виде, а также в восприятии этих полей населением. Для социолога, работающего с эмпирическими данными, приоритетное значение имеют оценки индивидами социального поля, многообразия его характеристик и самоидентификация в этом поле.

Социальное пространство России формируется социально-экономическим, политическим, бюрократическим, религиозным, региональным, национальным и ценностным полями. Важным свойством социальных полей является их взаимное влияние, что выражается в изменении социальной позиции индивида в конкретном поле при изменении позиции в другом поле — как при повышении, так и в случае понижения. В социальном пространстве действуют акторы — индивидуальные и коллективные субъекты, последние образуют социальные общности — демографические, национальные, территориальные, профессиональные и т.п., которые внутренне иерархически упорядочены («верхние», «средние» и «нижние» слои, вертикальные и горизонтальные каналы перемещений и т.д.). Все индивидуальные акторы занимают свое место в социальных полях, действуют в соответствии с габитусом и имеют представление о своем месте, получаемом в ходе социализации и сравнения с другими акторами. Отдельные индивидуальные акторы могут обладать таким объемом капитала (экономического, политического, символического, человеческого и др.), который дает им существенный перевес над коллективными акторами. Так, в политическом поле обычно доминирует руководитель политического объединения, но в определенных обстоятельствах его сила может ослабевать, и в результате меняется (снижа-

ется) его социальная позиция. Такие же перемещения происходят в других полях при сокращении того или иного вида капитала у конкретного актора. Исключение составляет человеческий капитал, поскольку он только накапливается и не утрачивается без чрезвычайных обстоятельств. Более того, составная часть человеческого капитала — цифровые компетенции — сегодня может наращиваться без влияния других видов капитала.

В поиске инструментов изучения социального поля можно обратиться к объективным показателям или опереться на суждения тех, кто располагается в этом поле, т.е. задействовать количественные и качественные методы. Каждое социальное поле, согласно Бурдье, можно анализировать по двум группам показателей — имеющих объективированное выражение и отраженных в массовом сознании.

Социально-экономическое поле, по Бурдье, занимает центральное место в социальном пространстве в силу того, что здесь концентрируется экономический капитал, а позиция актора в социальном пространстве определяется главным образом его позицией в экономическом поле, которое стремится навязать свою структуру другим полям [13]. Эмпирические индикаторы экономического капитала формируют иерархическую систему позиций, характеризующих материальное благосостояние: доход, финансовый капитал, недвижимость, возможности для поддержания здоровья, получения высококвалифицированной медицинской помощи и образования. В этой системе показателей существует тесная связь между распределением дохода и другими показателями благосостояния, закрепляющими размещение людей по социальным слоям. Неравномерность обладания экономическим капиталом может фиксироваться и другими объективными показателями: место жительства в престижных районах города или престижной дачной местности, высокая стоимость жилья, обладание предметами роскоши, антиквариатом и прочими свидетельствами значительного экономического капитала, а на другом полюсе оказываются люди с минимальным доходом в социально неблагополучных районах.

Наряду с объективными показателями экономического капитала используется самооценка материального положения, оценки справедливости в распределении богатства, доступности хорошего питания, нормального жилья и медицинской помощи. Помимо экономического капитала в этом поле находятся такие показатели, как уровень социальной защиты и социального обеспечения, возможность получения качественных медицинских услуг, развитость системы образования, учреждений культуры и досуга и их доступность. Эти показатели варьируют в зависимости от экономического капитала в узком смысле слова, а также от предоставляемых социальных услуг. В число субъективных показателей включаются также индикаторы социальной солидарности, коллективизма/индивидуализма, отношение к справедливости и равенству.

Так, в мониторинге ЦИСИ ИФ РАН за 1990–2023 годы респонденты были распределены по материальному положению на основе самоидентификации (табл. 1). В начале 1990-х годов около 70 % населения оказались в группах «нищих», «бедных» и «необеспеченных», к трем верхним материальным слоям относились 30 %. В 2023 году соотношение слоев изменилось: три нижние страты составляют 31 %, четвертая — обеспеченные — 50 %, пятая и шестая — 19 %. За тридцать лет общество пришло к довольно устойчивой конструкции вследствие позитивных сдвигов в экономике и успешной адаптации к постсоветским социетальным преобразованиям. Располагаемый экономический капитал — уровень дохода населения — вырос на столько, что можно говорить о повышении социального благополучия. Тенденцию на стабилизацию материального расслоения в 2024–2025 годы фиксирует и ФОМ: 25 % россиян считают свое материальное положение хорошим, 55 % — средним, 18 % — плохим при незначительных колебаниях оценок [22]. Схожую картину показывают и оценки удовлетворенности нынешним состоянием экономики: по данным РСИ, средний балл за 2016–2024 годы по 10-балльной шкале вырос в 1,25 раза.

Таблица 1

Какое высказывание характеризует Ваше материальное положение?, %

Самооценка	1994	1998	2002	2006	2010	2015	2023	Условные слои
Денег до зарплаты не хватает, приходится занимать	7	24	13	11	13	11	8	«Нищие»
На повседневные затраты уходит вся зарплата	31	29	23	22	18	18	10	«Бедные»
На повседневные нужды хватает, но покупка одежды затруднительна	28	21	30	21	21	22	13	«Необеспеченные»
В основном хватает, но для покупки дорогостоящих предметов нужно брать в долг	22	14	22	29	31	33	50	«Обеспеченные»
Почти на все хватает, но недоступны приобретение квартиры, дачи	7	10	11	9	11	9	16	«Зажиточные»
Практически ни в чем себе не отказываем	1	1	1	2	3	2	3	«Богатые»
Не знаю, отказ от ответа	4	1		6	3	5		

Однако если рассматривать социально-экономический капитал как комплексное удовлетворение базовых потребностей (табл. 2), то низкие оценки (менее 50 %) получили доступность хорошей медицинской помощи и образования, лишь каждый пятый (21 %) заявил о своей защищенности от бедности.

Таблица 2

Положительные оценки показателей уровня жизни, %

Показатели уровня жизни	1990	1994	1998	2002	2006	2010	2015	2023
Хорошее материальное положение (обеспеченные и выше по доходу)		30	25	34	40	45	43	70
Удовлетворены доступностью качественных потребительских товаров				47	59	59	50	66
Удовлетворены качеством обслуживания в сфере быта				31	49	48	48	60
Удовлетворены качеством жилья	57			58	60	66	65	68
Удовлетворены доступностью хорошей медицинской помощи				19	28	31	31	29
Удовлетворены доступностью образования						41	46	49
Защищены от бедности			14		15	21	21	21

Таким образом, выборочный анализ показателей социально-экономического капитала показал, что в постсоветские годы происходило накопление этого капитала для обеспечения материальной стороны жизни — дохода, жилищных условий, качества потребительских товаров, бытового обслуживания. Но другая часть социально-экономического капитала (нематериальные критерии) не удовлетворяет население, большинство не имеет достаточного дохода для получения качественных услуг здравоохранения и образования.

Политическое поле Бурдье определяет как «поле сил и поле борьбы, направленной на изменение соотношения этих сил, которое определяет структуру поля в каждый момент, не есть государство в государстве: влияние на поле внешней необходимости дает о себе знать посредством той связи, которую доверители, в силу своей дифференцированной отдаленности от средств политического производства, поддерживают со своими доверенными лицами, а также посредством связи, которую эти последние в силу их диспозиций поддерживают со своими организациями» [9. С. 182]. На политическом поле «разыгрываются, с одной стороны, монополия разработки и распространения принципа легитимного разделения социального мира и тем самым мобилизации групп, а, с другой – монополия применения объективированных инструментов власти (объективированный

политический капитал)» [9. С. 181–182, 193]. В обществе действует комплекс субъектов политики — партии, политики, возглавляющие политические и государственные организации, государственные служащие, СМИ, некоммерческие организации и отдельные индивиды. Распределение власти на политическом поле обусловлено историческими особенностями развития страны, условиями, традициями, ценностями и моделями поведения в политическом поле. Участие индивидов состоит в поддержке легитимности ветвей власти и оказании доверия им и СМИ — традиционным и электронным — в зависимости от политической культуры: она может быть патриархальной, подданической, активистской и смешанной, характеризует участников социального поля в их готовности участвовать в голосовании, поддерживать политические акции и протесты, совершать активные действия в защиту прав человека, свободы слова, институтов гражданского общества и т.д.

Исследование 2023 года выявило низкие оценки возможностей простых людей влиять на политику: большинство (74 %) считают, что совсем не могут или крайне мало могут влиять на политику. Это мнение соответствует распределению ответов на вопрос, заданный в РСИ, — «В какой мере в рамках нынешней политической системы у таких людей, как Вы, есть возможность влиять на политику?»: ответы «совсем нет» и «очень мало» дали 80 % опрошенных россиян. Эти мнения обусловлены и низким уровнем доверия политическим институтам (табл. 3).

Таблица 3

Скажите, пожалуйста, в какой мере Вы доверяете или не доверяете каждому из следующих социальных институтов? (2023, %)

Институты	Доверяю полностью или в основном	Не могу сказать точно	Не очень или совсем не доверяю	Отказ от ответа
Суд	32	30	37	1
Президент России	63	17	16	4
Профсоюзы	16	38	33	3
Прокуратура	34	32	32	2
Полиция	33	27	39	1
Армия	59	22	17	2
Правительство России	45	23	29	3
Церковь	40	25	31	4
Политические партии	17	35	45	3
Парламент	27	31	39	3
СМИ	17	23	58	2
Интернет	17	32	49	2

Самое низкое доверие институтам было зафиксировано в 2002 году, когда только началась стабилизация, связанная с новым курсом развития страны. Доверяли (полностью или в основном) судам 23 %, полиции — 14 %, правительству — 30 %, парламенту 12 %, политическим партиям — 6 %, СМИ — 26 %. Самый высокий уровень доверия был у Президента — 81 %, церкви — 41 % — и армии — 40 %. К 2015 году доверие почти всем институтам повысилось, но к 2023 году произошло снижение, особенно резко — по отношению к СМИ (практически в два раза). Среди всех источников информации россияне чаще всего выбирают телевидение: узнают новости — 56 %, но доверяют новостным передачам — 42 %. Новости в интернете читают 42 %, доверяют этой информации — 23 %. На этом фоне в последние два года сохраняется стабильно высокое доверие Президенту: в июне 2025 года — 82 % по данным ФОМ, 80 % — по данным ВЦИОМ. Также стабильны положительные оценки работы главы правительства М. Мишустина: июнь 2025 года — 58 % (ФОМ), 53 % (ВЦИОМ). Общество консолидируется вокруг главных государственных институтов и носителей власти в обстановке внешних угроз и опасностей. При этом в опросе ФОМ респонденты отметили, что в личных беседах четверть людей высказывает недовольство действиями властей, а в нашем мониторинге 2023 года большинство отметили, что государство во внутренней политике руководствуется только интересами крупного бизнеса.

Можно констатировать, что политическое поле России характеризуется концентрацией символического капитала в органах государственной власти и в руках акторов, обладающих большими другими капиталами (экономическим, информационным, культурным) и использующими их в борьбе за место в поле политики с привлечением неделегированного им мнения простых людей — не-политических акторов (чаще всего это молчание, но оно оказывается легитимной силой в политическом поле) [39. С. 133]. Низкое доверие большинству политических институтов мотивировано игнорированием интересов социальных и профессиональных групп «простых» людей. В этом размежевании на тех, кто доверяет и не доверяет институтам, отражается и идеологическая сегментация представителей массовых слоев населения на тех, кто ориентирован на прозападный и на самобытный цивилизационный путь. Как правило, ориентация на самостоятельный путь развития России обуславливают поддержку президента и доверие ему и правительству, тогда как для тех, кто ориентирован на западный путь развития, характерно ощущение несправедливости российской «институциональной матрицы» [40].

В волне 2023 года помимо западного и самобытного пути респондентам были предложены еще несколько вариантов: опыт развитых мусульманских стран, опыт китайского общества и модель, в которой сочетается все лучшее, что есть в других развитых странах. Модель развития по собственному пути

выбрали 60 % при максимальном числе сторонников в южных округах (65 %) с самым высоким уровнем доверия институтам. Сторонников западного пути оказалось от 4 до 6 % в разных регионах, прочие варианты в совокупности не набрали и 4 %. Треть высказалась за общество, вбирающее все лучшее, что есть в других странах, и для этой группы характерна большая вариативность мнений по многим вопросам, в том числе по доверию институтам.

Таким образом, в российском политическом поле наблюдается идеологическое противостояние тех, кто выступает за самобытное развитие страны, и тех, кто хочет для России синтеза успехов других стран, а не только опоры на российский или западный опыт. При этом большинство (81 %), независимо от выбранной модели, являются сторонниками демократических форм управления и высказывают серьезные претензии государству с точки зрения невыполнения им социальных обязательств и несоблюдения прав и свобод, что объясняет недоверие россиян властным институтам. Выбор самобытного пути развития страны отнюдь не означает одобрения архаичных, традиционных форм жизни и авторитарных форм управления: горожане и 45–64-летние чаще высказываются за демократию — это те взрослые респонденты, которые социализировались в 1990-е — начале 2000-х годов, а сейчас составляют наиболее рациональную и успешную часть общества. С ростом образования увеличивается и поддержка демократического управления (с 46 % среди лиц с самым низким образованием до 57 % среди не окончивших высшее образование), как и с ростом материального уровня жизни (исключение составляют «необеспеченные» и «богатые» — 44 и 42 % соответственно). Иными словами, наблюдается явное противоречие между системой сложившихся институтов, оцениваемых населением весьма критически, и его демократическими ориентациями.

Бюрократическое поле включает в себя взаимоотношения руководителей и подчиненных на разных уровнях общественной иерархии. Говоря об историческом формировании бюрократического поля, Бурдые рассматривает логику становления государства — от династической формы к бюрократической в целях завоевания монополии легитимной манипуляции общественным богатством [8. С. 256–286]. Политическое и бюрократическое поля лишь частично перекрывают друг друга — в том мере, в которой политик занимает место в системе бюрократического управления, выполняя административные функции наряду с политической борьбой за власть. Бюрократическое поле охватывает не только государственное управление, но и другие иерархические структуры — на уровне территорий, организаций, производств и других локализаций коллективных взаимодействий. Бюрократическое поле — неотъемлемый элемент рационального управления как передачи управленческих импульсов участникам социальных процессов. Актор бюрократического поля действует на основе своих полномочий, полученных в соответствии с установленными процедурами. М. Вебер пока-

зал, что включенность в бюрократический механизм заставляет чиновника действовать по правилам большой бюрократической машины, отбрасывая человеческие мотивы [16].

Сложность и незавершенность процесса становления взаимоотношений государства и общества, в том числе на муниципальном уровне, в современной России заставляет юристов и социологов подчеркивать, что многие проблемы юридического и социального характера в стране все еще не решены [21. С. 64–81]: не снижается острота проблем участия граждан в принятии политических решений, в реализации права на свободу слова, правовую защиту, развитие институтов гражданского общества и решение местных проблем. Сегодня поведение граждан в рамках бюрократического поля можно охарактеризовать как пассивность, недоверие чиновничеству, отчуждение от государства, в том числе вследствие его контроля институтов гражданского общества: наличие представительных институтов власти на общенациональном уровне не является достаточным условием демократии, для массового участия в политической жизни, вернее для подготовки людей к такому участию, требуется обучение в широком смысле слова — подготовка граждан в близких для них сферах, позволяющих сформировать индивидуальную позицию и психологические качества [31].

Во всех волнах мониторинга значительная часть респондентов отмечает, что чувствуют незащищенность от произвола чиновников, что было особенно характерно в начале 2000-х годов (табл. 4); сегодня это половина опрошенных, что меньше, чем в 2002 и 2006 годы, но больше, чем в 2015 году, что может говорить о бюрократизации отношений государства, органов власти и гражданина, а также о росте авторитаризма.

Таблица 4

Насколько Вы себя чувствуете защищенным от произвола чиновников?, %

Варианты ответа	2002	2006	2015	2023
Совсем не защищен	37	21	17	23
Не защищен	34	38	29	28
Трудно сказать	18	25	31	31
Защищен	6	12	16	13
Полностью защищен	5	5	6	5

В стране не преодолено отношение к государству как спонсору и благодетелю: большинство считает, что государство должно обеспечить минимум доходов и работу, а также всесторонне регулировать деятельность частного сектора, что неудивительно после десятилетий государственной собственности, когда государство было единственным работодателем и координатором доходов. Вместе с тем данные в табл. 5 могут свидетельствовать о влия-

нии на оценку роли государства плюрализации форм собственности и роста числа частных предприятий — у россиян появилась возможность работать не только на государственных предприятиях, и снизилась доля тех, кто видит в государстве гаранта доходов (снижение в 2023 году по сравнению с 2015 годом на 22 %) и поддерживает активное влияние государства на частный сектор (на 8 %), но с государства не снимается обязанность обеспечивать работой всех, кто в ней нуждается.

Таблица 5

Насколько Вы согласны с утверждениями?, %

Утверждения	1990	1994	1998	2002	2006	2015	2023
Государство должно обеспечить гражданам минимум доходов							
Не согласен (частично и полностью)	11	5	8	17	13	13	16
Затрудняюсь ответить	17	13	8	10	10	11	18
Согласен (частично и полностью)	70	83	84	73	78	87	65
Государство должно обеспечить работой каждого, кто в ней нуждается							
Не согласен (частично и полностью)	3	5	4	7	4	3	4
Затрудняюсь ответить	6	15	8	9	10	10	13
Согласен (частично и полностью)	88	79	87	86	86	87	86
Государство должно активно влиять на деятельность частного сектора							
Не согласен (частично и полностью)		32	42	23	17	9	14
Затрудняюсь ответить		40	39	25	34	30	34
Согласен (частично и полностью)		33	18	52	49	60	52

Чтобы оценить, насколько развита демократия на производстве и субъектность работника на предприятии, можно «замерить», насколько индивид самостоятелен в организации своей работы и может оказывать влияние на принятие важных решений в своей организации: по данным РСИ, за 2016–2024 годы выросли оба эти показателя, что можно интерпретировать как демократизацию управления на производстве и рост числа самостоятельных работников (самозанятых, мелких и средних предпринимателей).

Региональное поле не выделено Бурдьё, но в российских условиях его целесообразно исследовать, поскольку в силу регионального разнообразия страны оно имеет важное значение в определении места актора в социальном пространстве и в региональной самоидентификации. Межрегиональные отличия в России прослеживаются по уровню модернизации [4], удаленности от центра, этническому и религиозному составу, уровню социально-экономического и социокультурного развития, географии и климату. Межрегиональное неравенство оказывает постоянное и противоречивое влияние на развитие страны, прежде всего по линии взаимодействия регионов с центром и соперничества за получение от него преференций. В каждом регионе действует и борется за центральные и местные ресурсы и влияние группа акторов: политическая, экономическая и управленческая элиты, частные предприниматели и их объединения, национальные диаспоры, а нередко и внесистемные акторы — криминальные образования. В данном контексте можно исследовать также примыкающие к проблематике регионального поля отношения города и села, освоенные и перспективные, депрессивные, теряющие население, и быстро развивающиеся территории с притоком мигрантов.

Специального внимания требуют фронтирные регионы — соединяющая, переходная зона взаимодействия двух или более культур и/или политических структур [35]. Фронтиры отличаются полиэтничностью, сложными межэтническими, языковыми и религиозными отношениями, разнообразием этнокультурных традиций, множеством хозяйственных укладов. Для населения фронтирных регионов характерна изменчивая, «ползучая» идентичность: люди могут позиционировать себя как представителей этнических сообществ, членов религиозных общин, родов и кланов, сторонников традиционных ценностей или современных модернизационных. Многообразие идентичностей и их подвижность говорит о принадлежности, например Северного Кавказа, к фронтирным территориям [5].

С точки зрения актора, важна оценка региона или локальности как перспективного места жительства, укорененность в нем актора, миграционная привлекательность региона, его взаимоотношения с центром, сравнение с другими регионами по ряду показателей — климату, экологическому благополучию, качеству жизни, развитости социальной инфраструктуры, структуре рабочих мест, развитию транспорта и т.д. Важна и самоидентификация актора с местом жительства, регионом и другие субъективные показатели. Так, эмоциональное отношение к своему региону респонденты высказывают, когда говорят, какое место на земле могут назвать родной землей: для 52 % в 2023 году это место, где они родились, для 15 % — место, где они живут сейчас, для 21 % — вся Россия. Наибольшую привязанность к месту рождения упоминают респонденты, длительно проживающие в одном населенном пункте, с низким образованием и жители сельской местности. Укорененность в месте жительства у российского населения довольно высо-

ка — 59 % в 2015 году и 60 % в 2023 году указали, что более 25 лет живут в одном и том же месте. Такое постоянство — отличительная черта традиционного общества, недостаточно затронутого модернизацией с характерным для нее движением населения за новыми рабочими местами. Изучение миграционных процессов в 1979–2015 годы показало сокращение подвижности населения [35. С. 13], несмотря на признаваемое всеми различие качества жизни в центре и регионах, городе и селе, России и других странах мира.

В оценках региона проживания более трети опрошенных демонстрируют позитивный настрой, но многие (43 % в 2015 году и 45 % в 2023 году) видят его недостатки (табл. 6); менее 20 % относятся безразлично к своему региону, привыкли к нему, хотели бы уехать в другой регион или вообще из России.

Таблица 6

**Какие чувства Вы испытываете по отношению
к своей области/республике/краю? (2015, 2023, %)**

Варианты ответов	2015	2023
Я рад, что живу здесь	38	35
В целом я доволен, но многое не устраивает	43	45
Не испытываю особых чувств	7	6
Мне не нравится жить здесь, но привык и не собираюсь уезжать	6	4
Хотел бы уехать в другую область/республику/край России	3	6
Хотел бы вообще уехать из России	1	3
Затрудняюсь ответить	2	1

Близость с жителями своего поселения отметили в 2023 году 74 %, что говорит о предпосылках тесного социального взаимодействия и появления местных сообществ. Локальная идентификация превалирует над региональной (69 %) и общероссийской (68 %), не говоря уже об идентификации с бывшими республиками СССР (47 %) и Европой (11 %). В условиях общественной дезинтеграции механизм солидарности внутри локальной общности срабатывает как специфический способ защиты, что позволяет говорить о самовоспроизводящемся сообществе, осуществляющем социальный контроль за своими членами [20. С. 499–540], что особенно характерно для небольших сельских поселений. Вместе с тем в постсоветский период происходит индивидуализация способов улучшения жизни в территориальных объединениях без больших ожиданий помощи со стороны местных органов власти: 79–77 % считают, что улучшение их жизни зависит от них самих (2015 и 2023 годы), на зависимость от местной власти указали, соответствен-

но, 58 и 43 %, от федеральной — 62 и 65 %. Позитивное влияние общероссийской власти на свою жизнь выше оценивают жители больших городов (71 % против 57 % в сельской местности). Расчет на собственные силы прослеживается в трудовой деятельности: 26 % стараются как можно лучше работать на основной работе, 25 % используют любую возможность подработки, 15 % занимаются подсобным хозяйством; только 20 % ничего не делают для улучшения своей жизни, в основном в силу преклонного возраста.

Национальное (этническое) поле конструируется взаимодействием многообразных национальностей и этносов, самоотнесение к которым является личным делом. В последней Всероссийской переписи населения (2020) было зарегистрировано 194 групп и подгрупп ответов о национальной принадлежности, что на 12 больше, чем в 2002 году, но 16,6 млн не указали национальную принадлежность (5,7 млн в 2010 году), что может свидетельствовать о снижении значения этнической идентичности по сравнению с гражданской, территориальной, игровой, вымышленной и др. [18]. Ведущий признак множественности национального (этнического) поля — язык: в России насчитывается 14 языковых семей, 155 «живых» языков, которые реально используются, 15 заснувших/исчезнувших с начала XX века [33]. Русский язык является общегосударственным, 25 языков наделены статусом республиканских государственных. По данным всероссийского мониторинга 2023 года, 98 % россиян говорят дома на русском языке, владение русским дает чувство принадлежности к российскому обществу (68 %), предоставляет возможности межнационального общения (49 %), получения качественного образования (39 %), больше возможностей для трудоустройства (33 %). Вторым языком домашнего общения — татарский (2,9 % и каждый второй представитель татарской национальности).

Сегодня национальная, этническая идентичность в значительной мере трансформировалась в общероссийскую, наднациональную: только 35 % ощущают сильную связь со своей национальностью, некоторую связь — 30 %, 35 % или совершенно ее не ощущают (21 %) или ощущают в незначительной степени (14 %), но для абсолютного большинства (85 %) важно право народа на его собственный язык и культуру (очень важно — 55 %, довольно важно — 30 %). В этом нет противоречия — продвинувшись далеко вперед в ощущении себя россиянином, индивид, тем не менее, продолжает сохранять внутреннюю связь с культурой и, главное, родным языком, которые составляют, наряду с общегражданским компонентом, базис идентичности. На социально-бытовом уровне значимость национальности невелика, при необходимости получить поддержку в трудных жизненных ситуациях только 7 % рассчитывают на помощь представителей своей национальности, остальные ожидают получить помощь по другим каналам — от семьи, друзей и сослуживцев. Взаимопонимание в кругу людей своей национальности отмечают 9 %, что значительно меньше, чем в других общностях (семья, дру-

зья, коллеги). Среди тех, кто чувствует себя защищенным от опасностей, национальность стоит на одном из первых мест вслед за религиозностью (66 %).

Если же обратиться к национально-этническому измерению отношений, которые возникают в результате внутренней и международной миграции, то ситуация отличается напряженностью, динамизмом и противоречивостью. Так, среди мигрантов отмечена более сильная связь с представителями своей национальности — именно к их помощи они прибегают в случае необходимости. Полинациональность России не означает, что достигнута гармония отношений всех национальностей — присутствуют соперничество в разных сферах общественной жизни, столкновение интересов на общероссийском и локальных уровнях. Обострение отношений наблюдается при росте миграции, когда усиливается борьба за ресурсы — экономические, политические, социальные — на разных иерархических уровнях. Вместе с тем около половины россиян убеждены, что трудовая миграция — благо для страны (в 2–2,5 раза чаще, чем в прошлых волнах мониторинга). По данным ESS, при оценке роли приезжих в экономике страны по 10-балльной шкале в 2016 году средний балл составлял 3,6 (самый низкий в европейских странах), а затем он значительно вырос к 2024 году — 4,29 балла (данные РСИ). В ответах на вопрос «Приток людей из других стран скорее разрушает или скорее обогащает культуру нашей страны?» средняя оценка в 3,6 балла в 2016 году к 2024 году не изменилась (3,65). Напряженность в отношениях с мигрантами обостряется на бытовом уровне — местное население раздражают нарушения общественного порядка и обыденных правил мигрантами.

Религиозное поле России вмещает в себя множество религий и конфессий: свобода вероисповедания и выбора религиозных убеждений гарантирована каждому гражданину, как и право не придерживаться никакой религии. Концепцию религиозного поля Бурдье разрабатывал в 1970-е годы и, хотя эта тема не была главной в его творчестве, он предложил концепты, легшие в основу анализа религиозного поля социального пространства: габитус, капитал, символическое насилие [11. С. 7–74]. Религия у Бурдье играет важнейшую роль в устроении и сохранении общества, обеспечивая его устойчивость благодаря символическому капиталу религиозных деятелей и организаций. Однако многие исследователи отмечают ограниченность теории религиозного поля Бурдье: в ней религия «генерирует смыслы, иерархию ценностей, утверждает законность господства и легитимирует формы социальной дифференциации. Религиозные учреждения в этой модели производят санкцию политического и экономического порядка. Производителей религиозного капитала Бурдье наделяет огромной властью... Религия — это одна из “символических систем”, предназначенных для узаконения и воспроизводства неравноправных и несправедливых социальных порядков... Как и Маркс, Бурдье делает акцент на том, что религия сохраняет сложившийся социальный порядок и служит легитимации власти, освящает социальные

различия и неравенства» [38. С. 38, 41]. Ограниченность, «классовость» теории Бурдье затрудняет понимание роли религии в формировании гуманитарной системы ценностей (патриотизм, толерантность, доброжелательность, традиционализм и др.).

Сегодня возникает «необходимость пересмотра традиционных взаимоотношений между религией и политикой, религией и обществом, церковью и другими политическими институтами, поиска новой модели сосуществования как в теоретических парадигмах, так и в социальном и политическом пространствах» [29. С. 48]. Религиозное поле тесно взаимодействует с другими полями — политическим, бюрократическим, национальным, региональным — через воздействие на них определяя политическое и социальное развитие общества, его сплочение и мобилизацию перед лицом внешних и внутренних вызовов. Несмотря на определенную секуляризацию современных обществ, в России продолжается и даже актуализируется деятельность церкви по воспроизводству ценностной структуры общества, по преодолению влияния новых негативных установок на свободу поведения.

В религиозном поле России сосуществуют традиционные религии — христианство, ислам и буддизм — и нетрадиционные. По данным Министерства юстиции на август 2022 года, в стране было зарегистрировано 32076 религиозных организаций, представляющих более 60 различных конфессий: РПЦ принадлежат 59,8 % всех организаций, исламу — 19,2 %, христианам веры евангельской-пятидесятникам — 3,3 %, баптистам — 2,8 %, евангелистам — 2,2 %, адвентистам седьмого дня — 1,8 %, буддистам и иудеям — 1,7 %, старообрядцам — 1,2 %, католикам — 1 %, пресвитерианцам, лютеранам и др. — оставшиеся 7 % [36]. По данным «Атласа религий и национальностей» (2012), чуть более 1 % исповедуют традиционную религию своих предков, т.е. это различные языческие культы [2].

Для России всегда была характерна многорелигиозность: по данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года, в стране преобладали православные и старообрядцы (69,9 %), к мусульманам себя отнесли 10,8 %, к католикам — 8,9 %, протестантам — 4,8 %, иудеям — 4 %, буддистам — 0,3 % [34]. Конституция определяет Российскую Федерацию как светское государство, но гарантирует свободу совести и вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Федеральный закон от № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» подтверждает «равенство перед законом независимо от отношения к религии и убеждений» [42].

Сегодня происходят значительные изменения в религиозности населения. По данным мониторинга 2023 года, 75 % исповедуют православие, 5 % — ислам, по 0,8 % — буддизм и протестантизм, 0,3 % — католицизм,

другие верования — 4 %, никакие — 13 %, атеисты — 2 %. Однако уровень воцерковленности у православных заметно ниже числа относящих себя к таковым: каждый день или раз в неделю посещают религиозные службы только 5,6 %, раз в месяц — 9,6 %, только по религиозным праздникам — 20,1 %, еще реже — 36 %, никогда — 29 %; половина опрошенных практически никогда не молятся, только 3–5 % регулярно исповедуются и причащаются [41. С. 428]. Кроме того, у населения снижается уровень доверия к церкви — она занимает четвертое место по уровню доверия среди социальных институтов (40 % полностью и в основном доверяющих; таблица 3), тогда как в 2015 году церкви доверял каждый второй (49 %); не доверяют церкви в 2023 году (полностью или частично) 31 % (без разделения на конфессии).

Спокойное состояние религиозного поля в большинстве регионов России объясняется высоким уровнем толерантности населения ко всем конфессиям: большинство не чувствуют притеснений по причине своих религиозных убеждений (68 % в 2023 году; 24 % не определились с ответом). Оценивая состояние религиозного поля в России, нельзя забывать о цивилизационной роли религии, заложившей и поддерживающей основы идентичности населения, нормы социального и бытового поведения, поэтому важно использовать ресурс консолидации, имманентный религиозным системам.

Ценностное поле, или *поле ценностных систем*, в России обладает широким спектром различий, если использовать разные классификационные принципы [3]. Сторонники тех или иных ценностных позиций в этом поле обладают своего рода капиталом, имея возможность воздействовать на социальные практики агентов. Сегодня наиболее значимо разделение на систему ценностей традиционного, самобытного российского (и его приемника — советского) типа и западного, современного. В эмпирических исследованиях это разделение операционализировано в специальных исследовательских инструментах, которые позволяют определять группы с традиционной и современной системами ценностей, где значимыми линиями разделения выступают национальность (этнос), территориальная принадлежность, поколенческие и возрастные градации, гендер и др. Ценностная структура населения России многослойна — в ней чередуются слои с приоритетом современных и традиционных ценностей при значительных слоях со смешанными в разных пропорциях ценностными ориентациями. Иначе и быть не могло — социальное пространство России представляет собой разнонаправленные культурные образования, которые несут в себе исторический опыт народов, пересекающихся на протяжении десятилетий и столетий в практической, идеологической и коммуникационной плоскостях. Поэтому и система ценностей имеет структуру, детерминируемую социально-демографическими, профессиональными, образовательными, этническими и другими различиями. Многочисленные структурные образования внутри социального пространства создают эф-

фект ризомы — множественные неупорядоченные точки позволяют избежать дуального представления ценностных систем.

Многие специалисты видят угрозу стабильности общества в разделении социального поля на два основных направления — западное, модернистское, и традиционное, самобытное: «эти размежевания в российском обществе приобретают характер противоречий между частью элиты, ориентированной на западные ценности (индивидуальная свобода, частная собственность, материальный успех, рынок, деньги), и массовыми группами, которые в основном разделяют традиционные российские и советские ценности, такие как государство и государственный патернализм, семья, социальная справедливость, порядок, развитие на основе собственных традиций и собственной культуры. С другой стороны, эти размежевания приобретают также поколенческий характер: значительная часть молодежи больше ориентирована на западные ценности, в то время как большинство представителей среднего и старшего поколений, переживших распад государства и «лихие 90-е», в той или иной мере придерживаются традиционных (или полутрадиционных) российских и советских ценностей и ориентаций» [32. С. 33].

Соглашаясь с общей мыслью о связи ценностей с профессиональной принадлежностью и опытом поколений, все же подчеркнем важный нюанс: в России возрастает значимость инструментальных и рациональных ценностей, которые более свойственны западным обществам и начинают доминировать не только в элитных слоях и у молодежи, но в группах среднего класса, мелких и средних предпринимателей, и у специалистов с высшим и средним специальным образованием, у высококвалифицированных рабочих. А в этих группах представлены все возрастные категории, поскольку модернизация затронула трудовую деятельность и образ жизни всех активных групп общества — они все больше уходят от патернализма, выбирают самостоятельные стратегии, что больше свойственно западному образу жизни. По данным волн 2015 и 2023 годов, при практически не изменившейся высокой ценности личной безопасности и ценности жизни (традиционные ценности в большинстве исследований), значительно выросла ценность свободы при снижении ценности обычаев и традиций: эмпирические данные «не подтверждают приписываемой “русскому национальному характеру” склонности к покорности и послушанию, равно как и сильного стремления следовать обычаям и традициям... не подтверждается представление об уникальности, “особости” российского общества» [28].

Состояние социального пространства современной России может быть представлено как смешение ценностных систем традиционного и современного западного типов, которым в разной степени привержены практически все слои общества: «Перспективы развития России и других стран связаны не с глобальной и зачастую насильственной унификацией систем ценностей, лежащих в основе разных цивилизаций, а с определенной модифика-

цией и модернизацией этих систем. Для современного российского общества... наиболее важным и актуальным является постепенное преодоление раскола между социальными группами, придерживающимися относительно традиционных государственных ценностей, и группами, разделяющими либерально-западнические ценности» [32. С. 38]. Латентное движение в направлении сближения этих групп после распада Советского Союза подверглось корректировке в условиях специальной военной операции, когда на государственном уровне было отдано предпочтение традиционным российским ценностям. В тех чрезвычайных условиях, в которых оказалась страна, конфликт двух систем ушел на второй план, уступив место провозглашению принципов традиционализма, патриотизма и жертвенности.

Таким образом, социальное пространство России, рассмотренное сквозь призму составляющих его полей, позволяет дифференцировать представление о месте человека в обществе в зависимости от обладания тем или иным видом капитала, проанализировать экономическое, социальное и идеологическое сегментирование общества и его цивилизационную гетерогенность. Теоретический конструкт социального пространства позволяет исследовать живую ткань общества в его многообразии, привлекая разные эмпирические данные [6. С. 33], и в статье рассмотрены те эмпирические показатели, что характеризуют социально-экономическое, политическое, бюрократическое, религиозное, региональное, национальное и ценностное поля социального пространства, а также их отражение в массовом сознании. Концепция социального пространства Бурдьё позволила увидеть множественные характеристики полей и предположить неоднозначность положения индивида в каждом поле и в социальном пространстве в целом. Однако сохраняется задача создания целостной модели существующих в обществе иерархий социальных позиций на основе определения места акторов в социальных полях, их взаимодействия и взаимовлияния. Можно предположить, что анализ динамики иерархий социальных позиций поможет определить точки напряжения в российском социальном пространстве в интересах повышения уровня консолидации общества.

Примечания

- (1) Все опросы, кроме 2023 года, проводились по месту жительства респондентов, в 2023 году был реализован онлайн-опрос на панели компании «Институт общественного мнения Анкетолог». Все опросы проводились на всероссийских выборках (18+ лет), N=1000–1400, ошибка выборки — до 3,5 %. В 2023 году были дополнительно опрошены респонденты в СЗФО (225 респондентов) и ЮФО с СКФО (220) — был сформирован второй массив для корректного сравнения округов географически, этнографически и конфессионально.
- (2) Опрос проведен ЦЕССИ (Институт сравнительных социальных исследований) методом личных интервью по месту жительства респондентов (репрезентативная выборка 15+; N=2541). URL: www.russiansocialsurvey.ru

Библиографический список

1. Автономова Н.С. Структурализм. URL: <https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH01b0e8713aa8c7cb31f681b0>.
2. Арена: Атлас религий и национальностей России. URL: <https://sreda.org/arena>
3. Аманталиев А.А. Иерархия ценностных систем и принципы их классификации. URL: https://arch.kyrlibnet.kg/uploads/NSU_AKMATALIEV_1.pdf.
4. Атлас модернизации России и ее регионов: социальноэкономические и социокультурные тенденции и проблемы / сост. и отв. ред. Н.И. Лапин. М., 2016.
5. Беляева Л.А. Вторичная модернизация в России и во фронтальном регионе: потенциал общего цивилизационного пути // Знание. Понимание. Умение. 2024. № 4.
6. Беляева Л.А. Социальное пространство: от теоретических построений к эмпирическому изучению // Философские науки. 2012. № 6.
7. Беляева Л.А. Социальные дистанции как характеристика социального пространства современной России // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2018. Т. 18. № 1.
8. Бурдые П. Дух государства: генезис и структура бюрократического поля // Социология социального пространства / отв. ред. перевода Н.А. Шматко. М.; СПб., 2007.
9. Бурдые П. Социология политики / сост., общ. ред. и предисл. Н.А. Шматко. М., 1993.
10. Бурдые П. «От королевского дома» к государственному интересу: модель происхождения бюрократического поля // Социология социального пространства / отв. ред. перевода Н.А. Шматко. М.; СПб., 2007.
11. Бурдые П. Генезис и структура поля религии // Социальное пространство: поля и практики / Отв. ред. перевода, сост. и послесл. Н.А. Шматко. М.; СПб., 2005.
12. Бурдые П. Практический смысл / пер. с фр.: А.Т. Бикбов, К.Д. Вознесенская, С.Н. Зенкин, Н.А. Шматко. СПб., 2001.
13. Бурдые П. Социология социального пространства / отв. ред. перевода Н.А. Шматко. М.; СПб., 2007.
14. Бурдые П. Структура, габитус, практика // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1. № 2.
15. Бурдые П. Начала / пер. с фр. Н.А. Шматко. М., 1994.
16. Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии / сост., общ. ред. и пред. Л.Г. Ионина. Т. 1. М., 2016.
17. Виноградский В.Г. Социальная организация пространства / отв. ред. Я.Ф. Аскин. М., 1988.
18. Всероссийская перепись населения 2020. URL: <https://ddnchel.ru/upload/medialibrary/baf8j8t4yb9t35921mnqvz55f1teqe3gak.pdf>
19. Гирко Л.В. Социальное пространство: междисциплинарные исследования. М., 2003.
20. Горяченко Е.Е. Территориальная общность в изменяющемся обществе // Социальная траектория реформируемой России. Новосибирск, 1999.
21. Джагарян Н.В. Местное самоуправление и бюрократия: конституционные аспекты соотношения и взаимовлияния // Сравнительное конституционное обозрение. 2014. № 6.
22. Динамика материального положения. Россияне о своем материальном благополучии и его перспективах. URL: <https://fom.ru>.
23. Ермилова А.В. Характеристики социального поля спорта: некоторые элементы теории П. Бурдые // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2022. Т. 22. № 4.
24. Иванов О.И. Социальное пространство как научное понятие и как объект эмпирического изучения // Научный результат. Серия: Социальные и гуманитарные исследования. 2015. Т. 1. № 3.
25. Качанов Ю.Л. Производство политического поля в современной России. URL: <http://anthropology.ru/ru/text/kachanov-yul/proizvodstvo-politicheskogo-polya-v-sovremennoy-rossii>
26. Ключевский В. Курс русской истории. Ч. IV. М., 1937.

27. Леонтьева Э.О. Концепция социального поля и ее эвристический потенциал для объяснения трансформаций высшего образования в период пандемии // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2022. Т. 19. № 2.
28. Магун В., Руднев М. Жизненные ценности российского населения: сходства и отличия в сравнении с другими европейскими странами. URL: <https://www.demoscope.ru/weekly/2008/0345/analit02.php>
29. Мчедлова М.М., Кудряшова М.С. Российские политические акценты современных взаимоотношений религиозного и светского // Вестник РУДН. Серия: Политология. 2015. № 3.
30. Огородников А.Ю. Социальные поля как источник ценностей современного российского общества // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2014. № 4.
31. Пантин И.К. Преодолеть раскол общества и государства // Демократия для России — Россия для демократии / отв. ред. А.А. Гусейнов. М., 2008.
32. Пантин В.И. Ценностные размежевания и расколы в современных обществах: влияние на социально-политическое развитие // История и современность. 2020. № 3.
33. Проект «Языки России. URL: <http://jazykirf.iling-ran.ru>.
34. Распределение населения Империи по главным вероисповеданиям. СПб., 1901.
35. Рибер А. Меняющиеся концепции и конструкции фронта: сравнительно-исторический подход // Новая имперская история постсоветского пространства / ред. и сост. И.В. Герасимов и др. Казань, 2004.
36. Родулгина О.Ю. Лекция 5. Традиционные религии и конфессии России и их роль в истории и жизни страны. URL: e5ele897a2175e37ddf20143620dbf69.pdf.
37. Рыбаковский Л.Л., Маевский Д.П., Кожевникова Н.И. Миграционная подвижность населения и ее измерение // Народонаселение. 2019. № 2.
38. Ситников А.В. Методы изучения религии в социальной теории П. Бурдьё // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2017. Т. 17. № 1.
39. Суров Д.О. Тенденции развития политического поля современной России // Вестник Омского университета. 2004. № 1.
40. Тихонова Н.Е. Идеологическая сегментация массовых слоев населения в условиях обострения конфронтации с Западом (опыт эмпирического анализа) // Политические исследования. 2024. № 5.
41. Уфимцева Е.И. Воцерковленность современной православной молодежи: социологический анализ факторов и тенденций развития // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2019. Т. 19. № 4.
42. Федеральный закон от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/11523>
43. Хромова Е.Б. Поле политики в социальной философии П. Бурдьё: некоторые элементы теории // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Культура. История. Философия. Право. 2016. № 1.
44. Филиппов А.Ф. Социология пространства. СПб., 2007.
45. Чернявская О.С. Социальное пространство: обзор теоретических интерпретаций // Вестник Нижегородского университета. Социология. Психология. Философия. 2008. № 5.
46. Шматко Н.А., Маркова Ю.В. «Социальное пространство» П. Бурдьё: история конструирования понятия // Социологический журнал. 2025. Т. 31. № 1.
47. Юдин Г. Россия как плебисцитарная демократия // Социологическое обозрение. 2021. Т. 20. № 2.

The place of man in Russia's social space (possibilities of empirical research)*

L.A. Belyaeva

Institute of Philosophy of RAS,
Goncharnaya St., 12–1, Moscow, 109240, Russia

(e-mail: bela46@mail.ru)

Abstract. The article considers concepts and phenomena that provide an understanding of the social space of the country, which encompasses individuals with their abilities, needs, life circumstances, assessments, and opinions. The study is based on P. Bourdieu's theory of social space as a set of social fields: economic, political, bureaucratic, religious, national, regional, and value-based. The study of the last three fields, which Bourdieu did not specifically address, is explained by the specifics of the Russian situation. Without taking these fields into account, the study of mass consciousness and the positions of actors and groups in social space would be incomplete. The article aims at presenting a holistic view of social space on the basis of empirical indicators. Fields of social space are considered as multi-component objects that cannot be reduced to a single whole due to different foundations, sets of features/indicators and different influences on the position of the individual in society. The author considers social space through the prism of mass consciousness (assessments of social fields and one's positions in them), which provides an insight into the qualities of these fields, which contribute to or hinder the development of society and human well-being. The empirical data of the study consists of the all-Russian monitoring of the Center for the Study of Social-Cultural Changes of the Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences (CSSC IF RAS) (1990–2023), European Social Survey (ESS), in which Russia participated, surveys conducted by the leading Russian public opinion centers in 2024–2025 and the Russian Social Survey (RSI) in 2024. The article shows that the fields of social space in Russia are heterogeneous and dynamic, which makes its study an urgent task under the current internal and external, economic and social-political challenges.

Key words: social space; capital; field — social-economic, political, bureaucratic, religious, regional, national, value-based; public opinion polls; empirical indicators

For citation: Belyaeva L.A. The place of man in Russia's social space (possibilities of empirical research). *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (4): 689–715. (In Russ.). <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-689-715>

References

1. Avtonomova N.S. Structuralism. URL: <https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH01b0e8713aa8c7cb31f681b0>. (In Russ.).
2. Arena: Atlas religii i natsionalnostey Rossii [Atlas of Religions and Nationalities of Russia]. URL: <https://sreda.org/arena>. (In Russ.).
3. Amantaliyev A.A. Ierarkhiya tsennostnyh sistem i printsipy ih klassifikatsii [Hierarchy of value systems and principles of their classification]. URL: https://arch.kyrlibnet.kg/uploads/NSU_AKMATALIEV_1.pdf. (In Russ.).

*© L.A. Belyaeva, 2025

The article was submitted on 11.06.2025. The article was accepted on 14.10.2025.

4. Atlas modernizatsii Rossii i ee regionov: sotsioekonomicheskie i sotsiokulturnye tendentsii i problemi [Atlas of Modernization of Russia and Its Regions: Social-Economic and Social-Cultural Trends and Problems]. Ed. by N.I. Lapin. Moscow; 2016. (In Russ.).
5. Belyaeva L.A. Vtorichnaya modernizatsiya v Rossii i vo frontirnom regione: potentsial obshchego tsivilizatsionnogo puti [Secondary modernization in Russia and the frontier region: Potential of a common civilizational path]. *Znanie. Ponimanie. Umenie*. 2024; 4. (In Russ.).
6. Belyaeva L.A. Sotsialnoe prostranstvo: ot teoreticheskikh postroeniy k empiricheskomu izucheniyu [Social space: From theoretical constructs to empirical research]. *Filosofskie Nauki*. 2012; 6. (In Russ.).
7. Belyaeva L.A. Sotsialnye distantsii kak kharakteristika sotsialnogo prostranstva sovremennoi Rossii [Social distances as a feature of the contemporary Russian social space]. *RUDN Journal of Sociology*. 2018; 18 (1). (In Russ.).
8. Bourdieu P. Duh gosudarstva: genezis i struktura byurokraticheskogo polya [Rethinking the state: Genesis and structure of the bureaucratic field]. *Sotsiologiya sotsialnogo prostranstva*. Ed. by N.A. Shmatko. Moscow; 2007. (In Russ.).
9. Bourdieu P. *Sotsiologiya politiki* [Political Sociology]. Ed. by N.A. Shmatko. Moscow; 1993. (In Russ.).
10. Bourdieu P. “Ot korolevskogo doma” k gosudarstvennomu interesu: model proiskhozhdeniya byurokraticheskogo polya [“From the royal house” to the state interest: A model of the origin of the bureaucratic field]. *Sotsiologiya sotsialnogo prostranstva*. Ed. by N.A. Shmatko. Moscow; 2007. (In Russ.).
11. Bourdieu P. Genezis i struktura polya religii [Genesis and structure of the religious field]. *Sotsialnoe prostranstvo: polya i praktiki*. Ed. by N.A. Shmatko. Moscow; 2005. (In Russ.).
12. Bourdieu P. *Praktichesky smysl* [Practical meaning]. Transl. from French by A.T. Bikbov, K.D. Voznesenskaya, S.N. Zenkin, N.A. Shmatko. Saint Petersburg; 2001. (In Russ.).
13. Bourdieu P. *Sotsiologiya sotsialnogo prostranstva* [Sociology of Social Space]. Ed. by N.A. Shmatko. Moscow; 2007. (In Russ.).
14. Bourdieu P. Struktura, gabitus, praktika [Structure, habitus, practice]. *Zhurnal Sotsiologii i Sotsialnoy Antropologii*. 1998; 1 (2). (In Russ.).
15. Bourdieu P. *Nachala* [Beginnings]. Transl. from French by N.A. Shmatko. Moscow; 1994. (In Russ.).
16. Weber M. *Khozyaistvo i obshchestvo: ocherki ponimayushchei sotsiologii* [Economy and Society: Essays on Interpretative Sociology]. Ed. by L.G. Ionin. Vol. 1. Moscow; 2016. (In Russ.).
17. Vinogradsky V.G. *Sotsialnaya organizatsiya prostranstva* [Social Organization of Space]. Ed. by Ya.F. Askin. Moscow; 1988. (In Russ.).
18. Vserossiyskaya perepis naseleniya 2020 [All-Russian Population Census 2020]. URL: <https://ddnchel.ru/upload/medialibrary/baf/8j8t4yb9t35921mnqvz55fi1teqe3gak.pdf>. (In Russ.).
19. Girko L.V. *Sotsialnoe prostranstvo: mezhdistsiplinarnye issledovaniya* [Social Space: Interdisciplinary Research]. Moscow; 2003. (In Russ.).
20. Goryachenko E.E. Territorialnaya obshchnost v izmenyayushchemsya obshchestve [Territorial community in the changing society]. *Sotsialnaya traektoriya reformiruemoi Rossii*. Novosibirsk; 1999. (In Russ.).
21. Dzhagaryan N.V. Mestnoe samoupravlenie i byurokriatiya: konstitutsionnye aspekty sootnosheniya i vzaimovliyaniya [Local self-government and bureaucracy: Constitutional aspects of relationship and mutual influence]. *Sravnitelnoe Konstitutsionnoe Obozrenie*. 2014; 6. (In Russ.).
22. Ermilova A.V. Kharakteristiki sotsialnogo polya sporta: nekotorye elementy teorii P. Bourdieu [Characteristics of the social field of sport: Some elements of P. Bourdieu’s

- theory]. *Izvestiya Saratovskogo Universiteta. Novaya Seriya. Seriya: Sotsiologiya. Politologiya*. 2022; 22 (4). (In Russ.).
23. Dinamika materialnogo polozheniya. Rossiyanе o svoem materialnom blagopoluchii i ego perspektivah [Financial situation dynamics: Russians on their financial well-being and its prospects]. URL: <https://fom.ru>. (In Russ.).
 24. Ivanov O.I. Sotsialnoe prostranstvo kak nauchnoe ponyatie i kak ob'ekt empiricheskogo izucheniya [Social space as a scientific concept and an object of empirical study]. *Nauchnyy Rezultat. Seriya: Sotsialnye i Gumanitarnye Issledovaniya*. 2015; 1 (3). (In Russ.).
 25. Kachanov Yu.L. Proizvodstvo politicheskogo polya v sovremennoi Rossii [Production of political field in contemporary Russia]. URL: <http://anthropology.ru/ru/text/kachanov-yul/proizvodstvo-politicheskogo-polya-v-sovremennoy-rossii>. (In Russ.).
 26. Klyuchevsky V. *Kurs russkoy istorii*. Chast IV [Course on Russian History. Part IV]. Moscow; 1937. (In Russ.).
 27. Leontyeva E.O. Kontseptsiya sotsialnogo polya i ee evristichesky potentsial dlya obyasneniya transformatsii vysshego obrazovaniya v period pandemii [The concept of social field and its heuristic potential for explaining the transformations of higher education during the pandemic]. *Sotsialnye i Gumanitarnye Nauki na Dalnem Vostoke*. 2022; 19 (2). (In Russ.).
 28. Magun V., Rudnev M. Zhiznennye tsennosti rossiiskogo naseleniya: skhodstva i otlichiya v sravnenii s drugimi evropeiskimi stranami [Russians' life values: Similarities and differences in comparison with other European countries]. URL: <https://www.demoscope.ru/weekly/2008/0345/analit02.php>. (In Russ.).
 29. Mchedlova M.M., Kudryashova M.S. Rossiyskie politicheskie aktsenty sovremennykh vzaimootnosheniy religioznogo i svetskogo [Russian political accents in the contemporary relationship of the religious and the secular]. *RUDN Journal of Political Science*. 2015; 3. (In Russ.).
 30. Ogorodnikov A.Yu. Sotsialnye polya kak istochnik tsennostei sovremennogo rossiiskogo obshchestva [Social fields as a source of values in the contemporary Russian society]. *Gosudarstvennoe i Munitsipalnoe Upravlenie. Uchenye Zapiski*. 2014; 4. (In Russ.).
 31. Pantin I.K. Preodolet raskol obshchestva i gosudarstva [To overcome the split between society and the state]. *Demokratiya dlya Rossii — Rossiya dlya demokratii*. Ed. by A.A. Guseinov. Moscow; 2008. (In Russ.).
 32. Pantin V.I. Tsennostnye razmezhevaniya i raskoly v sovremennykh obshchestvakh: vliyanie na sotsialno-politicheskoe razvitiye [Value divisions and splits in contemporary societies: Impact on social-political development]. *Istoriya i Sovremennost*. 2020; 3. (In Russ.).
 33. Proekt “Yazyki Rossii” [Project “Languages of Russia”]. URL: <http://jazykirf.iling-ran.ru>. (In Russ.).
 34. *Raspredelenie naseleniya Imperii po glavnym veroispovedaniyam* [Distribution of the Empire's Population by Main Religions]. Saint Petersburg; 1901. (In Russ.).
 35. Riber A. Menyayushchiesya kontseptsii i konstruksii frontira: sravnitelno-istorichesky podkhod [Changing concepts and constructions of the frontier: Comparative historical approaches]. *Novaya imperskaya istoriya postsovetetskogo prostranstva*. Ed. by I.V. Gerasimov et al. Kazan; 2004. (In Russ.).
 36. Rodulgina O.Yu. Lektsiya 5. Traditsionnye religii i konfessii Rossii i ih rol v istorii i zhizni strany [Lecture 5. Traditional Russian religions and confessions and their role in the country's history and life]. URL: e5e1e897a2175e37ddf20143620dbf69.pdf. (In Russ.).
 37. Rybakovsky L.L., Mavsky D.P., Kozhevnikova N.I. Migratsionnaya podvizhnost naseleniya i ee izmerenie [Migration mobility of population and its measurement]. *Narodonaselenie*. 2019; 2. (In Russ.).
 38. Sitnikov A.V. Metody izucheniya religii v sotsialnoi teorii P. Bourdieu [Approaches to the study of religion in P. Bourdieu's social theory]. *RUDN Journal of Sociology*. 2017; 17 (1). (In Russ.).

39. Surov D.O. Tendentsii razvitiya politicheskogo polya sovremennoi Rossii [Trends in the development of the political field of contemporary Russia]. *Vestnik Omskogo Universiteta*. 2004; 1. (In Russ.)
40. Tikhonova N.E. Ideologicheskaya segmentatsiya massovykh sloev naseleniya v usloviyakh obostreniya konfrontatsii s Zapadom (opyt empiricheskogo analiza) [Ideological segmentation of the mass strata under the aggravated confrontation with the West (empirical analysis)]. *Political Studies*. 2024; 5. (In Russ.).
41. Ufimtseva E.I. Votserkovlennost sovremennoy pravoslavnoy molodezhi: sotsiologicheskyy analiz faktorov i tendentsii razvitiya [Churching of the contemporary Orthodox youth: Sociological analysis of factors and trends]. *Izvestiya Saratovskogo Universiteta. Novaya Seriya. Seriya: Sotsiologiya. Politologiya*. 2019; 19 (4). (In Russ.).
42. Federalny zakon ot 26.09.1997 g. No. 125-FZ "O svobode sovesti i o religioznykh ob`edineniyakh" [Federal Law No. 125-FZ of September 26, 1997 "On Freedom of Conscience and Religious Associations"]. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/11523>. (In Russ.).
43. Khromova E.B. Pole politiki v sotsialnoi filosofii P. Bourdieu: nekotorye elementy teorii [Political field in social philosophy of P. Bourdieu: Certain elements of the concept]. *Vestnik Permskogo Natsionalnogo Issledovatel'skogo Politekhnicheskogo Universiteta. Kultura. Istoriya. Filosofiya. Pravo*. 2016; 1. (In Russ.).
44. Filippov A.F. *Sotsiologiya prostranstva* [Sociology of Space]. Saint Petersburg; 2007. (In Russ.).
45. Chernyavskaya O.S. Sotsialnoe prostranstvo: obzor teoreticheskikh interpretatsiy [Social space: A review of theoretical interpretations]. *Vestnik Nizhegorodskogo Universiteta. Sotsiologiya. Psikhologiya. Filosofiya*. 2008; 5. (In Russ.).
46. Shmatko N.A., Markova Yu.V. "Sotsialnoe prostranstvo" P. Bourdieu: istoriya konstruirovaniya ponyatiya ["Social space" of P. Bourdieu: History of concept construction]. *Sotsiologicheskyy Zhurnal*. 2025; 31 (1). (In Russ.).
47. Yudin G. Rossiya kak plebistsitarnaya demokratiya [Russia as a plebiscitary democracy]. *Russian Sociological Review*. 2021; 20 (2). (In Russ.).



DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-716-733

EDN: KIXIRF

Информационно-цифровая трансформация повседневности в экспертных оценках и в восприятии массовым сознанием (казахстанский кейс)*

В.Ю. Дунаев, В.Д. Курганская, А. Сагикызы, З.К. Шаукенова

Институт философии, политологии и религиоведения Комитета науки,
Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан
ул. Курмангазы, 29, Алматы, 050010, Республика Казахстан,

(e-mail: vlad.dunaev2011@yandex.kz; vkurganskaya@mail.ru;
ayazhan@list.ru; zarema_13@bk.ru)

Аннотация. Сегодня информатизация и цифровизация выступают безальтернативным мегатрендом инновационных общественных преобразований, однако стремительное развитие и глобальное распространение цифровых информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ) порождает сложные многоплановые проблемы и неоднозначные последствия. Восприятие массовым сознанием повседневности как непосредственно данной, самоочевидной, первопорядковой реальности, каковой она была в недавнем прошлом, меняется — в современном информационном обществе повседневность превращается в сферу стратегической нестабильности, фундаментальной неопределенности и принципиальной непредсказуемости. В статье обозначены особенности восприятия и оценки массовым сознанием влияния процессов информатизации и цифровизации на повседневную жизнь казахстанцев. Статья основана на данных социологических исследований, проведенных в 2024 году компанией «BRIF Research Group» по заказу Института философии, политологии и религиоведения методами массового опроса (стандартизированное интервью, N=2000, ошибка выборки — 2,19 %) и экспертных интервью (N=102 — руководители, работники, IT специалисты государственных и местных органов власти и различных организаций, работники научно-исследовательских институтов и преподаватели университетов по дисциплинам социального, гуманитарного и информационно-технологического профиля, блогеры и журналисты). В статье охарактеризованы ключевые аспекты и основные направления влияния информатизации и цифровизации на повседневную жизнь казахстанского общества, сгруппированные следующим образом: проблема влияния цифровых технологий на казахстанское общество и контексты ее социологического анализа; глобальные мегатренды развития информационного общества и его особенности в Казахстане; влияние цифровых технологий на межкультурные взаимодействия; качественные изменения субъекта трансформации общественной среды в условиях цифровизации. Результаты исследования суммируют позитивные и негативные оценки массовым сознанием и экспертным сообществом разных направлений и аспектов информатизации повседневной жизни казахстанского общества.

*© Дунаев В.Ю., Курганская В.Д., Сагикызы А., Шаукенова З.К., 2025

Статья поступила в редакцию 25.07.2025. Статья принята к публикации 14.10.2025.

Ключевые слова: информация; цифровизация; повседневность; Интернет; социальные сети; искусственный интеллект; массовое сознание; экспертное сообщество; казахстанское общество

Для цитирования: Дунаев В.Ю., Курганская В.Д., А. Сагикызы, Шаукенова З.К. Информационно-цифровая трансформация повседневности в экспертных оценках и в восприятии массовым сознанием (казахстанский кейс) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 4. С. 716–733. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-716-733>

Информатизация и цифровизация стали безальтернативным мегатрендом инновационных преобразований в социально-экономической, политической, научно-образовательной и культурной сферах современного общества. Внедрение информационно-цифровых технологий становится обязательным компонентом функционирования системы жизнеобеспечения общества, ключевым ресурсом позитивной социальной динамики, важнейшим показателем качественного уровня социальной инфраструктуры, определяющим фактором трансформации повседневного образа жизни, влиятельным источником изменения структуры ценностных ориентаций и предпочтений граждан. Вместе с тем стремительное развитие и глобальное распространение цифровых ИКТ порождает сложные многоплановые проблемы и влечет за собой неоднозначные последствия. Трансформация общества в соответствии с алгоритмами конструирования цифровой реальности усиливает социальную фрагментацию, генерирует новые формы отчуждения, изоляции и неравенства в доступе к ресурсам в сфере экономики, образования, здравоохранения, досуга и рекреации, политического участия и т.д. Цифровые технологии, радикально повышающие комфортабельность социальной среды, стали фактором расширенного воспроизводства потребительски-гедонистической мифологии техногенной цивилизации.

Неотвратимость эволюции общества в формате всеобъемлющей цифровизации воспринимается и постулируется в научном и общественном дискурсе как нечто должное. Но действительно ли цифровизация всех сфер деятельности человека выражает насущные потребности и интересы большинства членов общества [14. С. 40]? Или же нас в буквальном смысле «продали» цифре как универсальной панацее от всех бед, и слишком часто повседневная жизнь в цифровых метавселенных протекает в ущерб аналоговому, основополагающему опыту того, что значит быть человеком. По сути, все мы страдаем стокгольмским синдромом по отношению к цифровым инструментам и технологиям: мы их не только принимаем, но и адаптируемся к ним, они очаровывают нас, и мы подчиняемся их (спроектированным) желаниям, а затем отстаиваем их интересы, в итоге нам фактически нужны все новые технологии, чтобы избавиться от зависимости от технологий [19].

Для поиска обоснованных ответов на поставленные вопросы в статье проанализированы данные социологических исследований, проведен-

ных в июне — июле 2024 года компанией «BRIF Research Group» по заказу Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. Выборка массового опроса, проведенного методом стандартизированного интервью, составила 2000 человек (18+; квоты по национальности, полу и возрасту; все области Казахстана и города Астана, Алматы, Шымкент; ошибка выборки — 2,19 %). В экспертном опросе приняли участие 102 респондента — руководители, работники, IT специалисты государственных и местных органов власти и организаций с опытом работы в digital-проектах; работники научно-исследовательских институтов и преподаватели университетов в области социальных и гуманитарных дисциплин (культурологи, психологи, социологи), научные работники и преподаватели в области информационных технологий, больших данных, искусственного интеллекта; блогеры, журналисты.

Говоря о тематике опросов, отметим, что, во-первых, внедрение информационно-цифровых технологий в различные сферы функционирования общества протекает с разной скоростью, интенсивностью и масштабируемостью, имеет выраженную региональную специфику; во-вторых, неочевидны объективные критерии оценки уровня информатизации и цифровизации. Ш. Хан предлагает различать следующие понятия: оцифровка (digitization) — технологический процесс перевода аналоговой информации в цифровой формат; цифровизация (digitalization) — внедрение цифровых технологий в функционирование организаций и институтов, отраслей и рынков; цифровая трансформация (digital transformation) — глобальный процесс технической адаптации индивидов, групп, сообществ и наций как результат цифровизации [20. С. 6–8].

Соотношение процессов оцифровки, цифровизации и цифровой трансформации принимает разнообразные формы, не вписывающиеся в рамки линейной зависимости. Например, в утвержденной правительством Казахстана Концепции развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы приводятся данные, что лидером в системной оцифровке данных является сфера образования (81 %), а наименьший объем оцифрованных данных приходится на бизнес (13 %) и науку (2 %) [7]. Однако опрос экспертов показал иное влияние цифровизации на эти сферы (табл. 1): по мнению экспертов, влияние цифровизации на лидера и аутсайдера оцифровки данных в Казахстане — образование и науку — практически идентично. Причем если степень оцифровки данных может быть оценена по строго объективным критериям, то применительно к цифровизации и цифровой трансформации эти критерии в значительной степени субъективны. Наименьшее влияние цифровизация, по мнению экспертов, оказывает на гуманитарные сферы — все они оказались в нижней части таблицы.

Кроме того, воздействие информационно-цифровых технологий на инфраструктуру общества, формирующие социальные механизмы, условия и контексты повседневной жизни, носит не только разнонаправленный, но и амбивалентный характер. Эксперты продемонстрировали значительное единодушие в оценке ряда направлений применения информационно-цифровых технологий (табл. 2), однако в отношении целого ряда пунктов предложенного им перечня мнения экспертов разделились, иногда практически поровну.

Таблица 1

Оценка влияния цифровизации (эксперты), %

Области влияния	В незначительной степени	В средней степени	В высокой степени
В сфере коммуникаций, связи	3,9	13,7	82,4
В сфере обслуживания населения	3,9	15,7	80,4
В корпоративном бизнесе	1	27,5	71,6
В сфере медицины (новый технологический уровень)	10,8	19,6	69,6
В науке	9,8	22,6	67,7
В производстве (рост производительности труда, автоматизация, роботизация производства)	6,9	29,4	63,7
В образовании	5,9	32,4	61,8
В сфере международного сотрудничества и партнерства	10,8	27,5	61,8
В среднем и малом бизнесе	9,8	33,3	56,9
В реализации стратегического прорыва в число мировых лидеров	14,7	29,4	55,9
В системе государственного управления (повышение эффективности и социальной направленности)	3,9	42,2	53,9
В государственном секторе экономики	7,8	39,2	52,9
В общении, создании комфортной среды	14,7	41,2	44,1
В аграрной сфере	27,5	35,3	37,3
В пропаганде национальных ценностей, культурно-цивилизационной идентичности	30,4	39,2	30,4
В укреплении единства общества	37,3	43,1	19,6
В политике	39,2	41,2	19,6
В гуманизации общественных отношений, укреплении нравственности	39,2	46,1	14,7

Таблица 2

Оценка влияния цифровых технологий на общество (эксперты), %

Влияние цифровых технологий на общество	Скорее не согласен + не согласен	Согласен + скорее согласен
Способствуют технологизации и повышению уровня жизни	2	98
Способствуют гармоничному развитию личности и расширяют возможности самореализации	5,9	94,1
Способствуют достижению равенства в цифровой и сетевой среде	18,7	81,4
Создают новые риски для политического управления	27,5	72,6
Способствуют повышению качества жизни и ее продолжительности у всего населения	34,3	65,7
Порождают новые социальные и гуманитарные проблемы	40,2	58,8
Отношения между людьми становятся менее человечными	50,1	50
Увеличивают социальное неравенство в реальной жизни	56,9	43,1
Уменьшают способности к заботе и помощи	65,7	34,3
Помогают улучшить жизнь только для богатых	86,3	13,7

Глобальные тренды и казахстанский «кейс» развития информационного общества

Со второй половины прошлого столетия в наиболее технологически развитых странах мира ключевой сферой деятельности становится производство, накопление, обработка, передача и использование информации. Информационные сети, центры управления информационными потоками, банки данных превращаются в базовую инфраструктуру, и объем информации, передаваемой через нее, удваивается каждые 1,5–2 года. В развитых странах более 80 % производственных затрат приходится на производство и обработку информации. В США 90 % трудоспособного населения занято в сфере услуг и информатизации, на долю традиционной промышленности приходится 7–8 %, на сельское хозяйство — 2–3 %. В Казахстане на начало 2024 года доля пользователей Интернета составила 92,3 % населения, социальными сетями — 71,5 %; количество мобильных соединений составило 26,24 млн, что эквивалентно 133,1 % численности населения [6], и в большинстве населенных пунктов доступен широкополосный Интернет.

В 2015 году был принят Закон Республики Казахстан «Об информатизации», реализуется ряд государственных программ по развитию информационно-цифровой инфраструктуры («Цифровой Казахстан», «Информационный Казахстан 2020», Национальный проект «Доступный Интернет» и др.), постановлениями правительства утверждены «Концепция цифровой трансформации, развития отрасли информационно-

коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023–2029 годы» и «Концепция развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы», активно внедряется система «электронного правительства», облегчающая доступ населения к государственным услугам посредством использования информационно-цифровых технологий. В мировом рейтинге электронного правительства ООН Казахстан в 2024 году занял 24 место, по индексу телекоммуникационной инфраструктуры — 41, а по индексу онлайн-услуг вошел в мировой топ-10 [5].

Казахстанцы в целом успешно овладевают навыками применения цифровых ИКТ в разных сферах повседневной жизни: недостаток необходимых компетенций ощущает в основном старшее поколение, а наиболее уверенно ориентируется в Интернете молодежь (табл. 3). Таким образом, Казахстан ступил на путь ускоренного развития информационно-цифровых технологий и их внедрения в институциональную структуру общества и повседневную жизнь граждан со всеми плюсами и минусами, бонусами и рисками, сопровождающими этот путь.

Таблица 3

Как бы Вы оценили свой уровень владения Интернетом? (население), %

Уровень/возраст	18–29	30–39	40–49	50–59	60+	В целом
Очень низкий (навыки практически отсутствуют)	2,1	2,3	3,4	4,5	11,1	4,9
Скорее низкий (базовые навыки, но часто сталкиваюсь со сложностями)	3	4,3	11,9	16,4	19,5	10,8
Средний (базовые навыки, но иногда сталкиваюсь со сложностями)	38,4	53,4	62,9	61,3	55,5	53,5
Высокий (уверенно пользуюсь, сложностей практически не возникает)	38,8	28,5	16,2	11,5	7	20,9
Очень высокий (уверенно пользуюсь, сложностей не возникает)	17,4	11,5	5,1	3,8	1,2	8,1

С тем, что цифровизация в Казахстане — объективный и необратимый процесс технологического развития, выразили полное согласие 73,5 % опрошенных экспертов (частичное согласие — 22,6 %). Вместе с тем Казахстан входит в кластер так называемых «высоко контекстуальных культур», т.е. обществ, в которых присущие традиционной культуре знаково-символические коды intersубъективных взаимодействий превалируют над формальной рациональностью и функциональностью

информационно-коммуникативных практик. Поэтому казахстанский опыт информационно-цифровой трансформации повседневности представляет особый интерес — как попытка совместить неписанные правила и ценностно-нормативные комплексы традиционной культуры с принципами социальных взаимодействий в информационном обществе в условиях догоняющей модернизации, что может породить противоречивые тенденции и риски.

Как следует из данных на рис. 1, лишь по нескольким позициям (роботизация людей, снижение материального уровня жизни, углубление социального неравенства) казахстанские эксперты не усматривают серьезных угроз. Большинство экспертов опасаются в меньшей или большей мере негативного влияния цифровизации на различные аспекты жизни казахстанского общества: от угроз интеллектуальной и нравственной деградации, дегуманизации, разрушительного влияния на систему ценностей и культуру общения до расширения возможностей деструктивного воздействия на все население (разжигание вражды, ненависти, призывы к насилию). Что касается населения (рисунок 2), то опасения и тревогу у него вызывают практически все указанные в анкете негативные последствия внедрения цифровых технологий, но особенно киберпреступность, утечка данных и хакерство; распространение ложной информации, в том числе фейков, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта; кибербуллинг; неспособность многих людей обращаться с цифровыми технологиями; потеря рабочих мест, исчезновение ряда профессий.

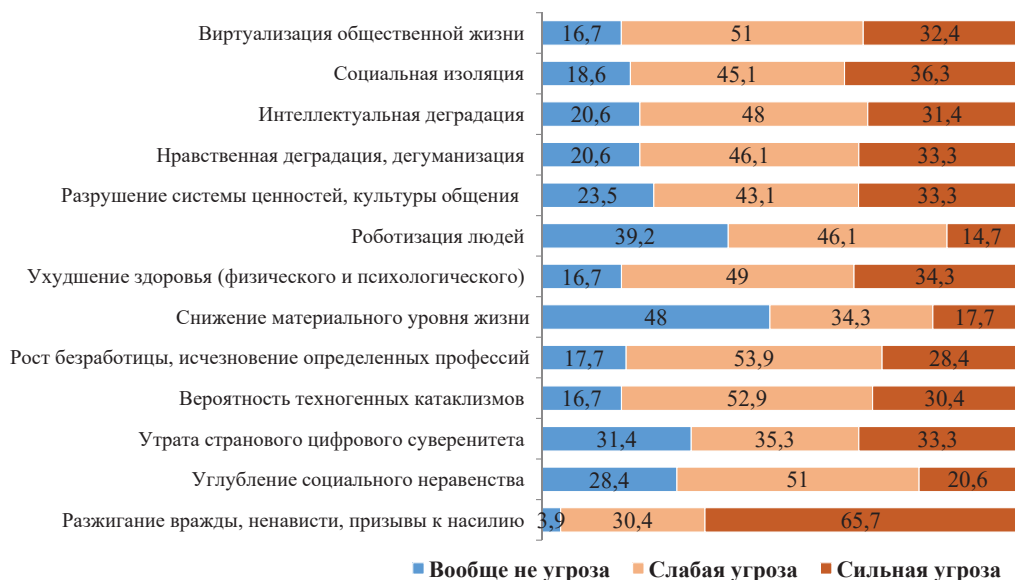


Рис. 1. Риски и угрозы цифровизации для казахстанского общества (эксперты), %



Рис. 2. Опасения и тревоги населения в условиях цифровизации, %

Влияние цифровых технологий на межкультурные взаимодействия

Бурное развитие ИКТ привело к устранению множества идеологических, политических и языковых преград между народами и культурами, что существенно ускорило и усилило взаимодействие между культурными мирами, ценностными системами и образами жизни. В результате появились инновационные формы межкультурного общения, произошли изменения в коммуникативных практиках и культурных компетенциях. Межкультурное взаимодействие, основанное на применении цифровых ИКТ, интегрируется в глобальные информационные сети, преодолевающие государственные границы. Такая интерактивная среда способствует качественной трансформации социокультурной реальности и изменяет ее коды, поэтому наблюдается неизбежное приспособление локальных (национальных, этнических) культур к структурам, логике и механизмам формирования глобального наднационального информационного пространства.

Казахстанские эксперты сходятся во мнении, что цифровизация — объективный и необратимый процесс технологического развития (согласны

с этим 73,5 %, скорее согласны — 22,6 %), безальтернативный путь достижения нацией конкурентоспособности в новых геополитических условиях (56,9 и 39,2 % соответственно), направленный процесс догоняющей модернизации (61,8 и 35,3 %). Большинство экспертов (80,4 % согласных в той или иной степени) склоняются к позитивной оценке воздействия цифровых инноваций на межкультурное взаимодействие (помогают культурам общаться, учат быть терпимее и пр.), но каждый пятый (20 %) выражает обеспокоенность рисками внедрения информационно-цифровых технологий для социальной стабильности, указывая на потенциальную способность этих технологий усиливать фрагментацию общества и повышать вероятность конфликтов.

В литературе встречаются две противоположные позиции относительно влияния информатизации на межкультурное взаимодействие: с одной стороны, оптимистический, позитивный взгляд — революционные изменения в сфере информационных технологий и телекоммуникаций открыли беспрецедентные перспективы для межкультурного диалога. «Процессы глобализации, затронувшие область культурных связей между странами, сделали межкультурную коммуникацию, диалог и полилог культур неотъемлемой частью существования человеческого сообщества» [1. С. 100]. С другой стороны, критическая позиция в оценке влияния глобализации информационно-коммуникативного пространства на локальные культуры объясняется кардинальными изменениями в механизмах информационного обмена между локальными культурами. Глобальное информационное пространство превращается в общую платформу/субстрат одновременного сосуществования всех традиционных культур, но ключевым фактором становится не их прямое общение, а соответствие интеркультурных взаимодействий единым принципам и алгоритмам глобального информационного пространства. При переходе в цифровую среду локальные культуры «адаптируются уже не друг к другу в рамках межкультурного общения, а к единому информационному пространству» [9], что приводит к их постепенному растворению в глобальной информационной системе, чуждой их изначальному ценностному содержанию. Как подчеркивал М. Кастельс, диверсифицированность, мультимодальность электронных информационно-коммуникативных систем позволяет им абсорбировать традиционные культуры, интегрировать в себе все многообразие культурных феноменов, но «цена включения в систему — адаптация к ее логике, к ее языку, к ее точкам входа, к ее кодированию и декодированию» [5. С. 353].

В информационном обществе по сравнению с эпохой классического модерна существенно трансформируется межкультурное взаимодействие — вместо полноценного диалога культур наблюдается их гомогенизация, при которой интеграция культурных контекстов осуществляется не на основе их уникальности и различий, а через поиск и усиление общих черт согласно

заданным стереотипам и алгоритмам. В результате информационное взаимодействие сводится к обмену общими смысловыми структурами-фреймами, что существенно обедняет культурный обмен: «Краеугольным камнем в теории информации является презумпция того, что разнообразные сообщения, имеющие самые различные содержания... могут быть переведены на общий язык, а информация, которую эти сообщения несут, может быть количественно измерена» [15. С. 428]. При таком подходе диалог культур утрачивает свой глубокий смысл, хотя именно «познание области несовпадения (изначального непонимания) культур обогащает их новыми смыслами и новыми ценностями, хотя и затрудняет общение» [9].

Качественные изменения субъекта трансформации общественной среды

В информационном обществе цифровые технологии превращаются в матрицу, программный алгоритм генерации социальных смыслов и ценностей, затем в субстрат и, наконец, в субъект этого процесса: «Компьютер — это не медиум и не инструмент, но новый тип социкультурного агента», в функции которого входит «рефигурация социальных взаимодействий» [2. С. 379]. Логика и принципы этой рефигурации все быстрее ускользают от человеческого постижения, и человек как социальный субъект оказывается «за бортом» живущего собственной «жизнью» цифрового социума, причем появление управляющих систем, заменяющих человека, расценивается как положительное последствие цифровизации. В аксиоматике конструирования цифрового социума человек утрачивает статус единственного субъекта выработки и принятия решений, формирования политической, социальной и культурной повестки, планирования и управления собственной социальной жизнедеятельностью. Контроль и управление процессами, выстраиваемыми по технологиям блокчейна и Big Data, практически недоступны для человека без использования этих же технологий. В результате «процедуры личностного понимания и генерации индивидуальных когнитивных смыслов (знания) активно заменяются „механической“ трансляцией информации в сетях социальной коммуникации» [8. С. 251]. Циркуляция информационных потоков превращается в автономный, самостоятельный процесс: «Сетевой индивид — это уже больше не автономный субъект, которого превозносила либеральная теория... наша личность оказывается размазанной по глобальной сетке узлов и связей» [3. С. 45].

Парадигма технологического детерминизма в интерпретации процессов цифровизации утверждает, что цифровая сеть как новая социальная среда не отражает структуру общества, а формирует ее по математическим технологическим алгоритмам и стандартам. Структурное тождество и одноправленность векторов социальной эволюции и развития информационных технологий наделяет качеством субстанциальности мир, сфабрикованный

из финансовых потоков и управляемый электронными сетями. «Цифровая реальность — это карта, которая фактически становится территорией, интерпретация, которая фактически становится событием» [12. С. 17]. Эта новая реальность обладает независимостью от социального контроля, стоит над обществом, государственными границами и т.д. «Профиль единого киберпространства существует поверх рамок и норм „доцифровых“ — физического, биологического, психологического и социально-политического — пространств, интегрируя и преломляя их в мире цифровых вещей и коммуникаций, высвобождающемся из-под гравитации физической предметности, радикально меняя статус и поведение информационных объектов и процессов» [13. С. 17].

Сотканые информационными технологиями глобальные сети составляют «новую социальную морфологию» (М. Кастельс): сетевые структуры пронизывают социальный мейнстрим, а «безродная» сетевая логика и имманентная аксиоматика контуров и цепей информационных потоков, свободных от дополнительных социокультурных кодировок, становятся парадигмой онтологических трансформаций социальной реальности. Гиперпространство сетевых структур информации и время компьютерных сетей, сжатое до мгновения, освобождаются от связи с конфигурациями пространства и ритмом времени реальной жизни. Вместе с тем отличительным свойством информационных процессов в информационном обществе является их интерактивность — такая организация информационно-коммуникативного пространства, в которой роли отправителя и получателя становятся транзитивными, взаимозаменяемыми. В контексте становления нового интегрированного субъекта трансформации общественной среды в условиях цифровизации принцип транзитивности информационных процессов оборачивается проблемой налаживания механизма прямых и обратных связей между «слушающим государством» и самоорганизующимся гражданским обществом. Цифровые технологии, по мнению респондентов, в значительной степени повысили качество услуг и эффективность работы государственных органов и учреждений (табл. 4).

Информационно-цифровые технологии, предоставляя оптимальные с точки зрения субъекта выборы и решения, заменяют инстанцию разума (рационального суждения) и инстанцию выбора (свободы воли). Интеллектуальная и нравственная автономия субъекта как основа просвещенческого императива опоры на собственное рациональное суждение (кантовское *Sapere aude!*) делегируется алгоритмам обработки массивов информации. Самообучающиеся системы искусственного интеллекта могут принимать практически самостоятельные решения, но передавать им политическое управление, за исключением части политических функций (допускают 36,3 % опрошенных), эксперты считают неправильным и неосмотрительным (категорически против 59,8 %).

Таблица 4

**Изменения качества государственных услуг
с введением цифровых технологий (население), %**

Оценки	Согласен	Не согласен	з/о
Улучшились доступность и качество госуслуг	65,1	24,2	10,8
Улучшились получение и передача информации в госорганы и учреждения	60,7	25,7	13,6
Улучшились оплата налогов, сборов, госуслуг, услуг бюджетных учреждений и организаций	72,9	16,7	10,5
Повысилась доступность услуг (очереди на жилье, запись в детсады, школы, регистрация брака, получение документов, справок и др.)	68,8	20	11,2
Улучшилось качество медицинских услуг (через портал)	40,8	47,7	11,6
Улучшилось качество и прозрачность образовательного процесса	46,5	31,8	21,8
Улучшилась реализация гражданских прав и обязанностей (участие в выработке и принятии решений, подаче обращений и петиций, обсуждении проектов законов)	47,1	32,4	20,6
Улучшились качество и оперативность рассмотрения жалоб и обращений граждан	48,6	33,4	18,1
Повысилась защита и безопасность личных данных, понизились риски коррупции и злоупотреблений, упрощены процедуры взаимодействия с государственными органами	36,6	49,1	14,3

Заключительные экспертные оценки качественных изменений субъекта трансформации общественной среды в условиях цифровизации приведены в табл. 5, где прогнозируется ее влияние на различные сферы жизнедеятельности казахстанского общества в будущем: эксперты не дают однозначно позитивных оценок расширению влияния цифровизации на личность, общественные структуры и социальные институты.

**Оценки влияния на развитие казахстанского общества
последствий цифровизации (эксперты), %**

Последствия	Положительно	Скорее положительно	Скорее отрицательно	Отрицательно
Неограниченный доступ к информации	43,1	28,4	19,6	8,8
Реальная жизнь людей все больше замещается виртуальной и растет роль социальных сетей	6,9	21,6	52,9	18,6
Виртуальная среда все сильнее влияет на то, как люди учатся взаимодействовать по мере взросления	20,6	42,2	28,4	8,8
Виртуальная среда все больше влияет на то, как этнические группы учатся взаимодействовать внутри себя и с другими группами и обществом	30,4	52	10,8	6,9
Виртуальная среда все больше влияет на то, как люди учатся быть частью общества и выполнять гражданские обязанности	32,4	47,1	12,8	7,8
Виртуальная среда все сильнее влияет на то, как люди формируют свои убеждения и взгляды	7,8	26,5	47,1	18,6
В профессиональной среде становится все важнее иметь хорошие цифровые знания и навыки, чтобы быть конкурентоспособным	66,7	30,4	2,9	0
Перенос значительной части межличностного общения в виртуальное пространство	7,8	35,3	45,1	11,8
Возрастание влияния блогеров и лидеров общественного мнения на массовое сознание	11,8	34,3	37,3	16,7
Администрация не способна контролировать то, что публикуется в социальных сетях	13,7	32,4	25,8	28,4
Возможность анонимно публиковать свою точку зрения в интернет-пространстве	30,4	35,3	24,5	9,8
Желание людей открыто демонстрировать частную жизнь в социальных сетях	8,8	40,2	36,3	14,7
Использование информационных технологий и возможностей для направленного влияния на сознание	10,8	34,3	34,3	20,6

Казахстанские эксперты негативно оценивают многие направления и последствия влияния информационно-цифровых технологий на развитие общества, следуя общему тренду в мировой аналитике цифровизации. Например, в 2018 (N — около 1000) и 2023 (N — около 300) году «Pew Research Center» провел экспертный опрос на тему «Искусственный интеллект и будущее человечества», попросив респондентов (ведущие специалисты в области информационно-цифровых технологий, лидеры в сфере бизнеса и политики,

известные ученые, общественные деятели) назвать как полезные и ценные, так и вредные и угрожающие последствия внедрения цифровых технологий в основные сферы жизни человека и общества через 10–15 лет. В 2018 году 63 % респондентов выразили надежду, что в 2030 году жизнь большинства людей под воздействием высоких технологий изменится к лучшему, 37 % сомневались в этом [18]. В 2023 году 18 % были «скорее воодушевлены, чем обеспокоены» ожидаемыми изменениями, 42 % — «в равной степени воодушевлены и обеспокоены» изменениями в эволюции системы «люди плюс технологии», которые, по их ожиданиям, произойдут к 2035 году, 37 % — «скорее обеспокоены, чем воодушевлены» [19]. Очевидна тенденция роста пессимистических оценок мировым экспертным сообществом перспектив воздействия цифровых технологий на многие ключевые элементы жизнедеятельности человека и общества.

Цифровизация в Казахстане — объективный, востребованный, но в то же время чрезвычайно противоречивый процесс технологического развития информационного общества. В условиях постоянно ускоряющейся трансформации технологической среды в повседневной жизни человек оказывается перед императивным требованием перманентного отказа от накопленного тезауруса типичных форм и навыков поведения и мышления, от усвоенных в процессе социализации фреймов интерпретации смысла и ценности фактов, событий и ситуаций, их знаков и символов. Так, навыки верховой езды неприменимы к управлению автомобилем, но и последнее умение становится излишним для пользователя беспилотного транспорта, которому необходимые компетенции работы с интерфейсом искусственного интеллекта.

Демонтаж базовой для традиционной культуры системы фреймов и переход механизмов их генерации в метавселенную «реальной виртуальности» (М. Кастельс) приводят к тому, что повседневность становится завораживающе и раздражающе изменчивой, как в путешествии Алисы в кроличью нору. Повседневность из сферы непосредственно данной, самоочевидной, неоспоримой первопорядковой реальности, типичных ситуаций и рутинных действий превращается в сферу стратегической нестабильности, фундаментальной неопределенности и непредсказуемости, для описания и анализа которой подходит разработанная Н. Талебом концепция «черных лебедей». «Черный лебедь» — это событие, которое: аномально, ибо ничто в привычном ходе вещей его не предвещало; порождает сильный эффект; требует интерпретации *post factum* как объяснимое и предсказуемое. Также Талеб вводит категорию «серых лебедей» — это события, которые могли ожидаться, но их свойства и параметры неопределимы и невычислимы. Повседневность эпохи модерна — это мир «белых лебедей», в котором изредка встречаются их черные и серые собратья, а нынешняя информационно-цифровая повседневность — мир «черных» и «серых лебедей».

Согласно А. Шюцу, «в обыденном мышлении повседневной жизни все, что бы ни происходило, не может ожидаться в точности таким, каким оно, свершившись, оказывается, и все, чего бы мы ни ожидали, никогда не будет происходить так, как ожидалось» [17. С. 677]. Когда бремя решений перекладывается на самообучающиеся системы искусственного интеллекта, алгоритмы работы которых пишутся разработчиками, но затем генерируются самими системами, диапазон обозначенных Шюцем расхождений многократно расширяется: «Системы искусственного интеллекта из-за их сложности и отсутствия контроля со стороны человека могут демонстрировать неожиданное поведение или принимать решения с непредвиденными последствиями» [21]. Мы пока еще с трудом понимаем, если вообще понимаем, сущность преобразований, которые происходят с нашим обществом — культурой, экономикой, политикой, духовно-нравственной сферой, вследствие того что информационно-цифровые системы становятся социальными агентами, а люди интегрируются в оцифрованные программные миры. Все больше аспектов нашей жизни зависит от информационно-цифровой среды или протекают в ней, и по мере того, как эта среда становится все более обширной и сложной, ее влияние скорее всего будет усиливаться. Повседневная жизнь все больше будет определяться системами взаимодействия человека и технологий, открывающими ранее невообразимые возможности и создающими беспрецедентные угрозы. В этой связи социологический мониторинг особенностей восприятия и оценки информационно-цифровой трансформации повседневности становится первоочередной задачей нашей науки.

Информация о финансировании

Исследование финансировалось Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (грант № BR28713047 «Искусственный интеллект и этика социальной справедливости: концептуальное осмысление возможностей и рисков в процессах модернизации общества в Казахстане»)

Библиографический список

1. Берестовская Д.С. Глобализация и культура // Культура народов Причерноморья. 2003. № 46.
2. Галкин Д.В. Интерактивность // Социология. Минск, 2003.
3. Гринфилд А. Радикальные технологии: устройство повседневной жизни. М., 2018.
4. Казахстан занял 24 место в мировом рейтинге электронного правительства ООН. URL: <http://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/847800?lang=ru>.
5. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000.
6. Количество интернет-пользователей в Казахстане составило 18,19 млн человек. URL: <https://the-tenge.kz/articles/internet-i-kazakhstan>.
7. Концепция развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы. URL: <https://govtec.kz/assets/media/kontseptsiya-26062024-1500.pdf>.
8. Лазаревич А.А. Становление информационного общества: коммуникативно-эпистемологические и культурно-цивилизационные основания. Минск, 2015.
9. Миронов В.В. Информационное пространство: вызов культуре // Информационное общество. 2005. № 1.

10. Нарбут Н.П., Троцук И.В. Социальное самочувствие молодежи постсоциалистических стран (на примере России, Казахстана и Чехии): сравнительный анализ ценностных ориентаций (Часть 1) // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2018. Т. 18. № 1.
11. Нарбут Н.П., Троцук И.В. Социальное самочувствие молодежи постсоциалистических стран (на примере России, Казахстана и Чехии): сравнительный анализ страхов, надежд и опасений (Часть 2) // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2018. Т. 18. № 2.
12. Подопригора А.В. Искусственный интеллект как дискурс самопознания и самоорганизации цифрового социума // Социум и власть. 2019. № 1.
13. Подопригора А.В. Число и цифра: пифагорейская традиция и метафизика цифровой реальности // Научный ежегодник Института философии и права УО РАН. 2018. Т. 18. № 3.
14. Прокудин Д.Е. От «информатизации» к «цифровизации» // Философская аналитика цифровой эпохи. СПб., 2020.
15. Семенков О.И. Информация // Всемирная энциклопедия: Философия. Минск, 2001.
16. Троцук И.В., Дурсина А.Н. Цифровой вектор развития коммуникации между властью и населением в современном российском обществе // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 1.
17. Шюц А. Тиресий, или наше знание будущих событий // Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М., 2004.
18. Artificial Intelligence and the Future of Humans by J. Anderson, L. Rainie. 10.12.2018. URL: <https://www.pewresearch.org/internet/2018/12/10/concerns-about-human-agency-evolution-and-survival>.
19. As AI Spreads, Experts Predict the Best and Worst Changes in Digital Life by 2035 by J. Anderson, L. Rainie. 21.06.2023. URL: <https://www.pewresearch.org/internet/2023/06/21/as-ai-spreads-experts-predict-the-best-and-worst-changes-in-digital-life-by-2035>.
20. Khan Sh. Leadership in the Digital Age — a Study on the Effects of Digitalization on Top Management Leadership. Stockholm, 2016.
21. Marr B. The 15 Biggest Risks of Artificial Intelligence. 2.06.2023. URL: <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2023/06/02/the-15-biggest-risks-of-artificial-intelligence/?sh=2945365f2706>.

DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-716-733

EDN: KIXIRF

Information-digital transformation of everyday life in expert assessments and public perception (Kazakhstan case)*

V.Yu. Dunaev, V.D. Kurganskaya, A. Sagikyzy, Z.K. Shaukenova

Institute of Philosophy, Political Science and Religious Studies of the Committee of Science
of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan,
Kurmangazy St., 29, Almaty, 050010, Republic of Kazakhstan

(e-mail: vlad.dunaev2011@yandex.kz; vkurganskaya@mail.ru,
ayazhan@list.ru; zarema_13@bk.ru)

Abstract. Today informatization and digitalization are the only viable megatrend for innovative social transformation; however, the rapid development and global spread of digital information and communication technologies (ICT) have led to complex, multifaceted problems

*© V.Yu. Dunaev, V.D. Kurganskaya, A. Sagikyzy, Z.K. Shaukenova, 2025

The article was submitted on 28.07.2025. The article was accepted on 14.10.2025.

and ambiguous consequences. Public perception of everyday life as an immediately given, self-evident, first-order reality, as it was in the recent past, has changed — in the information society, everyday life transforms into an area of strategic instability, fundamental uncertainty and unpredictability. The article outlines the features of public perception and evaluation of the impact of informatization and digitalization on the everyday life in Kazakhstan. The article is based on the data of sociological research conducted in 2024 by the BRIF Research Group at the request of the Institute of Philosophy, Political Science and Religious Studies with the methods of mass survey (standardized interview, N=2000, sampling error — 2.19 %) and expert interviews (N=102 — managers, employees, IT specialists of government bodies, local authorities and various organizations, employees of research institutes and university professors in social, humanitarian and information technology disciplines, bloggers and journalists). The article describes the following key aspects and main directions of the influence of informatization and digitalization on the everyday life in Kazakhstan: impact of digital technologies on the Kazakhstani society and contexts of its sociological analysis; global megatrends in the development of the information society and its features in Kazakhstan; impact of digital technologies on intercultural interactions; qualitative changes in the subject of transformation of the social environment under digitalization. The study summarizes positive and negative assessments of various areas and aspects of informatization of everyday life in Kazakhstan by the public and experts.

Key words: information; digitalization; everyday life; Internet; social networks; artificial intelligence; mass consciousness; expert community; Kazakhstan society

For citation: Dunaev V.Yu., Kurganskaya V.D., A. Sagikyzy, Shaukenova Z.K. Information-digital transformation of everyday life in expert assessments and public perception (Kazakhstan case). *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (4): 716–733. (In Russ.). <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-716-733>

References

1. Berestovskaya D.S. Globalizatsiya i kultura [Globalization and culture]. *Kultura Narodov Prichernomorya*. 2003; 46. (In Russ.).
2. Galkin D.V. Interaktivnost [Interactivity]. *Sotsiologiya*. Minsk; 2003. (In Russ.).
3. Greenfield A. *Radikalnye tekhnologii: ustrojstvo povsednevnoj zhizni* [Radical Technologies: The Design of Everyday Life]. Moscow; 2018. (In Russ.).
4. Kazakhstan zanjat 24 mesto v mirovom rejtinge elektronnoho pravitelstva OON [Kazakhstan took 24th place in the UN Global E-Government Ranking]. URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/847800?lang=ru>. (In Russ.).
5. Castells M. *Informatsionnaja epokha: ekonomika, obshchestvo i kultura* [The Information Age: Economy, Society and Culture]. Moscow; 2000. (In Russ.).
6. Kolichestvo internet-polzovatelej v Kazakhstane sostavilo 18,19 mln chelovek [The number of Internet users in Kazakhstan amounted to 18.19 million]. URL: <https://the-tenge.kz/articles/internet-i-kazakhstan>. (In Russ.).
7. Kontseptsija razvitija iskusstvennogo intellekta na 2024–2029 gody [The Concept of Artificial Intelligence Development for 2024–2029]. URL: <https://govtec.kz/assets/media/kontseptsiya-26062024-1500.pdf>. (In Russ.).
8. Lazarevich A.A. *Stanovlenie informatsionnogo obshchestva: kommunikativno-epistemologicheskie i kulturno-tsivilizatsionnye osnovaniya* [Development of the Information Society: Communicative, Epistemological and Cultural-Civilizational Foundations]. Minsk; 2015. (In Russ.).
9. Mironov V.V. Informatsionnoe prostranstvo: vyzov kulture [Information space: A challenge to culture]. *Informatsionnoe Obshchestvo*. 2005; 1. (In Russ.).

10. Narbut N.P., Trotsuk I.V. Sotsialnoe samochuvstvie molodezhi postsotsialisticheskikh stran (na primere Rossii, Kazakhstana i Chekhii): sravnitelny analiz tsennostnykh orientatsiy (Chast 1) [The social well-being of the post-socialist countries' youth (on the example of Russia, Kazakhstan and Czech Republic): Comparative analysis of value orientations (Part 1)]. *RUDN Journal of Sociology*. 2018; 18 (1). (In Russ.).
11. Narbut N.P., Trotsuk I.V. Sotsialnoe samochuvstvie molodezhi postsotsialisticheskikh stran (na primere Rossii, Kazakhstana i Chekhii): sravnitelny analiz strakhov, nadezhd i opaseni (Chast 2) [The social well-being of the post-socialist countries' youth (on the example of Russia, Kazakhstan and Czech Republic): Comparative analysis of fears and hopes (Part 2)]. *RUDN Journal of Sociology*. 2018; 18 (2). (In Russ.).
12. Podoprigora A.V. Iskusstvenny intellekt kak diskurs samopoznaniya i samoorganizatsii tsifrovogo sotsiuma [Artificial intelligence as a discourse of self-knowledge and self-organization of the digital society]. *Sotsium i Vlast*. 2019; 1. (In Russ.).
13. Podoprigora A.V. Chislo i tsifra: pifagorejskaja traditsija i metafizika tsifrovoj realnosti [Number and digit: Pythagorean tradition and metaphysics of digital reality]. *Nauchny Ezhegodnik Instituta Filosofii i Prava UO RAN*. 2018; 18 (3). (In Russ.).
14. Prokudin D.E. Ot “informatizatsii” k “tsifrovizatsii” [From “informatization” to “digitalization”]. *Filosofskaja analitika tsifrovoj epokhi*. Saint Petersburg; 2020. (In Russ.).
15. Semenov O.I. Informatsija [Information]. *Vsemirnaja entsiklopedija: Filosofija*. Minsk; 2001. (In Russ.).
16. Trotsuk I.V., Dursina A.N. Tsifrovoy vektor razvitiya kommunikatsii mezhdru vlastyu i naseleniem v sovremennom rossiyskom obshchestve [Digital trend in the development of communication between Russia's authorities and population]. *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (1). (In Russ.).
17. Schutz A. Tiresias, ili nashe znanie budushchih sobytij [Tiresias, or our knowledge of future events]. Schutz A. *Izbrannoe: Mir, svetjashchij smyslom*. Moscow; 2004. (In Russ.).
18. Artificial Intelligence and the Future of Humans by J. Anderson, L. Rainie. 10.12.2018. URL: <https://www.pewresearch.org/internet/2018/12/10/concerns-about-human-agency-evolution-and-survival>.
19. As AI Spreads, Experts Predict the Best and Worst Changes in Digital Life by 2035 by J. Anderson, L. Rainie. 21.06.2023. URL: <https://www.pewresearch.org/internet/2023/06/21/as-ai-spreads-experts-predict-the-best-and-worst-changes-in-digital-life-by-2035>.
20. Khan Sh. *Leadership in the Digital Age — a Study on the Effects of Digitalization on Top Management Leadership*. Stockholm; 2016.
21. Marr B. The 15 Biggest Risks of Artificial Intelligence. 2.06.2023. URL: <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2023/06/02/the-15-biggest-risks-of-artificial-intelligence/?sh=2945365f2706>.



DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-734-749

EDN: KHVLE

Social-economic determinants of women's reproductive health in Almaty (Kazakhstan)*

A.A. Bakytzhanova¹, G.T. Alimbekova², T. Toikko³

¹Al-Farabi Kazakh National University,
Al-Farabi Ave., 71, Almaty, 050040, Republic of Kazakhstan

²Public Opinion Research Center,
Zhibek Zholy St., 54, Almaty, 050002, Republic of Kazakhstan

³University of Eastern Finland,
Yliopistokatu 2, FI-80101, Joensuu, Finland

(e-mail: ainurb1997@gmail.com; g.alimbekova@gmail.com; timo.toikko@uef.fi)

Abstract. In the Almaty metropolitan area with the significant social-economic stratification, the relevance of the study is determined by the need to understand how household income affects women's reproductive strategies and identity. The article aims at identifying the relationship between subjective well-being, financial difficulties, family plans and reproductive health symptoms of 18–49-year-old women in Almaty. The authors conducted a cross-sectional quantitative survey on a multi-layered random sample with face-to-face interviews (N=320 women from eight districts of the city). Descriptive statistics, Spearman correlation analysis, regressions, factor and cluster analyses revealed a positive correlation between financial difficulties and postponing a childbirth in the next 3–5 years, a negative correlation between well-being and physical discomfort, and a positive correlation between family plans and seeking medical help. Women with children are significantly more likely to report reproductive symptoms, which indicates the need for a better postnatal care. Household income is a key determinant of both specific reproductive decisions (timing and planning of childbirth, seeking medical care) and reproductive identity formation. The study combined quantitative methods with an emphasis on subjective assessments of well-being and analysis of health symptoms, which allows for assessing the targeted support measures: development of free and mobile services for low-income women, postnatal monitoring programs and educational campaigns on reproductive health under the social inequality in Almaty.

Key words: reproductive determinants; reproductive behavior; social-economic inequality; household income; Almaty; economic sociology; women's reproductive health

For citation: Bakytzhanova A.A., Alimbekova G.T., T. Toikko. Social-economic determinants of women's reproductive health in Almaty (Kazakhstan). *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (4): 734–749. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-734-749>

*© A.A. Bakytzhanova, G.T. Alimbekova, T. Toikko, 2025

The article was submitted on 27.05.2025. The article was accepted on 14.10.2025.

The article aims at explaining how urban social-economic conditions determine women's reproductive strategies. In megacities with pronounced stratification, such as Almaty, the contrast of well-being and vulnerability affects not only health but also life trajectories. Reproductive behavior is determined not only by biological and medical factors but also by social, economic and cultural conditions: inequality determines access to services, family plans and future horizons. Limited access to quality care, financial instability and social vulnerability affect timing of childbirth, use of contraception and access to medical care. The key determinant is the household economic situation: women with financial constraints are more likely to face pregnancy complications, unplanned pregnancies and barriers to contemporary methods of contraception; economic instability pushes for postponing childbirth. On the contrary, better-off groups have more opportunities for reproductive plans due to better access to medical services, educational programs and information. These contrasts explain the need to study the impact of economic inequality on reproductive decisions.

The selected data for Almaty is considered in the logic of how economic inequality in the large city affects access to services and strategies for seeking medical care, thereby, influencing reproductive decisions. In post-Soviet megacities, the higher the social status, the more often paid channels and personal connections are used, while low-status groups are limited in choice and postpone treatment, which increases health risks [21; 52]. However, reproductive intentions are not determined only by income: the “desired” and “expected” numbers of children differ due to the norms, education, marital and family trajectories, possibilities, and so on. Thus, educational status and values differently affect the desire to have more children. For the correct interpretation of Almaty data, we consider both — attitudes and expectations [6; 7].

To conceptualize well-being, we rely on the capabilities approach: what matters the most is not the formally “allowed” but real opportunities the woman has — to get advice, pay for examination, plan a childbirth without ruining one's career. Indicators of well-being beyond income (health, education, access to services, social support) have been adopted by the international studies of the quality of life as providing a more adequate operationalization in the urban context [27; 56].

We tested three nodal hypotheses on arrays in Almaty: (H1) lower household income leads to the later first child and less frequent use of contraception (given the same education and age); (H2) income connection with plans is mediated by access to medical services and information resources (including insurance); (H3) normative ideas of motherhood and marital statuses moderate the effect of income on expectations and behavior (“desired vs expected”). Thus, if it is not so much intentions that are decisive as bottlenecks in capabilities (time/cost of access, lack of information), then measures should address precisely the limited possibilities: mobile consultations and emergency check-up within walking distance, subsidies for contraception; for vulnerable groups — “navigation” services and educational

modules — in order to reduce the gap between desired and expected number of children. The post-Soviet urban studies show that such interventions reduce negative social-economic factors and increase the feasibility of reproductive plans [52; 62].

The key scientific approaches, which provide a deeper understanding of how economic status, social context and gender norms affect reproductive attitudes and decisions, consider institutional and biological conditions together with social experiences, including real-life scenarios: not all women with poor background seek to have children, and not all high-income women follow reproductive plans. Today, there is a growing number of people consciously rejecting motherhood and fatherhood, which means the need to study not only structure but also personal choice. Moreover, childbirth is often the result of unplanned circumstances rather than of a well-thought-out strategy, especially under social-economic instability. The chosen theoretical framework combines macro-level determinants with micro-social decisions in order to better understand how structural inequality transforms into individual experiences that shape reproductive identity. Thus, the demographic approach considers the influence of economic and institutional factors on fertility [18]. According to the economic theory of fertility, an increase in family income leads to a decrease in the number of children due to the high cost of their upbringing [10; 11]. The gender approach emphasizes the influence of patriarchal norms, and gender inequality influences women's reproductive decisions [41]. The life course approach considers the impact of social, economic and biological factors on reproductive health life [12; 35; 37] from childhood to adulthood (the impact of income, educational level, social environment and access to medical services).

Household income has a significant impact on women's reproductive strategies: women from low-income households are more likely to postpone childbirth due to economic instability [39]; in high-income countries, women are more likely to use contraception and plan a smaller family [26]; economic instability increases the likelihood of early pregnancies in poor households [34] due to the lack of a financial safety net and career opportunities, and limited access to medical services. Social-economic conditions in childhood, such as family income and social support, have a significant impact on women's reproductive characteristics, including the age of menarche and menopause [13; 40; 47; 49; 61; 63]. A high level of economic stress in childhood can lead to an early onset of menarche, which is associated with a higher probability of early pregnancy and social-economic vulnerability in adulthood [14; 20]. Such difficulties in childhood as poverty, family conflicts and parental divorce are also associated with an earlier start of reproductive life [15; 16; 51]. Women from low-income families are more likely to face a lack of quality medical care, which increases the risk of complications during pregnancy and childbirth, including unsafe abortions [2; 19; 25], and the likelihood of prematurity, perinatal mortality, and developmental delays [30; 42]. In addition, social-economic inequality affects access to methods of contraception:

low-income women are less likely to use contraceptive methods, which leads to an increase in unplanned pregnancies and abortions [1; 8; 9]. Limited access to reproductive health education programs also contributes to an increase in the number of unwanted pregnancies among women from vulnerable groups.

In societies with a high level of economic stratification, women's reproductive attitudes vary depending on class [17]: women from lower social groups more often consider motherhood a central element of identity [22], while in the middle class, there is a tendency towards conscious parenting and delayed childbirth [28]. In societies with pronounced social inequality, women from lower social strata may perceive early motherhood as a strategy of social adaptation that provides a certain status and support [47]; on the contrary, middle-class women tend to focus on professional career and financial independence before having children [31]. Reproductive identity is also associated with social norms and stigmatization: poor women are more likely to face public condemnation if abandon traditional reproductive approaches, which limits their choice in childbearing [36]. At the same time, limited resources and lack of economic support reduce their ability to control reproductive decisions.

We define reproductive identity not only as a set of values and expectations shaped by social-economic and cultural norms, but also as a vital and dynamic experience limited by material conditions. In Almaty, reproductive identity as a continuum reflecting how women perceive their maternal role, reproductive activity and bodily experiences in response to economic pressure. This conceptualization combines subjective assessments of financial well-being, family planning intentions and self-reported health symptoms as indicators of how reproductive identity is formed and how it is negotiated in conditions of inequality.

Life approach to the study of reproductive health emphasizes the importance of critical periods when economic factors can have the greatest impact on future reproductive strategies [36; 37]. Thus, economic conditions in early childhood can form the risk of undesirable reproductive outcomes through the mechanism of accumulating risks or risk chains [37]. Factors influencing the age of menarche and menopause are also a part of the life approach. Social-economic conditions in childhood, such as nutrition, medical care and education of parents, influence the age of the beginning of reproductive life [43; 63]: women with economic difficulties in childhood are more likely to face reproductive health problems in adulthood, including early menopause, pregnancy complications and chronic diseases [49; 50; 53].

Women's reproductive behavior is determined by a combination of social-cultural norms, economic factors, and family traditions. In Central Asia and Kazakhstan, women's reproductive decisions are significantly influenced by traditional family foundations, social expectations, religious norms, and economic development of households [3]. Reproductive values of women in Central Asia differ from Western models of fertility due to patriarchal norms, according

to which motherhood is a key element of female identity [32]. In traditional societies, childbearing remains the main indicator of women's success, which affects the number of children, the age of marriage, and the use of contraception [24].

In Central Asia, there are significant changes in women's reproductive behavior under urbanization [3; 4; 5; 55]: women with a higher level of education and financially independent are less likely to adhere to traditional norms of having many children and more often use family planning methods. However, despite the transformation of family models, traditional values of family stability and high importance of childbearing remain in Kazakhstan [38]: women in rural areas are more likely to follow traditions of early marriage and having many children, while in urban areas there is an increase in the age of marriage and a decrease in the birthrate [23; 24]. The family still plays a key role in women's reproductive decisions, especially in traditional households, since the older generation influences the number of children and the interval between births [65]. In the Kazakh culture, multigenerational families contribute to the preservation of collective reproductive decisions [33]. Moreover, in patriarchal societies, women experience social pressure, which limits their autonomy in choosing contraception and family planning [29]. However, urbanization and growing economic independence of women weaken the influence of family norms, contributing to the development of conscious parenting [48].

Islam has a significant impact on reproductive values of women in Kazakhstan and Central Asia, supporting the traditional role of women as mothers and guardians of the family [4]. At the same time, religious norms vary depending on the region: more conservative reproductive models are common for southern regions of Kazakhstan and Uzbekistan, while in cities, there is a decrease in religious influence on birthrate [54]. Historically, there have been traditions aimed at strengthening family values, for example, the Kazakh institution of *amanat* (a child was given to relatives) and polygamous marriages, which regulated the distribution of reproductive roles in the family [65]. Although these practices are rare today, their influence persists in the family hierarchy and reproductive expectations.

Despite many studies of women's reproductive behavior in Central Asia, unresolved issues remain. First, the influence of economic factors on reproductive strategies, especially of urban and rural women [23; 24]. Second, intergenerational differences in reproductive attitudes as young women are increasingly refusing the traditional norms of childbearing [38; 47]. In Almaty, women's reproductive values are shaped by urbanization, modernization of family relations, and economic mobility. However, elements of the traditional family structure remain, which creates a unique mix of conservative and contemporary reproductive strategies.

The research confirms that economic inequality is one of the key factors of women's reproductive strategies. Lack of financial resources, limited access to education and medical care, social norms increase women's vulnerability

to early and unplanned pregnancies, which ultimately affects their social-economic status and identity. In Almaty, these factors manifest themselves in unequal access to health services, educational resources and employment opportunities, which requires further study and policy development to reduce the existing gap.

Women's reproductive behavior is influenced by a variety of factors, among which the household economic status, income, access to health services and social-cultural norms play a key role [48]. In conditions of economic inequality, these factors determine the strategy of childbearing, availability of contraceptives and high-quality medical care. Kazakhstan as a country with active urbanization and significant social-economic imbalances present a unique case to study the interrelationship of demographic, economic and cultural factors that determine reproductive patterns. Almaty, the country's largest metropolis, combines high population density with pronounced social stratification: with 2,3 million inhabitants the city is the leading economic and demographic center of Kazakhstan and the main attractor of internal migration, which unites groups that differ in income, education and cultural traditions, forming a complex social environment for making reproductive decisions. Despite the fact that the sample of 320 respondents is not representative for the country (the error is more than 6%), the structural heterogeneity of the city allows to identify key patterns of urbanized contexts and stratification as affecting reproductive decisions and values.

Almaty shows significant differences in income: the average monthly nominal salary in the third quarter of 2024 amounted to 471,264 tenge, which is 15.2% higher than in 2023, but many face economic difficulties — the unemployment rate was 4.6%, and the number of registered unemployed reached 12,625. Despite the high average income, social contrasts remain significant: in the first quarter of 2024, the average per capita monetary income in Almaty amounted to 287,213 tenge, which is 47% higher than the national average, but there are still limitations in access of low-income groups to medical care, which may affect the frequency of medical examinations during pregnancy, the use of contraceptives, and family planning.

Almaty is the leading medical center in Kazakhstan, with a well-developed healthcare system of more than 250 public and private medical institutions, specialized reproductive centers and leading medical universities. However, urbanization does not always lead to improved reproductive health: low-income women face barriers in access to health services due to economic constraints, lack of time and awareness. According to the Multi-Indicator Cluster Survey (MICS, 2015) [2], the coverage of prenatal care by qualified medical personnel in Kazakhstan is 99.3%; however, in rural areas, 10.8% of pregnant women are under the supervision of nurses or midwives, which shows certain barriers for low-income families and migrants.

The concept of reproductive identity considers childbearing as a result of the interaction of structural conditions (economic inequality, access to resources, cultural norms) and individual attitudes. We rely on the theory of rational choice

in reproductive behavior and the “well-being as an opportunity” to evaluate not only formal rights but also the real opportunities of women in the field of reproductive health. We conducted a survey of women aged 18–49 from households with different income. The stratified sampling with elements of targeted selection allowed to take into account the diversity of social-economic conditions in the city (family plans, experience of seeking medical help, frequency of specialist consultations, availability of services and a subjective assessment of the financial situation). Data was collected with face-to-face interviews and online questionnaires, which allowed to reach respondents with different participation opportunities. First, descriptive statistics (frequencies, averages, medians, standard deviations) were used, next — correlation analysis (Spearman, Pearson) and regression modeling (linear and logistic) — to assess the impact of social-economic factors on the use of contraception, seeking medical help and choosing a family planning strategy. Variance analysis (ANOVA) showed differences between social-economic groups, factor analysis revealed latent determinants of reproductive decisions, and cluster analysis provided a typology of respondents based on behavioral patterns.

51% of the respondents were aged 18–25 years, 17% — 26–35 years, 25% — 36–45 years, which allows for the analysis of reproductive behavior in different age groups. Most respondents were Kazakh by nationality and Muslim; about half were single, about 22% — married, less than 2% — divorced or widowed, which allows for considering marital status as a factor of reproductive attitudes and practices. Only 8% had no financial difficulties and could purchase such expensive goods as a car or apartment. 54% considered their income sufficient for basic needs except for expensive purchases. 34% had difficulty purchasing durable goods, but their income was enough for buying food and clothing. Only 2% of women experienced serious financial difficulties, including lack of funds for food. Such data indicates a pronounced social-economic stratification among women in Almaty and the importance of the material factor for reproductive decisions.

Spearman’s rank correlation coefficients were calculated: for meaningful interpretation, coefficients with a value of at least 0.3 were considered (a moderate relationship of practical importance) [52]. However, some weaker but statistically significant coefficients (0.13–0.19) were also identified as indicating trends that deserve attention when interpreting the social-economic determinants of reproductive behavior. For instance, a positive, albeit weak, correlation between the frequency of financial difficulties and plans for family expansion in 3–5 years ($r = 0.138$, $p = 0.014$) shows that women with financial difficulties are more likely to postpone childbirth. This trend is consistent with the hypothesis that economic instability is one of the key factors hindering the implementation of reproductive plans. Some respondents directly explained the refusal to have a second child by inability to pay for basic medical services or by the lack of a stable income from one’s partner. Thus, the initial positions of women in relation to reproductive rights vary significantly: economic instability determines the strategy of “careful

parenting”, in which priority is given to ensuring a minimum level of social and medical well-being of existing children. This weak but stable correlation reflects the logic of adaptation, despite the formally low values of coefficients.

The revealed positive correlation between financial difficulties and the postponement of family expansion indicates such structural feature of low-income households as the fate of women, whose reproductive decisions are limited not so much by choice as by external circumstances. Financial instability is not just a risk factor but a systemic obstacle to the realization of reproductive rights. Low-income women are more likely to find themselves in a position, in which having a child is associated with further impoverishment, and access to medical services and contraceptives is perceived as a privilege rather than a basic right. Thus, there is a paradoxical situation: despite the biological ability to motherhood, economic barriers make it socially unacceptable or impossible at a certain point in life, which indicates the need to rethink the role of the state and society in supporting vulnerable groups and to create a sustainable social protection infrastructure that can offset the impact of economic inequality on reproductive health.

The second significant relationship was found between financial difficulties and the subjective assessment of family material well-being ($r = -0.189$, $p = 0.001$). A moderate negative correlation indicates that the lower the subjective well-being, the more often women report financial difficulties. This connection is logical and confirms that the subjective perception of financial situation reflects the real impact of material constraints on everyday life and affects women’s confidence in their ability to start a family and to provide for the basic needs of future children. There was also a moderate positive correlation between family expansion plan and the frequency of seeking medical help for reproductive health-related symptoms ($r = 0.176$, $p = 0.002$), i.e., women planning family expansion more actively seek medical help, probably to prepare for pregnancy which may indicate high responsibility and awareness among women who consider medical support a necessary condition for safe motherhood. A moderate negative correlation was found between family expansion plan and assessments of family material well-being ($r = -0.164$, $p = 0.003$), which suggests that women, who assess their financial situation as less stable, are more likely to abandon plans to expand their family in the nearest future. There was no significant correlation between financial aspects and the frequency of medical care requests ($r = -0.051$, $p = 0.360$), which may be due to the accessibility of medical services in Almaty (many are free of charge or at minimal cost), which negates the impact of income on the ability to get medical help.

Considering how the subjective perception of women’s financial situation and difficulties affect reproductive behavior and decision-making related to childbirth, we found a moderate negative correlation between financial difficulties and subjective well-being ($r = -0.189$, $p = 0.001$): women who feel financial pressure are more likely to report a low level of financial security, i.e., subjective assessment of social-economic status adequately reflects the impact of material constraints

on daily life, sense of confidence and control over the future. There is a moderate positive correlation between family expansion plans and the frequency of medical care requests ($r = 0.176$, $p = 0.002$), which may indicate active reproductive strategies of some women: the desire for motherhood is accompanied by a conscious approach to reproductive health, which manifests high responsibility and awareness, especially given the general unavailability of specialized medical services for vulnerable groups. A significant negative relationship was found between family planning and subjective assessment of financial situation ($r = -0.164$, $p = 0.003$): women with unstable well-being are less likely to plan childbirth in the nearest future. This trend is consistent with the well-known model of “socially conditioned postponed parenthood” — until an acceptable level of economic sustainability is achieved.

However, there are observations with no significant statistical relationships: between financial difficulties and the decision to procreate ($r = 0.093$, $p = 0.097$), between financial aspects and the frequency of medical treatment ($r = 0.051$, $p = 0.360$). Such observations highlight the complexity of social reality: decisions about having a child are determined not only by economic factors, but also by cultural norms, family traditions, interpersonal relationships, religious beliefs and institutional contexts, including the public health care system. For instance, in Almaty, where reproductive services are provided partially free of charge, women get access to basic medical care even with limited incomes. Moreover, traditionalist communities consider motherhood as a social obligation, which reduces the influence of financial arguments on reproductive decisions.

Such an “indirect” structure of behavior determination, when decisions about parenthood are affected by multiple factors, confirms the need for an integrated approach, taking into account economic, cultural, emotional, psychological and institutional aspects that affect women’s reproductive attitudes and behavior in conditions of social-economic inequality. Therefore, the term “reproductive discomfort” refers to a set of subjectively significant symptoms that women report: pelvic and abdominal pain, menstrual irregularities, urination discomfort, and pain during sexual activity. Although these symptoms may not always reflect clinically diagnosed conditions, they are important indicators of women’s reproductive well-being, especially when access to professional medical care is limited or stigmatized. Such variables allow to analyze how bodily experience interacts with economic conditions and reproductive plans. The data in Table 1 confirms the hypothesis about the impact of financial constraints on the timely detection and treatment of urogenital diseases, while no significant correlation between subjective well-being and pain during sexual activity may indicate that the latter is determined by other factors than economic status — individual health characteristics, psycho-emotional state or the quality of intimate relationships. However, low-income women may have visited doctors less frequently and, consequently, had less awareness of possible health problems. Moreover, most of the reproductive health symptoms have significant positive correlations with each other.

**Correlations between material well-being and reproductive health symptoms
(only statistically significant relationships — $p < 0.05$)**

Variable 1	Variable 2	r	Interpretation
Abdominal/pelvic pain or discomfort	Changes in pain during menstruation	0.506	Moderate positive correlation
Abdominal/pelvic pain or discomfort	Discomfort during urination/defecation	0.439	Moderate positive correlation
Abdominal/pelvic pain or discomfort	Discomfort in the ovaries/uterus	0.351	Moderate positive correlation
Abdominal/pelvic pain or discomfort	Menstrual cycle disorders	0.504	Moderate positive correlation
Changes in pain during menstruation	Discomfort in the ovaries/uterus	0.415	Moderate positive correlation
Changes in pain during menstruation	Menstrual cycle disorders	0.3	Moderate positive correlation
Pain during sexual activity	Discomfort in the ovaries/uterus	0.591	Strong positive correlation
Pain during sexual activity	Menstrual cycle disorders	0.4	Moderate positive correlation
Discomfort in the ovaries/uterus	Menstrual cycle disorders	0.517	Strong positive correlation

Correlation analysis revealed statistically significant correlations between age, having children, and symptoms related to women's reproductive health. Thus, the age of respondents showed a significant negative correlation with having children ($r = -0.419$, $p = 0.000$), which is explained by the age distribution of the sample (younger respondents have fewer children), and a negative correlation with pain during sexual activity ($r = -0.184$, $p = 0.001$), which may indicate that as women age, they are less likely to experience pain during sexual activity, possibly due to physiological changes or a decrease in the frequency of sexual intercourse. However, the relationship between age and other symptoms was statistically insignificant ($p > 0.05$), perhaps, since reproductive symptoms do not depend on age, especially if women regularly visit medical institutions.

Having children showed a positive correlation with most symptoms (frequency of abdominal and pelvic pain, changes in pain during menstruation or sexual activity, discomfort during urination, bowel movement or in the ovaries or uterus, menstrual cycle abnormalities), i.e., women with children are more likely to experience symptoms of reproductive discomfort, probably due to physiological changes after childbirth, which means the need for enhanced medical monitoring of women after childbirth. Additionally, strong intra-symptomatic correlations were identified, confirming their physiological relationship.

The results of the study allowed to identify several areas for further scientific research. First, we need to conduct a deeper qualitative analysis of the impact of social-cultural factors on women's reproductive behavior, including their perception of medical services, the role of the family and intergenerational differences. Second, the study sample needs to be expanded to include women with other social-economic backgrounds, from rural and urban areas, in order to identify possible differences in reproductive strategies. Third, we need longitudinal research — long-term monitoring of women from different social groups will allow for a more accurate assessment of the impact of economic factors on reproductive behavior and health, changes in family planning strategies, and long-term effects of economic inequality on reproductive health.

The research findings also raise the question of the role of subjective perception of well-being and health. Women in the same objective conditions may interpret their situation differently depending on cultural norms, educational level, religious beliefs, and intergenerational experience. Therefore, reproductive behavior cannot be understood solely as a result of economic indicators — it should be considered as part of a broader social practice that includes semantic, symbolic, and bodily aspects. These results suggest the following directions for further research: first, it is necessary to strengthen the qualitative component of analysis — conduct interviews and focus groups to identify the logic by which women interpret their reproductive health; combine approaches from sociology, medicine, anthropology, and psychology to gain more complete knowledge about women's reproductive strategies in conditions of economic inequality, thus, developing more effective government support programs, increasing the availability of medical services, and implementing educational programs for improving women's reproductive health and reducing social inequality.

The results obtained are not only consistent with the available empirical data but also contribute to the development of theoretical approaches to the study of reproductive behavior, including the concept of reproductive identity and the theory of the life path, which allows for a deeper understanding of how social-economic inequality, cultural norms, and individual life experiences shape reproductive strategies in large cities with pronounced social stratification. First, it is necessary to strengthen measures ensuring access to health services for low-income women (specialized programs for free or discounted medical examinations, mobile medical teams that can provide services in remote or socially disadvantaged areas). Second, it is necessary to develop postnatal support programs for women with children based on regular monitoring of reproductive health, preventive examinations, psychological support and guaranteed access to educational programs about health, which would reduce the risk of complications and improve the quality of life of women in the postnatal period. Third, special campaigns should raise women's awareness of reproductive

health symptoms and the need for regular medical checkups, especially for women of younger age (digital platforms, social networks, and communities can be an effective tool in informing and reducing barriers to receiving qualified medical care). Fourth, it is necessary to introduce a sustainable system of long-term social support for women with children, which would go beyond one-time benefits in relation to self-care, psychological well-being and social adaptation (network of social workers and advisory services that would accompany women after childbirth, advise in critical circumstances, provide legal, psychological and social support to strengthen parental competencies, self-esteem and access to social infrastructure). Fifth, it is necessary to create an accessible network of developmental, medical and temporary social services for women with children (state counseling centers on early childhood development, organization of leisure and educational programs for both children and mothers, temporary centers or short-term stay facilities for children). Such a flexible support system based on the principles of humanity, safety and adaptability to women's needs would significantly improve the quality of life, reduce the risks of emotional burnout and strengthen the social integration of mothers in vulnerable situations.

References

1. Adekunle A.O., Arowojolu A.O., Adedimeji A.A., Roberts O.A. Adolescent contraception: Survey of attitudes and practice of health professionals. *African Journal of Medicine and Medical Sciences*. 2000; 29 (3–4).
2. Adolescent pregnancy. 2014. URL: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/en>.
3. Agadjanian V. Men's talk about 'women's matters': Gender, communication, and contraception in urban Mozambique. *Gender & Society*. 2002; 16 (2).
4. Agadjanian V. Religion, social milieu, and the contraceptive revolution. *Population Studies*. 2001; 55 (2).
5. Agadjanian V., Makarova E. From Soviet modernization to post-Soviet transformation: Understanding marriage and fertility dynamics in Uzbekistan. *Development and Change*. 2003; 34 (3).
6. Arkhangelsky V.N. *Faktery rozhdayemosti* [Fertility Factors]. Moscow; 2006. (In Russ.).
7. Arkhangelsky V.N., Shulgin S.G., Zinkina Yu.V. Reproductivnoe povedenie rossiiskih zhenshchin v zavisimosti ot obrazovatel'nogo statusa [Reproductive behavior of Russian women depending on educational status]. *RUDN Journal of Sociology*. 2020; 20 (3). (In Russ.).
8. Atuyambe L., Kibira S.P., Bukenya J., Muhumuza C., Apolot R.R., Mulogo E. Understanding sexual and reproductive health needs of adolescents: Evidence from a formative evaluation in Wakiso district, Uganda. *Reproductive Health*. 2015; 12.
9. Atuyambe L., Mirembe F., Annika J., Kirumira E.K., Fixelid E. Seeking safety and empathy: Adolescent health seeking behavior during pregnancy and early motherhood in central Uganda. *Journal of Adolescence*. 2009; 32 (4).
10. Becker G.S. *A Treatise on the Family*. Harvard University Press; 1991.
11. Ben-Shlomo Y., Kuh D. A life course approach to chronic disease epidemiology: Conceptual models, empirical challenges, and interdisciplinary perspectives. *International Journal of Epidemiology*. 2002; 31 (2).
12. Ben-Shlomo Y., Kuh D. A life course approach to chronic disease. *International Journal of Epidemiology*. 2002; 31 (2).

13. Billewicz W.Z., Fellowes H.M., Thomson A.M.. Menarche in Newcastle upon Tyne girls. *Annals of Human Biology*. 1981; 8 (4).
14. Blell M., Pollard T.M., Pearce M.S. Predictors of age at menarche in the Newcastle thousand families study. *Journal of Biosocial Science*. 2008; 40 (4).
15. Bogaert A.F. Age at puberty and father absence in a national probability sample. *Journal of Adolescence*. 2005; 28 (4).
16. Bogaert A.F. Menarche and father absence in a national probability sample. *Journal of Biosocial Science*. 2008; 40 (4).
17. Bourdieu P. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Harvard University Press; 1984.
18. Caldwell J.C. *Theory of Fertility Decline*. Academic Press; 1982.
19. Chandra-Mouli V., Camacho A.V., Michaud P.A. WHO guidelines on preventing early pregnancy and poor reproductive outcomes among adolescents in developing countries. *Journal of Adolescent Health*. 2013; 52 (5).
20. Dos Santos Silva B.L., De Stavola V., Mann V., Kuh D., Hardy R., Wadsworth M.E. Prenatal factors, childhood growth trajectories and age at menarche. *International Journal of Epidemiology*. 2002; 31 (2).
21. Dubikaytis T., Larivaara M., Kuznetsova O., Hemminki E. Inequalities in health and health service utilization among reproductive age women in Saint Petersburg, Russia: A cross-sectional study. *BMC Health Services Research*. 2010; 11.
22. Edin K., Kefalas M. *Promises I Can Keep: Why Poor Women Put Motherhood Before Marriage*. University of California Press; 2005.
23. Falkingham J. *Women and Gender Relations in Tajikistan*. Asian Development Bank; 2001.
24. Falkingham J., Gjonca A. Fertility transition in Communist Albania, 1950–90. *Population Studies*. 2001; 55 (3).
25. Ganchimeg T., Ota E., Morisaki N. et al. Pregnancy and childbirth outcomes among adolescent mothers: A WHO multi-country study. *International Journal of Obstetrics & Gynaecology*. 2014; 121.
26. Goldscheider F., Bernhardt E., Lappegård T. The gender revolution: A framework for understanding changing family and demographic behavior. *Population and Development Review*. 2015; 41 (2).
27. Harvey D. An overview of the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (CMEPSP). URL: <https://www.staff.ncl.ac.uk/david.harvey/MKT3008/IntDev/CMEPSPoverview.pdf>
28. Hays S. *The Cultural Contradictions of Motherhood*. Yale University Press; 1996.
29. Heyat F. *Azerbaijani Women: Gender, Culture and Social Change*. Routledge; 2002.
30. Horgan R.P., Kenny L.C. Management of teenage pregnancy. *Obstetrics and Gynaecology*. 2007; 9 (3).
31. Jewkes R., Vundule C., Maforah F., Jordaan E. Relationship dynamics and teenage pregnancy in South Africa. *Social Science & Medicine*. 2001; 52 (5).
32. Kandiyoti D. The politics of gender and the Soviet paradox: Neither colonized, nor modern? *Central Asian Survey*. 2007; 26 (4).
33. Kazakh families uphold marriage traditions as costly weddings lose appeal. 2025. URL: <https://astanatimes.com/2025/01/kazakh-families-uphold-marriage-traditions-as-costly-weddings-lose-appeal-survey-finds>.
34. Kirk D. Demographic transition theory. *Population Studies*. 1996; 50 (3).
35. Kok H.S., van Asselt K.M., van der Schouw Y.T. et al. Genetic studies to identify genes underlying menopausal age. *Human Reproduction Update*. 2005; 11 (5).
36. Krugu J.K., Mevissen F.E., Prinsen A., Ruiter R.A. Who's that girl? A qualitative analysis of adolescent girls' views on factors associated with teenage pregnancies in Bolgatanga, Ghana. *Reproductive Health*. 2016; 13.

37. Kuh D., Ben-Shlomo Y., Lynch J., Hallqvist J., Power C. Life course epidemiology. *Journal of Epidemiology and Community Health*. 2003; 57 (10).
38. Laszczkowski M. “Demo version of a city”: Buildings, affects, and the state in Astana. *Journal of the Royal Anthropological Institute*. 2016; 22 (1).
39. Lesthaeghe R. The unfolding story of the second demographic transition. *Population and Development Review*. 2010; 36 (2).
40. Matta W.M., Attallah N.L., El Mankoushi M. Age at menarche of schoolgirls in Khartoum. *Annals of Human Biology*. 1983; 10 (2).
41. McDonald P. Gender equity in theories of fertility transition. *Population and Development Review*. 2000; 26 (3).
42. *Meeting the Needs of Pregnant and Parenting Teens*. Washington; 2009.
43. Morton S.M.B., Rich-Edwards J. Family-based studies and reproductive health. D.A. Lawlor, G.D. Mishra (Eds.). *Family Matters: Designing, Analyzing and Understanding Family-Based Studies in Life Course Epidemiology*. Oxford University Press; 2009.
44. Narbut N.P., Trotsuk I.V. Sotsialnoe samochuvstvie molodezhi postsotsialisticheskikh stran (na primere Rossii, Kazakhstana i Chekhii): Sravnitelny analiz tsennostnykh oriyentatsiy (Chast 1) [Narbut N.P., Trotsuk I.V. The social well-being of the post-socialist countries' youth (on the example of Russia, Kazakhstan and Czech Republic): Comparative analysis of value orientations (Part 1). *RUDN Journal of Sociology*. 2018; 18 (1).
45. Narbut N.P., Trotsuk I.V. Sotsialnoe samochuvstvie molodezhi postsotsialisticheskikh stran (na primere Rossii, Kazakhstana i Chekhii): sravnitelny analiz strakhov, nadezhd i opaseniya (Chast 2) [Narbut N.P., Trotsuk I.V. The social well-being of the post-socialist countries' youth (on the example of Russia, Kazakhstan and Czech Republic): Comparative analysis of fears and hopes (Part 2)]. *RUDN Journal of Sociology*. 2018; 18 (2). (In Russ.).
46. Narbut N.P., Trotsuk I.V., Ji Jinfeng. Ozhidaniya i opaseniya studencheskoy molodezhi: sotsiologicheskaya otsenka v krosskulturnom kontekste [Student youth expectations and concerns: sociological evaluation in the cross-cultural context]. *RUDN Journal of Sociology*. 2014; 1. (In Russ.).
47. Oduntan S.O., Ayeni O., Kale O.O. The age of menarche in Nigerian girls. *Annals of Human Biology*. 1976; 3 (3).
48. Osmonova D., Talgarbekova E., Tashtanbekova M., Moldoshova A., Anastassiadi A. Evolution of family relationship in Kyrgyzstan. *Social and Legal Studies*. 2023; 6 (4).
49. Rao S., Joshi S., Kanade A. Height velocity, body fat and menarcheal age of Indian girls. *Indian Pediatrics*. 1998; 35 (7).
50. Rich-Edwards J.W. Reproductive health as a sentinel of chronic disease in women. *Women's Health*. 2009; 5 (2).
51. Romans S.E., Martin J.M., Gendall K., Herbison G.P. Age of menarche: Psychosocial factors. *Psychological Medicine*. 2003; 33 (5).
52. Rusinova N.L., Brown J. Social inequality and strategies for getting medical care in post-Soviet Russia. *Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness, and Medicine*. 2003; 7 (1).
53. Sattar N., Greer I.A. Pregnancy complications and maternal cardiovascular risk: Opportunities for intervention and screening? *BMJ*. 2002; 325 (7356).
54. Shanazarova A. *Female Religiosity in Central Asia: Sufi Leaders in the Persianate World*. Cambridge University Press; 2024.
55. Spoorenberg T. Fertility changes in Central Asia since 1980. *Asian Population Studies*. 2017; 13 (1).
56. Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.-P. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. 2009. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/8131721/8131772/Stiglitz-Sen-Fitoussi-Commission-report.pdf>
57. Trotsuk I.V., Anamoa-Pokoo S. Is reliable sociological measurement of social well-being possible? The case of Ghana. *RUDN Journal of Sociology*. 2024; 24 (3).

58. Trotsuk I.V., Paramonova A.D. Prioritety i stereotipy rossiyskoy molodezhi v sfere brachnosti (na primere natsionalno-smeshannykh soyuzov) [Marriage priorities and patterns of the Russian youth (on the example of mixed marriages)]. *RUDN Journal of Sociology*. 2015; 15 (3). (In Russ.).
59. Trotsuk I.V., Paramonova A.D. “Status” instituta semyi v sovremennom obshchestve i semeyno-brachnye tsennosti molodezhi [Trotsuk I.V., Paramonova A.D. “Status” of family institution in the contemporary society, and family and marriage values of the youth]. *RUDN Journal of Sociology*. 2016; 16 (3). (In Russ.).
60. Trotsuk I.V., Savelieva E.A., Salekh A.A. Semiya, brak, lyubov — ravnotsennyye ili nesvyazannyye ponyatiya dlya molodyh rossiyan? [Trotsuk I.V., Savelieva E.A., Salekh A.A. Family, marriage, love — equal or unrelated concepts for the Russian youth?]. *RUDN Journal of Sociology*. 2014; 3. (In Russ.).
61. Ulijaszek S.J., Evans E., Miller D.S. Age at menarche in London schoolgirls. *Annals of Human Biology*. 1991; 18 (2).
62. Vågerö D., Kisliutsyna O., Ferlander S., Migranova L., Carlson P., Rimachevskaya N. Moscow health survey 2004 — social surveying under difficult circumstances. *International Journal of Public Health*. 2008; 53 (4).
63. van Asselt K.M., Kok H.S., Pearson P.L. et al. Heritability of menopausal age. *Fertility and Sterility*. 2004; 82 (5).
64. Warenius L., Pettersson K.O., Nissen E., Højer B., Chishimba P., Fixelid E. Reproductive health in Zambia. *Culture, Health & Sexuality*. 2007; 9 (5).
65. Werner C. Bride abduction in post-Soviet Central Asia: Marking a shift towards patriarchy through local discourses of shame and tradition. *Journal of the Royal Anthropological Institute*. 2009; 15 (2). 48

DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-734-749

EDN: KHVLE

Социально-экономические детерминанты репродуктивного здоровья женщин в Алматы (Казахстан)*

А.А. Бакытжанова¹, Г.Т. Алимбекова², Т. Тойкко³

¹Казахский национальный университет им. Аль-Фараби,
просп. Аль-Фараби, 71, Алматы, 050040, Республика Казахстан,
050002, Республика Казахстан

²Центр изучения общественного мнения
ул. Жибек Жолы, 54, Алматы, 050002, Республика Казахстан

³Университет Восточной Финляндии,
Юлиопистокату, 2, FI-80101, Йюэнсуу, Финляндия

(e-mail: ainurb1997@gmail.com; g.alimbekova@gmail.com; timo.toikko@uef.fi)

Аннотация. В Алматы, где ярко выражено социально-экономическое неравенство, актуальность исследования обусловлена необходимостью понять, как доход домохозяйства влияет на репродуктивные стратегии женщин и их репродуктивную идентичность. Цель ис-

* © Бакытжанова А.А., Алимбекова Г.Т., Тойкко Т., 2025

Статья поступила в редакцию 27.05.2025. Статья принята к публикации 14.10.2025.

следования — выявить взаимосвязь между субъективной оценкой благополучия, частотой возникновения финансовых трудностей, планами по расширению семьи и проявлением симптомов репродуктивного здоровья у женщин 18–49 лет, проживающих в Алматы. Был применен перекрестный количественный анализ на данных, полученных с помощью метода личного опроса на многослойной случайной выборке (N=320 женщин из восьми районов Алматы). Описательная статистика, корреляционный анализ Спирмена, регрессии, факторный и кластерный анализы выявили положительную корреляцию между финансовыми трудностями и откладыванием планов деторождения на ближайшие 3–5 лет, отрицательную корреляцию между благополучием и физиологическим дискомфортом, положительную корреляцию между планами по расширению семьи и обращением за медицинской помощью. Женщины с детьми значительно чаще жалуются на репродуктивные симптомы, что указывает на необходимость улучшения послеродового ухода. Доход домохозяйств — ключевой фактор как конкретных репродуктивных решений (выбор времени и планирование деторождения, обращение за медицинской помощью), так и формирования репродуктивной идентичности. Особенность представленного в статье исследования — сочетание количественных методов с акцентом на субъективных оценках благополучия и анализом симптомов здоровья, что позволяет обоснованно предложить следующие меры целевой поддержки женщин: развитие бесплатных и мобильных услуг для женщин с низким уровнем дохода, программы постнатального мониторинга и информационно-просветительские кампании по вопросам репродуктивного здоровья в условиях социального неравенства в Алматы.

Ключевые слова: репродуктивные детерминанты; репродуктивное поведение; социально-экономическое неравенство; доходы домохозяйств; Алматы; экономическая социология; репродуктивное здоровье женщин

Для цитирования: Бакытжанова А.А., Алимбекова Г.Т., Тойкко Т. Социально-экономические детерминанты репродуктивного здоровья женщин в Алматы // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 4. С. 734–749. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-734-749>



DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-750-766

EDN: KFQCNE

Transformation path of China's cities in industrial decline: The case of Changchun *

Zhang Xiaohu¹, Li Menglong²

¹Xiangtan University,
Xiangtan, 411105, Hunan, China

²Jilin University,
Changchun, 130012, Jilin, China

(e-mail: xhzhang@xtu.edu.cn; limenglong@jlu.edu.cn)

Abstract. Since the mid-20th century, many industrial cities have fallen into decline. Traditional industrial areas in many developed countries, such as the Great Lakes region in the northeastern United States, the Ruhr area in Germany, Birmingham and Manchester in the UK, and the Ural industrial zone in Russia, experience industrial decline, weak economic growth and urban decay as a manifestation of regional decline — a “reverse development phenomenon”. Today, economic, social, environmental and other factors made large-scale cross-regional migration almost a social norm, while regions with population outflow inevitably fall into decline due to labor shortage and brain drain. The primary cause of industrial city decline is the unbalanced industrial structure which determined production, resource and capital dependence, reducing flexibility and sustainability of the urban economy. Once an economic crisis affects the urban pillar industry, a vicious cycle of economic weakness and population loss arises and ultimately leads the city into a development trap: economic shocks caused by industrial structure imbalance, demographic shocks from massive loss of labor force, political shocks from urban growth and spatial shocks from suburbanization have led to qualitative changes in the urban spatial pattern, leading to urban decline. The development crisis of industrial cities triggers the collapse of the urban system, resulting in the loss of urban development elements and a decline. China is currently in a transition from industrialization to post-industrialization, and industrial cities face the risk of urban decline. As the capital of the Jilin Province, Changchun is a famous center of heavy industry, and since the mid-20th century the city has faced many development difficulties due to such factors as industrial crisis, population loss and environmental degradation. The decline of Changchun is explained in the article by multiple reasons, including the imbalance of industrial structure, the degradation of urban space and the decline of urban culture. Therefore, Changchun's revival should also take place in three dimensions: economy, space and culture. The economic dimension implies development of Industry 4.0 and diversified urban economy, networking, informatization and digitalization, optimization of the industrial structure with the focus on service industry and

*© Zhang Xiaohu, Li Menglong, 2025

The article was submitted on 23.05.2025. The article was accepted on 14.10.2025.

innovation (new industries, new products, new technologies, new business forms and new models of the urban economy) in order to increase the economic resilience of the city and overcome potential economic risks. The spatial dimension implies the regional development thinking to create a new metropolitan area by breaking the traditional urban-rural opposition — Changchun as both a hub city for transportation, economy, scientific and technological innovation in the Jilin Province and even Northeast China and a model and core of the rural revitalization in the Jilin Province's "hinterland". The cultural dimension implies the focus on changing the city's image and spirit by using its "soft power" — cultural influence: on the one hand, historical heritage of Changchun as a city with a long history; on the other hand, its potential of keeping up with the times and innovation.

Key words: Northeast China revitalization; urban transformation; industrial city; industrial decline; old industrial base; Changchun

For citation: Zhang Xiaohu, Li Menglong. Transformation path of China's cities in industrial decline: The case of Changchun. *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (4): 750–766. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-750-766>

Since the 1950s, with the acceleration of economic globalization, the global flow of capital, labor, and technology has led to obvious changes in the world's industrial model. Traditional industrial areas in many developed countries have experienced decline such as the Great Lakes region in the northeastern United States, Ruhr area in Germany, Birmingham and Manchester in the UK, and the Ural industrial zone in Russia in the mid-to-late 20th century. In 1985, the *Chicago Tribune* published the article "Sun on the Snow Belt", introducing the term "Rust Belt", which became popular in the United States and gave rise to heated academic discussions. In 2013, Detroit, a typical "Rust Belt" city, declared bankruptcy, contributing to further debates on decline, crisis and possible transformation paths of industrial cities.

There are following main directions in academic research on the decline and transformation of industrial cities: first, common causes of decline such as international competition determined by economic globalization, changes in industrial structure, government policy mistakes, deterioration of the investment environment, population outflow, and energy policies in the United States and additional factors (regional and local) such as location, population structure, racial conflicts and historical evolution in different "Rust Belt" cities [4; 5; 21]. Second, the impact of declining industrial cities: for instance, in the United States this impact is economic, political and social, such as the failure of social management, high unemployment rate, high crime rate, sharp racial conflicts, and radicalism as a hotbed of American populism, damaging the country's social and political stability (the "black swan" event of Trump's coming to power in 2016 was determined by the voters' support in declining industrial cities) [8; 15; 18]. Third, models for the revival of industrial cities: some scholars advocate transformation of the industrial structure of "Rust Belt" into "Smart Belt"; others focus on urban planning — the Chicago School and Los Angeles School suggested urban development paths based on industrial transformation, scientific-technological

innovation, government leadership, social autonomy, and cultural changes for “Rust Belt” cities [6; 14; 16; 19].

There are similar problems of the old industrial area decline in Northeast China, which were reflected in a series of strategies such as the New Era Northeast Revitalization and academic concepts such as “limitations of the unit system” (Tian Yipeng), “theory of institutional innovation on old industrial bases” (Lin Muxi), “Northeast culture and revitalization of industrial bases” (Zhang Fugui), “transformation of single-structure cities” (Song Donglin), etc. Studies of the decline of industrial cities in the United States became a reference point for the studies of the transformation of industrial cities in Northeast China mainly in terms of the causes of their decline. For instance, in 1992 Gong Qi considered revitalization of American old industrial bases, while Wang Xu — changes of American industrial cities in the urban history perspective; in 2005, the Jilin Province organized an expert survey on the revitalization of Northeast old industrial bases according to the “Rust Belt revival model” in the United States; in 2015, the *People’s Tribune* published a series of articles on the useful experience of foreign industrial city transformation for Northeast revitalization. Many scholars have studied the “Rust Belt” cities in the United States in the perspective of sociology, history, political science, economics, etc., for instance: Han Yu’s analysis of the causes of “Snow and Ice Belt” in the United States (2002), Chen Ruihua’s assessment of the “Rust Belt” revival experience for creating the “New Northeast” (2015), Liu Shiwei and Zhang Pingyu’s study of urbanization of “Rust Belt” area in the perspective of its application in China’s Northeast old industrial base (2015), Hu Daping’s analysis of the threat of Chinese cities’ spatial evolution based on ‘Detroitization’ (2015), Ma Xiulian and Wu Zhiming’s (2015) review of the theory and practice of the American post-industrial city transformation (2015), etc. Most studies emphasize the multifactorial nature of the industrial cities decline: the change in the global industrial structure due to economic globalization exerted external pressure on industrial cities, while their deindustrialization and suburbanization created internal tension. Thus, a combination of changes in political, economic, cultural, social and population structures explains the decline of traditional industrial areas.

Northeast China is an important industrial and agricultural base, ensuring the country’s national and food security, environmental safety, energy and industrial security. As an old industrial base in Northeast China, the Jilin Province has such industrial cities as Changchun and Jilin, important in automotive and petrochemical industries. Changchun as the capital of the Jilin Province occupies an important and significant position among its many industrial cities. Changchun is the economic center, transportation hub and industrial center of the Jilin Province and even Northeast China, which is why it attracts population. According to the Seventh National Population Census (2023), the Jilin Province had 24 million inhabitants, among which 40% (9 million) live in Changchun (figure 1).

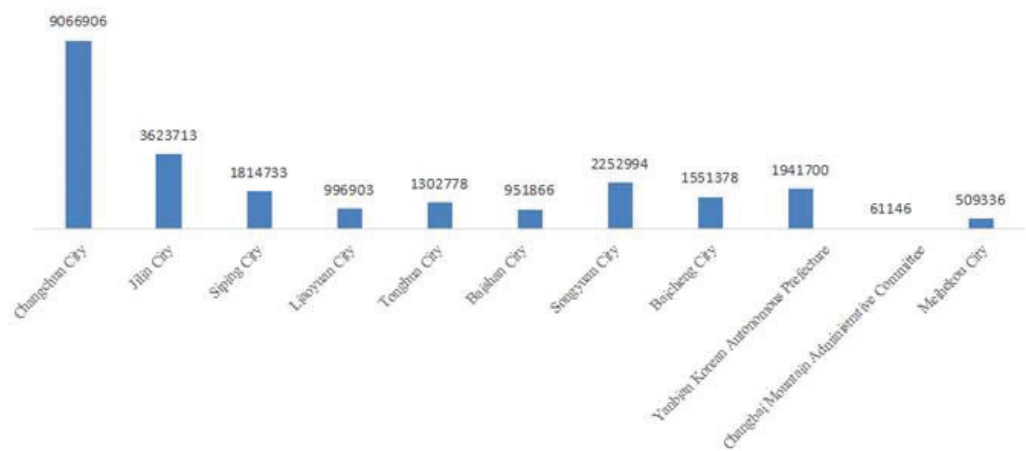


Figure 1. Data of the National Population Census for the Jilin Province [20]

As the central city of the Jilin Province, Changchun is home to such industrial enterprises as the First Automobile Plant, Changchun Railway Car Factory, Changchun Tractor Factory, and Changchun Film Studio. These enterprises played a decisive role in China’s industrialization and modernization in the mid-20th century, securing Changchun a reputation of the “Eldest Son of the Republic”. However, with the industrial restructuring at the end of the 20th century, Changchun faced significant development challenges: collapse of numerous traditional manufacturing enterprises, layoffs of industrial workers, mass outflow of population, lagging urban infrastructure, and a sharp change in the city’s image due to its turning into a typical declining industrial city. Since Changchun is the central city of the Jilin Province and Northeast China, its successful revival is crucial for Northeast China’s development. Therefore, it is necessary to analyze the causes of Changchun’s decline and possible paths for its transformation from a declining industrial city into a high-quality post-industrial city, promoting the revival of Northeast China.

Causes of Changchun’s decline

Changchun is a typical representative of the declining industrial cities in Northeast China, whose transformation from a developed industrial city to a declining was determined by multiple factors. The main *economic* factor is ownership and industrial structure: the city’s economy was not adapted to the requirements of the market economy development, since the share of the state economy was too large, and its contribution to economic growth was declining. Although other economic elements developed rapidly, their number and share were too small. At the end of the 20th century, due to the rapid development of the non-state economy in coastal and eastern provinces, the national

ownership structure changed greatly: in 1997, the share of the national state economy was 52% lower than in 1978, while in Changchun — only 20% lower. In 1998, according to the new model of the industrial added value, the share of the state economy in the Jilin Province was 74%, which was 18% higher than the national average and made it one of the few provinces in the country with a high share of the state economy [7]. Such inflexible mechanisms and heavy burden of state enterprises led to slow economic growth, low efficiency and increasing gap in the economic development level with developed provinces. The collective economy of the Jilin Province basically did not achieve significant results, and although individual, private and other economic components have grown rapidly, there is still a large gap compared to the country in general and the developed provinces in particular.

In terms of industrial structure, as a typical representative and a pioneer of early industrialization in China, Northeast region has a remarkable feature — heavy industry is too heavy, and light industry is too light. Such an industrial structure helped Northeast China achieve success quickly at the early stage of industrialization, but at the same determined the structural contradiction (industrial development dilemma) in Northeast China. Heavy industry dominated in many cities of Northeast China: in 2000, heavy industry accounted for 80% of all Northeast industry with very high shares of material and processing industries (34.5% and 30.6% respectively, accounting for nearly 2/3 of Northeast industry) and also mining industry (14.4%), while the share of light industry was about 20.5% (agricultural products as raw materials — 14.7%, non-agricultural products — 5.8%).

There are three industries that account each for more than 10% in the Northeast: production of transportation equipment (15.7%), oil refining and coking (12.1%), and oil and natural gas production (10.9%); three industries that account each for more than 5% — melting and rolling of ferrous metals (7.9%), production and supply of electricity, steam and hot water (6.3%), and production of chemical raw materials and products (5.9%); four industries that account each for more than 3%, — food industry (4.2%), general mechanical engineering (3.6%), production of electronic and communications equipment (3.6%), and extraction and selection of non-metallic minerals (3.1%). Except for food industry, all other industries are mainly heavy. Considering the product structure, due to the long-term development of resources and primary processing of products, the industrial economy of Northeast China depends on both production of complex products and processing of primary ones, with few final products and many intermediate ones. Thus, production levels have increasingly lagged behind international standards, and national comparative advantages have weakened [11. P. 21].

The industrial structure of Changchun is in line with the industrial structure of Northeast industrial cities based on heavy industry. According

to the 2024 Jilin Statistical Yearbook, there are 3,234 industrial enterprises in Changchun, and automobile production ranks first with 447 — the largest number in Changchun. Automobile production represented by FAW became the pillar of Changchun's industrial structure, which makes its economic development closely related to the rise and fall of automobile industry: the decline of automobile industry due to the economic cycle would hinder Changchun's economic development, which threatens the economic stability of Changchun city.

The decline of Changchun city is also determined by the unbalanced *spatial* structure. Under urbanization and industrialization, the industrial space within the urban area of Changchun has become its core, reducing the share of commercial and residential functional areas due to the development of city's industrial structure. During the rapid growth period of industrialization, the problem of urban space was not significant; however, after the slowdown of Changchun's industrialization, spatial distribution dominated by industry became a limiting factor of further urban development, especially the vacancy of factory buildings caused by the closure of many industrial enterprises created a dilemma in the urban space of Changchun. Thus, the evolution of Changchun's urban spatial structure reflects the interaction between political and economic changes in specific historical periods and the practice of urban planning theories. In the early 20th century, the Middle East Railway became an important transportation infrastructure support for the rise of Changchun. According to the theory of transportation/economic belts, expansion of transport links promotes greatly the flow and agglomeration of regional factors, which is why Changchun became an important transportation hub/node of Northeast China. At that stage, the main urban function of Changchun was residential with obvious single-function attributes: residential area accounted for 87.6% of the city, while commercial services facilities — for only 0.34%. This spatial distribution reflects the early urban development model with living functions as its core — when types of urban economic activities were relatively solitary and the commercial system had not fully developed yet.

The 1932 Xinjing Urban Plan marked the new stage of Changchun's urban development, despite strong colonialism and modernization features, due to being based on the advanced western urban planning concepts of the time, such as functional zoning and garden city. According to this plan, Changchun launched a large construction project, and the scale of public administration and civil service significantly expanded. Such changes reflected an emphasis on urban administrative control and public service system construction during the colonial rule. The adjustment of spatial planning strengthened the ruling order and the efficiency of social management, objectively promoting urban modernization in Changchun.

In 1941, the decision to designate Kuanchengzi as a light industrial zone had a far-reaching impact on the spatial structure of Changchun. According to the theory of industrial location, the site selection of the light industrial zone met the requirements of transport infrastructure, land resources, and spatial relations with the central urban area. This plan suggested that industrial and warehouse space would occupy an important position in the urban area which would transfer from a residential type to a complex type. Thus, introduction of industrial production functions accelerated diversification of the urban economic structure.

After the founding of New China, Changchun as an important part of the old industrial base in Northeast China took on the important mission of ensuring national industrialization. The 1953 Changchun City Master Plan positioned the city as a mechanical production, scientific and cultural center, which was highly consistent with the national industrialization strategy of the time. Within the planned economic system, Changchun contributed to large industrial and infrastructure construction around mechanical production, which is why the industrial and warehouse areas continued to expand, reaching its peak of 29.3% in 1994. During this period, the spatial structure of Changchun became a typical “industry-dominated” one, and the expansion of industrial area became the main driver of urban spatial expansion.

In the 21st century, due the continuous improvement of China’s economic system and acceleration of urbanization, Changchun’s urban development has faced new challenges. Before 2011, due to multiple factors (industrial structure, consumption and real estate market development), the residential area in Changchun gradually decreased, while the share of commercial service facilities, public administration and public service facilities and mixed function areas increased (figure 2). This change reflects the trend of urban functions changing from production-oriented to services-oriented. However, the decline of industry led to the decline of urban environment in Changchun.

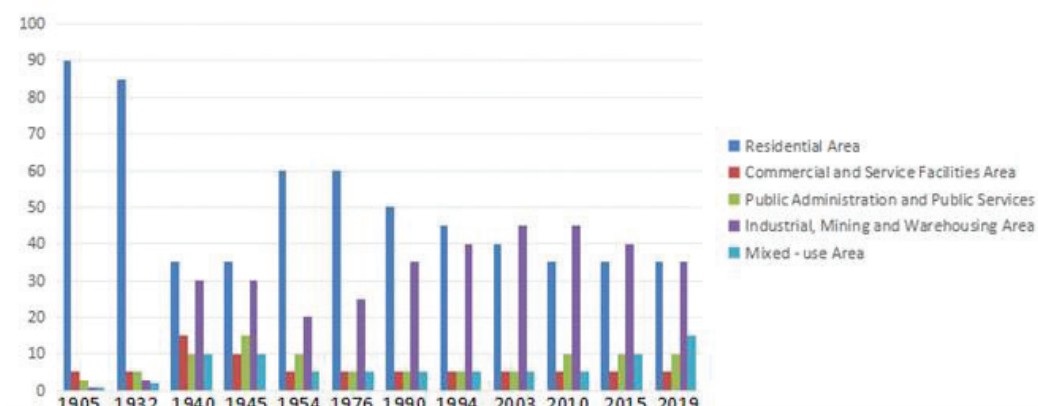


Figure 2. Ratio of areas in Changchun by function (%)

Evolution of the urban functional structure in Changchun (1905–2019) [24]

Changchun has a rich industrial heritage. As the cradle of China's automobile industry, it made great contributions to the national economic development and accumulated rich resources of automobile industry and related machine manufacturing industry. However, integration of cultural industries with these traditional advantageous industries and today's service industries has been at a low level for a long time. Since industrial and warehouse areas formed under urbanization, many factory buildings and equipment are mostly idle or underutilized but have historical value. For instance, the former site of the Changchun Tractor Factory, an important representative of China's agricultural machinery industry and a complex of buildings and production equipment with exceptionally modern characteristics for the time, failed to be timely transformed into an industrial museum, art cluster, cultural and creative industrial park during the urban renewal, which has led to underutilization of the cultural and economic values contained in the industrial heritage, to the missed precious opportunity to build a cultural cluster with Changchun's industrial characteristics, and the failure to innovatively develop cultural industries and transform industrial areas.

Priority development of commercial service facilities, influenced by orientation towards short-term economic benefits, determined insufficient policy and financial support for Changchun's cultural industries compared to much more advanced in this sense Hangzhou and Shenzhen (park construction subsidies, cultural enterprise taxes and cultural projects funding). Many cultural enterprises in Changchun experience such difficulties as lack of funding and high operating costs when renting sites, purchasing equipment and promoting talents. This situation creates uncertainty about investing in Changchun's cultural industries, which makes it difficult to attract external funding and improve cultural industries.

Changchun experiences a shortage of professional talent in the cultural sector, especially specialists who understand both cultural creativity and market mechanisms. Although local universities opened many culture-related majors, the industry-university-research cooperation with cultural enterprises is not effective, and the curriculum and practical teaching fail to meet the market demand, which makes it difficult for trained talents to quickly adapt to jobs and meet employers' requirements. For example, in animation production, the animation major students at Changchun's universities perform well in character design and story creation but lack the skills of market promotion, thus not meeting the enterprise's demand for full-process animation production. The innovative driving force of the cultural industry is insufficient, which results in homogenization of cultural products and services in the market. Many cultural and creative products in Changchun lack in-depth and innovative expression of local features such as automobile or ice-snow culture, and most of them are simple replications or souvenirs, lacking innovation

and market competitiveness and not meeting the increasingly diversified and personalized cultural demands of consumers.

The cultural industry market system in Changchun is underdeveloped, there are few large cultural enterprises and no leading enterprise with national influence, while small, medium-sized and micro enterprises are generally too weak in the ability to cope with risk. According to the statistical data, the number of influential cultural enterprises in Changchun is significantly lower compared to similar cities such as Shenyang and Dalian. The cultural industry has not formed an industrial chain of closely connected creative planning, production, promotion and marketing, i.e., there is no synergy effect in the local cultural industry. Moreover, production of cultural products and development of service and trading platforms at both online and offline cultural markets lag behind, and the unstable information flow of the cultural market results in the inefficient allocation of cultural resources. Many high-quality cultural and creative projects fail to be transformed into real products and economic benefits due to the lack of display and trading channels, which hinders marketization, cross-regional cooperation and development of the cultural industry, making Changchun's cultural industry relatively uncompetitive in the national market.

The path of Changchun's urban transformation

In Changchun, the causes of the urban decline crisis are mainly economic, spatial, and cultural; therefore, transformation/revitalization of the city should focus on these three aspects: economic — modernization of traditional industries and creating new business forms, spatial — application of regional development concepts to build a new metropolitan area and urban network system, cultural — to strengthen urban influence and the city's "soft power".

There are problems in the industrial structure of Changchun, mainly manifested in the too high proportion of heavy industry, obvious resource dependence and strong state monopoly. The industrial transformation of Changchun is to preserve its industrial tradition and find a new industrial track, to use both the city's industrial advantages and the concept of Industry 4.0 to modernize traditional industries. Today, the world's industrialization has entered the "4.0 era" marked by the transformation of industrialization by such information technologies as the Internet. The global industry shows the trend of informatization and networking — the "Internet+" has become a new business form, turning the digital economy into the focus of the global economic development. The combination of industry and the Internet has become the only way for industrial development within the digital economy in developed countries. Changchun needs to combine such technologies as the Internet (digitalization) with new industrialization to change the city's industrial structure and turn the city from traditional industrial to new industrial, based on informatization, dataization, and networking. The old industrial base plays

a special role as the basic stabilizer in Changchun and ensures the country's industrial security. Therefore, the transformation of Changchun cannot follow the model of deindustrialization but needs to choose the path of reindustrialization according to the model of "Industry 4.0", i.e., the path of improving the urban industrial structure by applying the latest achievements of the information technology revolution in the city's new industries, new business forms and new spaces of the urban economy. This means that industrial enterprises should use informatization to enhance their competitiveness and provide a solid economic foundation for the city's reindustrialization. Only a diversified and balanced industrial structure can ensure the economic sustainability of the city and improve its ability to overcome potential economic risks.

For economic development, Changchun also needs to focus on its tertiary industry, especially the cultural one. Changchun has rich cultural resources and great advantages for developing cultural industries through their combination with the Internet technology, which would make the city's cultural industry a new engine (with many data resources, creative and technological innovations, accurately understanding market demand and providing clients with personalized and individualized cultural services) for Changchun's economic development in the general course of "reindustrialization". Changchun has vigorously developed the digital economy, digital industries, digital infrastructure, digital governance, etc.: more than 50 leading enterprises such as Huawei, JD.com, Baidu, 360 and iFLYTEK built more than twenty large digital infrastructure facilities, and the digital industry has grown at an annual rate of more than 10% [1]. Today Changchun has such industrial parks as national cultural industry test parks, national cultural industry demonstration bases and provincial cultural industry demonstration zones, and showed significant progress in animation, film and television media, press and publication, network culture, etc. For instance, Changchun Film Studio World is known as Oriental Hollywood and the World Capital of Special Effects: previous 3D giant screens, 4D special effects and 5D cinemas have all been technologically upgraded, attracting many domestic and foreign tourists.

Changchun can develop cultural resources in cooperation with other cities of the Jilin Province. For example, the natural scenery tourism in the Changbai Mountain Reserve, the Manchu cultural tourism represented by the Yitong Manchu Autonomous Prefecture, and the "red education" resources of the Northeast Anti-Japanese United Army can be turned into cultural resources with both economic and social value. The general provincial planning can systematically industrially develop cultural resources of each city, creating a complex and diverse cultural industry of the Jilin Province with specific regional features, increasing the overall strength and influence of this cultural industry, and helping many cities in the Jilin Province to develop economically through urban cultural-industrial transformation.

Integration and optimization of the urban space

In the 21st century, global urbanization has accelerated. In 2007, the world's urban population exceeded rural population for the first time, and in 2023 China's urbanization rate reached 66.2%. Mankind entered the “urban era” with the city as the most important social form. From the perspective of urbanization, urban agglomerations and metropolitan areas have become the mainstream of urban development, overcoming the traditional urban-rural dual structure by creating a regional form of “city-hinterland”. Therefore, the development of Changchun needs to be planned spatially to develop an urban spatial structure of the contemporary metropolitan type as a multi-core regional spatial structure, in which core cities play a hub role.

Changchun has the potential to become a hub city of the Jilin Province and Northeast China by focusing on three aspects — transportation, economy and scientific-technological innovation. Changchun's geographical location allows for the city to become a transportation hub in Northeast China and even Northeast Asia. Changchun is located in the hinterland of the Songliao Plain in Northeast China, and its vast plain area allows for urban spatial expansion. At the same time, Changchun is located in the natural geographical center of Northeast China, which explains the city's convenient accessibility. In the Northeast railway network, Changchun is the core hub node: more than ten railway lines (Jingha, Changda, Changtu, Changhui Intercity, Hada high-speed, Changbai, Liaochang and Changbaiwu) converge in Changchun. Changchun Longjia International Airport is one of the four major international airports in Northeast China and is known as the Northeast Asia Aviation Hub with more than 150 international and domestic air routes, connecting major countries in Southeast Asia. Considering highways, Changchun is an important node of the National Highways 102, 302 334, a hub city for Beijing-Harbin, Hunchun-Ulanhot and Changchun-Shenzhen expressways, i.e., one of the core nodes of the highway network in Northeast China. Such a transportation network helps Changchun develop a vast economic hinterland and a powerful metropolitan area with regional influence.

Changchun's economic concentration creates the urban “siphon effect” by combining regional production factors, which makes the city a regional economic hub. In the 2023 National Primary Capital Index, Changchun ranked among the top in the country with 51.7% of high urban concentration in the Jilin Province [9]. Most of the capital, labor, technology and production factors of the Jilin Province are combined in Changchun, thus forming a dominant regional center which leads to rich capital, technology, labor and consumer markets, determining inter-industry collaboration and improving economic efficiency by using scale effects. At the same time, Changchun has a reasonable industrial structure and social division of labor, which makes it the city with the highest degree of professional division of labor in the Jilin Province and the highest economic production capacity. Although secondary industries such as FAW still occupy the main position

in Changchun's industrial structure, the city's tertiary industry has made great progress and gradually becomes the leading industry of Changchun, contributing to its new industrial structure with the coordinated and balanced development of primary, secondary and tertiary industries. The balanced industrial structure expands Changchun's urban influence as a driver and leader of the development of surrounding cities, which determines the formation of a regional urban structure with Changchun as its core.

Changchun has outstanding scientific-technological innovation potential that contributes to its urban positioning as a scientific and technological research and development hub. Changchun has many universities and research institutes, especially the high-level ones represented by two institutes and five universities that have the talent foundation for Changchun's scientific-technological innovation. At the same time, the city collects cutting-edge technologies from all over the world and promotes forward-looking research. Thus, Changchun develops systematic and integrated scientific-technological research to develop new forms and patterns of industrial revitalization guided by science and technology. Changchun's scientific-technological innovative capabilities can drive the transformation of cities in the Jilin Province from heavy industry centers to scientific-technological research and development centers.

Changchun's development direction of turning into a regional hub has been supported by the state. In June 2020, the State Council approved the change of the trusteeship relationship of Gongzhuling City, a county-level city under the trusteeship of Siping City, to Changchun. Thus, Changchun includes seven districts, three county-level cities, one county and one state-level new area under its trusteeship, with the urban area ranking the third among national capitals and 9.06 million inhabitants. The State Council's approval accelerated the revitalization of Northeast China, contributing to the central government's strategy of creating a new pattern of coordinated development in Northeast China, to the provincial party committee and government's "three major plates" strategy and "one main, six double" industrial space model, thus helping to expand the metropolitan area of Changchun. The city has significantly increased its population, land, economic resources, etc., turning into a major metropolitan area, urban agglomeration and urban network and further consolidating its role as the core and the development engine of the Jilin Province [10].

Cultural dimension: urban soft power

The city is not only a physical space but also a social space with cultural influence that can become the foundation of its "soft power". Northeast China, including the Jilin Province, is called a "cultural desert": its cities are stereotypically considered as lacking cultural influence as a basis of urban competitiveness. However, Changchun has a deep historical heritage; the Jilin region has successively seen the rise of such regimes as Bohai, Liao and Jin,

and each dynasty is famous for prosperous civilization, which determined a diversified cultural integration of multiple ethnic groups and cultures, reflecting the integration and coexistence of farming, nomadic, mountainous fishing and hunting culture. In modern times, large waves of immigrants “moving to the northeast” “imperceptibly changed, integrated and reshaped the local original culture that had already existed in Jilin” [13]. During the War of Resistance against Japan, Jilin waged a long heroic struggle against aggression under the leadership of the Communist Party of China, making the spirit of patriotism an important core of the Jilin culture. During the Liberation War, the Northeast People’s Liberation Army fought such famous battles as the Four Battles of Siping, Three Times Crossing the Songhua River” and “Four Defenses of Linjiang”. After the founding of New China, in the difficult situation of “poor and empty”, the people of the Jilin Province overcame various difficulties under the leadership of the Central Committee of the Communist Party of China, established the First Automobile Plant in China and produced the first car in China, made important contributions to the smooth realization of China’s first Five-Year Plan, and laid an important foundation for the development of New China’s industry. The establishment of Changchun Film Studio changed the reputation of Changchun as the Film City, once again proving Changchun’s cultural influence.

Thus, the Jilin Province is not a “cultural desert” but a concentration of the Northeast culture, especially Changchun’s urban spirit combines patriotism, progress, unity and mutual assistance, openness and tolerance as important sources of the city’s cultural influence and “soft power”, on which Changchun needs to focus in its transformation and development as a center of both historical heritage and pioneering innovation. Changchun attaches great importance to scientific-technological innovation: in 2019, the Jilin-1 satellite was successfully launched by the Chang Guang Satellite Technology Co, which has such technologies as satellite-borne and airborne integration. This private technological company located in Changchun was established in 2014 and became a leader in the field of satellite technology in China in just five years, driving the development of many upstream and downstream enterprises in Changchun, so that the city formed a high-tech industry cluster. In the information age, cities in the Jilin Province aim at becoming “space city” or “satellite city”. In 2022, the Jilin Province adopted the 14th Five-Year Plan for the Development of Science and Technology, promoting rapid scientific-technological innovations. According to the 2023 China Regional Innovation Capacity Evaluation Report, such capacity of the Jilin Province ranked 6th with the largest increase in the country: the number of specialized “little giant” enterprises and high-tech enterprises in the Jilin Province increased to 68,892 and 3,112 respectively, and the number of national science-technology small and medium-sized enterprises reached 4,515, increasing by 232% and 150.3% respectively compared to 2021 and 2022 [2].

In addition to scientific-technological innovation, Changchun also considers cultural innovation as a driver of urban development. Changchun is one of China's provinces where the animation industry started, and after decades of development, there are many animation and cultural creative colleges, universities and companies. For instance, the Jilin College of Arts (the only comprehensive higher art college in Northeast China) suggested the design and created the Jilin Hall of the Great Hall of the People, the Jilin float for the 50th, 60th and 70th anniversaries of the National Day, the visual image of many major events such as the 12th National Winter Games, the design of major exhibitions such as the Northeast Asia Expo, Auto Expo, Agricultural Expo, International Film Festival and International Animation Festival, and also the mascot Shuey Rhon Rhon of the 2020 Beijing Winter Paralympics. The animation industry has become a new point of growth for Changchun's economy and a model for the development of cultural and creative industries in other cities in China. Thus, historical heritage provides a historical foundation for Changchun's urban influence, while scientific-technological and cultural innovation determined Changchun's new image, contributing to its competitiveness, transformation and development.

Urban decline is a manifestation of regional decline: as a “reverse development phenomenon”, regional decline often begins with industrial decay, resource depletion, environmental crisis and social disintegration, which gradually spread to various social fields. Today, due to economic, social, environmental and other factors, large-scale cross-regional migrations have become a social norm, but regions with massive outflow inevitably show serious decay (labor shortage, brain drain, decreased regional consumption, and so on). Since China is currently in a transition from industrialization to post-industrialization, its industrial cities face the risk of urban decline.

The primary cause of industrial city decline is its unbalanced industrial structure. The industry-dominated urban economy leads to production, resource and capital dependence which reduces flexibility and resilience of the urban economy, starting a vicious cycle of economic weakness and population loss. Moreover, urban decline is a social-spatial product of the joint action of political, economic and cultural shocks and qualitative changes in the urban spatial pattern, leading to “rust beltization”. Since the decline of industrial cities is the result of multiple factors, transformation of industrial cities also requires multiple measures: modernization of traditional industries to adapt to the changes of the time, development of new business forms and economic competitiveness of the city, coordinated development of urban areas and suburbs, cities and villages within a metropolitan area and network system, strengthening of urban influence, urban image and the city's “soft power”,

etc. Transformation of many industrial cities, including Changchun, is a key to revitalization of Northeast China through the implementation of multi-dimensional measures.

Funding

The research was supported by the Research Start-up Fund Project of Xiangtan University. Project “Transformation and Development of Industrial Cities in Europe and America” (2022BSQDF11).

References

1. “Wisdom” development in Changchun city. 2024. URL: <http://jl.people.com.cn/n2/2024/0121/c349771-40721140.html>.
2. China Regional Innovation Capacity Ranking: Jilin Province Ranked First in Terms of Improvement. 2023. URL: http://www.jl.gov.cn/szfzt/szjl/gzcg/202311/t20231129_2919102.html.
3. Barkov S.A., Zhang J. New urbanization policy in China: Causes and prospects. *RUDN Journal of Sociology*. 2024; 24 (2).
4. Battista J. Deindustrialization of Detroit: The costs of movement. *Essays in Economic & Business History*. 2024; 42 (1).
5. Battista J. Deindustrialization of Detroit: The push of organized labor. *Labor History*. 2023; 64 (5).
6. Chen Li. Industrial legacy and urban regeneration: Transformation of industrial zones into cultural and creative spaces. *Journal of Urban Planning and Development*. 2025; 151 (2).
7. Countermeasures research on economic structure adjustment in the Jilin Province. *Social Science Front*. 2000; 4.
8. Cowie J., Heathcott J. (Eds.). *Beyond the Ruins: The Meanings of Deindustrialization*. Cornell University Press; 2003.
9. Economic Big Data for 27 Provincial Capital Cities. 2023. URL: https://news.cnr.cn/native/gd/20230608/t20230608_526280079.shtml.
10. Embracing New Opportunities, Seeking New Development — Interpretation of the Change in the Management Relationship of Gongzhuling City. 2020. URL: http://www.changchun.gov.cn/zw_33994/yw/zwtdt_74/zwtdt/202006/t20200620_2368543.html.
11. Feng Chunhua. *Research on the Adjustment and Transformation Model of the Old Industrial Base in Northeast China*. Changchun University of Science and Technology Press; 2003.
12. Gang Han, Jiadong Yuan. On the geographical scope and spatial structure of the Changchun metropolitan area. *Scientia Geographica Sinica*. 2014; 10.
13. Guoping Liu. *History, Region and Modernization: Centered on Jilin Culture*. Jilin Literature and History Publishing House; 2006.
14. Hu Pei. Analysis of industrial transformation strategy of resource-based cities in the era of technological innovation. *International Journal of Sustainable Development*. 2023; 26 (3–4).
15. Hurley A. From factory town to metropolitan junkyard: Postindustrial transitions on the urban periphery. *Environmental History*. 2016; 21 (1).
16. Mallach A. Re-engineering the urban landscape: Land use reconfiguration and the morphological transformation of shrinking industrial cities. *Engineering Earth: The Impacts of Megaengineering Projects*. Springer; 2010.
17. Nikulin A.M. Appalachia as a laboratory for contemporary rural-urban development. *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (2).
18. Owusu T.Y. Economic transition in the city of Paterson, New Jersey (America’s first planned industrial city): Causes, impacts, and urban policy implications. *Urban Studies Research*. 2014; 1.

19. Pang Min. Planning, transformation and development of resource-based industrial cities. *Open House International*. 2017; 42 (3).
20. Seventh National Population Census of the Jilin Province. 2024. URL: <http://tjj.jl.gov.cn/tjsj/qwfb/jlsdqcgkrpcnj/zk/indexch.htm>.
21. Taft C.E. Deindustrialization and the postindustrial city, 1950 — present. J. Butler (Ed.). *Oxford Research Encyclopedia of American History*. Oxford University Press; 2018.
22. Trotsuk I.V. Comparative analysis as a way to reconstruct the world economic history, or why China did not become capitalist at the same time as Europe. *Russian Peasant Studies*. 2018; 3 (3).
23. Trotsuk I.V. Social-spatial features of the Chinese (sub)urbanization. *Russian Peasant Studies*. 2024; 9 (3).
24. Yang Yuewen. *Research on the Identification of Urban Functional Zones and the Evolution of Spatial Structure: A Case Study of Changchun City*. Jilin University Press; 2022.

DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-750-766

EDN: KFCNE

Путь трансформации городов, переживающих промышленный упадок в Китае: пример Чанчуня*

Чжан Сяоху¹, Ли Мэнлун²

¹Сянтаньский университет,
Сянтань, 411105, Хунань, Китай

²Цилиньский университет,
Чанчунь, 130012, Цилинь, Китай

(e-mail: xhzhang@xtu.edu.cn; limenglong@jlu.edu.cn)

Аннотация. С середины XX века многие промышленные города пришли в упадок. Традиционные промышленные районы во многих развитых странах, такие как район Великих озер на северо-востоке США, Рурская область в Германии, Бирмингем и Манчестер в Великобритании и Уральская промышленная зона в России, испытывают промышленный спад, слабый экономический рост и упадок городов как проявление регионального феномена «обратного развития». Сегодня экономические, социальные, экологические и другие факторы превратили широкомасштабную межрегиональную миграцию почти в социальную норму, тогда как регионы, для которых характерен отток населения, неизбежно приходят в упадок вследствие нехватки рабочей силы и «утечки мозгов». Основная причина упадка промышленных городов — несбалансированная структура промышленности, которая определяет зависимость производства от наличных ресурсов и капитала, снижая тем самым адаптивность и устойчивость городской экономики. Как только кризис затрагивает градообразующую промышленность, возникает порочный круг экономических проблем и оттока населения, что в конечном итоге заводит город в «ловушку развития»: экономические потрясения, вызванные дисбалансом промышленной структуры, демографические потрясения вследствие массового оттока рабочей силы, политические потрясения под влиянием роста

*© Чжан Сяоху, Ли Мэнлун, 2025

Статья поступила в редакцию 23.05.2025. Статья принята к публикации 14.10.2025.

городов и пространственные потрясения в условиях субурбанизации порождают качественные изменения в городской пространственной структуре — в итоге кризис промышленности влечет за собой коллапс всей городской системы. Сегодня Китай переживает этап перехода от индустриализации к пост-индустриализации, что не может не затрагивать промышленные центры страны. Город Чанчунь — столица провинции Цзилинь и национальный центр тяжелой промышленности — с середины XX века сталкивается со множеством проблем под влиянием таких факторов, как промышленный кризис, убыль населения и ухудшение состояния окружающей среды. Авторы объясняют нынешний упадок Чанчуня множеством причин, включая дисбаланс промышленной структуры, деградацию городского пространства и неразвитость городской культуры, и намечают три вектора возрождения Чанчуня — экономический, пространственный и культурный. Экономический вектор подразумевает развитие Индустрии 4.0 и диверсифицированной городской экономики и сетевых сообществ, информатизацию, цифровизацию и оптимизацию промышленной структуры с упором на сферу услуг и инновации (новые отрасли, новые продукты, новые технологии, новые формы бизнеса и новые модели городской экономики) в целях повышения экономической устойчивости города и преодоления потенциальных экономических рисков. Пространственный вектор предполагает переход к модели регионального развития в целях создания новой агломерации путем преодоления традиционного противостояния города и деревни: Чанчунь должен стать транспортным хабом и центром экономических, научных и технологических инноваций для провинции Цзилинь и всего Северо-Восточного Китая, а также моделью и ядром возрождения сельской местности (всей «периферии») провинции Цзилинь. Культурный вектор подразумевает изменение образа и духа города с помощью его «мягкой силы» — культурного влияния: с одной стороны, речь идет об историческом наследии Чанчуня как древнего города с богатой историей; с другой стороны, необходимо развивать его потенциал как инновационного центра, способного идти в ногу со временем.

Ключевые слова: возрождение Северо-Восточного Китая; городская трансформация; промышленный город; упадок промышленности; старая промышленная база; Чанчунь

Для цитирования: Чжан Сяоху, Ли Мэнлун. Путь трансформации городов, переживающих промышленный упадок в Китае: пример Чанчуня // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 4. С. 750–766. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-750-766>



DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-767-789

EDN: KDJYFI

Поляризация сельского пространства южных регионов России: крымский кейс*

Т.Ю. Гусаков

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
просп. Вернадского, 82, Москва, 119571, Россия,
(e-mail: gusakov-ty@ranepa.ru)

Аннотация. В постсоветский период в регионах России усилилась социально-экономическая дифференциация. Она выражается в концентрации населения, капитала и инфраструктуры в агломерациях и курортных зонах при одновременном сокращении возможностей для развития периферийных территорий. В наибольшей степени этот процесс затронул малые и средние сельские населенные пункты, где наблюдаются депопуляция, снижение уровня занятости и ограниченный доступ к базовым услугам. В результате формируется устойчивая система неравномерного развития, закрепляющая различия между центром и периферией. Крымский полуостров демонстрирует концентрированное проявление этих тенденций: дифференциация пространственного развития усиливается сочетанием туристско-рекреационной специализации, различий в природно-ресурсных условиях и политико-административных трансформаций постсоветского периода. Контраст между прибрежными районами и крупными агломерациями, где сосредоточены инвестиции и рабочие места, и сельскими поселениями внутренней зоны, испытывающими отток населения и ограниченность ресурсов, делает регион показательным для анализа территориальных дисбалансов. В статье обозначены социальные механизмы, определяющие различия в динамике сельских территорий Крыма. Кейс-стади основано на историко-географическом и социально-экономическом анализе с использованием статистических и архивных материалов, картографирования и полевых наблюдений. Пространственная дифференциация рассматривается не только как результат экономических процессов, но и как форма социального неравенства, влияющая на жизненные стратегии сельских сообществ и структуру локальных практик жизнеобеспечения. Показано, что трансформация расселения в Крыму сопровождается сокращением числа малых деревень, концентрацией ресурсов в ограниченном числе центров и углублением сельско-городских асимметрий. Вместе с тем выявлены компенсаторные механизмы, основанные на неформальной экономике, горизонтальной мобильности и локальных формах взаимопомощи, что позволяет уточнить специфику трансформаций сельского пространства Крыма и расширить представления о механизмах территориальной дифференциации в постсоветской сельской местности.

*© Гусаков Т.Ю., 2025

Статья поступила в редакцию 15.05.2025. Статья принята к публикации 14.10.2025.

Ключевые слова: сельская местность; сельское расселение; пространственная поляризация; сельско-городские сообщества; миграции; урбанизация; пространственное неравенство

Для цитирования: Гусаков Т.Ю. Поляризация сельского пространства южных регионов России: крымский кейс // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 4. С. 767–789. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-767-789>

Сельское пространство — территориальная структура, которая охватывает природные ресурсы, инфраструктуру, производственные зоны, культурный ландшафт, а также социально-экономические процессы, формирующие и поддерживающие сельские поселения [1; 45]. Сельское пространство включает перечисленные элементы и одновременно трансформируется под их влиянием [70]. Сельское расселение в таком контексте выступает не просто формой размещения сельских населенных пунктов (СНП) в пространстве, но и иерархической системой, формирующейся под влиянием факторов разной природы [44]. Так, миграции — и демографическое явление, и механизм адаптации сельского пространства к структурным изменениям [34].

Сегодня одна из ключевых глобальных тенденций — усиливающаяся поляризация сельского пространства, которая проявляется в увеличении неравенства между развитым центром с выгодным экономико-и транспортно-географическим положением и периферийными сельскими территориями, переживающими экономическую стагнацию, демографическое старение и деградацию инфраструктуры [33; 55]. Пространственная поляризация приводит к формированию устойчивых «зон роста» и «зон сжатия»: население и экономическая активность концентрируются в ограниченном числе центральных мест, оставляя значительные территории за бортом изменений, в статусе периферийных или депрессивных («глубинки») [2; 54]. В результате малые поселения становятся еще меньше, а крупные — еще больше; в основном инвестиции призваны поддерживать вторые, что усиливает поляризацию сельского пространства и способствует сокращению освоенной территории.

Процессы поляризации расселения не только отражают пространственные различия, но и воспроизводят социальные неравенства. Еще классики социологической мысли отмечали взаимосвязь организации пространства и социальной структуры: Ф. Теннис противопоставлял традиционные сельские «общины» (*Gemeinschaft*) более обезличенным городским «обществам» (*Gesellschaft*) [53]; Э. Дюркгейм рассматривал переход от механической к органической солидарности как следствие усложнения территориального и социального устройства [16]; Г. Зиммель связывал специфику городской жизни с концентрацией населения и ростом социальных дистанций [19]. В XX веке идеи «городского образа жизни» [71] и «челове-

ческой экологии» [69] подчеркнули воздействие пространственных форм расселения на социальные отношения и идентичность. Сегодня исследователи трактуют поляризацию как процесс закрепления структурного неравенства в территориальных формах [64; 66]. Анализ сельско-городской поляризации позволяет выявлять пространственные трансформации и рассматривать как социальный процесс изменения форм солидарности, мобильности и устойчивости локальных сообществ.

Поляризация сельской местности может быть интерпретирована и как результат неравного распределения экономического, символического, культурного и социального капитала. Прибрежные зоны и агломерации аккумулируют разные виды капитала, в то время как периферийные территории сталкиваются с их дефицитом, что способствует вытеснению локальных сообществ на обочину социально-экономической жизни: «сжатие» пространства — не только физический, но и социальный процесс, ведущий к утрате локальной идентичности, разрыву социальных связей и трансформации привычных жизненных укладов [65; 72], поэтому неформальные практики и миграция становятся формами агентности сельских жителей, их способом противостояния структурным ограничениям. В постсоветский период процессы поляризации обрели особую интенсивность вследствие резкого снижения роли сельского хозяйства, усиления урбанизации, деградации социальной инфраструктуры и сокращения инвестиций в сельские территории [21]. Постсоветские деаграризация и «сжатие» сельского пространства обуславливают исчезновение малых СНП, ухудшение транспортной доступности и социальной инфраструктуры, что порождает пространственные разрывы без какой-либо экономической активности и крайне неоднородные между поселениями [38; 55].

Российские южные регионы, исторически обладавшие схожими природно-географическими условиями, агроклиматическим потенциалом и структурой расселения, сегодня отличаются стратегическим положением в зоне пересечения важнейших транспортных и миграционных путей, спецификой аграрного развития и сходными процессами пространственной дифференциации сельских территорий (поляризация, агломерирование и формирование дачно-рекреационных поясов вокруг городских центров) [47]. Крымский полуостров, как и другие южные регионы, демонстрирует общие тенденции пространственной поляризации, но с существенной региональной спецификой. Среди уникальных факторов сельского расселения Крыма выделяют этническую структуру и ее динамичные изменения под влиянием миграции, а также сложные природно-климатические условия (особенно засушливость климата и недостаток водных ресурсов в степной зоне) [5; 12], которые традиционно препятствовали распространению хуторского

(дисперсного) типа расселения, предопределяя преобладание коллективных форм [15].

Сельское пространство Крыма нельзя анализировать исключительно через формальные экономические и институциональные категории, поскольку важную роль в жизнеобеспечении сельских домохозяйств играют неформальные практики — от огородничества и самозанятости до не-санкционированного строительства и сезонной мобильности [39]. Эти практики формируют альтернативную устойчивость сельского уклада, особенно в условиях слабых институтов и ограниченного доступа к инфраструктуре. Изучение пространственной поляризации сельского пространства на примере Крымского полуострова позволяет не только глубже понять механизмы территориальной дифференциации, характерные для сельских территорий южных регионов, но и определить возможные траектории их развития, учитывающие местную специфику и внутреннюю гетерогенность сельских территорий. Сочетание количественных и качественных методов обеспечило целостное рассмотрение сельского пространства как социальной системы, в которой пространственная поляризация проявляется через изменение структур занятости и миграции, механизмов устойчивости локальных сообществ.

Современное сельское пространство южных регионов России и Украины формировалось с конца XVIII века после включения в состав Российской империи. Тогда же началось активное заселение и земледельческое освоение юга (например, на Кубани возникли куренные селения — станицы, которые быстро развивались, достигнув значительных размеров и сформировав опорный каркас сельского расселения). Параллельно в северных уездах Таврической и в Херсонской губернии возникали поселения государственных крестьян (малороссов), переселенцев-старообрядцев (духоборов, молокан) и иностранных земледельцев (немцев-меннонитов), которых привлекали благоприятные агроэкологические условия и налоговые послабления [22]. Эти колонии часто имели форму крупных СНП с регулярной планировкой и трудоспособным населением. До середины XVIII века значительная часть Северного Причерноморья оставалась территорией кочевого расселения без постоянных поселений, где проживали ногайцы [18]. Только в первой половине XIX века они седентаризировались, сформировав постоянную сеть аулов на юге современных Херсонской и Запорожской областей.

Уже в этот период на юге сложилось характерное сочетание двух моделей расселения: крупных устойчивых поселений (станций, колоний, казенных деревень) и мелких форм (хуторов, усадеб, экономий, отрубов). Малых СНП стало особенно много после Столыпинской реформы [24]. Для Крыма характерной чертой было слабое развитие сельской общины [4], что облегчало индивидуализацию землевладения и последующее

укрупнение поселений в советское время. Политика внутренней колонизации [68] позволила закрепить за Россией южные территории и модернизировать хозяйственную структуру, стимулируя переселение на юг представителей «надежных» групп. Немецкие земледельческие колонии (особенности меннонитов) на рубеже XIX–XX веков сформировали сеть этнического расселения на основе эффективной хозяйственной специализации и ранней механизации агропроизводства. Несмотря на малый масштаб, подобные поселения часто имели прочную экономическую основу и демонстрировали высокий уровень самообеспечения, что позволяет рассматривать их в качестве примера стабильной мелкоселенной структуры [28] с локальными центрами [35].

Советский этап ознаменовался резкой институциональной перестройкой сельской сети: хутора, отруба, мелкие СНП признавались неэффективными и ликвидировались, на Кубани и в степях Украины активно велась политика сселения в более крупные пункты. Административное укрупнение колхозов, особенно в 1950-е годы, сопровождалось объединением соседних населенных пунктов: в Крыму было снято с учета 566 СНП [15], в УССР — ликвидировано 1502 «неперспективных» СНП [25]. В то время как в северных и западных областях УССР сельское население долгое время сохраняло устойчивость или росло, в южных регионах (включая степные части Крыма, Херсонской и Запорожской областей) уже в 1960-е годы отмечались признаки стагнации и оттока [6].

К началу 1980-х годов сельское расселение юга трансформировалось: место преобладающих хуторов и малых СНП заняли крупные многофункциональные села — центральные усадьбы укрупненных коллективных хозяйств, районные центры и пригородные СНП, которые выполняли и обслуживающую функцию для окрестных населенных пунктов с неразвитой инфраструктурой. Средняя численность одного сельского населенного пункта существенно возросла: в а Черноземную зону в 1970 году приходилось более половины СНП СССР с населением свыше тысячи человек [24].

Постсоветский период привел к дальнейшему расслоению сельского пространства: в отличие от северных регионов, особенно Нечерноземья, где депопуляция началась значительно раньше, южные регионы долгое время сохраняли демографическую стабильность [3; 37] — здесь позднее началась урбанизация, дольше сохранялась занятость в аграрном секторе и выше была вовлеченность сельских территорий в пригородные и внешнеэкономические связи. Но в 2000–2010-е годы и здесь оформились общие негативные тренды: исчезновение малых СНП, сокращение освоенной территории, поляризация сельского пространства [36]. Наиболее отчетливо эти процессы проявляются на Крымском полуострове, где исторические, этно-демографические и природно-ресурсные особенности наложились на общероссийские и постсоветские тренды (развитие курортных зон в сельской местности, деграда-

ция неорошаемых степных районов и формирование опорных узлов в зонах транспортной и производственной концентрации).

Современная система сельского расселения региона начала формироваться во времена Крымского ханства — опорными пунктами расселения были города. Они, во многом основанные в более ранние исторические эпохи, располагались на побережье, по краям полуострова и в предгорной зоне, обеспечивали торгово-экономическое взаимодействие Крымского ханства с другими странами. После смены принадлежности полуострова и разорения городов новые правители основывали поселения в тех же местах (на месте Керкинитиды стоит Евпатория (Гезлев, Козлов), на месте Неаполя Скифского — Симферополь (Акмесджит, Ак-Мечеть), на месте Херсонеса Таврического — Севастополь (Ахтиар) и т.д.). Во внутренних степных районах были дисперсно рассеяны небольшие населенные пункты крымских татар, сгущавшиеся в речных долинах и предгорной зоне с более мягким и влажным климатом. Степные населенные пункты возникали преимущественно у пастбищ и источников воды [11]. Таким образом, на Крымском полуострове исторически преобладало мелкоселенное сельское расселение, которое сложилось после оседания кочевников и формирования крымскотатарской сельской общины в конце XV века [30].

Вывод христианского населения из Крыма в Приазовье в 1771 году (создание поселений в районе современного Мариуполя), социально-экономические трудности 1774–1783 годов и начало эмиграции крымских татар не позволяют точно оценить, какими по людности были СНП в Крымском ханстве. По состоянию на 1783 год на один СНП Крыма приходилось около 10 дворов (в предгорьях — 11, в степной зоне — 8) [31]. Спустя два десятилетия российского владения (1805) более половины населенных пунктов имели менее 100 жителей и были равномерно рассеяны по равнинной части полуострова. Инициированные правительством переселения казенных крестьян и иностранных колонистов были направлены в основном в северные районы Таврической губернии, частью которой с 1802 года стал Крым.

Наиболее существенные изменения в расселении Крыма произошли во второй половине XIX века вследствие массового исхода крымскотатарского населения после Крымской войны — были полностью оставлены и разрушены 315 сельских поселений (четверть всех СНП того времени) [51], особенно в степных районах. На месте покинутых деревень медленно формировалась новая сеть (за счет привлечения переселенцев из внутренних губерний и иностранных колонистов). На рубеже XIX–XX веков сельское расселение начало трансформироваться из мелкоселенного в укрупненное за счет массового притока переселенцев в существующие и новые населенные пункты.

Несмотря на благоприятные условия для хуторского расселения в равнинной части, его распространение было ограничено природными факторами, прежде всего дефицитом водных ресурсов. В условиях аридного климата и значительной глубины залегания подземных вод [32] расселение в автономных усадьбах (хуторах) было затруднительным. Для обеспечения водоснабжения требовалось устройство глубоких колодцев, которые редко были по силам одному хозяйству. Как показывают архивные этнографические и географические материалы конца XIX — начала XX веков, колодцы часто строили вскладчину несколькими дворами, деревней или сельским обществом, что предполагало коллективную модель расселения, а не индивидуально-хуторскую.

Природно-климатические особенности Крыма способствовали формированию пространственной неоднородности сельского расселения [17]. В степной зоне населенные пункты были равномерно размещены по территории для удобства ее обработки и выпаса скота, в предгорьях и горных районах — приурочивались к долинам, балкам, рекам и дорогам, иногда составляя сплошные цепочки поселений (например, вдоль рек Альма, Бельбек, Биюк-Карасу, Кача, Салгир). Несмотря на очевидную инфраструктурную неразвитость, поселения были укоренены в ландшафт и обеспечивали ощущение достатка и комфорта [26], т.е. формы расселения и жизнедеятельности дореволюционного времени были адаптивной стратегией освоения аридной среды, основывались на локальных знаниях, укорененных в культуре, и природных условиях (табл. 1).

Таблица 1

Сельское население и средний размер СНП Крымского полуострова

Год	Численность сельского населения	Средний размер СНП	Год	Численность сельского населения	Средний размер СНП
1783	0,11	0,08	1939	0,54	0,7
1805	0,14	0,13	1959	0,42	0,42
1864	0,19	0,1	1970	0,67	0,74
1886	0,16	0,27	1989	0,75	0,82
1897	0,32	0,3	2001	0,78	0,83
1921	0,39	0,2	2014	0,96	0,92
1926	0,4	0,18	2021	0,99	0,95
1937	0,49	0,48			

Политика Советского государства внесла наиболее существенные изменения в сельское расселение: коллективизация 1930-х годов сопровождалась укрупнением хозяйств и трансформацией поселенческой сети; образование

колхозов способствовало появлению новых населенных пунктов — центральных усадеб, поселений при фермах, отделениях крупных совхозов (иногда на месте бывших частновладельческих имений, экономий, усадеб и пр.), артелей и др. Например, в рамках программы КомЗЕТ по аграризации еврейского населения в 1927–1935 годы в Северном Причерноморье было создано пять еврейских национальных районов (из 88 земледельческих поселков) [29; 40]. Еврейские населенные пункты были созданы и на других территориях [41].

В годы Второй мировой войны в Крыму были полностью разрушены сети этнического расселения крымских татар, немцев, болгар, греков и армян вследствие депортаций и уничтожения поселений в период оккупации — исчезло 311 СНП [61]. На месте некоторых из них в послевоенные годы власти расселяли переселенцев из внутренних областей РСФСР и УССР. Нередко создавались неустойчивые сельские структуры, не адаптированные к природно-ресурсным условиям, причем прежние инфраструктурные связи утратили системность, что снижало устойчивость и воспроизводство сельского уклада [48]. Административные переселения изменили этническую структуру и увеличили размеры населенных пунктов (за счет слияния нескольких малых СНП в один или размещения переселенцев в оставшихся крупных поселениях и упразднения малых).

Урбанизация 1950–1980-х годов в Крыму совпала с мощным притоком переселенцев в сельскую местность, что было санкционировано властями для восполнения демографических потерь вследствие депортаций. Однако доля сельского населения за советский период сократилась с 54,3 % (1921) до 35,7 % (1989), поскольку жители уезжали в города, а некоторые крупные села были преобразованы в поселки городского типа. В Крыму средний размер СНП увеличился более чем в 10 раз: с 0,2 тысячи жителей в 1921 году до 2,3 тысяч в 1989 [46]. В 1960–1980-е годы реализовывался проект по преобразованию крупных СНП в экспериментально-показательные села [25]. До строительства мелиоративной системы (Северо-Крымского канала) в 1960-е годы водообеспечение было проблемным, что сдерживало расселение и консолидацию СНП в засушливых районах [42]. Кроме того, многие сельские районы в послевоенный период испытывали долговременную институциональную недоинвестированность [10], особенно в центральной и восточной частях Крыма.

Во второй половине XX века на численность сельского населения стало оказывать существенное влияние естественное движение, а значение миграций снизилось [14]. После завершения переселенческой кампании (1976) [49] убыль сельских жителей сопровождалась старением демографической структуры вследствие усиления невозвратной миграции молодежи. Позднесоветский период сельские респонденты оценивают по-разному: бывшие колхозники, в том числе функционеры, называли этот период апогеем

советского аграрного развития (относительно высокие доходы работников, возможность накопления, колхозы-миллионеры, благоустройство села), а представители образованной сельской молодежи и жители, работавшие в других сферах, в том числе маятниковые мигранты, — временем сельской бесперспективности (снижение культурного уровня и рост алкоголизма, предопределенность жизненной траектории «школа–училище–колхоз», отсутствие мотивации и амбиций, трудовая апатия).

Таким образом, советское административное вмешательство в традиционные системы расселения порождало неустойчивые пространственные формы, разрушая исторически сложившихся хозяйственные уклады и расселенческие модели [50]. Новые поселения, созданные вне логики природно-социальной адаптации, часто страдали от нехватки ресурсов, слабых горизонтальных связей и высокой зависимости от централизованных структур, что предопределило их уязвимость в постсоветский период, когда снижение рождаемости и повышение смертности привели к естественной убыли, усилив депопуляцию сельской местности. Параллельно происходила деагризация села — снижение роли сельского хозяйства как источника занятости и доходов для сельского населения на фоне импульсивной ликвидации коллективных хозяйств. В 1990-е годы усилилась натурализация сельского хозяйства: значительная часть сельских жителей, оставшихся без работы, вынуждена была развивать личные подсобные хозяйства как основной источник выживания. Подспорьем стала распродажа колхозных имущественных фондов (сельскохозяйственная техника, скот), которые приобретались бывшими колхозниками и стали источником получения дохода. В дальнейшем наиболее предприимчивые жители села использовали купленную технику, скот, арендованные у односельчан земельные паи для развития крестьянских фермерских хозяйств [13].

После 2000 года значительная часть крымчан перестала заниматься сельским трудом: часть трудоспособного населения мигрировала, переориентировалась и включилась в возросший поток маятниковой трудовой миграции в ближайшие города и поселки с развивающейся сферой услуг, либо же уходила на заработки за пределы сельской местности (на стройки, в сезонную сферу услуг на Южном берегу Крыма и др.). В постсоветский период в структуре СНП возросла доля населенных пунктов, выполняющих преимущественно жилые и «спальные» функции без значимой экономической активности. Кроме того, возросла рекреационная функция сельских территорий — разрослась сеть садоводческих и дачных товариществ, жилье в СНП стало использоваться горожанами в качестве дач (в том числе дома пожилых родителей).

Миграционные процессы оказали двойственное влияние на социальное развитие сельских территорий. С одной стороны, отток сельских жителей (как внутренний — в города, так и внешний — за пределы региона) усилил депо-

пуляцию периферийных СНП в степной зоне (особенно в районах северного Крыма, Керченского и Тарханкутского полуостровов). С другой стороны, наблюдалась и положительная миграция благодаря репатриации крымских татар и представителей других депортированных народов — свыше 260 тысяч человек вернулись на полуостров [20] и были расселены преимущественно в существующих СНП, лишь изредка создавая новые поселения. Репатрианты несколько «омолодили» население части СНП и замедлили их социально-экономический спад, заселившись в дома, высвобождавшиеся в результате оттока славянского населения на историческую родину (в регионы Белоруссии, России и Украины).

В целом демографическая картина сельского Крыма остается неоднозначной. Периферийные аграрные и горные районы страдают от оттока и старения населения [7], сельское хозяйство становится высокотехнологичным и не требует большого числа работников (холдингизация аграрного сектора сокращает рабочие места на селе), усиливается депопуляция слабо развитых мелких СНП при одновременном росте населенности крупных поселений. Так, число занятых в сельском хозяйстве в негородских районах Крыма в 2017–2024 годы сократилась почти на треть при относительной стабильности численности сельского населения. Как и в других южных регионах, в аграрном секторе важную роль играет неформальная занятость, импульсивно возросшая в 1990-е годы как реакция на кризис системы колхозов и пауперизацию сельского населения. Во многих случаях, особенно в крупных СНП, уход в теневую экономику (отходничество, личные подсобные хозяйства, торговля и др.) позволил выжить сельским сообществам.

Таблица 2

**Динамика занятости населения сельских муниципальных районов
Республики Крым, тыс. чел.**

Год	Все отрасли	Сельское хозяйство
2017	74,9	10,6
2018	74,9	8
2019	77,1	8,7
2020	78,5	8,4
2021	79,6	8,1
2022	78,8	7,5
2023	78,2	6,8
2024	76,6	7,6

Большая часть трудоспособного сельского населения либо занята в бюджетной сфере (образование, здравоохранение), которая постепенно сокращается в депрессивных районах, либо вовлечена в маятниковую миграцию

в близлежащие города, что закрепляет поляризацию сельского расселения: крупные населенные пункты (особенно в пригородах) относительно стабильны, а множество малых страдает от депопуляции и неустанно сокращается. Трансформация занятости ведет не только к экономическим, но и к социальным изменениям: утрате профессиональной идентичности, связанной с сельским хозяйством, и формированию гибридной идентичности «сельско-городского жителя», который вынужден совмещать несколько видов деятельности и социальных ролей, что отражает общемировой тренд на размывание жестких границ между сельским и городским образом жизни и формирование сельско-городского континуума.

Плотность населения Крыма резко различается по городским округам и сельским районам, что наглядно отражает пространственную поляризацию [56]. Наибольшая концентрация населения наблюдается в крупных городах — Симферополе (3294 чел./км²), Евпатории (1818), Керчи (1437), Джанкое (1428) и Красноперекоске (1141), в то время как большинство муниципальных районов характеризуются крайне низкой плотностью (например, Черноморский — 20,1, Ленинский — 20,7, Красноперекоский — 21,6 чел./км²). Исключение — Симферопольский район, прилегающий к столице, где плотность населения составляет 96 чел./км², что объясняется субурбанизацией и маятниковой миграцией в административный центр региона (Симферополь) [56].

Важное значение в пространственной организации играет транспортно-географическое положение: населенные пункты, расположенные вблизи крупных центров и вдоль ключевых транспортных артерий, сохраняют более высокую численность населения и развитую инфраструктуру, что связано с доступностью рабочих мест и услуг. В пригородных зонах плотность сельского населения в разы выше, чем на периферии; сеть крупных населенных пунктов здесь лучше сохранилась, а жители чаще совмещают занятость в сельском хозяйстве и городах, что поддерживает социально-экономическую устойчивость таких территорий. Обратная ситуация наблюдается в отдаленных степных районах с плохой транспортной доступностью, где вывод земель из сельхозоборота и депопуляция протекают более интенсивно, а инфраструктурная деградация становится хронической проблемой. Пространственная асимметрия усиливает разрыв в уровне жизни, доступности услуг и инвестиционной привлекательности между городскими и сельскими территориями, определяя противоречия в развитии сельского пространства.

В Крыму, как и других южных регионах, поселения с выгодным транспортно-географическим положением более устойчивы. Исторически строительство автомобильных и железных дорог стимулировало рост узловых сел и поселков [27]: благодаря расположению на транспортных и торговых путях они привлекали население и инвестиции, трансформируясь из мелких в крупные, тогда как СНП в стороне от основных путей чаще приходили в упадок. Например, в первой половине XX века большинство

волостных центров степного Крыма проиграли пристанционным поселкам, которые стали новыми локальными центрами сельского расселения.

Каркас современного сельского расселения Крымского полуострова сложился в основном в советский период в ходе землеустройства и создания сельскохозяйственных ареалов. Его опорными точками являются обслуживающие центры (поселки городского типа) и крупные села, где в недавнем прошлом размещались центральные усадьбы коллективных хозяйств. Параллельно происходило дачное и рекреационное освоение сельской местности — расселение дополнялось развитием сети садоводческих товариществ, рекреационных комплексов и дач [33].

В постсоветское время сельское пространство южных регионов России, в том числе Крыма, приобрело выраженную полифункциональность и все в меньшей степени определяется аграрным сектором. Здесь сосуществуют разнообразные типы поселений — от депрессивных малых СНП с остаточным населением до приморско-курортных агломераций и пригородных СНП с преобладающей жилой функцией. Массовое дачное освоение сельской местности привело к тому, что вокруг Симферополя, Севастополя, Керчи и других городов образовались целые пояса СНТ, частично легализованные через «дачную амнистию» и включенные в схемы пространственного развития муниципалитетов. Некоторые из них постепенно превращаются в полноценные населенные пункты или городские массивы с капитальной застройкой и постоянными жителями, однако до сих пор остаются вне правового поля (не имеют официального статуса).

Параллельно с дачным освоением происходила субурбанизация, например, ряд СНП фактически интегрировались в Симферопольскую агломерацию, став «спальными районами» с индивидуальной жилой застройкой. Их жители регулярно совершают маятниковые поездки в город, пользуясь развитой сетью общественного транспорта (маршруты часто имеют конечные остановки в этих селах) (подобные явления характерны не только для Крыма, но и для Ростовской области и Краснодарского края). Кроме того, вследствие резкого роста стоимости земельных участков и жилья активизировалось строительство домов в пригородах Симферополя с более низким уровнем цен.

Курортно-рекреационная функция, особенно значимая для Крыма, усиливает территориальную специализацию сельских районов. Приморские СНП Южного берега Крыма и побережья Азовского моря трансформировались в туристические поселки с сезонной концентрацией населения. В них активно развиваются частные базы отдыха, гостевые дома и сфера услуг, при этом сельскохозяйственные функции либо полностью утрачены, либо сведены к минимуму. Аналогичные процессы наблюдаются в курортных поселках Краснодарского края, что свидетельствует о складывании приморско-курортных агломераций. В Крыму к ним относятся Евпаторийско-Сакская,

Ялтинско-Алуштинская и Феодосийско-Судакская зоны — цепочки взаимосвязанных населенных пунктов с высоким уровнем инфраструктурной интеграции, разорванные лишь природными преградами (горными массивами, водными акваториями).

Сельская экономика полуострова также диверсифицировалась: в предгорьях развиваются экотуристские проекты, винодельческие маршруты и агротуризм, в степных районах формируются новые очаги экономического роста на основе тепличных и садоводческих комплексов (крупные агрохолдинги, крестьянские фермерские хозяйства). Эти предприятия часто берут на себя и социальные функции: создают рабочие места, благоустраивают общественные пространства, финансируют развитие социальной инфраструктуры, компенсируя слабость государственных механизмов поддержки, особенно до 2014 года. Многие туристические объекты развиваются без участия местных сообществ: в глазах предпринимателей сельские жители не обладают нужными компетенциями и отстранены от инноваций [43]. Однако такая многослойность развития не исключает деградации периферийных территорий, лишенных выгодного экономико-географического положения или значимой для муниципалитетов экономической активности, — для них характерны депопуляция, «оптимизация» социальной инфраструктуры и утрата привлекательности даже в качестве сезонного места жительства.

Сельское расселение завершает переход от мелкоселенного (множество малых СНП) к среднеселенному типу с опорными пунктами, играющими роль кустовых центров. В этих центрах концентрируются ресурсы, население и основные сервисные функции, что повышает устойчивость всей сети, но усиливает поляризацию сельского пространства и депопуляцию отсталых населенных пунктов [62]. Крымский полуостров выступает не только территорией депопуляции села — многие равнинные поселения демонстрируют высокую степень устойчивости к сложным социально-экономическим условиям (отсутствие работы, сжатие экономического пространства, апатия сельских сообществ). В них сохраняются личные подсобные хозяйства, горизонтальные связи, маятниковая и сезонная трудовая мобильность. Повседневной практикой здесь становится сочетание сельской оседлости с активным использованием ресурсов близлежащих обслуживающих центров. При этом постепенно снижается доля натурального хозяйства: молодое и трудоспособное население все реже использует землю как источник продовольствия, предпочитая потребительский образ жизни, основанный на заработках в городах. Сельские жители все чаще зависят от внешних центров, увеличивается количество поездок за товарами, медицинскими и административными услугами [63].

Опорными точками устойчивости сельского каркаса расселения Крыма стали индустриальные и транспортные узлы: Джанкой, Красногвардейское, Армянск, Саки, Керчь. Вокруг них концентрируются рабочие места, логистика, услуги и существенные потоки маятниковых перемещений сельских жи-

телей округа. Эти поселения не только обеспечивают занятость, но и структурируют окружающее сельское пространство, формируя «зоны тяготения» социально-экономического и демографического характера. Влияние их распространяется также на сферу образования, здравоохранения и торговли, поскольку в них находятся учреждения и объекты, недоступные в малых СНП. Многие сельские жители, особенно в условиях слабой инфраструктуры, ориентированы на эти города в повседневной мобильности. Кроме того, вблизи таких центров наблюдается частичная трансформация СНП в «спальные» пригороды, где сохраняется аграрная специализация, но занятость населения все больше связана с внешними, преимущественно городскими, рынками труда. Такие процессы особенно выражены вдоль ключевых транспортных артерий и в зонах агломерационного влияния крупных центров, что усиливает поляризацию сельского пространства, но одновременно создает предпосылки для устойчивого пригородного развития.

И, наконец, важной особенностью сельского развития Крыма стало формирование репатриантского расселения вследствие стремительного возвращения депортированных народов в условиях правовой неопределенности, дефицита земельных ресурсов и несовершенства институциональных механизмов миграционной политики. В этих условиях расселение носило преимущественно децентрализованный и стихийный характер — лишь в редких случаях новые поселения репатриантов создавались организованно, например, Айкаван (армянский), Акрополис (греческий), Ана-Юрт (крымскотатарский) в пригородах Симферополя, а также возрожденное село Сары-Баш (бывшее Танино) в Первомайском районе [33]. Подавляющее большинство репатриантов оседало разрозненно, часто через несанкционированное строительство. Репатриация привела к формированию около 238 массивов компактного проживания на землях, не предназначенных для индивидуального жилищного строительства, зачастую на окраинах существующих населенных пунктов, и эти массивы были лишены базовых коммуникаций. Кроме того, несанкционированная застройка на землях колхозов в пригородных зонах Симферополя и других городов полуострова привела к появлению скоплений домовладений, получивших название «поляны протеста» или «самозахваты»; часть из них не была легализована и впоследствии демонтирована по решению властей.

Массивы компактного проживания репатриантов хотя и дополнили существующие населенные пункты, но породили масштабные инфраструктурные проблемы. Многие из них долгие годы не были обеспечены питьевой водой, электроэнергией, дорогами с твердым покрытием, медицинскими и образовательными учреждениями. Несмотря на эти ограничения, жители данных сообществ демонстрировали высокую степень самоорганизации, формировали горизонтальные связи и этнокультурную сплоченность, тем самым встраиваясь в картину сельской гетерогенности Крыма как особого типа этнического и адаптивного расселения и жизненного уклада, соче-

тающего отдельные элементы традиционного села, мигрантского анклава и дачного хозяйства. В итоге локальные сельские сообщества репатриантов создали «ландшафты выживания» в условиях нехватки ресурсов и нестабильности [67], где при отсутствии централизованного обеспечения возникли устойчивые формы самоорганизации. Эти сообщества можно рассматривать как форму «воображаемых общностей» в миниатюре, где общая история депортации и возвращения становится основой для коллективной идентичности и взаимоподдержки (социальный капитал компенсирует отсутствие капитала институционального).

Сельское пространство Крымского полуострова остается сложной и внутренне неоднородной структурой, в которой сосуществуют процессы роста, деградации и адаптации. В этой ситуации сложно говорить о едином тренде: одни поселения превращаются в рекреационные поселки, другие — в спальные районы, третьи — теряют население, но сохраняют устойчивость за счет внутренних ресурсов. Особенность сельского Крыма заключается не в универсальности развития, а в его гетерогенности, позволяющей приспособливаться к самым разным социально-экономическим, геополитическим и административным условиям. В отличие от классической дихотомии «город–село» современное расселение Крыма формирует село-городской континуум, внутри которого пространственная и социальная мобильность, сезонные колебания численности и транспортная доступность играют ключевую роль, что характерно не только для Крыма, но и для российских регионов в целом.

Таким образом, развитие сельского пространства южных регионов в постсоветский период демонстрирует тенденцию к полифункциональности: традиционный аграрный уклад дополняется рекреационными, селитебными и транзитными функциями, что делает эти территории зонами миграционного притяжения, особенно для выходцев из климатически и экономически менее благополучных регионов. В отличие от Центральной России, где доминирует влияние столичной агломерации, южные сельские территории развиваются за счет локальных индустриальных, транспортных и курортных узлов, формируя новые модели пространственной организации. Сельское пространство Крымского полуострова сочетает неоднородные природные условия, исторически сложную структуру расселения, этнокультурное разнообразие и институциональную нестабильность. Переход от преимущественно мелкоселенного аграрного к среднеселенному полифункциональному типу сопровождается ростом пространственной поляризации: пригородные и приморские поселения получают новые стимулы развития, тогда как степная периферия сталкивается с депопуляцией, старением населения и деградацией инфраструктур, в результате перераспределение ресурсного потенциала в пользу узловых центров сопровождается «сжатием» освоенного пространства.

Устойчивость сельских территорий определяется не только наличием инвестиций и институциональной поддержки, но и деятельностью местных сообществ: их способностью к самоорганизации, участию в неформальной экономике, мобильности и сетевым связям с городами. В этих условиях возрастает значение территориального общественного самоуправления, кооперации, горизонтальных связей и локальных инициатив, которые даже в условиях слабой муниципальной экономики способны поддерживать жизнеспособность сельских поселений и сопротивляться структурному неравенству. Пример Крыма показывает, что поляризация не исключает устойчивого развития, но меняет его смысл: устойчивость проявляется не в равномерном росте, а в способности поддерживать разнообразие жизненных стратегий и моделей пространственного развития. По сути, в Крыму формируется «новая деревня» — гетерогенное социальное пространство, где сосуществуют и взаимно влияют друг на друга курортные поселки, дачные товарищества, репатриантские массивы и традиционные аграрные села.

Будущая устойчивость сельских территорий Крыма и аналогичных южных регионов зависит от признания характерных для них локальных стратегий в качестве легитимных моделей развития. Для этого необходимо институциональное укрепление местного самоуправления, признание полицентричности как принципа территориального развития и поддержка низовых инициатив: когда жители способны эмоционально и деятельно вкладываться в сельское пространство, оно обретает потенциал роста и обновления, недоступный при сугубо «количественном» управлении, ориентированном на статистические показатели. Не стоит ожидать изобретения единственно справедливой муниципальной структуры — преимущество сельского пространства в многообразии форм поселений и практик преодоления социально-экономических трудностей, которые, возникая как неформальные, в итоге формализуются и становятся базовыми для экономики и общества.

Информация о финансировании

Данная статья подготовлена в рамках государственного задания РАНХиГС.

Библиографический список

1. *Алексеев А.И.* Многоликая деревня (население и территория). М., 1990.
2. *Алексеев А.И., Сафронов С.Г.* Изменение сельского расселения в России в конце XX — начале XXI века // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2015. № 2.
3. *Белозеров В.С.* Трансформация этно-демографических и миграционных процессов на Северном Кавказе // Население Юга России: трансформация воспроизводства, расселения и образа жизни в современных геополитических условиях. Ставрополь, 2009.
4. *Весь Крым, 1920–1925.* Симферополь, 1926.
5. *Водарский Я.Е., Елисеева О.И., Кабузан В.М.* Население Крыма в конце XVII — конце XX века: численность, размещение, этнический состав. М., 2003.

6. *Волосожарова В.А.* Региональные особенности динамики сельского населения Украинской ССР // Проблемы повышения эффективности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве Украинской ССР. Полтава, 1972.
7. *Вольхин Д.А., Швец А.Б., Яковенко И.М.* Картографическая интерпретация исследования сельского образа жизни в Крыму // Интеркарто. Интергис. 2022. Т. 28. № 2.
8. *Всемирная история.* Т. 7. М., 1960.
9. *Габриелян О.А., Петров В.П.* Крым. Депортированные граждане: возвращение, обустройство, социальная адаптация. Симферополь. 1997.
10. *Георбанистика и градостроительство: теоретические и прикладные исследования* / Отв. ред. А.Г. Махрова. М., 2021.
11. *Города и поселения Крымского ханства.* URL: <https://realnoevremya.ru/articles/291375-goroda-i-poseleniya-krymskogo-hanstva>.
12. *Гришин Е.С.* Водные ресурсы Крыма в составе Таврической губернии и их использование: опыт характеристики // Историко-географический журнал. 2022. Т. 1. № 2.
13. *Гусаков Т.Ю.* Сельская неформальная экономика крымского села Новоалексеевка // Крестьяноведение. 2017. Т. 2. № 4.
14. *Гусаков Т.Ю.* Этнические миграции на Крымском полуострове (1783–2014) // Географический вестник. 2019. № 4.
15. *Гусаков Т.Ю.* Сельское расселение и миграции населения на Крымском полуострове // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2021. Т. 7. № 3.
16. *Дюркгейм Э.* О разделении общественного труда / Пер. с фр. А.Б. Гофмана. М., 1996.
17. *Ена В.Г.* В горах и на равнинах Крыма. Симферополь, 1973.
18. *Записки Одесского общества истории и древностей.* Т. 11. Одесса, 1879.
19. *Зиммель Г.* Большие города и духовная жизнь. М., 2018.
20. *Зорин В.Ю., Старченко Р.А., Степанов В.В.* Этническая и этнополитическая карта Крыма. М., 2017.
21. *Зубаревич Н.В.* Трансформация сельского расселения и сети услуг в сельской местности // Известия РАН. Серия географическая. 2013. № 3.
22. *Кабузан В.М.* Заселение Северного Причерноморья (Новороссии) в XVIII веке. (1719–1795) // Советская этнография. 1969. № 6.
23. *Ковалев С.А.* Сельское расселение (географическое исследование). М., 1963.
24. *Ковалев С.А., Ковальская Н.Я.* География населения СССР. М., 1980.
25. *Ковпак Л.В.* Неперспективні села // Енциклопедія історії України. Т. 7. Київ, 2010.
26. *Кондараки В.Х.* Универсальное описание Крыма. Ч. 1. СПб., 1875.
27. *Кузнецов М.М.* Формирование системы расселения Крыма под влиянием транспортного фактора // Ученые записки Таврического национального университета. Серия: География. 2004. Т. 17. № 4.
28. *Лантев Ю.Н.* Особенности возвращения и формирования этнической группы немцев в АР Крым. М., 2003.
29. *Ларин Ю.* Евреи и антисемитизм в СССР. М., 1929.
30. *Лашков Ф.Ф.* Исторический очерк крымскотатарского землевладения. Симферополь, 1897.
31. *Лашков Ф.Ф.* Камеральное описание Крыма 1784 года // Известия Таврической ученой архивной комиссии. 1888. Т. 6.
32. *Луцик А.В.* Проблемы рационального использования подземных вод в степном Крыму // Водные ресурсы. 1976. № 4.
33. *Меметова Р.Ш.* Социально-экологические проблемы расселения крымских татар // Ученые записки Таврического национального университета. Серия: География. 2011. Т. 24. № 2.
34. *Миграция сельского населения* / под ред. Т.И. Заславской. М., 1970.
35. *Немцы России: населенные пункты и места поселения: энциклопедический словарь* / Сост. В.Ф. Дизендорф. М., 2006.

36. *Нефедова Т.Г.* Сельская Россия на перепутье: географические очерки. М., 2003.
37. *Нефедова Т.Г.* Десять актуальных вопросов о сельской России. М., 2013.
38. *Нефедова Т.Г.* Сельское Ставрополье глазами московского географа. Ставрополь, 2012.
39. *Нефедова Т.Г., Покровский Н.Е., Трейвиш А.И.* Урбанизация, дезурбанизация и сельско-городские сообщества // Социологические исследования. 2015. № 12.
40. *Пасик Я.* Катастрофа еврейского крестьянства Юга Украины и Крыма. URL: https://evkol.ucoz.com/colony_holocaust.htm.
41. *Пасик Я.* Отдельные еврейские земледельческие поселения Юга Украины // URL: https://evkol.ucoz.com/separate_soviet_villages.htm.
42. *Пацения В.Н.* Крымская область в советский период (1946–1991). Симферополь, 2008.
43. *Пивовар Г.А., Алексеев А.И., Гавриленко А.С., Гусаков Т.Ю., Дельва К.И., Корюхин Д.М.* Рост полифункциональности сельской местности // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2018. № 2.
44. *Покишишевский В.В.* География миграций населения в России. Дисс. д.геогр.н. М., 1947.
45. *Полян П.М.* Территориальные структуры — урбанизация — расселение. М., 2014.
46. Предварительные итоги переписи в Крыму в 1921 г. Симферополь, 1922.
47. *Рогожин Г.Н.* Сельское расселение Украинской ССР. Киев, 1973.
48. *Сеитова Э.И.* Переселенческий процесс в Крым: 1944–1953 // Культура народов Причерноморья. 2011. № 199.
49. *Сеитова Э.И.* Организация трудового переселения в Крым (1944–1976) // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. Т. 155. Кн. 3. Ч. 1.
50. *Синицын Ф.Л.* Советское государство и кочевники. М., 2019.
51. Список деревням и сельбищам, оставшимся после выхода татар за границу (1860–1866) // Памятная книга Таврической губернии. Вып. 1. Симферополь, 1867.
52. *Старченко Р.А.* Динамика численности и расселения русских Крыма в XVIII–XIX // Вестник КГУ. 2013. № 6.
53. *Теннис Ф.* Общность и общество. СПб., 2002.
54. *Ткаченко А.А., Фомкина А.А.* Глубинка Центральной России // Российская глубинка — модели и методы изучения. М., 2012.
55. *Трейвиш А.И.* «Сжатие» пространства: трактовка и модели // Сжатие социально-экономического пространства. М., 2010.
56. *Трейвиш А.И.* Сельско-городской континуум // Демографическое обозрение. 2016. Т. 3. № 1.
57. *Троцук И.В.* Вопросы без ответов, или еще одно «измерение» российской сельской дифференциации // Крестьяноведение. 2021. Т. 6. № 3.
58. *Троцук И.В.* Новый взгляд на старые проблемы российской периферии // Крестьяноведение. 2022. Т. 7. № 1.
59. *Троцук И.В.* Социальные аспекты российской географии: новый виток наблюдений за трансформациями межстоличного пространства // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2016. Т. 16. № 4.
60. *Троцук И.В.* Типология и топология сельского расселения: возможности и ограничения краткого изложения // Крестьяноведение. 2025. Т. 10. № 2.
61. *Шевчук А.Г., Швец А.Б.* Политико-географический фактор эволюции крымской системы расселения // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2010. Вып. 1.
62. *Швец А.Б., Вольхин Д.А.* Исчезающие села Крыма как фрагмент в изучении «Иного Крыма» // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2020. Т. 6. Вып. 3.
63. *Швец А.Б., Киселева Н.В., Воронин И.Н., Вольхин Д.А., Яковлев А.Н.* Сельские территории Крыма: границы и содержание образа // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2021. Т. 7. Вып. 3.
64. *Bourdieu P.* Social space and symbolic power // Sociological Theory. 1989. Vol. 7. No. 1.
65. *Hillyard S.* The Sociology of Rural Life. Oxford, N.Y., 2007.
66. *Lefebvre H.* The Production of Space. Oxford, 1991.

67. Mathews A.S. *Trees Are Shape Shifters: How Cultivation, Climate Change, and Disaster Create Landscapes*. Yale University Press, 2022.
68. Moon D. *The American Steppes: The Unexpected Russian Roots of Great Plains Agriculture, 1870s–1930s*. Cambridge University Press, 2020.
69. Park R. The City: Suggestions for the investigation of human behavior in the city environment // *American Journal of Sociology*. 1915. Vol. 20. No. 5.
70. Vickery M.B. *Landscape and Infrastructure: Reimagining the Pastoral Paradigm for the Twenty-First Century*. Bloomsbury, 2020.
71. Wirth L. Urbanism as a way of life // *American Journal of Sociology*. 1938. Vol. 44. No. 1.
72. Woods M. *Rural*. L., N.Y., 2011.

DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-767-789

EDN: KDJYFI

Polarization of rural space in Southern Russia: The Crimean case*

T.Yu. Gusakov

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
Prosp. Vernadskogo, 82, Moscow, 119571, Russia

(e-mail: gusakov-ty@ranepa.ru)

Abstract. In the post-Soviet period, social-economic differentiation in Russia has intensified, which is reflected in the concentration of population, capital and infrastructure in agglomerations and resort areas, while peripheral territories lose opportunities for development. This process has particularly affected small and medium-sized rural communities experiencing depopulation, declining employment and limited access to basic services. Thus, there is a system of uneven development, which consolidates differences between the center and the periphery. The Crimean Peninsula is a concentrated manifestation of such trends: differentiation of spatial development is reinforced by a combination of tourism and recreational specialization, differences in natural-resource conditions, and political-administrative transformations in the post-Soviet period. The contrast between coastal areas and large agglomerations, which concentrate investment and jobs, and rural settlements in the center of the peninsula, which experience population outflow and a lack of resources, makes the region illustrative for the analysis of territorial imbalances. The article identifies social mechanisms that determine differences in the dynamics of rural areas in Crimea. The case study is based on historical, geographical and social-economic analysis, statistical and archival materials, mapping and field observations. Spatial differentiation is considered as both a result of economic processes and a form of social inequality, which affects life strategies of rural communities and structure of local livelihood practices. The author shows that the transformation of settlement patterns in Crimea is accompanied by a reduction in the number of small villages, concentration of resources in a limited number of centers, and deepening rural-urban asymmetries. At the same time, there are compensatory mechanisms based on informal economy, horizontal mobility and local forms of mutual assistance, which explain the specifics of the Crimean rural transformation and the mechanisms of territorial differentiation in post-Soviet rural areas.

*© T.Yu. Gusakov, 2025

The article was submitted on 15.05.2025. The article was accepted on 14.10.2025.

Key words: rural areas; rural settlement; spatial polarization; rural-urban communities; migration; urbanization; spatial inequality

For citation: Gusakov T.Yu. Polarization of rural space in Southern Russia: The Crimean case. *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (4): 767–789. (In Russ.). <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-767-789>

Funding

The article was written on the basis of the RANEPa state assignment research program.

References

1. Alekseev A.I. *Mnogolikaya derevnya (naselenie i territoriya)* [Multifaceted Village: Population and Territory]. Moscow; 1990. (In Russ.).
2. Alekseev A.I., Safronov S.G. *Izmenenie selskogo rasseleniya v Rossii v kontse XX — nachale XXI veka* [Changes in Russia's rural settlement in the late 20th — early 21st century]. *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 5: Geografiya*. 2015; 2. (In Russ.).
3. Belozеров V.S. *Transformatsiya etno-demograficheskikh i migratsionnykh protsessov na Severnom Kavkaze* [Transformation of ethno-demographic and migration processes in the North Caucasus]. *Naselenie Yuga Rossii*. Stavropol; 2009. (In Russ.).
4. Ves Krym, 1920–1925 [Crimea. 1920–1925]. Simferopol; 1926. (In Russ.).
5. Vodarsky Ya.E., Eliseeva O.I., Kabuzan V.M. *Naselenie Kryma v kontse XVII — kontse XX veka: chislennost, razmeshchenie, etnichesky sostav* [Population of Crimea in the Late 17th — Late 20th Centuries: Number, Distribution, Ethnic Composition]. Moscow; 2003. (In Russ.).
6. Volosozharova V.A. *Regionalnye osobennosti dinamiki selskogo naseleniya Ukrainskoi SSR* [Regional Features of the Rural Population Dynamics in the Ukrainian SSR]. Poltava; 1972. (In Russ.).
7. Volkhin D.A., Shvets A.B., Yakovenko I.M. *Kartograficheskaya interpretatsiya issledovaniya selskogo obraza zhizni v Krymu* [Cartographic interpretation of the study of rural lifestyle in Crimea]. *Interkarto. Intergis*. 2022; 28 (2). (In Russ.).
8. *Vsemirnaya istoriya* [World History]. Vol. 7. Moscow; 1960. (In Russ.).
9. Gabrielyan O.A., Petrov V.P. *Krym. Deportirovannye grazhdane: vozvrashchenie, obustroistvo, sotsialnaya adaptatsiya* [Crimea. Deported Citizens: Return, Settlement, Social Adaptation]. Simferopol; 1997. (In Russ.).
10. *Geourbanistika i gradostroitelstvo: teoreticheskie i prikladnye issledovaniya* [Geo-Urban Studies and Urban Planning: Theoretical and Applied Research]. Moscow; 2021. (In Russ.).
11. *Goroda i poseleniya Krymskogo khanstva* [Cities and Settlements of the Crimean Khanate]. URL: <https://realnoevremya.ru/articles/291375-goroda-i-poseleniya-krymskogo-hanstva>. (In Russ.).
12. Grishin E.S. *Vodnye resursy Kryma v sostave Tavricheskoy gubernii i ih ispolzovanie* [Water resources of Crimea in the Taurida Province and their use]. *Istoriko-Geografichesky Zhurnal*. 2022; 1 (2). (In Russ.).
13. Gusakov T.Yu. *Selskaya neformalnaya ekonomika krymskogo sela Novoalekseevka* [Rural informal economy of the Crimean village Novoalekseevka]. *Russian Peasant Studies*. 2017; 2 (4). (In Russ.).
14. Gusakov T.Yu. *Etnicheskie migratsii na Krymskom poluostrove (1783–2014)* (Ethnic migrations on the Crimean Peninsula, 1783–2014). *Geografichesky Vestnik*. 2019; 4. (In Russ.).
15. Gusakov T.Yu. *Selskoe rasselenie i migratsii naseleniya na Krymskom poluostrove* (Rural settlement and migration on the Crimean Peninsula). *Geopolitika i Ekogeodinamika Regionov*. 2021; 7 (3). (In Russ.).
16. Durkheim E. *O razdelenii obshchestvennogo truda* [The Division of Labor in Society]. Moscow; 1996. (In Russ.).

17. Ena V.G. *V gorah i na ravninah Kryma* [In the Mountains and Plains of Crimea]. Simferopol; 1973. (In Russ.).
18. *Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i drevnostei* [Proceedings of the Odessa Society of History and Antiquities]. Vol. 11. Odessa; 1879. (In Russ.).
19. Simmel G. *Bolshie goroda i dukhovnaya zhizn* [The Metropolis and Mental Life]. Moscow; 2018. (In Russ.).
20. Zorin V.Yu., Starchenko R.A., Stepanov V.V. *Etnicheskaya i etnopoliticheskaya karta Kryma* [Ethnic and Ethno-Political Map of Crimea]. Moscow; 2017. (In Russ.).
21. Zubarevich N.V. Transformatsiya selskogo rasseleniya i seti uslug v selskoi mestnosti [Transformation of rural settlement and services network in rural areas]. *Izvestiya RAN. Seriya Geograficheskaya*. 2013; 3. (In Russ.).
22. Kabuzan V.M. Zaselenie Severnogo Prichernomorya (Novorossii) v XVIII veke (1719–1795) [Settlement in the Northern Black Sea Region (Novorossiia) in the 18th century, 1719–1795]. *Sovetskaya Etnografiya*. 1969; 6. (In Russ.).
23. Kovalev S.A. *Selskoe rasselenie (geograficheskoe issledovanie)* [Rural Settlement: A Geographical Study]. Moscow; 1963. (In Russ.).
24. Kovalev S.A., Kovalskaya N.Ya. *Geografiya naseleniya SSSR* [Geography of Population in the USSR]. Moscow; 1980. (In Russ.).
25. Kovpak L.V. Neperspektivnye sela [Unpromising villages]. *Entsyklopediya istorii Ukrainy*. Vol. 7. Kyiv; 2010. (In Ukrainian).
26. Kondaraki V.Kh. *Universalnoe opisanie Kryma v 17 chastyah*. Ch. 1 [Universal Description of Crimea in 17 Parts. Part 1]. Saint Peterburg; 1875. (In Russ.).
27. Kuznetsov M.M. Formirovanie sistemy rasseleniya Kryma pod vliyaniem transportnogo faktora [Formation of the Crimean settlement system under the influence of the transport factor]. *Uchenye Zapiski Tavricheskogo Natsionalnogo Universiteta im. V.I. Vernadskogo. Seriya: Geografiya*. 2004; 17 (4). (In Russ.).
28. Laptev Yu.N. Osobennosti vozvrashcheniya i formirovaniya etnicheskoi gruppy nemtsev v Avtonomnoi Respublike Krym (Ukraina) [Features of the return and formation of the ethnic group of Germans in the Autonomous Republic of Crimea, Ukraine]. *Nemetskoe naselenie v postshtalinskom SSSR*. Moscow; 2003. (In Russ.).
29. Larin Yu. *Evrei i antisemitizm v SSSR* [Jews and Anti-Semitism in the USSR]. Moscow; 1929. (In Russ.).
30. Lashkov F.F. *Istorichesky ocherk krymsko-tatarskogo zemlevladieniya* [Historical Essay on the Crimean-Tatar Land Ownership]. Simferopol; 1897. (In Russ.).
31. Lashkov F.F. Kameralnoe opisanie Kryma 1784 goda (prodolzhenie) [Cameral description of Crimea, 1784 (continuation)]. *Izvestiya Tavricheskoi Uchenoi Arkhivnoi Komissii*. 1888; 6. (In Russ.).
32. Lushchik A.V. Problemy ratsionalnogo ispolzovaniya zapasov presnykh podzemnykh vod v raione stepnogo Kryma [Issues of the rational use of fresh groundwater reserves in the steppe Crimea]. *Vodnye Resursy*. 1976; 4. (In Russ.).
33. Memetova R.Sh. Sotsialno-ekologicheskie problemy rasseleniya krymskikh tatar na territorii Kryma [Socio-ecological issues of the Crimean Tatar settlement in Crimea]. *Uchenye Zapiski Tavricheskogo Natsionalnogo Universiteta im. V.I. Vernadskogo. Seriya: Geografiya*. 2011; 24 (2). (In Russ.).
34. *Migratsiya selskogo naseleniya* [Migration of Rural Population]. Ed. by T.I. Zaslavskoi. Moscow; 1970. (In Russ.).
35. Nemtsy Rossii: naselennyye punkty i mesta poseleniya: entsiklopedichesky slovar [Russian Germans: Settlements and Places of Residence: Encyclopedic Dictionary]. Ed. by V.F. Dyzenhof. Moscow; 2006. (In Russ.).
36. Nefedova T.G. *Selskaya Rossiya na pereputye: geograficheskie ocherki* [Rural Russia at the Crossroads: Geographical Essays]. Moscow; 2003. (In Russ.).

37. Nefedova T.G. *Desyat aktualnykh voprosov o selskoi Rossii: otvety geografa* [Ten Topical Questions about Rural Russia: Answers of the Geographer]. Moscow, 2013. (In Russ.).
38. Nefedova T.G. *Selskoe Stavropolye glazami moskovskogo geografa* [Rural Stavropol in the Perception of the Moscow Geographer]. Stavropol; 2012. (In Russ.).
39. Nefedova T.G., Pokrovsky N.E., Treyvish A.I. Urbanizatsiya, dezurbanizatsiya i selsko-gorodskie soobshchestva v usloviyah rosta gorizontnoi mobilnosti [Urbanization, de-urbanization and rural-urban communities under increasing horizontal mobility]. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2015; 12. (In Russ.).
40. Pasik Ya. Katastrofa evreiskogo krestyanstva Yuga Ukrainy i Kryma [Catastrophe of the Jewish peasantry in Southern Ukraine and Crimea]. URL: https://evkol.ucoz.com/colony_holocaust.htm. (In Russ.).
41. Pasik Ya. Otdelnye evreiskie zemledelcheskie poseleniya Yuga Ukrainy, osnovannye v 1920–1930 gg. [Some Jewish agricultural settlements in Southern Ukraine founded in the 1920s–1930s]. URL: https://evkol.ucoz.com/separate_soviet_villages.htm. (In Russ.).
42. Pashchenya V.N. *Krymskaya oblast v sovetsky period (1946–1991)* [Crimean Region in the Soviet Period, 1946–1991]. Simferopol; 2008. (In Russ.).
43. Pokshishevsky V.V. *Geografiya migratsii naseleniya v Rossii: opyt istoriko-geograficheskogo issledovaniya* [Geography of Population Migration in Russia: A Historical-Geographical Study]. Diss. d.geogr.n. Moscow; 1947. (In Russ.).
44. Polyan P.M. *Territorialnye struktury — urbanizatsiya — rasselenie: teoreticheskie podkhody i metody izucheniya* (Territorial Structures — Urbanization — Settlement: Theoretical Approaches and Methods of Study). Moscow; 2014. (In Russ.).
45. Pivovarov G.A., Alekseev A.I., Gavrilenko A.S., Gusakov T.Yu., Delva K.I., Koryukhin D.M. Rost polifunktionalnosti selskoi mestnosti: primer raiona na granitse Moskovskoi aglomeratsii [The growth of multifunctionality of rural areas on the example of the district on the border of the Moscow agglomeration]. *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 5: Geografiya*. 2018; 2. (In Russ.).
46. Predvaritelnye itogi perepisi v Krymu v 1921 g. [Preliminary Results of the 1921 Census in Crimea]. Simferopol; 1922. (In Russ.).
47. Rogozhin G.N. *Selskoe rasselenie Ukrainskoi SSR* [Rural Settlement in the Ukrainian SSR]. Kiev; 1973. (In Russ.).
48. Seitova E.I. Pereselenchesky protsess v Krym: 1944–1953 [Resettlement in Crimea, 1944–1953]. *Kultura Narodov Prichernomorya*. 2011; 1 (199). (In Russ.).
49. Seitova E.I. Organizatsiya trudovogo pereseleniya v Krym (1944–1976) [Organization of labor resettlement to Crimea, 1944–1976]. *Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya: Gumanitarnye Nauki*. 2013; 155 (3–1). (In Russ.).
50. Sinitsyn F.L. *Sovetskoe gosudarstvo i kochevniki* [Soviet State and Nomads]. Moscow; 2019. (In Russ.).
51. Spisok derevnyam i selbishcham, ostavshimsya posle vykhoda tatar za granitsu s 1860 po 1866 god [List of villages and settlements after the departure of Tatars abroad, 1860–1866]. *Pamyatnaya kniga Tavricheskoi gubernii*. Simferopol; 1867. (In Russ.).
52. Starchenko R.A. Dinamika chislennosti i rasseleniya russkikh Kryma v XVIII–XIX vekah [Dynamics of the number and settlement of Russians in Crimea, 18th — 19th centuries]. *Vestnik KGU*. 2013; 6. (In Russ.).
53. Tönnies F. *Obschnost i obschestvo* [Community and Society]. Saint Petersburg; 2002. (In Russ.).
54. Tkachenko A.A., Fomkina A.A. Glubinka Tsentralnoi Rossii: opyt formalizovannogo vydeleniya [Central-Russian hinterland: An attempt of formalized identification]. *Rossiiskaya glubinka — modeli i metody izucheniya*. Moscow; 2012. (In Russ.).
55. Treyvish A.I. “Szhatie” prostranstva: traktovka i modeli [“Compression” of space: Interpretation and models]. *Szhatie sotsialno-ekonomicheskogo prostranstva*. Moscow; 2010. (In Russ.).

56. Treyvish A.I. Selsko-gorodskoi kontinuum: sudba predstavleniya i ego svyaz s prostranstvennoi mobilnostiyu naseleniya [Rural-urban continuum: Fate of the concept and its connection with the population spatial mobility]. *Demograficheskoe Obozrenie*. 2016; 3 (1). (In Russ.).
57. Trotsuk I.V. Voprosy bez otvetov, ili eshche odno “izmerenie” rossiyskoy selskoy differentsiatsii [Questions without answers, or one more ‘dimension’ of the Russian rural differentiation]. *Russian Peasant Studies*. 2021; 6 (3). (In Russ.).
58. Trotsuk I.V. Novy vzglyad na staryye problemy rossiyskoy periferii [A new look at the old problems of the Russian hinterland]. *Russian Peasant Studies*. 2022; 7 (1). (In Russ.).
59. Trotsuk I.V. Sotsialnye aspekty rossiyskoy geografii: novy vitok nablyudeniy za transformatsiyami mezhsotlichnogo prostranstva [Social aspects of Russian geography: A new round of the studies of the space transformations between two Russian capitals]. *RUDN Journal of Sociology*. 2016; 16 (4). (In Russ.).
60. Trotsuk I.V. Tipologiya i topologiya selskogo rasseleniya: vozmozhnosti i ogranicheniya kratkogo izlozheniya [Typology and topology of rural settlement: Possibilities and limitations of a brief presentation]. *Russian Peasant Studies*. 2025; 10 (2). (In Russ.).
61. Shevchuk A.G., Shvets A.B. Politiko-geografichesky faktor evolyutsii krymskoi sistemy rasseleniya naseleniya v XX — nachale XXI vv. [Political-geographical factor of the evolution of the Crimean settlement system in the 20th — early 21st centuries]. *Geopolitika i Ekogeodinamika Regionov*. 2010; 1. (In Russ.).
62. Shvets A.B., Volkhin D.A. Ischezayushchie sela Krymskogo poluostrova kak fragment v izuchenii “Inogo Kryma” [Disappearing villages of the Crimean Peninsula as a fragment in the study of the “Other Crimea”]. *Geopolitika i Ekogeodinamika Regionov*. 2020; 6 (3). (In Russ.).
63. Shvets A.B., Kiseleva N.V., Voronin I.N., Volkhin D.A., Yakovlev A.N. Selskie territorii Kryma: granitsy i sodержanie obraza [Rural territories of Crimea: Boundaries and content of the image]. *Geopolitika i Ekogeodinamika Regionov*. 2021; 7 (3). (In Russ.).
64. Bourdieu P. Social space and symbolic power. *Sociological Theory*. 1989; 7 (1).
65. Hillyard S. *The Sociology of Rural Life*. Oxford; New York; 2007.
66. Lefebvre H. *The Production of Space*. Oxford; 1991.
67. Mathews A.S. *Trees Are Shape Shifters: How Cultivation, Climate Change, and Disaster Create Landscapes*. Yale University Press; 2022.
68. Moon D. *The American Steppes: The Unexpected Russian Roots of Great Plains Agriculture, 1870s–1930s*. Cambridge University Press; 2020.
69. Park R. The city: Suggestions for the investigation of human behavior in the city environment. *American Journal of Sociology*. 1915; 20 (5).
70. Vickery M.B. *Landscape and Infrastructure: Reimagining the Pastoral Paradigm for the Twenty-First Century*. Bloomsbury Visual Arts; 2020.
71. Wirth L. Urbanism as a way of life. *American Journal of Sociology*. 1938; 44 (1).
72. Woods M. *Rural*. London; New York; 2011.



СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ

SOCIOLOGICAL LECTURES

DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-790-808

EDN: KCRYPE

«Классическая» аномия и ее концептуальные «уточнения»*

И.В. Троцук

Российский университет дружбы народов,
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия

Высшая школа экономики,
ул. Мясницкая, 20, Москва, 101000, Россия

(e-mail: irina.trotsuk@yandex.ru)

Аннотация. Понятие «аномия» — одно из основополагающих для социологии по крайней мере по двум причинам, помимо общеизвестного использования классиками для конструирования моделей социального, не утративших и сегодня своего эвристического потенциала. Во-первых, аномия — неотъемлемая и принципиально важная часть категориального аппарата, обеспечившего становление и «легитимацию» социологии как новой области социального познания с собственным предметным полем и «риторикой». Во-вторых, в отличие от множества других социологических понятий («социальный факт», «социальное действие», «харизма», «маргинал», «социальный тип», «девиация» и пр.), потерявших свою первоначальную социологическую «стерильность» в ходе повседневного использования вне научного дискурса, термин «аномия» все еще обеспечивает социологам (как и представителям других дисциплин) чувство принадлежности к сообществу «посвященных» в значение не прозрачных для обывателя категорий. В статье представлены: классическая социологическая трактовка аномии Э. Дюркгейма; общепринятое определение аномии как некоторого переходного состояния общества, в котором отсутствует как единая и понятная система моральных принципов и норм, так и иерархия социальных позиций и ценностей; условные направления развития концепции аномии после Дюркгейма — описание ситуации «безнормности» и констатация состояния «нормативной напряженности» в конкретной культуре (родоначальником второй трактовки считается Р. Мертон); другой вектор развития теории аномии, предполагающий наличие в ней двух «измерений» — макросоциального (дюркгеймианский подход) и микросоциального (мертоновская концепция считается более социально-психологической); попытка объединить теории,

*© Троцук И.В., 2025

Статья поступила в редакцию 04.08.2025. Статья принята к публикации 14.10.2025.

сложившиеся на базе двух классических концепций аномии, в шесть подходов — три социологических (структурно-функциональный, социокультурный и коммуникативно-информационный), криминологический, психологический и менеджериальный, или же уточнить формы проявления аномии в отдельных сферах жизнедеятельности современного общества (например, политическая аномия).

Ключевые слова: аномия; классические концепции аномии; Дюркгейм; Мертон; типология аномического поведения; социально одобряемые цели и средства; макро- и микроуровень аномических проявлений; концептуализация; операционализация

Для цитирования: Троцук И.В. «Классическая» аномия и ее концептуальные «уточнения» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 4. С. 790–808. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-790-808>

Согласно «Большой российской энциклопедии» понятие аномии (от греч. ἀνομία — беззаконие) обозначает либо «состояние общества, характеризующее дезорганизацией социальных норм и институтов, неопределенностью и нестабильностью условий человеческого действия, а также расхождением между провозглашаемыми обществом целями и доступностью для массы людей законных средств их достижения», либо «связанное с общественным индивидуальное психологическое состояние, характеризующееся деморализацией, ослаблением связи с обществом, переживанием беспочвенности, отчужденности, пустоты жизни и т.д., которое является причиной распространения в обществе девиантного поведения и самоубийств» [13]. Считается, что в обеих трактовках понятие аномии в социологию ввел Э. Дюркгейм в 1983 году (1) [см., напр.: 5; 21; 49; 66], и до сих пор общепринятая интерпретация сводит аномию к некоторому переходному состоянию общества, причем неважно, каковы исходные и конечные точки фиксируемого «транзита»: главное — отсутствие единой и понятной системы моральных принципов и норм, а также соответствующей ей иерархии социальных позиций и ценностей. «Если аномия — это болезнь, то потому, что от нее страдает прежде всего общество, которое, чтобы жить, не может обойтись без согласия и урегулированности... чтобы аномия кончилась, нужно... чтобы существовала или сформировалась группа, в которой могла бы возникнуть ныне отсутствующая система образцов» [7. С. 181].

В историческом контексте своего времени Дюркгейм описывал конкретное переходное состояние — от традиционных коллективистских форм «механической» солидарности (начали разрушаться) к «самоуправляемому порядку дисциплинированного морального индивидуализма» (не оформился окончательно). «Так как механическая солидарность идет на убыль, то или собственно социальная жизнь должна уменьшиться, или какая-нибудь другая солидарность должна мало-помалу заместить убывающую... Напрасно утверждают, что коллективное сознание расширяется и укрепляется одновременно с индивидуальным... Оба эти явления изменяются в обратном

отношении друг к другу. Однако социальный прогресс не состоит в непрерывном разложении; наоборот, чем дальше, тем сильнее общества проникаются глубоким ощущением самих себя и своего единства. Необходима, стало быть, какая-нибудь другая социальная связь, которая бы производила этот результат; не может быть, однако, другой связи, кроме той, которая происходит от разделения труда. Если, кроме того, вспомнить, что механическая солидарность даже там, где она наиболее прочна, не связывает людей с такой же силой, как разделение труда, что она оставляет вне сферы своего действия большую часть теперешних социальных явлений, станет еще яснее, что социальная солидарность стремится стать исключительно органической. Именно разделение труда все более и более исполняет роль, которую некогда исполняло общее сознание; именно оно главным образом удерживает единство социальных агрегатов высших типов» [7. С. 181].

За преодоление аномии на макро-социально-экономическом уровне отвечает государство, а на уровне отдельных профессиональных групп/сообществ — независимые от государства профильные ассоциации («корпорации» с крепкой профессиональной этикой, способной компенсировать временное отсутствие общепринятых моральных регуляторов социального поведения) [13]. Признавая, что «разнообразие функций полезно и необходимо», Дюркгейм подчеркивал, что «единство, которое не менее необходимо, не появляется из него стихийно, поэтому забота об осуществлении и сохранении его должна составить в общественном организме специальную функцию, представляемую независимым органом... — это государство или правительство» [7. С. 366]. Аналогичная регулирующие-солидаризирующая функция профессиональных корпораций объясняется тем, что и разделение труда может быть аномическим, «если не производит солидарность»: «состояние аномии невозможно повсюду, где солидарные органы находятся в достаточно тесном и продолжительном соприкосновении... соприкасаясь, они легко предупреждаются в каждом случае о потребности друг в друге и, следовательно, обладают живым и непрерывным ощущением своей взаимной зависимости. Так как по той же причине обмена между ними происходят легко, то они совершаются часто; будучи регулярными, они регулируются сами собой, и время мало-помалу завершает дело консолидации. Наконец, поскольку малейшие реакции могут быть замечены всеми сторонами, то образующиеся таким образом правила носят отпечаток этого, т.е. они предвидят и устанавливают вплоть до подробностей условия равновесия. Но если, наоборот, между ними оказывается некая непроницаемая, непрозрачная среда, то только воздействия определенной интенсивности могут сообщаться от одного к другому. Отношения, будучи редкими, не повторяются настолько часто, чтобы прочно установиться; с каждым разом начинаются новые попытки. Линии прохода, по которым следуют волны движения, не могут быть вырыты, так как сами эти волны слишком

часто прерываются. Если же какие-нибудь правила все-таки установятся, то они будут носить общий и расплывчатый характер, ибо при этих условиях могут определиться только самые общие контуры явлений. То же самое произойдет, если соприкосновения, будучи достаточно значительными, недостаточно продолжительны... Аномия может возникать, хотя соприкосновение достаточно велико... — когда необходимая регламентация может установиться только за счет преобразований, на которые социальная структура уже не способна; ведь пластичность общества не безгранична. Когда она доходит до своего предела, то даже необходимые изменения оказываются невозможными» [7. С. 377].

Можно выделить следующие условные (по причине отсутствия между ними четких границ) направления развития концепции аномии после Дюркгейма [13]. С одной стороны, аномия продолжает выступать синонимом состояния «безнормности» — ценностной анархии, отсутствия моральной дисциплины на переходном этапе социального развития, т.е. речь идет о (кратко) временном безнормии, которое неизбежно (в силу логики социального развития) преодолевается посредством установления новой версии/типа всеобщего морального согласия, воспроизводимого благодаря соответствующей модели социализации. С другой стороны, аномия подразумевает «нормативную напряженность», «конфликт норм» в конкретной культуре (родоначальником данной трактовки считается Р. Мертон), т.е. подразумевается не временное, а о достаточно устойчивое состояние социальной системы, в которой сосуществуют (пребывают в постоянном напряжении и конфликте) группы с различающимися моральными ценностями и нормами (различия прослеживаются как между группами, так и между имеющимися в обществе возможностями для реализации заложенных в групповых ценностях целей). Данные траектории развития социологической теории аномии имеют выраженный макросоциальный и «нормализующий» характер — аномия выступает в них как почти «нормальное» состояние любого сложного общества (вследствие его системных дисбалансов, социального неравенства и пр.), особенно в переходный период, когда формируется иная морально-ценностная структура за счет внесения в имеющуюся необходимых изменений (в случае межгруппового напряжения) или же устранения накопившихся противоречий.

Другой вектор развития теории аномии предполагает наличие в ней двух условных «измерений» [40]: дюркгеймианская трактовка аномии фокусируется на ее макросоциальной природе — это состояние общества в целом, когда его нормативные стандарты и коллективные убеждения либо серьезно ослаблены, либо отсутствуют, например, «анормальные формы труда отличаются полным отсутствием или неэффективностью регуляции, необходимой для обеспечения взаимодействия между специализированными социальными функциями» [49. С. 510–513]. В данном случае аномия, по сути, выступает

антонимом солидарности, которая составляет неизменный исследовательский фокус Дюркгейма как «нормальное состояние общества, тогда как отсутствие солидарности означает отклонение от нормального состояния, или социальную патологию» [58. С. 45]. Аномия как состояние «недостаточного социального регулирования» становится главным фактором особого типа самоубийства у Дюркгейма, в принципе видящего в этом социальном по природе поступке мало индивидуально-психологического содержания.

Аномическое самоубийство Дюркгейм связывает с той сферой общественной жизни, «в которой аномия является хроническим явлением; мы говорим о коммерческом и промышленном мире... где кризис и состояние аномии суть явления не только постоянные, но, можно даже сказать, нормальные. Алчные вожеления охватывают людей всех слоев и не могут найти себе определенной точки приложения. Ничто не может успокоить их, потому что цель, к которой они стремятся, бесконечно превышает все то, чего они могут действительно достигнуть. Лихорадочная ненасытная погоня за воображаемым обесценивает наличную действительность и заставляет пренебрегать ею; как только удастся достигнуть ближайшей цели и что-нибудь раньше только желанное и возможное становится совершившимся фактом, тотчас же неудержимая страсть к новым возможностям влечет человека еще и еще дальше. Люди мучаются жаждой новых, еще не изведанных наслаждений, не испытанных ощущений; но последние тотчас же теряют свою соль, как только станут известны. И достаточно какой-нибудь превратности судьбы для того, чтобы человек оказался бессильным перенести это испытание» [8. С. 128–129].

Главной детерминантой аномического самоубийства Дюркгейм называет «характер связи между индивидами и обществом, но не способ, каким эта связь регламентируется. Эгоистическое самоубийство проистекает оттого, что люди не видят смысла в жизни, альтруистическое вызывается тем, что индивид видит смысл жизни вне ее самой; аномичное... определяется беспорядочной, неурегулированной человеческой деятельностью и сопутствующими ей страданиями» [8. С. 130]. Признавая некоторое сходство между аномическим и эгоистичным видами самоубийства (детерминированы отчужденностью, недостаточной близостью общества к индивиду — будь то экономическая аномия или же брачная/супружеская), Дюркгейм подчеркивает и их принципиальные различия: «при эгоистическом виде самоубийства, дефект находится в собственно коллективной деятельности, которая лишается своего смысла и значения; наоборот, при аномичном самоубийстве решающую роль играют исключительно индивидуальные страсти, которые не встречают на своем пути никакой сдерживающей силы»; «эгоистичное самоубийство распространено по преимуществу среди интеллигенции, в сфере умственного труда, а аномичное наблюдается главным образом в мире торговли и промышленности» [8. С. 130]; «в эгоистическом самоубийстве

мы имеем дело с рассудочным умом, который испытывает болезненное изменение и чрезмерно гипертрофируется, в аномичном самоубийстве речь идет о чрезмерной и нерегулярной чувствительности — у одного мысль, возвращаясь все время к самой себе, теряет наконец всякий объект, у другого не знающая границ страсть не видит впереди никакой цели; первый теряется в бесконечности мечтаний, второй — в бездне желаний» [8. С. 146].

Однако для Дюркгейма самоубийство — одно из множества возможных, а не единственное или приоритетное проявление аномии: «Так как аномия вызывает в одинаковой степени и убийство, и самоубийство, то все, что может уменьшить ее развитие, уменьшает и развитие ее последствий. Не следует опасаться, что если ей помешают проявиться под формой самоубийства, то она выразится в большем количестве убийств; ибо человек, оказавшийся настолько чувствительным к моральной дисциплине, чтобы из уважения к общественному сознанию и его запретам отказаться от мысли покончить с собой, еще с большим трудом решился бы на убийство, подвергающееся более суровому осуждению и влекущему за собой более суровое возмездие» [8. С. 188] (2).

Статус классических концепциям аномии Дюркгейма и Мертон придает и их высокий объяснительный потенциал применительно к причинам и формам девиантного поведения, хотя нередко уточняется, что это касается только относительно простых обществ. «Из всех теорий девиантного поведения — социальной аномии (Э. Дюркгейм, Р. Мертон), культурного переноса (Г. Тард, Г. Сазерленд), стигмации или клеймения (Э. Гоффман, Х. Беккер) — именно первая обладает большей объяснительной силой. Она не просто выстраивает модели микросообществ, в которых человек вынужденно или по выбору ведет себя с точки зрения девиантного или даже криминального поведения, или считается, что так себя ведет, эта теория в широком смысле диагностирует состояние общества. Аномия является таким состоянием общественной жизни, когда люди, члены общества, зная о наличии норм, скрепляющих социальную ткань, массово их не соблюдают, что ведет к росту девиантного поведения, преступлений и других проявлений социальной деструктивности. Теория социальной аномии изначально, в трактовке Дюркгейма, затем Мертона, являясь теорией макроуровня, объясняет, какие особенности социальной действительности и каким образом структурируют условия, провоцирующие различные формы девиантного поведения... Структурную социальную аномию Дюркгейм изучал применительно к простому обществу (в сравнении с современным сложным), а Мертон — в обществе переходного типа. Аномию современного общества можно назвать рефлексивной, провоцируемой рассогласованием ценностно-нормативных конфигураций не столько на уровне системы, сколько возникающей в процессе отражения действительности рефлексивным социальным актом» [27. С. 201, 202, 206].

Не менее часто в научном дискурсе мертоновская концепция аномии позиционируется как более социально-психологическая, чем дюркгеймианская (3) [64], в том смысле, что подразумевает индивидуальную или групповую дезориентацию внутри достаточно морально-нормативно-ценностно солидарного общества: индивид/группа/сообщество отвергает/игнорирует навязываемые/предписываемые/рекомендуемые/одобряемые социальной системой жизненные цели и/или средства, предлагаемые/законные/допустимые для их наиболее эффективного, успешного и быстрого достижения. Можно встретить мнение, что трактовки Дюркгейма и Мертона различаются тем, что первый делает акцент на «отсутствии ограничений на цели, а второй — на отсутствии ограничений на средства» [49. С. 511], но такой вариант разведения двух трактовок аномии, схожих по своим принципиальным теоретико-методологическим основаниям, представляется несколько упрощенно-редукционистским. Мертон предложил свою интерпретацию концепции аномии, восходящей к Дюркгейму, признавая, что аномическое состояние общества — следствие распада его ценностно-нормативной структуры и обусловленной этим распадом «низкой социальной сплоченности»: «Мертон проанализировал структурную аномию — расхождение между нормативной системой ценностей, принимаемых данной культурой, и возможностями (институционализированными средствами) их реализации. В основе его типологии способов адаптации к структурной аномии лежит принятие или отвержение индивидом ценностей и/или нормативно заданных средств их достижения (конформизм, инновация, ритуализм, бунт, “уход”）」 [6].

Хотя и в дюркгеймианской трактовке аномия по определению — результат нарушения баланса между «целями и средствами как фазами социальной структуры» [13], именно мертоновская модель стала источником нынешних многочисленных психологических (отчасти и криминологических) интерпретаций аномии, поскольку проявляется наиболее «выпукло» в конкретных жизненных выборах определенных (социально-типических) индивидов и групп (4). Рассматриваемое Мертоном «рассогласование ценностно-нормативных конфигураций, возникающее потому, что социально одобренными средствами (нормальными) нельзя добиться социально признаваемых целей (подразумевалось богатство как одна из ценностей, входящих в концепт «американской мечты»）」 порождает различные формы девиантного поведения, которые основаны на принятии/отторжении целей/средств и единообразно суммированы во множестве публикаций: «инновация — принятие целей, но допущение нарушения нормативных средств их достижения; ритуализм — разочарование в достижимости целей при сохранении верности нормативным основаниям общественной жизни; ретреатизм — непринятие ни целей, ни средств без предложения чего-то нового; бунт — отторжение принятых целей и средств с одновременным предложением новых» [27. С. 203; см. также: 16; 36].

Мертон опирается на определение аномии, данное Дюркгеймом, — когда «по мере продолжающегося размывания институциональных норм общество становится нестабильным, и в нем появляется... безнормность» [26. С. 248], однако уточняет, что «ослабление институциональных механизмов контроля... предрасположение к аномии распределено в обществе неравномерно... некоторые социальные страты наиболее уязвимы для давлений, подталкивающих к девиантному поведению... Миры интеллектуальных и художественных достижений предоставляют, например, иные образцы карьеры, не связанные с крупными денежными вознаграждениями. В той мере, в какой культурная структура наделяет престижем эти альтернативы, а социальная структура дает к ним доступ, система несколько стабилизируется. У потенциальных девиантов остается возможность подчиниться ей в рамках этих запасных наборов ценностей... Очевидно, что несовершенное согласование аспектов социальной структуры, связанных с целями и средствами, ведет к аномии. Одна из наиболее общих функций социальной структуры состоит в том, чтобы закладывать основу предсказуемости и постоянства социального поведения; и ее эффективность все более и более снижается по мере диссоциации этих элементов социальной структуры. В предельном случае предсказуемость снижается до минимума, и возникает то, что можно с полным правом назвать аномией, или культурным хаосом» [26. С. 278, 280].

Человек может выбирать разные стратегии приспособления к объективным реалиям, и этот выбор Мертон считает зависящим не только от личного решения, но и от позиции в социальной структуре [26. С. 254–277], но «чем выше степень стабильности в обществе, тем более типичным и распространенным становится первый тип приспособления — конформность — как к культурным целям, так и к институционализированным средствам». Во всех прочих случаях приспособление носит девиантный характер:

- инновация — «сильное культурное акцентирование цели успеха открывает дорогу этой форме приспособления, состоящей в использовании институционально запрещенных, но часто эффективных средств достижения хотя бы подобия успеха — богатства и власти... когда индивид усвоил культурное акцентирование цели, не интернализовав при этом в равной степени институциональные нормы, регулирующие пути и средства ее достижения»;

- ритуализм «предполагает отвержение или понижение завышенных культурных целей великого денежного успеха и быстрой социальной мобильности до той точки, когда эти устремления могут быть удовлетворены... индивид продолжает при этом едва ли не с маниакальной навязчивостью соблюдать институциональные нормы... этот тип приспособления будет довольно часто происходить в обществе, где социальный статус человека во многом зависит от его достижений... непрерывная конкурентная борьба порождает у людей острую тревогу за свой статус, а один

из способов смягчения этой тревоги — постоянное снижение человеком уровня своих притязаний; страх порождает бездействие, или, точнее говоря, рутинизированное действие»;

- бегство (отвержение культурных целей и институциональных средств) «встречается, вероятно, наиболее редко — люди, которые приспособились таким способом (неадекватно), строго говоря, находятся в обществе, но при этом ему не принадлежат... не разделяют общую структуру ценностей, поэтому их можно отнести к числу членов общества чисто фиктивно (некоторые виды приспособительной активности психотиков, аутистов, париев, бездомных, лиц без определенного рода занятий, праздношатающихся, бродяг, хронических алкоголиков и наркоманов) — они отвергли предписанные культурой цели, а их поведение не согласуется с институциональными нормами»;

- мятеж «выводит людей за пределы окружающей их социальной структуры и побуждает их представить и попытаться воплотить в реальность новую, в значительной степени модифицированную социальную структуру, что предполагает отчуждение от господствующих целей и стандартов; их начинают считать чисто произвольными; а произвольное — не то, что может требовать приверженности и обладать легитимностью, ибо оно могло бы быть и другим (организованные бунтарские течения явно нацелены на введение такой социальной структуры, в которой культурные стандарты успеха были бы сильно модифицированы и обеспечивалось большее соответствие между достоинствами, усилиями и вознаграждениями)».

Поскольку концепции аномии Дюркгейма и Мертоня считаются классическими, они упоминаются во множестве современных работ, как правило, в двух контекстах: (1) как обязательные для упоминания источники понятия аномии (и производных от него), которое авторы решили использовать как основание аналитических обобщений в отношении отдельной сферы жизнедеятельности общества или же для оценки его общего состояния в конкретный исторический период; (2) как продуктивный ресурс классификации разнообразных теорий аномии, оформившихся в разных дисциплинарных полях со второй половины XX века (работы Дюркгейма выступают скорее как идейный источник, а работы Мертоня — скорее как опора для перехода от концептуализаций к операциональным определениям аномии в поисках ее эмпирических индикаторов [см., напр.: 23; 50]). Отчасти эти два контекста переплетаются, когда речь идет о попытках типологизации видов аномии, но все же представлены структурно и содержательно различающимися научными работами.

Пример второго контекста — попытка объединить теории, сложившиеся на базе двух классических концепций аномии [2; 30; 68], в шесть подходов — три социологических — структурно-функциональный, социокультурный и коммуникативно-информационный, а также криминологический, психологический и менеджериальный [15; 21] (одни

и те же работы, иллюстрирующие эти подходы, в разных статьях оказываются примерами применения как одного и того же подхода, так и совершенно разных подходов — в зависимости от интерпретации составителя конкретной классификации). Исторически первый структурно-функциональный подход определяет аномию как разрушение взаимосвязи социальных элементов (переходное состояние общества, экономический кризис), и анализирует его последствия (прежде всего, высокий уровень девиаций, включая самоубийства и преступность) (см., напр.: [4; 10; 20; 41; 52; 54; 65]). Первенство Дюркгейма не ставится под сомнение, но все же больше внимания уделяется Мертону, а Т. Парсонс обычно упоминается как автор определения зависимости аномии от «гармоничной комбинации контроля общества за его отношения со всеми пятью окружениями (“конечной реальностью”, культурными системами, системами личности, организмами, обладающими поведением и физико-органическим окружением) и состояния его внутренней интеграции» [32. С. 792], а также тех защитных механизмов, которые современные общества выработали для сохранения динамичного социального равновесия и сведения к минимуму деструктивного влияния аномии: «сочленение системы норм с коллективно организацией», «регулирование лояльностей» государственными институтами и организациями, «повсеместно одобряемое экономическое и технологическое действие», «легитимизация постоянно осуществляемой законодательной функции», «эффективная государственная монополия на применение силы» и т.д. [33. С. 23–35].

Представители социокультурного подхода «концентрируются на проблемах кризисов идентичности и социальной солидарности, деградации культуры, различиях в мировоззрении и ценностях представителей различных культур и поколений», трансформации общественных структур, которая влияет на социальные нормы, индивидуальный выбор и гражданское участие и т.д. (см., напр.: [1; 9; 14; 17; 28; 46]), но возможны и сочетания двух подходов (см., напр.: [57; 69]). Коммуникативно-информационный подход интересуется аномией как «информационным искажением и возникшим в результате этого отклонением в поведении личности» (группы, института, общества) (см., напр.: [11; 12; 43]).

Криминологический подход (см., напр.: [34; 35; 47; 48; 53; 59]) опирается в большей степени на теорию Мертона, стремясь объяснить рост преступлений усилением социальной дискриминации и неравенства (см., напр.: [63; 67]), а, значит, и уровня депривации, т.е., по сути, оказывается не отличим от психологического подхода (см., напр.: [29; 38; 42; 60; 62; 70; 71]), если сосредоточиться на механизмах депривации, а не на «психологических состояниях (нарциссизм, садизм, алкоголизм, “аномическая депрессия” и пр.), препятствующих полноценному включению человека в общество». Тем более что объективные детерминанты подобных состояний, скажем «экзистенциально-

го кризиса/вакуума» или личной бесперспективности (войны, политические перевороты, идеологическое давление и пр.), напротив, делают психологический подход частным проявлением трех первых, поскольку общественные трансформации (макроуровень) негативно отражаются на индивидах, которые выбирают ненормативные модели поведения (микроуровень), тем самым умножая аномию.

Менеджеральный подход (см., напр.: [51; 55; 61; 72]) сосредоточен на аномических проявлениях в сфере труда, организационного управления и профессионализма (включая характерные для разных профессий деформации и девиации) исключительно в прикладных целях изучения организационных (и социокультурных) патологий, благодаря чему появились понятия «организационная аномия» и «корпоративная аномия».

Что касается использования понятия аномии как своего рода аналитического ресурса (первый контекст) в разных дисциплинарных/предметных полях, то здесь наблюдаются попытки имплицитной типологизации самой аномии. Как правило, это «диагностические» (в смысле постановки «диагноза») исследования российского общества, в которых его не вполне «нормальное» (в дюркгеймианской трактовке) состояние объясняется накоплением аномических проявлений [см., напр.: 45] в конкретных сферах жизнедеятельности. Например, речь может идти о политической аномии (если политическая система/режим считается главным фактором социальной дезинтеграции и утраты действующих норм) [см., напр.: 31. С. 59], юридической («связана с недостатками правовой системы и негативным отношением граждан к правовым нормам», «возникает в связи с несовпадением целей, вырабатываемых обществом, и средств, которые предлагает государство для достижения этих целей») [см., напр.: 24; 25], криминальной («преступность, вызываемая социальными патологиями — наркоманией, пьянством, деградацией окружающей среды, безработицей и пр., и несколько отлична от других форм преступности, например, ситуативной или организованной, в том смысле, что вызывается главным образом состоянием безнормия, отсутствием общественного контроля, чувством вседозволенности, невыраженностью запретов поведения, а также обусловлена неблагоприятными социальными факторами и затрагивает все слои населения») [см., напр.: 22. С. 98] и даже «нормальной», если «аномия, квинтэссенцией которой является безнормие, сама стала нормой современной жизни... под нормальной аномией понимается расширяющаяся совокупность уязвимостей для социума в виде побочных эффектов инновационной, рационально-прагматической деятельности человека» [17. С. 6; 18].

Информация о финансировании

Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

Примечания

- (1) Во многих источниках уточняется, что понятие «аномия» встречается еще в трудах античных мыслителей: Еврипид связывал с ним жестокость бытия, законы которого человеку неподвластны, Платон — с состоянием анархии, беспорядка, беззакония, безверия, неумеренности и несправедливости; французский философ-моралист Ж.-М. Гюйо в конце XIX века вдохнул в понятие новую жизнь, используя его для характеристики освобождения индивида от власти догматических предписаний, т.е. аномия имеет положительный характер; соответственно, Дюркгейм ввел понятие именно в социологический категориальный аппарат.
- (2) Во многих работах упоминается и четвертый — фаталистический — тип самоубийства, хотя он не прописан у Э. Дюркгейма столь же эксплицитно, как три «традиционных» типа суицида (см., напр.: [56]).
- (3) Основания для этого дает и библиографический аппарат работ Р. Мертона, например, в программной статье о типологии аномического поведения [64], говоря о «сбалансированном распределении аффектов среди разных сегментов стабильной социальной структуры» и о «разрушении регулятивной структуры вследствие стресса от смещения акцента с удовлетворения от конкуренции как таковой к почти исключительной озабоченности успешной конкуренцией», он сосредоточивается на социокультурных основаниях аномии, отсылая читателя за разъяснениями ее психологических предпосылок к работе К. Хорни [44].
- (4) Хотя психологические справочные издания все же ссылаются на Э. Дюркгейма в определениях аномии (см., напр.: [3; 19; 37; 39]).

Библиографический список

1. *Александр Дж.* Культурная травма и коллективная идентичность // Социологический журнал. 2012. № 3.
2. *Афанасьев В.С.* Эволюция концепции аномии в социологии девиантного поведения // Рубеж. 1992. № 2.
3. Большой психологический словарь / под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. М., 2003.
4. *Головаха Е.И., Панина Н.В.* Постсоветская аномия: особенности выхода из состояния аномической деморализованности в России и на Украине // Общественные науки и современность. 2008. № 6.
5. *Гофман А.Б.* Дюркгейм Эмиль. URL: <https://bigenc.ru/c/diurkgeim-emil-933cbc>.
6. *Девятко И.Ф.* Мертон Роберт Кинг. URL: <https://bigenc.ru/c/merton-robert-king-587424>.
7. *Дюркгейм Э.* О разделении общественного труда. М., 1996.
8. *Дюркгейм Э.* Самоубийство: социологический этюд. М., 1994.
9. *Инглхарт Р.* Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // Политические исследования. 1997. № 4.
10. *Кара-Мурза С.Г.* Аномия в России. Причины и проявления. М., 2013.
11. *Карпова А.Ю.* Информационная аномия в политической коммуникации: автореф. дисс. ... д-ра социол. наук. М., 2017.
12. *Карпова А.Ю.* Эвристический потенциал расширения концепции аномии // Вестник ТГУ. Философия. Социология. Политология. 2016. № 4.
13. *Ковалев А.Д.* Аномия. URL: <https://bigenc.ru/c/anomia-12ef51?ysclid=mi9lzoj1kf346312687>.
14. *Костина Е.Ю., Орлова Н.А., Панфилова А.О.* Состояние системы ценностей как фактор аномии в современном российском обществе // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2018. Т. 18. № 4.
15. *Кох И.А.* Социальное управление и аномия в условиях трансформирующегося общества // Муниципалитет: экономика и управление. 2025. № 1.

16. Кошарная Г.Б., Мордищева Л.Н. Основные подходы к изучению девиантного поведения // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2010. № 1.
17. Кравченко С.А. «Нормальная аномия»: контуры концепции // Социологические исследования. 2014. № 8.
18. Кравченко С.А. «Нормальная аномия»: производство «ничто» // Социологическая наука и социальная практика. 2015. № 3.
19. Краткий психологический словарь. Ростов-на-Дону, 1998.
20. Кривошеев В.В. Короткие жизненные проекты: проявление аномии в современном обществе // Социологические исследования. 2009. № 3.
21. Кузьменко В. Аномия: основные подходы // Nomothetika: Философия. Социология. Право. 2020. Т. 45. № 1.
22. Кузьменков В.А. Криминальная аномия как социальная проблема // Социологические исследования. 2019. № 1.
23. Лыткина Е.И. Операционализация понятия «аномия» в эмпирических исследованиях: аналитический обзор // Социология: 4М. 2016. № 38.
24. Малько А.В., Липинский Д.А., Маркунин Р.С., Иванов А.А. Механически заимствованные западные правовые конструкции и ценности как фактор усиления юридической аномии // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2023. № 2.
25. Маркунин Р.С. Отсутствие единства системы юридической ответственности органов публичной власти как фактор роста юридической аномии в российском обществе // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2023. № 1.
26. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006.
27. Мецерыкова Н.Н. Аномия в сложном обществе // Вестник МГИМО-Университета. 2014. № 2.
28. Мецерыкова Н.Н. Особенности аномии в современном российском обществе: синергетический подход: Автореф. дисс. д.с.н. М., 2015.
29. Мецерыкова Н.Н. Проявления аномии в российском обществе // Мир науки, культуры, образования. 2012. № 3.
30. Мецерыкова Н.Н. Теоретико-методологические подходы к изучению социальной аномии в российском обществе // Вестник ТГУ. Философия. Социология. Политология. 2014. № 3.
31. Монаков В.В. Теоретические подходы и предметные рамки изучения правового нигилизма в российском обществе // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2011. № 1.
32. Парсонс Т. О социальных системах. М., 2002.
33. Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997.
34. Плетнев А.В. Теория аномии в современной криминологии // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 7. Ч. 5.
35. Плетнев А.В. Эвристический потенциал теории аномии в современной криминологии // Современные исследования социальных проблем. 2014. № 9.
36. Плотников В.В. Перспективы применения теории социальной аномии Р. Мертон в исследовании проблем современного общества // Общество и право. 2018. № 4.
37. Популярная психологическая энциклопедия. М., 2005.
38. Садлер У., Джонсон Т.Б. От одиночества к аномии // Лабиринты одиночества / сост. Н.Е. Покровский. М., 1989.
39. Словарь практического психолога. М., 1998.
40. Теория социальной аномии // Российская социологическая энциклопедия / отв. ред. Г.В. Осипов. М., 1999.
41. Тощенко Ж.Т. Общество травмы: между эволюцией и революцией (опыт теоретического и эмпирического анализа). М., 2020.
42. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 2004.

43. Хиришман А.О. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность. М., 2010.
44. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Новые пути в психоанализе. СПб., 2024.
45. Штомпка П. Культурная травма в посткоммунистическом обществе (статья вторая) // Социологические исследования. 2001. № 2.
46. Штомпка П. Социальное изменение как травма (статья первая) // Социологические исследования. 2001. № 1.
47. Agnew R. Foundation for a general strain theory of crime and delinquency // *Criminology*. 1992. Vol. 30. No. 1.
48. Baumer E.P., Gustafson R. Social organization and instrumental crime: Assessing the empirical validity of classic and contemporary anomie theories // *Criminology*. 2007. Vol. 45.
49. Besnard P. Anomie // *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* // URL: <https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/01827-1>.
50. Cao L. Is American society more anomic? A test of Merton's theory with cross-national data // *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*. 2004. Vol. 28.
51. Choi Y.H., Myung J.K., Kim J.D. The effect of employees' perceptions of CSR activities on employee deviance: The mediating role of anomie // *Sustainability*. 2018. Vol. 10. No. 3.
52. Cloward R.A. Illegitimate means, anomie, and deviant behavior // *American Sociological Review*. 1959. Vol. 24.
53. Cloward R.A., Ohlin L.E. Delinquency and opportunity: A theory of delinquent gangs // F.T. Cullen, R. Agnew (Eds.). *Criminological Theory: Past to Present*. Roxbury Publishing Company, 2003.
54. Cohen A.K. The sociology of the deviant act: Anomie theory and beyond // *American Sociological Review*. 1965. Vol. 30. No. 1.
55. Cohen D.V. Creating and maintaining ethical work climates: Anomie in the workplace and implications for managing change // *Business Ethics Quarterly*. 1993. No. 3.
56. Dohrenwend B.P. Egoism, altruism, anomie, and fatalism: A conceptual analysis of Durkheim's types // *American Sociological Review*. 1959. Vol. 24. No. 4.
57. Galtung J. On the social costs of modernization. social disintegration, atomie/anomie and social development // *Development and Change*. 1996. Vol. 27. No. 2.
58. Gofman A. Durkheim's theory of social solidarity and social rules // Jeffries V. (Ed.) *The Palgrave Handbook of Altruism, Morality, and Social Solidarity*. Palgrave Macmillan, 2014.
59. Hensen G. Institutional anomie and societal variations in crime: A critical appraisal // *International Journal of Sociology and Social Policy*. 2002. Vol. 2. No. 2.
60. Heydari A., Davoudi I., Teymoori A. Revising the assessment of feeling of anomie: Presenting a multidimensional scale // *Procedia — Social and Behavioral Sciences*. 2011. Vol. 30.
61. Hodson R. Organizational anomie and worker consent // *Work and Occupations*. 1999. Vol. 26. No. 3.
62. McCloskey H., Schaar J.H. Psychological dimensions of anomy // *American Sociological Review*. 1965. Vol. 30. No. 1.
63. Meier D.L., Bell W. Anomia and differential access to the achievement of life goals // *American Sociological Review*. 1959. Vol. 24. No. 2.
64. Merton R. Social structure and anomie // *American Sociological Review*. 1938. Vol. 3. No. 5.
65. Messner S., Thome H., Rosenfeld R. Clarifying and elaborating institutional anomie theory // *International Journal of Conflict and Violence*. 2008. Vol. 2. No. 2.
66. Orru M. Anomie and social theory in ancient Greece // *European Journal of Sociology*. 1985. Vol. 26. No. 1.
67. Savolainen J. Inequality, welfare state, and homicide: Further support for the institutional anomie theory // *Criminology*. 2000. Vol. 38.
68. Serpa S., Ferreira C.M. Anomie in the sociological perspective of Émile Durkheim // *Sociology: International Journal*. 2018. Vol. 2. No. 6.
69. Srole L. Social integration and certain corollaries: An exploratory study // *American Sociological Review*. 1956. Vol. 21.

70. *Struening E.L., Richardson A.H.* A factor analytic exploration of the alienation, anomia and authoritarianism domain // *American Sociological Review*. 1965. Vol. 30. No. 5.
71. *TenHouten W.D.* Normlessness, anomie, and the emotions // *Sociological Forum*. 2016. Vol. 31.
72. *Tsahuridu E.E.* Anomie and ethics at work // *Journal of Business Ethics*. 2006. Vol. 69.

DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-790-808

EDN: KCRYPE

“Classical” anomie and its conceptual “clarifications”*

I.V. Trotsuk

RUDN University,

Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia

National Research University Higher School of Economics

Myasnitskaya St., 20, Moscow, 101000, Russia,

(e-mail: irina.trotsuk@yandex.ru)

Abstract. The concept of “anomie” is fundamental to sociology for at least two reasons, in addition to its well-known application for constructing models of the social, which have retained their heuristic potential to this day. First, anomie is an integral and fundamentally important part of the categorical apparatus that ensured the development and “legitimization” of sociology as a new field of social inquiry with its own subject field and “rhetoric”. Second, unlike many other sociological terms (“social fact”, “social action”, “charisma”, “marginal”, “social type”, “deviation”, etc.), which lost their original sociological “sterility” due to everyday use, “anomie” still provides sociologists (and representatives of other disciplines) with a sense of belonging to a community of “initiates” in the meaning of categories that are incomprehensible for the average person. The article presents: the classical sociological interpretation of anomie by E. Durkheim; the generally accepted definition of anomie as a certain transitional state of society with no single or understandable system of moral principles and norms, no hierarchy of social positions and values; two conditional directions of the development of the concept of anomie after Durkheim — a description of the situation of “normlessness” and of the state of “normative tension” in a specific culture (R. Merton is considered the founder of the latter); another vector in the development of the theory of anomie, based on its two “dimensions” — macro-social (classical Durkheimian approach) and micro-social (Merton’s concept is considered more social-psychological); an attempt to group theories that developed on the basis of two classical concepts of anomie into six approaches — three sociological (structural-functional, social-cultural and communicative-informational), criminological, psychological and managerial, or to clarify specific forms of manifestation of anomie in certain spheres of life of contemporary society (for example, political anomie).

Key words: anomie; classical concepts of anomie; Durkheim; Merton; typology of anomic behavior; socially approved goals and means; macro- and micro-levels of anomic manifestations; conceptualization; operationalization

*© I.V. Trotsuk, 2025

The article was submitted on 04.08.2025. The article was accepted on 14.10.2025.

For citation: Trotsuk I.V. “Classical” anomie and its conceptual “clarifications”. *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (4): 790–808. (In Russ.). <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-790-808>

References

1. Alexander J. Kulturnaya travma i kollektivnaya identichnost [Cultural trauma and collective identity]. *Sotsiologichesky Zhurnal*. 2012; 3. (In Russ.).
2. Afanasyev V.S. Evolyutsiya kontseptsii anomii v sotsiologii deviantnogo povedeniya [Evolution of the concept of anomie in the sociology of deviant behavior]. *Rubezh*. 1992; 2. (In Russ.).
3. Bolshoy psikhologichesky slovar [Large Dictionary of Psychology]. Pod red. B.G. Meshcheryakova, V.P. Zinchenko. Moscow; 2003. (In Russ.).
4. Golovakha E.I., Panina N.V. Postsovetskaya anomiya: osobennosti vykhoda iz sostoyaniya anomicheskoy demoralizovannosti v Rossii i na Ukraine [Post-Soviet anomie: Features of overcoming anomic demoralization in Russia and Ukraine]. *Obshchestvennye Nauki i Sovremennost*. 2008; 6. (In Russ.).
5. Gofman A.B. Durkheim Emile. URL: <https://bigenc.ru/c/diurkgeim-emil-933cbc>. (In Russ.).
6. Devyatko I.F. Merton Robert King. URL: <https://bigenc.ru/c/merton-robert-king-587424>. (In Russ.).
7. Durkheim E. *O razdelenii obshchestvennogo truda* [The Division of Labor in Society]. Moscow; 1996. (In Russ.).
8. Durkheim E. *Samoubiystvo: sotsiologichesky etyud* [Suicide: A Study in Sociology]. Moscow; 1994. (In Russ.).
9. Inglehart R. Postmodern: menyayushchiesya tsennosti i izmenyayushchiesya obshchestva [Postmodern: changing values and changing societies]. *Political Studies*. 1997; 4. (In Russ.).
10. Kara-Murza S.G. *Anomiya v Rossii. Prichiny i proyavleniya* [Anomie in Russia. Causes and Manifestations]. Moscow; 2013. (In Russ.).
11. Karpova A.Yu. *Informatsionnaya anomiya v politicheskoy kommunikatsii* [Information Anomie in Political Communication]: Avtoref. diss. d.s.n. Moscow; 2017. (In Russ.).
12. Karpova A.Yu. Evristichesky potentsial rasshireniya kontseptsii anomii [Heuristic potential for expanding the concept of anomie]. *Vestnik TGU. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya*. 2016; 4. (In Russ.).
13. Kovalev A.D. Anomie. URL: <https://bigenc.ru/c/anomiia-12ef51?ysclid=mi91zoi-kf346312687>. (In Russ.).
14. Kostina E.Yu., Orlova N.A., Panfilova A.O. Sostoyanie sistemy tsennostey kak faktor anomii v sovremennom rossiyskom obshchestve [The state of value system as a factor of anomie in the contemporary Russian society]. *RUDN Journal of Sociology*. 2018; 18 (4). (In Russ.).
15. Kokh I.A. Sotsialnoe upravlenie i anomiya v usloviyah transformiruyushchegosya obshchestva [Social management and anomie in the transforming society]. *Munitsipalitet: Ekonomika i Upravlenie*. 2025; 1. (In Russ.).
16. Kosharnaya G.B., Mordishcheva L.N. Osnovnye podkhody k izucheniyu deviantnogo povedeniya [Basic approaches to the study of deviant behavior]. *Izvestiya Vysshih Uchebnykh Zavedeniy. Povolzhsky Region. Obshchestvennye Nauki*. 2010; 1. (In Russ.).
17. Kravchenko S.A. “Normalnaya anomiya”: kontury kontseptsii [“Normal anomie”: Contours of the concept]. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2014; 8. (In Russ.).
18. Kravchenko S.A. “Normalnaya anomiya”: proizvodstvo “nichts” [“Normal anomie”: Producing “nothing”]. *Sotsiologicheskaya Nauka i Sotsialnaya Praktika*. 2015; 3. (In Russ.).

19. Kratky psikhologichesky slovar [Brief Psychological Dictionary.]. Rostov-on-Don; 1998. (In Russ.).
20. Krivosheev V.V. Korotkie zhiznennye proekty: proyavlenie anomii v sovremennom obshchestve [Short life projects: Manifestation of anomie in contemporary society]. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2009; 3. (In Russ.).
21. Kuzmenko V. Anomiya: osnovnyye podkhody [Anomie: Basic approaches]. *Nomothetika: Filosofiya. Sotsiologiya. Pravo*. 2020; 45 (1). (In Russ.).
22. Kuzmenkov V.A. Kriminalnaya anomiya kak sotsialnaya problema [Criminal anomie as a social problem]. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2019; 1. (In Russ.).
23. Lytkina E.I. Operatsionalizatsiya ponyatiya “anomiya” v empiricheskikh issledovaniyah: analitichesky obzor [Operationalization of the concept of “anomie” in empirical research: An analytical review]. *Sotsiologiya: 4M*. 2016; 38. (In Russ.).
24. Malko A.V., Lipinsky D.A., Markunin R.S., Ivanov A.A. Mekhanicheski zaimstvo-vannyye zapadnye pravovyye konstruksii i tsennosti kak faktor usileniya yuridicheskoy anomii [Mechanically borrowed western legal terms and values as a factor of increasing legal anomie]. *Vestnik VGU. Seriya: Pravo*. 2023; 2. (In Russ.).
25. Markunin R.S. Otsutstvie edinstva sistemy yuridicheskoy otvetstvennosti organov publichnoy vlasti kak faktor rosta yuridicheskoy anomii v rossiyskom obshchestve [Lack of unity in the system of legal liability of public authorities as a factor of increasing legal anomie in the Russian society]. *Yuridicheskaya Nauka i Pravookhranitel'naya Praktika*. 2023; 1. (In Russ.).
26. Merton R. *Sotsialnaya teoriya i sotsialnaya struktura* [Social Theory and Social Structure]. Moscow; 2006. (In Russ.).
27. Meshcheryakova N.N. Anomiya v slozhnom obshchestve [Anomie in a complex society]. *Vestnik MGIMO-Universiteta*. 2014; 2. (In Russ.).
28. Meshcheryakova N.N. *Osobennosti anomii v sovremennom rossiyskom obshchestve: si-nergetichesky podkhod* [Features of Anomie in the Contemporary Russian Society: A Synergetic Approach]: Avtoref. diss. d.s.n. Moscow; 2015. (In Russ.).
29. Meshcheryakova N.N. Proyavleniya anomii v rossiyskom obshchestve [Manifestations of anomie in the Russian society]. *Mir Nauki, Kultury, Obrazovaniya*. 2012; 3. (In Russ.).
30. Meshcheryakova N.N. Teoretiko-metodologicheskie podkhody k izucheniyu sotsialnoy anomii v rossiyskom obshchestve [Theoretical-methodological approaches to the study of social anomie in the Russian society]. *Vestnik TGU. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya*. 2014; 3. (In Russ.).
31. Monakov V.V. Teoreticheskie podkhody i predmetnye ramki izucheniya pravovogo nigilizma v rossiyskom obshchestve [Theoretical approaches and subject field for the study of legal nihilism in the Russian society]. *Vestnik Nizhegorodskogo Universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Seriya: Sotsialnye Nauki*. 2011; 1. (In Russ.).
32. Parsons T. *O sotsialnykh sistemakh* [The Social System]. Moscow; 2002. (In Russ.).
33. Parsons T. *Sistema sovremennykh obshchestv* [The System of Modern Societies]. Moscow; 1997. (In Russ.).
34. Pletnev A.V. Teoriya anomii v sovremennoy kriminologii [Theory of anomie in contemporary criminology]. *Sovremennyye Nauchnye Issledovaniya i Innovatsii*. 2015; 7 (5). (In Russ.).
35. Pletnev A.V. Evristichesky potentsial teorii anomii v sovremennoy kriminologii [Heuristic potential of the theory of anomie in contemporary criminology]. *Sovremennyye Issledovaniya Sotsialnykh Problem*. 2014; 9. (In Russ.).
36. Plotnikov V.V. Perspektivy primeneniya teorii sotsialnoy anomii R. Merton v issledovanii problem sovremennogo obshchestva [Prospects for applying R. Merton's theory of social anomie in the study of contemporary society]. *Obshchestvo i Pravo*. 2018; 4. (In Russ.).
37. Populyarnaya psikhologicheskaya entsiklopediya [Popular Psychological Encyclopedia]. Moscow; 2005. (In Russ.).

38. Sadler W., Johnson T.B. Ot odinochestva k anomii [From loneliness to anomie]. *Labirinty odinochestva*. Sost. N.E. Pokrovsky. Moscow; 1989. (In Russ.).
39. Slovar prakticheskogo psikhologa [Dictionary of Practicing Psychologist.]. Moscow; 1998. (In Russ.).
40. Teoriya sotsialnoy anomii [Theory of social anomie]. *Rossiyskaya sotsiologicheskaya entsiklopediya*. Otв. red. G.V. Osipov. Moscow; 1999. (In Russ.).
41. Toshchenko Zh.T. *Obshchestvo travmy: mezhd u evolyutsiei i revolyutsiei (opyt teoreticheskogo i empiricheskogo analiza)* [Trauma Society: Between Evolution and Revolution (A Theoretical-Empirical Analysis)]. Moscow; 2020. (In Russ.).
42. Fromm E. *Anatomiya chelovecheskoy destruktivnosti* [The Anatomy of Human Destructiveness]. Moscow; 2004. (In Russ.).
43. Hirschman A.O. *Ritorika reaktsii: izvrashchenie, tshchetnost, opasnost* [The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy]. Moscow; 2010. (In Russ.).
44. Horney K. *Nevroticheskaya lichnost nash ego vremeni. Novye puti v psikhoanalize* [The Neurotic Personality of Our Time]. Saint Petersburg; 2024. (In Russ.).
45. Sztompka P. Kulturnaya travma v postkommunisticheskom obshchestve (statiya vtoraya) [Cultural trauma in a post-communist society]. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2001; 2. (In Russ.).
46. Sztompka P. Sotsialnoe izmenenie kak travma (statiya pervaya) [Social change as a trauma]. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2001; 1. (In Russ.).
47. Agnew R. Foundation for a general strain theory of crime and delinquency. *Criminology*. 1992; 30 (1).
48. Baumer E.P., Gustafson R. Social organization and instrumental crime: Assessing the empirical validity of classic and contemporary anomie theories. *Criminology*. 2007; 45.
49. Besnard P. Anomie. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. URL: <https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/01827-1>.
50. Cao L. Is American society more anomic? A test of Merton's theory with cross-national data. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*. 2004; 28.
51. Choi Y.H., Myung J.K., Kim J.D. The effect of employees' perceptions of CSR activities on employee deviance: The mediating role of anomie. *Sustainability*. 2018; 10 (3).
52. Cloward R.A. Illegitimate means, anomie, and deviant behavior. *American Sociological Review*. 1959; 24.
53. Cloward R.A., Ohlin L.E. Delinquency and opportunity: A theory of delinquent gangs. F.T. Cullen, R. Agnew (Eds.). *Criminological Theory: Past to Present*. Roxbury Publishing Company; 2003.
54. Cohen A.K. The sociology of the deviant act: Anomie theory and beyond. *American Sociological Review*. 1965; 30 (1).
55. Cohen D.V. Creating and maintaining ethical work climates: Anomie in the workplace and implications for managing change. *Business Ethics Quarterly*. 1993; 3.
56. Dohrenwend B.P. Egoism, altruism, anomie, and fatalism: A conceptual analysis of Durkheim's types. *American Sociological Review*. 1959; 24 (4).
57. Galtung J. On the social costs of modernization. social disintegration, atomie/anomie and social development. *Development and Change*. 1996; 27 (2).
58. Gofman A. Durkheim's theory of social solidarity and social rules. Jeffries V. (Ed.) *The Palgrave Handbook of Altruism, Morality, and Social Solidarity*. Palgrave Macmillan; 2014.
59. Hensen G. Institutional anomie and societal variations in crime: A critical appraisal. *International Journal of Sociology and Social Policy*. 2002; 2 (2).
60. Heydari A., Davoudi I., Teymoori A. Revising the assessment of feeling of anomie: Presenting a multidimensional scale. *Procedia — Social and Behavioral Sciences*. 2011; 30.
61. Hodson R. Organizational anomie and worker consent. *Work and Occupations*. 1999; 26 (3).
62. McCloskey H., Schaar J.H. Psychological dimensions of anomy. *American Sociological Review*. 1965; 30 (1).

63. Meier D.L., Bell W. Anomia and differential access to the achievement of life goals. *American Sociological Review*. 1959; 24 (2).
64. Merton R. Social structure and anomie. *American Sociological Review*. 1938; 3 (5).
65. Messner S., Thome H., Rosenfeld R. Clarifying and elaborating institutional anomie theory. *International Journal of Conflict and Violence*. 2008; 2 (2).
66. Orru M. Anomie and social theory in ancient Greece. *European Journal of Sociology*. 1985; 26 (1).
67. Savolainen J. Inequality, welfare state, and homicide: Further support for the institutional anomie theory. *Criminology*. 2000; 38.
68. Serpa S., Ferreira C.M. Anomie in the sociological perspective of Émile Durkheim. *Sociology: International Journal*. 2018; 2 (6).
69. Srole L. Social integration and certain corollaries: An exploratory study. *American Sociological Review*. 1956; 21.
70. Struening E.L., Richardson A.H. A factor analytic exploration of the alienation, anomia and authoritarianism domain. *American Sociological Review*. 1965; 30 (5).
71. TenHouten W.D. Normlessness, anomie, and the emotions. *Sociological Forum*. 2016; 31.
72. Tsahuridu E.E. Anomie and ethics at work. *Journal of Business Ethics*. 2006; 69.



DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-809-821

EDN: KCDJUM

NEET-молодежь: опыт междисциплинарных исследований*

М.Б. Буланова

Институт социологии ФНИСЦ РАН,
ул. Кржижановского, 24/35, к. 5, Москва, 117218, Россия

(e-mail: marina_bulanova@inbox.ru)

Аннотация. Статья продолжает цикл материалов о NEET-молодежи, размещенных на страницах журнала в 2020–2022 годы. Цель статьи — обобщить результаты актуальных научных исследований NEET и определить новые тенденции в изучении этой особой группы, представители которой слабо интегрированы в жизнь общества, поскольку не работают, не получают образования и не заботятся о развитии личностных качеств. Для анализа были отобраны 45 научных статей по проблемам NEET в разных странах и регионах мира, размещенные на исследовательской платформе ResearchGate за период 2022–2025, отдельно изучалась информация о хикикомори в академических базах данных Scopus и Web of Science за 2021–2025 годы. Статьи были рассортированы по критерию соответствия выделенным автором рубрикам: типология и природа NEET; хикикомори — специфическая идентичность NEET; факторы пополнения группы NEET; поиски новых подходов к работе с NEET-молодежью. В результате были определены следующие новые тенденции: признание необходимости междисциплинарных исследований NEET-молодежи (объединения социологов, психологов, экономистов, психиатров и биологов); уточнение типологии NEET за счет изучения разнородных слоев, входящих в ее состав; идентификация молодежи с группой NEET; распространение феномена хикикомори за пределы Японии; углубление представления о биологических корнях NEET (открытие биомаркеров хикикомори); выход группы NEET за возрастные рамки молодежи (взрослые NEET); изучение проблем NEET во взаимосвязи с процессами дезинтеграции и социальной изоляции. В заключение намечены тематики дальнейших исследований и обоснована авторская позиция, согласно которой разработка единой концепции NEET-молодежи возможна в случае признания таких ее объединяющих признаков, как иждивенческая установка и потребительское отношение к обществу.

Ключевые слова: молодежь; NEET-молодежь; хикикомори; социальная изоляция; социальная дезинтеграция; междисциплинарные исследования

Для цитирования: Буланова М.Б. NEET-молодежь: опыт междисциплинарных исследований // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 4. С. 809–821. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-809-821>

*© Буланова М.Б., 2025

Статья поступила в редакцию 28.07.2025. Статья принята к публикации 14.10.2025.

В конце XX века внимание исследователей по всему миру привлекла группа молодежи, которая, получив образование разного уровня и освоив первые профессиональные навыки, прервала свою социализацию, т.е. не вышла на рынок труда и не продолжила образование для повышения квалификации. Получив официальное название NEET (Not in Employment, Education or Training), эта группа была выделена в статистических данных, собираемых в ходе общенациональных обследований рабочей силы в разных странах. Общая численность NEET составила: в 2022 году в мире — 23,4 %; странах Евросоюза в 2022 году — 11,7 %, в 2023 — 11,2 % (по данным Евростата). За прошедшие годы численность NEET возросла за счет выхода части ее представителей из молодежного возраста. Существование данной группы имеет не только личностные (психофизиологические проблемы, утрата навыков самообслуживания, самообеспечения и коммуникации), но и социальные последствия (рост безработицы, снижение налоговых поступлений, увеличение затрат государства на социальную поддержку; риск депрофессионализации и деqualификации; рост социальной нестабильности), поэтому необходим регулярный мониторинг научных исследований NEET-молодежи — для определения новых тенденций и обобщения имеющихся данных.

Данный обзор ограничен англоязычными статьями, опубликованными с января 2022 года по январь 2025 года: был проведен поиск статей на исследовательской платформе ResearchGate, в библиографических базах данных Scopus и Web of Science. Поиск был ограничен статьями, в названии или аннотации которых как предмет изучения была выбрана группа NEET (в том числе в полном написании — «young people not in employment, education or training»). Для учета хикикомори (специфической подгруппы NEET) поиск был несколько расширен (2013, 2019, 2021–2022), чтобы показать динамику исследования японскими учеными данного феномена. Из всей совокупности материалов статьи были отобраны по критерию соответствия следующим рубрикам: типология и природа NEET; хикикомори — специфическая идентичность NEET; факторы пополнения группы NEET; поиски подходов к работе с NEET-молодежью.

Типология и природа NEET

Одна из первых типологий NEET-молодежи была предложена Международной организацией труда (МОТ) в 2010 году: были выделены две большие подгруппы — безработная и экономически неактивная молодежь. Основанием для разделения стала методика подсчета численности NEET по итогам общенациональных обследований рабочей силы в разных странах [1]. Многие ученые до сих пор придерживаются данной классификации. Интерес представляет исследование динамики NEET с 2000 по 2019 годы в 274 европейских регионах, разделенных на четыре основных кластера: была использована методика МОТ, а возрастные границы NEET были зада-

ны как 15–24 лет. Полученные показатели NEET различались в зависимости от эффективности рынка труда с учетом модели «центр-периферия» (южные и восточные регионы имеют более высокие доли NEET). На составление долгосрочных прогнозов изменения численности NEET влияли такие показатели, как уровень региональной безработицы и доля молодых людей, не завершивших образование или профессиональную подготовку [11].

Интересную попытку спрогнозировать долгосрочные показатели безработных NEET предприняли испанские ученые. Они показали, что триггером может стать семья, заставляющая молодого человека искать работу с более высокой заработной платой, статусом и престижем, чем у родителей. Если предложение таких рабочих мест на рынке труда меньше, чем спрос, то количество NEET растет, что порождает амплитуду колебаний их численности: в случае экономического кризиса фиксируется ее увеличение, а в условиях экономического подъема — уменьшение. Исследователи пришли к выводу, что проблема безработных NEET носит структурный характер, который надо учитывать при разработке мер государственной политики по сокращению числа NEET-молодежи, но в настоящее время государственные меры направлены больше на поверхностное решение проблемы безработицы NEET, а не на поиски и устранение причин ее появления [14].

Недостаточная эффективность усилий европейских государств по сокращению числа NEET-молодежи заставила исследователей вернуться к поискам природы феномена NEET. Стандартный подход, основанный на количественных данных, поверхностно объяснял самоидентификацию молодежи с группой NEET. Сложность ее изучения связана и с тем, что в разных европейских странах единые экономические факторы могли сопровождаться неодинаковыми социальными и культурными условиями реализации. В ситуации кризиса (социального или личного) у молодежи возникает желание отождествить себя с NEET, несмотря на различия в уровне образования, по полу и возрасту. Более того, в условиях нестабильности идентичность NEET может выступать как своеобразная реакция на динамику социальной дезинтеграции, связанная с осознанием молодыми людьми того, что данная группа достаточно велика и может служить им своеобразной защитой, убежищем от настоящих или воображаемых социальных катаклизмов. Однако, например, влияние пандемии коронавируса на идентичность NEET оказалось несущественным, т.е. при низком уровне NEET идентичность NEET не возникает, а там, где уровень NEET высок, несмотря не все другие отличия, формируется соответствующая идентичность [14].

Хикикомори — специфическая идентичность NEET

С 1980-х годов в японском обществе предметом дискуссий стало появление детей школьного возраста, предпочитающих вести замкнутый образ жизни дома и прогуливающих уроки. Тогда на уровне Министерства здра-

воохранения и социального обеспечения был разработан специальный проект по профилактике и решению психологических проблем, преодолению инфантилизма подростков. Одним из первых поставил под сомнение эффективность предпринятых мер японский психиатр Т. Сайто: в ходе многолетних исследований он пришел к выводу, что речь идет не только об отдельных случаях среди молодых людей 14–18 лет, стремящихся продлить свою юность, убегая от проблем взрослой жизни и перекладывая ответственность за себя на окружающих их взрослых (семью, школу), но об опасной проблеме социальной изоляции, которая с каждым годом затрагивает все большее число людей [17]. Введенный Сайто термин «хикикомори» («пребывающий в уединении») стал использоваться не только в научных кругах, но и в официальных документах. Правительство Японии признало существование социального феномена «хикикомори» в 2000-е годы, называя так людей, чья жизнь протекает в рамках родительского дома, а контакты с окружающими нарушены или сведены к минимуму.

В отличие от вынужденной изоляции (например, в случае болезни или инвалидности), к хикикомори относят только тех, кто добровольно выбрал такой образ жизни и находится в отрыве от общества более шести месяцев. Проведенное в 2002–2006 годы Всемирное исследование психического здоровья («World Mental Health Japan» — WMH-J — очное обследование домохозяйств в одном мегаполисе (Йокогама), двух городах (Окаяма и Нагасаки) и восьми сельских муниципалитетах методом интервью; N=4134), показало, что чаще всего состояние «хикикомори» наблюдалось у представителей таких возрастных групп, как 10–14 лет (20,1 %), 15–19 лет (37,4 %), 20–24 года (11,3 %) и 25–29 лет (13,7 %), поэтому средний возраст начала хикикомори составил 22,3 года. В половине случаев пребывание в этом состоянии продолжалось менее 12 месяцев — эти случаи были названы первичным хикикомори, не всегда сопровождающимся психическими отклонениями. При этом 80 % опрошенных испытывали состояние тревоги и раздражительности, а 54,5 % эпизодов хикикомори сопровождались по меньшей мере одним психическим расстройством в течение жизни [8]. Эти результаты дали основание связывать дальнейшее изучение хикикомори с наличием разного рода психических расстройств. По данным правительства Японии, к 2010 году численность хикикомори достигла 1,2 % населения, причем примерно 700 тысяч были младше 32 лет; в 2022 году почти 1,5 млн японцев трудоспособного возраста предпочли изоляцию дома, что составило 2 % людей в возрасте от 15 до 62 лет.

Несмотря на то, что среди специалистов, занимающихся проблемой хикикомори в Японии (психологи, психиатры, неврологи, социологи, педагоги) нет единодушия, большинство признает это явление социальной патологией, а представителей данной группы — людьми с нездоровой психикой. Причины ухода хикикомори от общества многообразны, но, прежде

всего, связаны с сильным давлением на молодого человека со стороны семьи (эмоциональная привязанность к родителям, стремление соответствовать их ожиданиям), школы (соблюдение правил и норм, необходимость успешной учебы), а у взрослого человека — с требованиями высокопроизводительного труда и успешной карьеры. Социум в Японии держит человека в постоянном напряжении, запрещая любое проявление слабости. Страх оказаться неудачником нередко становится причиной психической травмы, и человек предпочитает отказаться от социальных контактов, чтобы не быть проигравшим. Низкая самооценка, проблемы в общении со сверстниками, учителями и работодателями — триггер развития тревожных расстройств личности, которые приводят к депрессии и облегчают переход в состояние хикикомори. Так, проведенный в ноябре 2022 году правительством Японии опрос 30 тысяч человек в возрасте от 10 до 69 лет показал, что к хикикомори можно отнести пятую часть респондентов в возрасте 15–39 лет. Пятая часть из них отметила наличие трудностей в межличностном общении, а 18 % — изменения, вызванные пандемией. Среди людей в возрасте 40–64 лет 44,5 % заявили, что их поведение было вызвано потерей работы или увольнением, а 20,6 % сослались на пандемию. В Японии были менее жесткие ограничения, чем в других странах, но людей просили избегать ненужных прогулок в течение длительного времени, а некоторые работодатели и университеты поощряли удаленную работу и дистанционное обучение. Характерно, что 9 тысяч студентов университетов, переставших посещать в период пандемии занятия, объявили себя хикикомори [7].

После пандемии коронавируса исследователи в Японии заговорили об эпидемии хикикомори. Часть авторов увеличению количества хикикомори в стране связывали с ростом психических расстройств, вызванных принудительной социальной изоляцией, которая усугубила уже присутствующую личностную самоизоляцию. В интервью, взятых у хикикомори до пандемии, многие из них говорили о чувстве удовлетворения и облегчения, которое они испытывают, избегая общения вне стен дома, однако во время длительного пребывания в социальной изоляции (в условиях пандемии), они начали испытывать чувство одиночества. В первом случае речь идет о «желаемом одиночестве», не всегда имеющем психические последствия для личности (например, для первичных хикикомори), в отличие от «нежелательного одиночества» — когда люди получают меньше социальной помощи, чем им хотелось бы иметь. Во втором случае активизируются гормоны и нейромедиаторы, связанные со стрессом и биологически поддерживающие ощущение одиночества. Соединенные вместе желание уединения и ощущение социальной изоляции приводят к негативным последствиям для здоровья хикикомори [4].

В условиях социальной изоляции состояние изолированного и неизолированного одиночества сопровождается разными хроническими воспа-

лительными процессами, что дает основание для поиска биологических причин поведения хикикомори [9]. Одно из последних достижений в этом направлении — открытие биомаркеров крови, с помощью которых ученые не только отделили хикикомори от других групп, но и дали оценку тяжести их состояния, что может существенно помочь в диагностике и лечении психопатологического социального отчуждения [18]. Таким образом, к социальным и психологическим факторам, влияющим на попадание личности в группу хикикомори, в последнее время были добавлены и биологические основания. Для преодоления состояния хикикомори японские психологи предлагают комплекс инструментальных мер, связанных с развитием навыков преодоления стресса, снятия напряженности, поддержки сострадания к себе и другим [12].

В пост-пандемийный период феномен хикикомори стал активно проявляться по всему миру. Под руководством японского эксперта Т. Като в Италии в 2022 году было проведено международное исследование, показавшее, что различия между японским и итальянским устройством общественной жизни не исключают возможности появления хикикомори. Общие глобальные тенденции в мире постмодерна, связанные с изменением роли семьи, развитием цифровых технологий и Интернета, ориентацией общества исключительно на успешных людей, могли повлиять на возникновение психопатологий личности, не типичных для итальянской культуры. Экономическая и социальная маргинализация молодежи, связанная с безработицей и трудностями трудоустройства после окончания образования, стали дополнительными факторами для появления в Италии NEET-молодежи и такой ее подгруппы, как хикикомори. В итоге была разработана методика выявления итальянских хикикомори с целью профилактики возможных психопатических заболеваний [13].

Факторы пополнения группы NEET

Увеличение числа NEET определил интерес исследователей к факторам, определяющим попадание молодых людей в данную группу и время пребывания в ней. По-прежнему один из основных факторов — семья, хотя ее влияние неоднозначно. С одной стороны, семья — основной источник существования NEET и их опора в тех случаях, когда государство не может оказывать материальную поддержку или ее недостаточно вследствие роста числа тех, кто в ней нуждается. С другой стороны, положение семьи, накопленный родителями социальный и культурный капитал прямо отражается на судьбе ребенка, сбрасывая его в ряды NEET при любых вариантах семейного неблагополучия. Не менее важен уровень образования родителей и детей: низкий уровень образования связан с невысокой профессиональной квалификацией, а значит, с трудностями, а иногда и невозможностью трудоустройства [16]. Имеет значение и качество осваиваемых программ: так, учащиеся, выбрав-

шие общие программы среднего образования, имеют больше шансов попасть в ряды экономически неактивных NEET если закончат обучение или его прервут по сравнению с теми, кто осваивает профессиональные программы среднего образования [19].

Риски попадания в NEET у молодежи появляются в школьный период, когда систематические пропуски занятий мешают получить знания, необходимые для будущих успехов в образовании и на рынке труда, т.е. риски имеют пролонгированный негативный эффект, для отсрочки/преодоления которого необходимы условия для непрерывного образования людей в течение всей жизни [5]. Школа может содействовать построению благополучной жизненной траектории молодых людей через переживание и укрепление идентичности с внутришкольным, местным сообществом и обществом в целом, что способствует развитию таких ресурсов самоидентификации школьника, как доверие и самоутверждение, а вовлеченность в школьную жизнь и успехи в учебе — необходимое условие для противостояния личности конкурентной среде общества [3].

Время пребывания молодежи в NEET увеличивается по мере самоидентификации с группой: осознание того, что они являются NEET, порождает принятие зависимости от социальных процессов, противоречие между положением вне социальных структур и желанием быть внутри них. Сознание NEET оказывается в состоянии разрыва между желаемым личным будущим, идеальными общественными ожиданиями и имеющимся негативным опытом. Внутренний конфликт проявляется в растущем чувстве отчужденности и утрате доверия к посылам о всеобщем благополучии в развитых странах. В свою очередь, это приводит к утрате мотивации что-либо изменить, поскольку личных усилий явно недостаточно, а общество не дает шансов на ошибку в связи с отсутствием механизмов интеграции на рынке труда. Ситуации же нового негативного жизненного опыта NEET пытаются избегать.

Общество стремится навешать на NEET ярлыки неуспешных и непродуктивных, при этом ни социальные институты, ни семья не заботятся об оказании психологической помощи — чтобы молодые люди осознали возможность построить жизненную траекторию между зависимостью от других (которая в том или ином виде сохраняется всю жизнь) и личной независимостью [14]. Статус NEET тесно связан с негативными последствиями для психического здоровья молодых людей, в частности, с повышенным уровнем стресса, тревожностью и депрессией, поэтому в работе с этой группой необходим перенос акцента со слабых сторон на сильные, связанные с интересами и предпочтениями. Молодому человеку, попавшему в ряды NEET, нужно помогать, укрепляя его жизнестойкость, развивая мотивацию к учебе и работе, давая надежду на возможность позитивных изменений [15].

Поиски подходов к работе с NEET-молодежью

Сохраняющаяся тенденция к росту числа NEET, несмотря на некоторые улучшения и попытки государств помочь этой группе молодежи, говорит о неэффективности соответствующих программ государственной поддержки. Так, попытка правительства Италии выделить часть мест в университетах для NEET-молодежи закончилась неудачей — только 10 % этой группы смогли завершить обучение. Даже когда государство финансирует программы по устройству на работу молодежи, она не всегда стремится ими воспользоваться и в ожидании высокооплачиваемых позиций пополняет группу NEET [1].

Одна из причин недостаточной эффективности разных форм помощи NEET состоит в том, что существующие государственные программы направлены на помощь людям, которые чаще всего вынужденно и временно оказались в сложной жизненной ситуации, т.е. включают комплекс мер по укреплению здоровья, содействию трудовой занятости, повышению уровня образования, вовлечению в активную социальную жизнь. Эти программы работают, но не в отношении NEET — для данной категории будут более эффективны мероприятия, способствующие развитию тех личностных навыков, что помогут NEET управлять своими эмоциями, выстраивать коммуникацию с другими людьми, повысить уверенность в своей способности преодолеть трудные жизненные обстоятельства. Эти программы могут быть краткосрочными и долгосрочными, но обязательно достаточно гибкими — адаптированными к индивидуальным потребностям [10].

Поиски подходов, чтобы помочь NEET-молодежи интегрироваться в общество, продолжаются. Предлагаемые модели и инициативы ориентированы в основном на личностные практики построения отношений с обществом, поэтому нет убежденности в том, что прилагаемые усилия обязательно помогут NEET вернуться к образованию и работе, но они обязательно дадут позитивный эффект в удовлетворении их потребностей. Основное уязвимое место всех инициатив — их временный проектный характер: они существуют лишь до тех пор, пока есть соответствующие средства государственных, частных организаций или других спонсоров [6]. Разработка типовой программы для работы с NEET-молодежью вряд ли возможна, поскольку следует учитывать и страновой аспект, и конкретные жизненные обстоятельства, и наличие индивидуальных интересов и устремлений. Многое зависит от уровня специальных навыков и качеств специалистов по работе с молодежью, которые будут находиться в контакте с NEET. Исследователи убеждены, что лучше сосредоточиться на малых, достижимых целях, практиковать ежедневные шаги в преодолении личностной изоляции NEET от общества, обязательно опираясь на принципы прозрачности, сопричастности, уважения и отказа от принуждения.

Проведенный анализ позволяет обобщить результаты изучения NEET-молодежи. До сих пор не выработано единое представление о группе, например, возрастные границы NEET-молодежи подвижны: от 15 до 34 лет (страны Евросоюза, Япония); от 15 до 29 лет (Италия, Испания); от 16 до 24 лет (США, Великобритания, Северная Ирландия). Поскольку во всех странах наблюдается выход представителей NEET за пределы молодежного возраста, возникает проблема соотнесения с другими социальными группами. Возможны ли NEET-взрослые, а в перспективе NEET-пожилые, или группа все-таки одна, но состоящая из представителей разных возрастов. По странам структура группы различается и по таким показателям, как: количество лет образования/профессиональной подготовки, т.е. период между окончанием профессионального обучения и началом трудовой деятельности; экономический (состояние экономики) и социокультурный (обычаи, традиции) контексты.

В возрасте 20–24 лет количество NEET увеличивается (критический период между окончанием учебы и устройством на работу). Вторая волна роста числа NEET — 25–29 лет, причем здесь наблюдается гендерный перекося в сторону женщин — как правило, именно в этом возрасте они выходят замуж, рожают детей и, тем самым, прерывают траекторию профессионального трудоустройства и повышения квалификации. Число NEET снижается в возрасте 30–34 лет, но важен тот факт, что в положении NEET остается определенное число людей за пределами 35 лет.

В мировом научном сообществе используется расширительная трактовка NEET, ориентированная на определение MOT, которое включает в группу безработную и экономически неактивную молодежь. Однако даже длительное (более года) пребывание в группе безработных не всегда свидетельствует о том, что человек не хочет работать (может встать на учет на бирже труда, активно искать работу). Более того, под категорию NEET начинают попадать и те молодые люди, которые время от времени работают, но для работодателя выглядят ненадежными, незрелыми, невзрослыми, хотя это может быть привилегированная группа с большими, чем у других, возможностями для самореализации и саморазвития. Занятия альтернативными, неформальными трудовыми практиками (волонтерство, уход за инвалидами и детьми) выводят личность за рамки экономической активности, но дают ли основания для отнесения к NEET? Получается, что интерпретация NEET отличается в зависимости от контекстов: статус (безработный или экономически неактивный), возраст, страна, регион и состояние рынка труда.

Основные факторы, которые определяют вероятность пополнения молодыми людьми группы NEET, — индивидуальные особенности (пол, возраст, физическое и психическое здоровье, образование), особенности семьи (работа родителей, уровень их образования, семейные традиции). Кроме того, к неблагоприятным личным факторам были отнесены инвалидность

или иммигрантское происхождение, а к социальным — проживание в сельской местности и неблагополучная семья: если родители разведены, имеют низкий уровень образования, испытывают трудности с работой, то с большой вероятностью их дети попадут в группу NEET. Факторами риска NEET были названы все случаи, когда человек прерывал образование: чем ниже полученный уровень образования, тем ниже уровень квалификации и тем меньше спрос на рынке труда. Более того, низкий уровень образования и профессиональной квалификации значительно повышают вероятность длительного пребывания в группе NEET, вплоть до выхода из молодежного возраста. В частности, для NEET отсутствие необходимого социального и культурного капитала перекрывает не только каналы поиска работы, но и сводит на нет попытку получения дополнительного образования и переподготовки.

Статус NEET может быть как вынужденным, обусловленным определенными жизненными обстоятельствами, так и добровольным (если молодежь сознательно прекращает поиск работы или учебу, не имея намерений в будущем трудоустроиться или повышать профессиональную квалификацию). Добровольность повышает риск остаться в группе пожизненно, что характерно для хикикомори. В Японии проблему называли «8050»: 80-летние родители вынуждены материально обеспечивать 50-летних детей-хикикомори. Сегодня проблема хикикомори перестала быть только японской — это отдельная часть NEET обнаруживается во многих странах мира, а ее представители нуждаются в серьезном психофизиологическом лечении.

Для проведения эффективной политики по уменьшению числа NEET-молодежи необходимо учитывать неоднородный состав данной группы (наличие подгрупп, в том числе хикикомори), наличие объективных и субъективных факторов, способствующих пополнению группы, характер пребывания в ней (добровольный или вынужденный). Внимание государства и общественных структур важно сосредоточить на людях, которые вынужденно попали в группу и мотивированы к тому, чтобы поскорее ее покинуть.

В последние годы расширилась география изучения NEET: к исследователям в странах Евросоюза, Великобритании, Норвегии, Японии и США присоединились коллеги из Индии, Индонезии, Сербии, Северной Македонии и Северной Ирландии. Бум статей о NEET пришелся на 2022 год, а характер изучения группы стал междисциплинарным: проблемами NEET-молодежи занимаются социологи, экономисты, политологи, культурологи, философы, педагоги, психологи, психиатры и биологи. Были достигнуты определенные успехи в изучении NEET, прежде всего в отношении динамики, типологии и природы данного социального феномена, факторов попадания и пребывания молодежи в группе NEET,

структуры и идентичности группы, систематизации практик помощи и поддержки НЕЕТ-молодежи.

Вопросы, оставшиеся за рамками проанализированных статей, включают в себя: нужна единая концепция НЕЕТ или многокомпонентные модели, учитывающие страновую специфику (экономические, политические, социокультурные, демографические условия) и особенности социализации НЕЕТ; нуждаются ли в поддержке государства все представители данной группы или только ее часть, способная преодолеть самоизоляцию и интегрироваться в общество; нуждается ли в лечении вся группа или только ее представители с уже выявленной психофизиологической патологией; насколько эффективна политика государств в отношении НЕЕТ-молодежи (от каких существующих практик необходимо отказаться) и т.д.

Необходимо признать НЕЕТ как особую группу современного общества, сняв с нее ярлыки неблагополучной и патологической и предотвратить ее дальнейшую стигматизацию. Наиболее продуктивен подход к НЕЕТ как людям с иждивенческими установками и потребительским отношением к обществу [2], поэтому в каждой стране важно найти оптимальные варианты взаимодействия с данной группой и организовать адресную помощь тем представителям, которые сами мотивированы ее покинуть.

Библиографический список/References

1. Буланова М.Б., Артамонова Е.А. Neet-молодежь: европейский контекст и российские реалии // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2020. Т. 20. № 1 / Bulanova M.B., Artamonova E.A. NEET-molodezh: evropeisky kontekst i rossiiskie realii [NEET youth: European context and Russian realities]. *RUDN Journal of Sociology*. 2020; 20 (1). (In Russ.).
2. Буланова М.Б., Артамонова Е.А. НЕЕТ-молодежь: потребительское поведение в новой реальности // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2022. Т. 22. № 1 / Bulanova M.B., Artamonova E.A. NEET-molodezh: potrebitelskoe povedenie v novoi realnosti [NEET youth: Consumer behavior in the new reality]. *RUDN Journal of Sociology*. 2022; 22 (1). (In Russ.).
3. Brown C., Douthwaite A., Donnelly M., Shay M. Connected belonging: A relational and identity-based approach to schools' role in promoting child wellbeing. *British Educational Research Journal*. 2025; 51 (4).
4. Campagne D.M. Stress and perceived social isolation (loneliness). *Archives of Gerontology and Geriatrics*. 2019; 82.
5. Daager J., Sosu E.M., Klein M. The long-term consequences of early school absences for educational attainment and labor market outcomes. *British Educational Research Journal*. 2024; 50 (4).
6. Haug E.H., Nylund I.B., Samuelsen N.W., Stokke M., Sønderskov M. Service innovations targeting NEETs: A systematic review. *Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance*. 2023; 4 (1).
7. Japan says 1.5m people are living as recluses after Covid. *Guardian*. 03.04.2023. URL: <https://www.theguardian.com/world/2023/apr/03/japan-says-15-million-people-living-as-recluses-after-covid>.
8. Koyama A., Miyake Y., Kawakami N., Tsuchiya M., Tachimori H., Takeshima T. Lifetime prevalence, psychiatric comorbidity and demographic correlates of 'hikikomori' in a community population in Japan. *Psychiatry Research*. 2010; 176 (1).

9. Koyama Y., Nawa N., Yamaoka Y., Nishimura H., Sonoda S., Kuramochi J., Miyazaki Y., Fujiwara T. Interplay between social isolation and loneliness and chronic systemic inflammation during the covid-19 pandemic in Japan: Results from U-corona study. *Brain, Behavior, and Immunity*. 2021; 94.
10. Marques M.J., Alves R.F., Dias S., Torri E., Paza A., Dantas C., Bertotti M. A realist synthesis of interventions for youth not in education, employment or training (NEET): Building program theories for effective support. *International Journal of Adolescence and Youth*. 2025; 30 (1).
11. Maynou L., Ordóñez J., Silva J.I. Convergence and determinants of young people not in employment, education or training: A European regional analysis. *Economic Modelling*. 2022; 110.
12. Nonaka S., Sakai M. Psychological factors associated with social withdrawal (Hikikomori). *Psychiatry Investigation*. 2021; 18 (5).
13. Orsolini L., Bellagamba S., Volpe U., Kato T.A. Hikikomori and modern-type depression in Italy: A new phenotypical trans-cultural characterization? *International Journal of Social Psychiatry*. 2022; 68 (5).
14. Pesquera Alonso C., Muñoz Sánchez P., Iniesta Martínez A. Is there a uniform NEET identity in the European Union? *International Journal of Adolescence and Youth*. 2022; 27 (1).
15. Pimentel M.H., Simões F., Marques P.F., Barbosa-Ducharne M. A mapping review on NEETs' psychological characteristics: Informing policies and programs. *Journal of Community & Applied Social Psychology*. 2025; 35 (2).
16. Rahmani H., Groot W. Risk factors of being a youth not in education, employment or training (NEET): A scoping review. *International Journal of Educational Research*. 2023; 120.
17. Saitō T. *Hikikomori: Adolescence without End*. University of Minnesota Press; 2013.
18. Setoyama D., Matsushima T., Hayakawa K., Nakao T., Kanba S., Kang D., Kato T.A. Blood metabolic signatures of hikikomori, pathological social withdrawal. *Dialogues in Clinical Neuroscience*. 2021; 23 (1).
19. Taghizadeh J.L., Osterman M. Choosing the right path: The effects of pursuing general versus vocational secondary education on dropout risk and youth inactivity. *Economics of Education Review*. 2025; 106.

DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-809-821

EDN: KCDJUM

NEET-Youth: Interdisciplinary research*

M.B. Bulanova

Institute of Sociology of FCTAS RAS,
Krzhizhanovskogo St., 24/35, room 5, 117218

(e-mail: marina_bulanova@inbox.ru)

Abstract. The article continues a series of articles on the NEET youth published in the journal in 2020–2022. The article aims at summarizing the results of scientific research on NEETs and identifying new trends in the study of this special group, whose representatives are poorly

*© M.B. Bulanova, 2025

The article was submitted on 28.07.2025. The article was accepted on 14.10.2025.

integrated into society because they do not work, do not receive an education, and do not care about developing their personal qualities. The author selected forty-five scientific articles on NEET issues in different countries and regions, published on the ResearchGate platform in 2022–2025, and information on hikikomori in the academic databases Scopus and Web of Science for 2021–2025. The articles were sorted according to their headings: typology and nature of NEETs; hikikomori as a specific identity of NEETs; factors of the NEET group growth; search for new approaches to study the NEET youth. The author identified the following new trends: recognition of the need for interdisciplinary research on the NEET youth (by sociologists, psychologists, economists, psychiatrists and biologists); clarification of the typology of NEET by studying its heterogeneous strata; identification of the youth with the NEET group; spread of the hikikomori phenomenon beyond Japan; deepening understanding of the biological roots of NEET (discovery of hikikomori biomarkers); expansion of the NEET group beyond the age limits of the youth (adult NEETs); study of NEET problems in relation to social disintegration and isolation. The article concludes with issues for further research and the author's position that a unified concept of the NEET youth is possible if such unifying features as a dependent mindset and a consumer attitude toward society are recognized.

Key words: youth; NEET youth; hikikomori; social isolation; social disintegration; interdisciplinary research

For citation: Bulanova M.B. NEET-Youth: Interdisciplinary research. *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (4): 809–821. (In Russ.). <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-809-821>



DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-822-834

EDN: KBHVXR

Российский путь: горизонты будущего в контексте противостояния цивилизаций*

А.Л. Андреев, И.А. Андреев

Институт социологии ФНИСЦ РАН,
ул. Кржижановского, 24/35, корп. 5, Москва, 117218

(e-mail: sympathy_06@mail.ru; v-andreev_07@mail.ru)

Аннотация. Статья посвящена социологическому анализу перспектив развития российского общества с акцентом на характеристике российских стратегий созидания будущего в контексте противостояния западной модели социально-исторического развития. Рассматриваются теоретические основы социологии будущего — вводится понятие динамических линий, ведущих из прошлого к будущему. Анализируются разные типы представлений о будущем, включая рационалистический концепт будущего как предмета целенаправленной, созидательно-творческой деятельности (проектный тип социального мышления), а также российские представления о будущем в связи с так называемой русской идеей. Показана трансформация логики созидания будущего в контексте изменения отношения россиян к западной модели развития и осмысления своего исторического опыта (отказ от репродуктивного способа созидания будущего). Выработанный в последние десятилетия российским обществом стиль развития и, соответственно, принятый способ созидания будущего обозначен как традиционалистская модернизация. Авторы считают принципиально невозможным управлять созиданием будущего, но допускают управление нашим движением к будущему. На основе многолетних социологических исследований раскрыты основные смысловые компоненты привлекательного для россиян будущего, в том числе проанализировано российское понимание демократии. Характеризуя обозначившиеся в последние десятилетия динамические линии развития, авторы отмечают изменение цивилизационного ландшафта глобального мира, что создает условия для формирования новой русской идеи, сочетающей в себе присущие российской культурно-исторической традиции представления о «хорошем обществе» с актуальной глобальной повесткой.

Ключевые слова: российское общество; образы будущего; механизмы социальных изменений; цивилизация; цивилизационный ландшафт; русская идея; проектное мышление

Для цитирования: Андреев А.Л., Андреев И.А. Российский путь: горизонты будущего в контексте противостояния цивилизаций // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 4. С. 822–834. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-822-834>

*© Андреев А.Л., Андреев И.А., 2025

Статья поступила в редакцию 30.05.2025. Статья принята к публикации 14.10.2025.

Будущее в российской ментальности

Среди сущностных качеств человека особое место занимает потребность знать будущее в различных его преломлениях — от личной судьбы до судеб царств и народов. Эта потребность удовлетворялась разными способами — от гаданий и пророчеств до научного прогнозирования и стратегического планирования. В Новое время сложилось отношение к будущему как объекту, который, как все другие объекты, следует подвергнуть направляемому разумом преобразующим воздействиям (проектный тип социального мышления). Такое отношение к будущему можно связать с веберовской концепцией рациональности и рассматривать ориентированную на созидание будущего ментальность как один из признаков современности (*modernity*) в ее характерологических отличиях от традиционных обществ.

В России формирование такой ментальности просматривается уже в период становления московского самодержавия, когда, как и в странах Европы, усиливались рационалистические устремления Нового времени. Первоначально формирование такой ментальности проявилось в общественной мысли (социально-политические идеи и проекты Ф. Карпова, Ермолая-Еразма, И. Пересветова), но постепенно распространилось на всю сферу государственного мышления. Так, петровские преобразования и создание Российской империи были реализацией определенного проекта будущего — превращения России в «просвещенную Европию». Идеологическая инерция этого проекта давала о себе знать на протяжении всего имперского периода российской истории. Еще большую роль отсылки к образам будущего («прекрасное завтра», грядущее бесклассовое общество и др.) стали играть в советское время. Постепенно приоритетная ориентация на будущее стала одним из характерных элементов как российской политической культуры, так и национальной психологии. Показательно, что у большинства россиян понятие «будущее» вызывает более сильные позитивные ассоциации, чем «прошлое» и «настоящее», хотя аналогичные исследования в других странах показывали иную картину [13].

Если в периоды спокойного эволюционного развития будущее мыслится в основном абстрактно-символически (разумеется, не личное будущее, поскольку восприятие индивидуальных судеб часто сопряжено с сильными переживаниями), то в эпохи быстрых перемен и назревающих социальных потрясений будущее обретает осязаемую конкретность и усиливаемую ощущением неопределенности эмоциональную напряженность. Поскольку Россия долгое время следовала по пути догоняющего развития, в отечественной истории подобные эпохи случались особенно часто. Это обстоятельство далеко не всегда способствовало тому, что в повседневности может расцениваться как улучшение, но дало уникально богатый социальный опыт созидания будущего — как «хорошего», так и «плохого», «катастрофического». Полагаем, что выводы, которые можно извлечь из этого опыта, важны для

выработки реалистического понимания проблемы проектирования будущего и стратегий, позволяющих сделать оптимальный выбор из направленных в будущее исторических альтернатив.

Логика проектирования будущего

Что касается стратегий целеполагания, то мировоззрение высших и средних слоев российского общества, начиная по крайней мере с XVII столетия, формировалось и развивалось в поле европейского (и — шире — западного) влияния, которое сохранялось и после революции 1917 года. Более того, несмотря на идеологическое противостояние с буржуазным Западом, в советское время увлечение им стало принимать гипертрофированные и даже экзальтированные формы. Так, в 1920-е годы многие считали, что «страсть к американизму — закономерная черта формирующегося социалистического общества, а американскую деловитость» надо рассматривать как «составную часть ленинского стиля в работе» [12]. На этой культурно-психологической почве получил распространение репродуктивный способ проектирования будущего — как воспроизведения неких существующих за рубежом «передовых» образцов. Едва ли не самый показательный пример репродуктивного подхода — проект создания на южном берегу Крыма грандиозного «советского Голливуда» в 1930-е годы.

Применение репродуктивного подхода имело определенную динамику: вначале он ограничивался отдельными, пусть очень крупными и высокозатратными, но все же локальными проектами, но в годы «перестройки» стал применяться к обширным сферам жизнедеятельности (сельскому хозяйству, образованию и т.д.) и даже ко всему обществу: целью развития на обозримое будущее становилась реализация некой предзаданной социальной «модели»; дискуссии велись лишь по поводу выбора наиболее предпочтительной модели — бескомпромиссного «капитализма сильных» в стиле Р. Рейгана и М. Тэтчер, скандинавского «социализма» или какой-то умозрительной конструкции, составленной из «признаков социалистичности» (по поводу которых теоретикам эпохи «перестройки» так и не удалось договориться). Однако на практике очень быстро выяснилось, что такой метод проектирования и созидания будущего чреват серьезными проблемами, а попытки переносить на российскую почву успешные социальные модели других стран, вопреки ожиданиям, могут приводить к разрушительным последствиям. После 2000 года прослеживается стремление выработать более практичные, эффективные и реалистичные стратегии социально-исторического развития, однако и в теории, и в практике они еще долго переплетались с инерцией скомпрометировавших себя «модельных» стереотипов 1980–1990-х годов. Показательный пример — присоединение к Болонскому процессу (2003), когда вразрез с политикой возрождения суверенной государственности и восстановления позиций страны как великой державы в сфере высшего

образования проводился курс на интеграцию России в «европейское образовательное пространство».

Пройдя в 1990-е годы нелегкий период социальных экспериментов, российское общество определенно извлекло из них уроки, в частности, это признание необходимости стратегического суверенитета в созидании будущего. Так, в ходе проведенного ФНИСЦ РАН в 2023 году социологического опроса почти 40 % россиян высказали убеждение, что «Россия должна жить своим умом и идти своим путем, а не копировать опыт других стран». В русле этого крепнущего убеждения постепенно формируется новая культура планирования, которая нашла выражение в разработке национальных проектов. Соответственно, меняется и логика проектирования будущего: теперь задача состоит не в том, чтобы удачно воспроизвести некоторую предзаданную социальную, экономическую, политическую модель, а в том, чтобы исходя из соотношения потребностей и возможностей сформировать набор конкретных национальных целей в основных сферах общественной жизнедеятельности и под эти цели разработать программы их ресурсного обеспечения и алгоритмы их поэтапного достижения. Из скоординированных и контролируемых в мониторинговом режиме действий, направленных на достижение конкретных целей, и сложится в дальнейшем своеобразная и неповторимая модель будущего российского общества.

Образ будущего сквозь призму русской идеи

Перспективное видение будущего России так или иначе связано с разрабатывавшимся в отечественной интеллектуальной традиции понятием русской идеи, в котором переплетаются по крайней мере два смысловых аспекта. С одной стороны, русская идея — это некое «слово» и одновременно выражаемая этим словом метаисторическая миссия: «идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности» [11]. С другой стороны, это определенная, консолидирующий россиян как нацию ментальность, благодаря которой российский народ и государство способны возвестить и исполнить миссию, возложенную на них то ли провидением, то ли особенностями их месторазвития, то ли объективной логикой геополитических противостояний. От модели развития национальная идея отличается значительно меньшей детализацией — указывает лишь самое общее направление исторического движения. Кроме того, ее характеризует особая эмоциональная окрашенность, характерная для всех понятий и образов, связанных с экзистенциальными и сакральными смыслами: за модели не сражаются и не умирают, а за национальные идеи — могут.

Концепция русской идеи оказалась эвристически продуктивной (чего и следует ожидать от философии), поскольку была подхвачена политической мыслью и повлияла не только на формирование целого ряда политических концепций, но и опосредованно на политическую практику. Первоначально русская идея трактовалась в финалистском духе — как некое раз и навсегда

да установленное задание, реализация которого составляет смысл истории и придает смысл существованию России. Однако в философских размышлениях более позднего времени за русской идеей стали признавать способность приобретать разные исторические формы, например, Н.А. Бердяев трактует идеологию русского коммунизма как особую модификацию традиционного русского мессианизма, начало которому положила теория третьего Рима. Однако во всех случаях русская идея понималась как своего рода проекция изначальной сущности народа, порождение его духовных сил и отражение его внутренней эволюции (не исключающей выборочного восприятия определенных внешних влияний, преимущественно интеллектуальных). Культурно-психологические черты народа задают границы ментального пространства, в рамках которого формируется и как бы «пульсирует» тот комплекс ориентированных на будущее образов, представлений, идеалов, ценностных установок, целеуказаний, суждений о должном и недолжном, который и называют национальной идеей. Поэтому национальную идею нельзя изобрести, а затем внедрить в массовое сознание, как в свое время наивно полагали ведущие идеологи администрации Б.Н. Ельцина. Разумеется, их инициатива не встретила в обществе отклика, и большинство россиян не проявило энтузиазма в отношении спущенных «сверху» целей на будущее. Да и какие «большие идеи» (демократию, рыночную экономику, мультикультурализм, этику успешности) могла предложить перенастраивавшаяся по западным образцам Россия 1990-х годов? Казалось, что Запад выигрывает конкурентную борьбу проектов будущего, и в этой ситуации русская идея утрачивала *raison d'être* — оказывалась ненужной ни миру, ни самим россиянам.

Однако к концу 1990-х годов ситуация стала быстро меняться, заставляя вновь задуматься над гегелевским концептом иронии истории: момент, переживаемый тем или иным деятелем, народом, государством как момент их высшей славы, на самом деле становится начальной точкой их падения. Не произошло того «слома ядра русской культуры» [6] и «переналадки» системы ценностей в соответствии с ориентированной на западные, преимущественно американские, образцы «этики успеха», которого стремились добиться западные советники и следующие их рецептам «молодые реформаторы» гайдаровского призыва. Напротив, случилось нечто противоположное — возвращение российского общества к собственным ценностям, традициям, идеалам и мечтам. Многие из того, что отличало российский социум от западных обществ и еще недавно оценивалось как помеха, стало вновь рассматриваться как ценность. По данным социологических исследований, сегодня категорических сторонников западных ценностей среди россиян не более 7 %, а вместе с теми, кто готов принять западную модель развития и западные правила за основу, — около 20 % [9]. Эта тенденция постепенно становилась доминирующей и привела к разделению образа будущего и образа Запада: желаемое будущее стало мыслиться уже не как превращение

России в страну западного типа, а как реализация издавна крайне важного для россиян принципа социальной справедливости, укрепления национальных традиций и перехода на путь инновационного развития, чтобы страна стала одним из мировых лидеров научного и технологического прогресса. Одновременно происходило «выветривание» тех элементов прекраснотушного и несколько наивного альтруизма, которые были присущи некоторым интерпретациям русской идеи, особенно советским практикам бескорыстной, в ущерб себе, помощи всем странам и народам, которые декларировали дружбу с Россией и идеологическую с ней близость.

Путь в будущее как создание «хорошего общества»

Изменения в общественном сознании и политическом мышлении создавали новое пространство возможностей, стимулируя российские интеллектуально-политические элиты к поиску исторических и концептуальных оснований для самоопределения и проектирования будущего, согласующихся с массовыми представлениями о «хорошем обществе». Исследования по исторической социологии, как и многолетние мониторинговые опросы последних десятилетий показывают, что эти представления весьма устойчивы и в некоторых случаях имеют давние истоки. Так, первое место в рейтинге российских ценностей занимает социальная справедливость: по данным всероссийских опросов 2021–2023 годов реализацию принципа справедливости на первое место в иерархии целей на будущее выдвигает примерно половина россиян [7]. При этом, вопреки распространенной в либеральной публицистике 1980–2000-х годов точке зрения, понимается принцип справедливости не как «все отнять и поделить». Главные ее составляющие — искоренение коррупции, соблюдение социальных прав, благоприятные условия для самовыражения, беспристрастное правосудие и соответствие вознаграждения реальным заслугам человека перед обществом.

Кроме того, в представлении россиян будущее России — это однозначно путь инновационного развития. В условиях нарастающего противостояния цивилизаций страна должна стремиться к роли лидера в области науки, технологий и высокотехнологичных отраслей экономики. При этом риски научно-технического прогресса вызывают у россиян тревогу намного реже, чем у европейцев. Почти половина россиян (46 % в 2016 году) полагает, что совершенствование технологий в конце концов позволит решить основные проблемы человечества, тогда как среди европейцев так считает почти в два раза меньше респондентов [2]. Важно отметить, что в России приверженность инновационной модели развития не перерастает в абсолютизацию новизны, а органично сочетается с глубоким уважением к традициям. Так, по данным опроса 2024 года слово «традиции» вызывает положительный отклик у 87 % опрошенных россиян, отрицательный — у 2 % (соответствующие показатели понятия «инновации» — 71 и 7 %) [13]. Эти и аналогичные данные позволя-

ют охарактеризовать реализуемый в настоящее время российский стиль проектирования будущего как традиционалистскую модернизацию [8].

Проецируя свои представления о «хорошем обществе» на будущее страны, россияне не видят альтернативы демократии, но понимают ее иначе, чем на Западе. В ходе проводившихся в разное время опросов россиянам предлагали расположить основные признаки демократии в порядке их значимости: оказалось, те из них, что на Западе признаются определяющими (например, многопартийность и постоянная сменяемость лиц у власти), в России оказались в середине или даже конце списка, потому что россияне ценят не формальные процедуры, а социальные характеристики демократии, считая не менее важными, чем на Западе, наличие политической оппозиции и независимость СМИ. Однако главная задача политической оппозиции, по мнению большинства россиян, — не в том, чтобы сменить находящееся у власти правительство (модель политического маятника), а чтобы своей критикой «помогать ему в решении общенациональных задач» [10].

В русле этих взглядов и настроений с конца 1990-х — начала 2000-х в России формируется культурно-психологическая почва для пересмотра сложившегося в условиях кризиса советской системы представления о будущем в русле западных социально-экономических и политических моделей. В марте 2024 года, выражая свое мнение по поводу уроков, которые следует извлечь из нашей истории, более половины россиян согласились с утверждением, что Россия должна жить своим умом и идти своим путем, а не копировать опыт других стран. Но как можно претворить это мнение в конкретные практические действия? Опыт хаотических социально-экономических трансформаций кризисного периода показал, что желаемое будущее не может возникнуть само по себе из игры стихийных социальных, экономических и политических сил без опоры на целенаправленную деятельность и государственное планирование, что, однако, не означает возвращения к не отвечающей реалиям рыночной экономики и быстро меняющимся социальным потребностям практике советского Госплана. Стратегическое планирование, как его стали понимать в современной России, начинается с определения национальных целей, утверждаемых, как правило, указами президента, а главными инструментами достижения национальных целей стали комплексные федеральные программы, получившие название национальных проектов. Концентрация ресурсов на тщательно отобранных и выстроенных в определенную последовательность стратегических целях создает сильный мультипликативный эффект, что позволяет эффективно решать самые болезненные проблемы (созданные неумелыми реформаторами 1990-х годов и коренящиеся в значительно более отдаленном прошлом) и открывает возможности для опережающего развития и быстрых ресурсно-технологических маневров, эффективно реализующих самые «горячие» разработки сегодняшнего дня (примеры — успехи в наращивании сельскохозяйственного производства,

чрезвычайно быстрая и интенсивная цифровизация, интенсивное развитие инфраструктуры для высоконагруженных систем, создание в сжатые сроки полноценной индустрии беспилотных летательных аппаратов и др.).

Можно ли управлять будущим?

Если будущее не просто наступает, но создается, причем с использованием определенных социальных технологий (стратегическое планирование, мониторинговый контроль за исполнением и др.), то нельзя ли поставить перед собой задачу управлять будущим? Такое словосочетание стало появляться в литературе, но реального социологического смысла не имеет, потому что для управления объектом (явлением) необходимо определенного типа знание, позволяющее построить идеальную модель объекта. Попытки моделирования процессов социально-исторического развития предпринимались (например, марксизмом), но все они в конечном счете расходились с действительностью. И дело не столько в недооценке каких-то эмпирически данных, сколько в ограничениях принципиального характера. Один из них — так называемый эффект Эдипа: знание об обществе, влияя на установки и поведение индивидов, со временем оказывает существенное влияние на само общество, вызывая такие изменения в сознании и социальном поведении, которые коренным образом меняют траектории социального развития. Поскольку же объект знания становится другим, он, подобно мифическому Протею, как бы ускользает из сети призванных «схватить» его теоретических категорий — теперь для его понимания требуется новое знание, но, даже если оно будет выработано, через некоторое время ситуация повторится. Как отметил А. Шюц, «допущение о том, что конечное мышление может обладать совершенным знанием о будущих событиях, ведет к неразрешимым противоречиям» [14]. На практике эффект противоречий усиливается и другими факторами неопределенности, в частности, неконтролируемыми и часто неожиданными природными «выбросами», а также технологическими изменениями, которые сложно в полной мере предугадать.

Из сказанного следует принципиальная нереализуемость социально-исторических концепций, направленных на реализацию неких фиксированных конечных целей — будь то марксов «скачок из царства необходимости в царство свободы» с формированием бесклассовой социальной структуры или фукуямовский глобальный либеральный порядок. Однако данный вывод не следует истолковывать в духе исторического пессимизма и тем более фатализма: будущим нельзя управлять, но можно управлять движением в будущее, используя не финалистские, а рефлексивно-градуальные стратегии, предполагающие периодические фазы ментальной реконструкции (выстраивания новой картины мира с корректировкой базовых целеуказаний и образов желаемого будущего).

В рамках таких стратегий важно правильно зафиксировать характеристики начальной стадии, ответив на вопрос о субстрате и субъекте измене-

ний. Данная задача нетривиальна, потому что социальная реальность всегда неоднозначна — сложностная реальность [5] не только может быть описана по-разному, но и требует для своего описания разных языков. Так, культурно-исторические особенности российского общества долгое время пытались свести к таким социологическим и политическим характеристикам, как «тоталитаризм», «отсутствие гражданского общества», «психология рабства» и т.п., и на этой почве широко распространились теории «демократического транзита», которыми в России увлекались в 1990-е — начале 2000-х годов и которые на поверку оказались наукообразной схоластикой. Для выявления заложенных в российском социуме реальных импульсов развития важнее всего понимать, как устроена определяющая социальные устремления мотивационная среда. В этом смысле Россию с конца XIX века следует рассматривать с точки зрения формирования особого типа социальности, завершение которого совпадает с периодом так называемой оттепели и «экономическим чудом» середины 1950-х — середины 1960-х [1]. Тогда социальная история постсоветской России предстает как история частичного разрушения данного типа социальности (в 1990-е), а затем его частичной реставрации и интеграции с другими социальными формами и тенденциями, в том числе новейшими, возникающими буквально на наших глазах в быстро меняющихся условиях начала XXI века.

Динамические линии социально-исторического процесса

Зафиксировав положение вещей как точку отсчета на пути в будущее, мы получаем логическое основание для следующего шага. Аналитически обобщив ход социально-исторического процесса может быть представлен как суперпозиция (наложение) нескольких взаимодействующих, но независимых процессов, которые мы назовем динамическими линиями. В принципе таких линий всегда несколько, и их число меняется. В этом плане ситуация начала XXI века отличается повышенной сложностью, поскольку в последнее время к постоянно или, по крайней мере, издавна присутствующим в социальной истории динамическим линиям (рост хозяйственной продуктивности, совершенствование технологий, смена политических, экономических и культурных элит, увеличение плотности населения и антропогенной нагрузки на природу, усиление транспортной связанности территорий и т.д.) добавился ряд новых, имеющих важные последствия процессов (массовые миграции, становление так называемого многополярного мира, перестройка климатических циклов и т.д.). Поскольку Россия является государством-цивилизацией и ее будущее во многом определяется этим специфическим двойным статусом, следует обратить внимание на ряд мегатрендов, которые предположительно являются началом зарождающихся динамических линий, ведущих к возникновению принципиально новых цивилизационных форм и изменению отношений между цивилизациями.

В первую очередь, это отчетливо наметившаяся специализация в рамках глобальной системы уже не только отдельных стран, но и целых цивили-

заций. Примечателен, в частности, наблюдаемый в последние десятилетия демографический кризис во всей экономико-географической зоне техногенной «развитой экономики», сделавший ее зависимой от импорта человеческих ресурсов. При этом вместо ожидавшейся ассимиляции мигрантов и возникновения мультикультурных обществ происходит освоение принимающих территорий мигрантами-носителями иных культур и формирование постепенно расширяющихся этнокультурных анклавов — своего рода обратная колонизация. Впрочем, кризис проявляется не только в падении рождаемости и нехватке рабочих рук — в развитых странах Запада это и снижение уровня политического мышления правящих элит. Примечательны слова вице-президента США Дж.Д. Вэнса об угрозе цивилизационного самоубийства Европы как колыбели западной культуры [4]. Если в обозримой перспективе данная угроза не будет устранена, произойдет глубокая перестройка всего глобального цивилизационного ландшафта, что так или иначе затронет Россию и ее будущее. Дело в том, что исчезнет не только навязчивый противник, периодически охватываемый волнами русофобии, но и «значимый Другой» как важный фактор самоопределения и в каком-то смысле самосовершенствования. В результате скорее всего произойдет перестройка смысловых матриц российской идентичности с актуализацией сформулированной когда-то славянофилами идеи «второй Европы».

Другая важная с цивилизационной точки зрения динамическая линия связана с социально-антропологическим резонансом от ряда новейших технологий. Конечно, технический прогресс всегда был важным фактором социальных изменений и двигателем истории, однако совокупность новейших технологических разработок настолько сильно меняет антропологическое значение техники, что технологическую революцию конца XX — начала XXI века можно считать началом новой динамической линии в эволюции системы социум–техносфера–природа. В течение многих столетий — вплоть до середины XX века — технические устройства и приспособления служили своего рода усилителями естественных сил человека (способности видеть, слышать, поднимать тяжести, перемещаться в пространстве, менять форму различных предметов и т.д.), но сегодня многие новейшие технологии в парадигму органопроекции уже не укладываются. И человек недалекого будущего, способный трансформировать тело, редактировать генотип, мыслить с помощью искусственного интеллекта и производить на свет клоны живых организмов, — в социально-философском и антропологическом смысле совсем не то человеческое существо, каким его знала предшествующая история по крайней мере до второй половины XX века. С одной стороны, возможности «нового» человека сильно возросли. С другой стороны, наметились серьезные проблемы с суверенитетом личности: человек из «хозяина техники» может превратиться в функциональный элемент информационно-технологических систем с соответствующим упрощением ментальности, симптомы которого заметны уже сегодня. Теоретическим откликом на эту

тенденцию стало распространение в социологической и философской литературе идей трансгуманизма, причем на Западе они имеют тенденцию радикализации вплоть до признания неизбежным финала человеческой истории и перехода к «постчеловеческой цивилизации» [3].

Динамические линии, переплетение и взаимодействие которых и составляет ход истории, можно отнести к двум основным категориям — социальным и цивилизационным изменениям, причем ведущими драйверами хода истории становятся то одни, то другие. Рискнем высказать гипотезу, которая согласуется с наблюдениями других социальных теоретиков: в современных условиях ведущую роль в социальных изменениях всемирно-исторического значения играют цивилизационные динамические линии, и разворачивающееся многообразие цивилизационных процессов невозможно свести к отношениям конфликтного типа. Поэтому, в отличие от С. Хантингтона, мы предпочли бы охарактеризовать происходящее не как столкновение цивилизаций, а как трансформацию глобального цивилизационного ландшафта. Соответственно, стратегии достижения социальных и политических целей российского общества должны соотноситься с этой трансформацией по принципу «вызов–ответ», т.е. социальные цели (выправление демографической ситуации, ликвидация бедности, снижение уровня социального неравенства и т.п.), должны быть увязаны с цивилизационными, что может стать залогом реактуализации русской идеи как идеологической формы, совмещающей в себе русскую мечту и повестку дня для всего человечества.

Разумеется, речь не идет о простом повторении того, что говорили Ф.М. Достоевский, Вл. Соловьев или Н.А. Бердяев, а о программе, исходящей из современной реальности и способной реагировать на экзистенциальные вызовы и угрозы. В первую очередь, это необходимость снятия нарастающих противоречий между тотальным поглощением нашей субъектности большими социотехническими системами и логикой воспроизводства сущностных сил суверенного человечества — эти противоречия в обозримой перспективе могут привести к своего рода антропному кризису. В ситуации выбора между разными вариантами глобального развития новая русская идея, опирающаяся на традиционные ценности, выглядит не как ресентимент, а как гуманистический проект будущего: когда в курсе социально-исторической эволюции обозначилась некая постчеловеческая перспектива, речь должна идти об удержании хода истории на такой траектории, где человек останется человеком, полностью сохранив свою сущность.

Информация о финансировании

Статья подготовлена в рамках проекта РНФ 25-18-01067 «Ценностно-мировоззренческая мобилизация российского общества в условиях возросших угроз и вызовов суверенитету страны».

Библиографический список

1. Андреев А.Л. «Проблема Андропова»: к социологической характеристике советского общества // Вестник Института социологии. 2023. № 1.
2. Андреев А.Л. и др. Техника в социальном контексте: к характеристике российского опыта // Философия хозяйства. 2023. № 2.
3. Иванченко М.А. Основания для построения национальной идеи России: усиление интеллекта как альтернатива сильному искусственному интеллекту // Вопросы философии. 2025. № 2.
4. Интервью Дж.Д. Вэнса телеканалу Fox News, февраль 2025. URL: <https://rutube.ru/video/8ac6249f22073be6498928f236b7e7a4>.
5. Майнцер К. Сложносистемное мышление. Материя, разум, человечество. Новый синтез. М., 2009.
6. Ракитов А.И. Цивилизация, культура, технология и рынок // Вопросы философии, 1992. № 5.
7. Российское общество и вызовы времени. Кн. 7. М., 2024.
8. Российское общество и вызовы времени. Кн. 4. М., 2016.
9. Российское общество и вызовы времени. Кн. 6. М., 2022.
10. Россия на рубеже веков. М., 2000.
11. Русская идея. М., 1992.
12. Сталин И.В. Об основах ленинизма // Сталин И.В. Сочинения. Т. 6. М., 1947.
13. «Стрела времени» в массовом сознании россиян: оценки прошлого, суждения о настоящем, представления о будущем. М., 2024.
14. Шюц А. Смысловая структура повседневного мира. Очерки по феноменологической социологии. М., 2003.

DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-822-834

EDN: KBHVXR

The Russian way: Horizons of the future in the context of civilizational confrontation*

A.L. Andreev, I.A. Andreev

Institute of Sociology of FCTAS RAS,
Krzhizhanovskogo St., 24/35–5, Moscow, 117218, Russia

(e-mail: sympathy_06@mail.ru; v-andreev_07@mail.ru)

Abstract. The authors conduct a sociological analysis of the development prospects of the Russian society, focusing on the characteristics of Russian strategies for creating the future in the context of opposition to the Western model of social-historical development. The article considers the theoretical foundations of the sociology of the future, introducing the concept of dynamic lines leading from the past to the future; various types of ideas about the future, including its rationalistic concept as an object of purposeful, constructive activity (a project-based type of social thinking) and Russian ideas about the future in connection with the so-called Russian idea; transformation of the logic of creating the future in the context of Russians' changing attitudes toward the Western model of development and their history (rejection of the reproductive method of creating the future); Russian style of social development in recent decades and accepted method of creating

*© A.L. Andreev, I.A. Andreev, 2025

The article was submitted on 30.05.2025. The article was accepted on 14.10.2025.

the future as a traditionalist modernization. The authors believe that it is fundamentally impossible to manage the creation of the future but admit that it is possible to manage our movement towards the future. Based on the sociological research of recent decades, the authors identify the key semantic components of the attractive future for Russia, including the Russian understanding of democracy. When assessing the recent trends, the authors note the changing global civilizational landscape, which creates conditions for a new Russian idea combining notions of “good society” inherent in the Russian cultural-historical tradition with the current global agenda.

Key words: Russian society; image of the future; mechanisms of social change; civilization; civilizational landscape; Russian idea; design thinking

For citation: Andreev A.L., Andreev I.A. The Russian way: Horizons of the future in the context of civilizational confrontation. *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (4): 822–834. (In Russ.). <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-822-834>

Funding

The research was supported by the Russian Science Foundation. Project No. 25-18-01067 “Value and ideological mobilization of the Russian society in the context of increased threats and challenges to the country’s sovereignty”.

References

1. Andreev A.L. “Problema Andropova”: k sotsiologicheskoy kharakteristike sovetского obshchestva [“Andropov’s problem”: A sociological characteristic of the Soviet society]. *Vestnik Instituta Sotsiologii*. 2023; 1. (In Russ.).
2. Andreev A.L., Andreev I.A. Tekhnika v sotsialnom kontekste: k kharakteristike rossijskogo opyta [Technology in the social context: Russian experience]. *Filosofiya Khozyajstva*. 2023; 2. (In Russ.).
3. Ivanchenko M.A. Osnovaniya dlya postroeniya natsionalnoj idei Rossii: usilenie intellekta kak alternativa silnomu iskusstvennomu intellektu [Foundations for Russia’s national idea: Strengthening intelligence as an alternative to the strong artificial intelligence]. *Voprosy Filosofii*. 2025; 2. (In Russ.).
4. Interviyu J.D. Vance telekanalu Fox News, fevral 2025 [Interview of J.D. Vance to the Fox News channel in February 2025]. URL: <https://rutube.ru/video/8ac6249f22073be6498928f236b7e7a4>. (In Russ.).
5. Mainzer K. *Slozhnosistemnoe myshlenie. Materiya, razum, chelovechestvo. Novy sintez*. [Thinking in Complexity. The Computational Dynamics of Matter, Mind and Mankind]. Moscow; 2009. (In Russ.).
6. Rakitov A.I. Tsivilizatsiya, kultura, tekhnologiya i rynok [Civilization, culture, technology and the market]. *Voprosy Filosofii*. 1992; 5. (In Russ.).
7. *Rossijskoe obshchestvo i vyzovy vremeni*. Kn. 7 [Russian Society and Challenges of the Time. Book 7]. Moscow; 2024. (In Russ.).
8. *Rossijskoe obshchestvo i vyzovy vremeni*. Kn. 4 [Russian Society and Challenges of the Time. Book 4]. Moscow; 2016. (In Russ.).
9. *Rossijskoe obshchestvo i vyzovy vremeni*. Kn. 6 [Russian Society and Challenges of the Time. Book 6]. Moscow; 2022. (In Russ.).
10. *Rossiya na rubezhe vekov* [Russia at the Turn of the Century]. Moscow; 2000. (In Russ.).
11. *Russkaya ideya* [Russian Idea]. Moscow; 1992. (In Russ.).
12. Stalin I.V. Ob osnovah leninizma [On the foundations of Leninism]. Stalin I.V. *Sochineniya*. Vol. 6. Moscow; 1947. (In Russ.).
13. “Strela vremeni” v massovom soznanii rossiyan: otsenki proshlogo, suzheniya o nastoyashchem, predstavleniya o budushchem [“Arrow of Time” in the Russian Mass Consciousness: Assessments of the Past, Judgments about the Present, Ideas about the Future]. Moscow; 2024. (In Russ.).
14. Schutz A. *Smyslovaya struktura povsednevnogo mira. Ocherki po fenomenologicheskoy sotsiologii*. [The Everyday World: Essays on Phenomenological Sociology]. Moscow; 2003. (In Russ.).



DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-835-843

EDN: KAMQXU

2020 census-based comparative estimations of infant and child mortality in Tajikistan*

S.V. Ryazantsev^{1,2}, N.S. Ryazantsev³, A.Kh. Rakhmonov³

¹Institute for Population and Social Research of the Mahidol University,
Phutthamonthon, 999, 4 Road Phutthamonthon, Salaya, 73170, Thailand

²RUDN University,
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia

³Institute for Demographic Research of FCTAS RAS,
Fotievoy St., 6–1, Moscow, 119333, Russia

(e-mail: svriazan@gmail.com; nikipaulistano@gmail.com; abubak.93@mail.ru)

Abstract. The article aims at estimating and analyzing with an indirect method the infant mortality and under-five years child mortality in urban and rural areas of one of the poorest countries in the post-Soviet space of Central Asia — the Republic of Tajikistan. Demographic data collected by the 2020 Population and Housing Census was used to estimate the child mortality by focusing on the data on children ever born and children still alive, and the number of married women at that time. By today, the estimated infant and child mortality in 2005–2019 has significantly declined. At the same time, in recent years, both infant and child mortality in urban areas has become much higher than in rural districts. Despite the gradually declining general child mortality rate in Tajikistan, the state authorities at all levels have to continue implementing different target national and local measures in urban and rural areas in order to significantly improve and even develop medical health care and service systems, providing access to them for the wider population, adopt new housing and other social policies to ensure for women, children and families in general better social, economic and medical environment and support.

Key words: Republic of Tajikistan; 2020 population census; infant mortality; child mortality; urban mortality; rural mortality; state; government authorities

For citation: Ryazantsev, S.V., Ryazantsev N.S., Rakhmonov A.Kh. 2020 census-based comparative estimations of infant and child mortality in Tajikistan. *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (4): 835–843. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-835-843>

The Republic of Tajikistan with more than 10.4 million people [22] and an average household with 6.1 people [10. P. 34] remains a very conservative state (even among Central Asian societies), since marriage, family and traditions

*© S.V. Ryazantsev, N.S. Ryazantsev, A.Kh. Rakhmonov, 2025

The article was submitted on 28.07.2025. The article was accepted on 14.10.2025.

are considered sacred values, while having children out of wedlock is highly stigmatized. These features have a direct impact on marriage behavior, making couples give birth to babies in complete families, have several children, and so on, which is still the rule, not the exception, across the country. For instance, in 2020, about 66.5% of the population were legally married [10. P. 23], and the total fertility rate (TFR) was slightly over 3.2 (28.3 people per 1 thousand population) with a forecast of stable decline to 2 by only 2073 [3].

At the same time, such trends persist despite such fundamental social-economic challenges as poverty (of a very high level), social inequality and unemployment [21; 22], which always affect national mortality level, especially in the most vulnerable social groups and age cohorts, i.e., infants and children. Therefore, the relevance of the study is determined by the exceptional importance of preserving the lives and health of the younger cohorts as a key indicator of social well-being of the Tajik society and its sustainable development. Infant and child mortality rates reflect not only the situation of the national healthcare system but also the general level of social-economic development, quality of life and efficiency of state social programs for supporting families and children.

In Tajikistan, despite the general positive trend of declining infant and child mortality in recent years, child mortality rates are still relatively high even for the Central Asian region. Significant disparities persist between urban and rural areas due to uneven distribution of medical and social resources, differences in living standards and access to quality healthcare and medical infrastructure, i.e., persistent systemic problems in ensuring equal conditions for child survival and development, particularly in socially vulnerable and far located regions. Moreover, the situation in Tajikistan turns out to be somewhat more complicated than seems due to the typical problems of emerging states in terms of social policies, healthcare, environment, infrastructure, and many more.

Tajikistan is still the poorest country in the macro-region in different social-economic indicators, namely the purchasing power parity (PPP) [18], with all the corresponding consequences in different spheres. This situation directly affects health care system, which is reflected in such indicators as mortality rates. Unfortunately, compared to other Central Asian states, the rates of infant and under-five years mortality in Tajikistan are the highest (except for Turkmenistan totally closed for assessment due to the political regime) [22]. Today Tajikistan declares child survival, development and some other aspects as the key public health priorities for the government and national agencies [11], following the ideas and goals of the UNICEF [17] and JICA [8. P. 1, 41].

In 2004, some statistical data of the UNICEF were almost three times higher than the national official data due to the differences in the definition of live births (the Tajik definition is not in line with international standards [9]). In the early 2000s, this was common for former Soviet states which were only trying to develop national statistical services and methods in line with at least general world standards in order

to get support from such international organizations and institutions [19. P. 12] as the UNICEF, UNFPA, IOM, UN Women, USAID, etc. Thus, the surveys of the time revealed acute respiratory infections in Tajikistan as one of the main factors increasing the number of deaths among babies (20% died of pneumonia), diarrhea caused by the poor quality of water killed 12% of children [9]. Malnutrition remained a serious public health problem, causing preventable deaths and hindering children's physical and cognitive development [17] (about 21% of Tajik children under five were chronically malnourished) [17]. In addition, many women and children suffered from micronutrient deficiencies, which is reflected in high rates of anemia and iodine deficiency [17].

There is also under-reporting of infant mortality cases, since some families do not register child's birth or death [9], which is typical for many post-Soviet countries. In Tajikistan, this is partly explained by the unwillingness to pay registration fees and the fact that many children are born by underage mothers or in polygamous families [7]. In 2013, the UNICEF mentioned these reasons as explaining why about 12% of newborns were not registered in Tajikistan [1], this, being deprived of the right to medical and social assistance [1].

In 1990, infant mortality was 83 per 1,000 live births and the under-five years mortality rate — 105; in 2017–29 and 34 respectively [17; see also: 14]. During the past twenty years, the Tajik government has tried to improve the situation, and the recent data is not that high compared to the early 2010s or the 1990s–2000s; however, this data is far from the Sustainable Development Goals (SDGs) of the Millennium Development Goals [17] even compared to the neighboring countries.

From the sociological perspective, infant and child mortality in Tajikistan reflects broader social inequalities in access to healthcare, living conditions, maternal support, which are determined by gaps in family income and belonging to certain social classes or ethnic groups. In other words, the persistent gap between urban and rural families demonstrates structural disparities: while urban residents have better access to medical institutions, rural populations face barriers related to distance, cost and shortage of medical personnel. Women and children in remote areas are often vulnerable in different terms (economic, geographical and information), which reduces their chances for survival and healthy development. Therefore, child mortality is not only a medical or demographic indicator but a key marker of social inequality and uneven social development in the country.

Our research is based on the official macro-data of the 2020 Tajik national census conducted by the Presidential Statistical Agency of the Republic of Tajikistan (TAJSTAT). This agency claims to be administratively autonomous, but its head is the country's chief statistician and directly reports to the president and government the results of population censuses and household surveys. TAJSTAT is also responsible for the national report “Women and Men of the Republic of Tajikistan” conducted with the support of the UN Women [14]. Datasets of micro-data, required for our estimates, were taken from the so-called

demographic and health survey (DHS) conducted by the DHS Program and funded by the US Agency for International Development (USAID). However, due to the on-going review of the US assistance programs, the project is currently on pause, and users cannot download available datasets (for 2023 and 2025) on the web site. For instance, the 2017 DHS report includes some secondary data but only in relative terms [8. P. 64], while the 2023 DHS midterm report lacks necessary for our research information, despite mentioning it [4. P. 3].

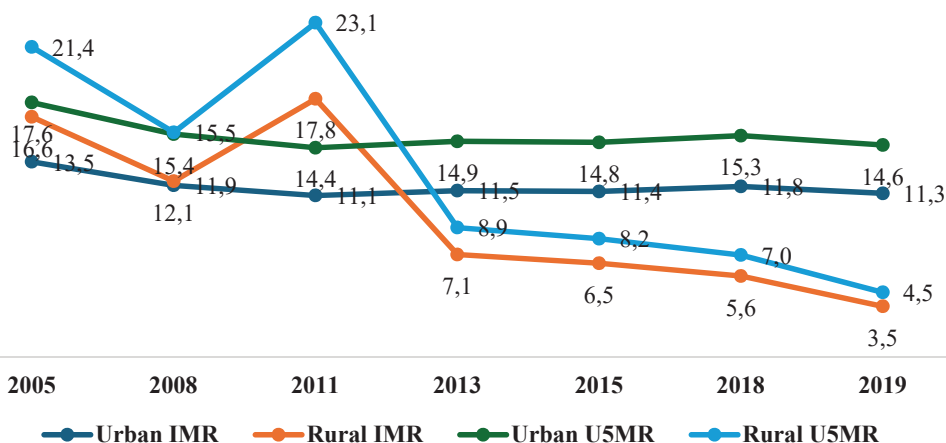
The latest national Population and Housing Census was conducted in October 2020 [13]. According to the TAJSTAT, the survey was conducted by interviews without providing personal documents [12], i.e., foreign citizens could have also been ‘counted’. The final census report was published only in 2022–2023, including the special volume on fertility and mortality rates. The census questions about children ever born (CEB) and children still alive (CSA) (which exclude stillbirths) were asked to all women aged 15+, and female respondents were divided into age groups with a difference of 5 years (including 70+ group), regardless of their marital status [12]. Sex of children was also specified during the census, but the data has not been published yet [12]. Therefore, the separate data for legally married women (not to be confused with ever married women) at the age of 15(17)–49 was taken into consideration (since 2010, in Tajikistan the minimum age for marriage is 18 years, but in exceptional cases the court may permit marriage at 17) in addition to the data for both urban and rural areas. Moreover, the already published data allows to conduct further calculations for a deeper regional analysis (the capital city of Dushanbe, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Sughd Region, Khatlon Region, and regions of the so-called republican subordination).

In this study, to estimate infant and under-five years mortality rates, we applied indirect techniques based on the use of the census data on the number of children ever born (CEB), children still alive (CSA), and the total number of women in each age cohort: child mortality is estimated indirectly as a share of children who died among those ever born, based on the answers of respondents rather than the official data on births and deaths. Such an approach assumes that the child’s risk of dying depends mainly on age rather than other maternal or delivery factors. In other words, we made calculations based on the extended UN version of the Trussell’s variation of the Brass Method of indirect estimation with logit transformation including standard mortality tables and correction factors [15; 16], which the method converts into standard mortality indicators such as infant mortality rate (IMR) and under-five years mortality rate (U5MR). Estimates based on the data on women aged 15–19 were not taken into account due to the small number of births and deaths in the group.

Thus, the research methodology consisted of six main steps: to find a share of dead children and infants among CEB and CSA; to calculate average numbers of CEB for each five-year cohort; to select a model life table family for Tajikistan; to estimate the average age of birth by age and for each group of mothers, and

probability of child's death before a certain age (nq_0) based on the data on deceased children (share of deaths among births); to identify approximately in what years (time reference — $t(x)$) children were born by women in each group to understand the period to look at mortality; to convert data on mortality of children before a certain age (nq_0) into a standard indicator — mortality under five years ($5q_0$). The family life table known as the UN General Life Model [15; 16] was chosen, since it seems to be the most appropriate due to being designed specifically for countries with incomplete, inaccurate or irregular population data, which is often the case in Central Asia, including Tajikistan. In turn, among the reasons for not choosing for example the East Model life table for Tajikistan one can note large regional discrepancies and a relatively narrow historical database.

Figure 1 presents the history of changes (dynamic) of infant mortality rate (IMR) and under-five years mortality rate (U5MR) from 2005 to 2019 in the Republic of Tajikistan among married women, based on the 2020 national census. Taking the reported year of the initial census as beyond calculated t from 39, the years of reference are as follows: 2019, 2017, 2015, 2013, 2010, 2007, and 2005 respectively.



Changes in infant and child mortality rates in urban and rural areas of Tajikistan (2005–2019)

The data on urban and rural settlements is presented as Tajikistan remains an agrarian-rural country with the lowest level of urbanization in the world [21]. According to the TAJSTAT [13. P. 33], 68% of almost 1.6 million households (about 6.54 million people) are rural, which determines significant differences in demographic indicators in cities and suburban areas. The general decline in IMR and U5MR in Tajikistan from 2005 to 2019 differed for urban and rural areas. It is surprising that despite the general improvement of the situation in the country, it is urban areas that lag behind periphery in terms of child

survival, and this situation is especially unusual for developing countries with low level of urbanization.

According to Figure 1, in the period under study infant and child mortality rates in Tajikistan significantly decreased, which is confirmed by both official data and our calculations. From 2005 to 2019, the IMR decreased from 15 per 1,000 (13.5 in urban and 16.6 in rural areas) to 7.4 per 1,000 (11.3 and 3.5 respectively). The same trend is observed for U5MR: in 2005–19.5 per 1,000 (17.6 in urban and 21.4 in rural areas), in 2019–9.6 (14.6 and 4.5 respectively), which means almost 51% reduction in child mortality. In other words, in 2005, infant and child mortality in rural areas was significantly higher than in cities (13.5 and 17.6 vs 16.6 and 21.4), while in the 2010s and then in 2019, rural districts show much better numbers (3.5 and 4.5 vs 11.3 and 14.6 for IMR and U5MR in rural and urban areas respectively).

On the one hand, medical institutions, including perinatal centers and specialized clinics for babies and children, are concentrated in large and densely populated cities — Dushanbe, Khujand and some regional centers, which ensures timely assistance to pregnant women and newborns, timely diagnostics of pregnancy complications, qualified obstetric and neonatal care, while access to such services in rural areas remains limited — hospitals and medical facilities are often located at great distances, cannot reach patients due to poor roads and transport links [19. P. 22], suffer from a shortage of doctors and have outdated equipment and tools [19. P. 20]. As a result, many women in rural areas are forced to give birth at home, which increases risks for both mother and child. High level of poverty does not allow rural families to get even common access to quality food, clean water, and essential medications [19. P. 16–17, 21]. This explains the situation in 2000s, when infant and child mortality rates were lower in urban areas with better medical services. However, the same factors determined the opposite situation in the 2010s, which explains lower mortality rates for infants and children in rural areas compared to urban districts.

On the other hand, rural residents often move to urban areas for work or to join their husbands who once went to the city to earn money, but they are officially registered in their place of origin. If their children die in cities, such deaths are registered as urban, although de facto these families are rather rural. In addition, poor urban areas (with poor sanitation and overcrowded households) experience a higher risk of infection, and in remote areas children are often born at home, which is why their deaths are not registered. All this artificially lowers rural statistics. Moreover, city hospitals are more often visited by seriously ill children from villages with insufficient or no specialized care, and their deaths are also registered as urban. In general, death registration in cities is much more organized than in rural areas, where some cases remain statistically ‘invisible’. As researchers we should also keep in mind possible misinterpretations of census questions about the number of children by illiterate rural residents [10. P. 30], which could have also significantly affected the data on child mortality.

The above findings suggest that the census-based indirect estimates are likely to underestimate the level of infant and under-five years mortality due to the nature of self-reported data on CEB and CSA indicators, which tend to omit early neonatal deaths and unregistered cases. Consequently, official statistics, although possibly affected by reporting biases in medical institutions, appear to provide figures that are closer to the real situation. In the 2000s, the same paradox was observed in the Republic of Uzbekistan, the most populated country in Central Asia [2], due to migration and different accounting systems, but after adjusting the initial methodology the statistical data manage to stabilize [2]. In other words, Tajikistan is not a unique case, at least in its macro region. However, the country will definitely not reach SDG 3.2 goals related to ending preventable deaths of newborns and children under five by 2030 (or even in the mid-term perspective) but would get closer to these goals if increases its efforts to reduce mortality. The country's main problems in this perspective are structural — poverty, shortage of doctors and weak infrastructure — and hinder the long-term development. Certainly, there are some positive changes in infant and child mortality rates in Tajikistan, determined mainly by reforms and improvements in the national health care and service systems, technological progress in different spheres, comprehensive financial and non-monetary support from international organizations, donors and institutions, and other factors. For instance, vaccination of children, including in remote areas, has significantly reduced mortality from vaccine-preventable diseases such as measles, polio and diphtheria; training health workers and nurses in neonatology and obstetrics techniques has also played an important role.

References

1. ASIA-Plus: In Tajikistan, 12% of newborns are not registered. 2013 // URL: <https://old.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20131212/v-tadzhikistane-12-novorozhdennykh-detei-ne-registriruyutsya>. (In Russ.).
2. ASIA-Plus: Demographic path of Uzbekistan. 2006 // URL: <https://old.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/20060302/demograficheskii-put-uzbekistana>. (In Russ.).
3. Database Earth: Total Fertility Rate of Tajikistan. 2025 // URL: <https://database.earth/population/tajikistan/fertility-rate>.
4. DHS: Tajikistan Demographic and Health Survey 2023: Key Indicators Report. 2024 // URL: <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/PR155/PR155eng.pdf>.
5. DHS: Tajikistan Demographic and Health Survey 2025 // URL: <https://dhsprogram.com/methodology/survey-search.cfm?sendsearch=1&str1=225&crt=1&listgrp=0>.
6. DHS: Tajikistan Demographic and Health Survey 2017. 2018 // URL: <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR341/FR341.pdf>.
7. Dikaev T. Tajikistan's unrecorded lives. 2005 // URL: <https://iwpr.net/410z2rg6>.
8. JICA: Tajikistan Primary Health Care Data Collection Study — Final Report. 2021 // URL: <https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/1000046720.pdf>.
9. Reliefweb: Tajikistan: Country tops Central Asia infant mortality rate. 2004 // URL: <https://reliefweb.int/report/tajikistan/tajikistan-country-tops-central-asia-infant-mortality-rate>.
10. Rizev N.M. Dissemination of the Republic of Tajikistan 2020 Population and Housing Census Data. 2020 // URL: <https://unece.org/sites/default/files/2023-09/WS10RizevENG.pdf>.
11. Strategy for the Protection of Public Health in the Republic of Tajikistan until 2030. 2021 // URL: <https://ncc.tj/wp-content/uploads/2024/02/Стратегия-охраны-здоровья-на-период-до-2030-года.pdf>. (In Russ.).

12. TAJSTAT: Census 2020: Methodology. 2023 // URL: <https://www.stat.tj/wp-content/uploads/2024/12/metodologicheskie-poyasneniya.pdf>. (In Russ.).
13. TAJSTAT. Census 2020 // URL: <https://www.stat.tj/ru/perepis-naseleniya-i-zhilishhnogo-fonda-2020>. (In Russ.).
14. TAJSTAT: Women and men of the Republic of Tajikistan. 2017 // URL: https://www.stat.tj/wp-content/uploads/2024/02/tajikistan_statistical_publication-1.pdf. (In Russ.).
15. UN: Manual X. Indirect Techniques for Demographic Estimation. Chapter III. 1983 // URL: https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/Manual_X-en.pdf.
16. UN: Step by Step Guide to the Estimation of Child Mortality. 1990 // URL: https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/mortality/stepguide_childmort.pdf.
17. UNICEF: Health and Child Survival. 2017 // URL: <https://www.unicef.org/tajikistan/health-and-child-survival>.
18. Ventura L. Poorest countries in the world. 2024 // URL: <https://gfmag.com/data/economic-data/poorest-country-in-the-world>.
19. WHO: Assessment of the health sector of the Republic of Tajikistan. 2010. URL: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/347931/WHO-EURO-2010-3960-43719-61504-rus.pdf>.
20. World Bank: Population – Tajikistan. 2025 // URL: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=TJ>.
21. World Bank: Poverty & Equity Brief — Tajikistan. 2023 // URL: https://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_download/poverty/987B9C90-CB9F-4D93-AE8C-750588BF00QA/current/Global_POVEQ_TJK.pdf.
22. World Bank: Human Capital Data — Tajikistan. 2025 // URL: <https://humancapital.worldbank.org/en/economy/TJK>.

DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-835-843
EDN: KAMQXU

Сравнительные оценки младенческой и детской смертности в Таджикистане на основе переписи населения 2020 года*

С.В. Рязанцев^{1,2}, Н.С. Рязанцев³, А.Х. Рахмонов³

¹Институт народонаселения и социальных исследований Университета Махидол,
Пхуттхамонтхон Роад 4, 999, Phutthamonthon, Салайя, 73170, Таиланд

²Российский университет дружбы народов (РУДН),
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия

³Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН,
ул. Фотиевой, 6–1, Москва, 119333, Россия

(e-mail: svrizan@gmail.com; nikipaulistano@gmail.com; abubak.93@mail.ru)

Аннотация. Цель проведенного авторами исследования — оценка и анализ младенческой и детской (в возрасте до пяти лет) смертности в городской и сельской местности на основе косвенного метода демографических расчетов для одной из беднейших стран постсоветского пространства в Центральной Азии – Республики Таджикистан. Демографические

*© Рязанцев С.В., Рязанцев Н.С., Рахмонов А.Х., 2025

Статья поступила в редакцию 28.07.2025. Статья принята к публикации 14.10.2025.

данные, представленные в официальной переписи населения и жилищного фонда Таджикистана, проведенной в 2020 году, были использованы авторами для оценки детской смертности на основе числа детей, родившихся живыми, числа детей, оставшихся в живых, и числа женщин, состоявших в браке на момент рождения/смерти ребенка. Согласно имеющимся данным, расчетная младенческая и детская смертность в Таджикистане значительно снизилась за период с 2005 по 2019 годы. Однако в последние годы как младенческая, так и детская смертность в городских районах Таджикистана оказалась намного выше, чем в сельских районах страны. Несмотря на постепенное снижение общего уровня детской смертности в Таджикистане, государственные органы всех уровней должны продолжать реализовывать комплексные меры национального, регионального и локального уровня в городских и сельских районах, чтобы значительно повысить уровень, а где-то даже создать соответствующие институты системы здравоохранения, обеспечить доступ к ним для всего населения страны, а также разрабатывать и реализовывать такие меры социальной политики, которые позволят женщинам, детям и семьям повысить качество и уровень своей жизни с точки зрения ее социальных, экономических и медицинских показателей.

Ключевые слова: Республика Таджикистан; перепись населения 2020 года; младенческая смертность; детская смертность; городская смертность; сельская смертность; государственные органы

Для цитирования: *Рязанцев, С.В., Рязанцев Н.С., Рахмонов А.Х.* Сравнительные оценки младенческой и детской смертности в Таджикистане на основе переписи населения 2020 года // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 4. С. 835–843. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-835-843>



DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-844-859

EDN: JZSKBK

Идейно-политическое воспитание как ключевая составляющая управления образованием в китайских вузах (на примере серии учебников «Знакомство с современным Китаем»)*

Сюн Лэпин¹, Ван Бин^{2,3}

¹Пекинский университет иностранных языков,
ул. Сисаньхуаньбэйлу, 2, Пекин, 100089, Китай

²Российский университет дружбы народов,
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия

³Цзилинский университет иностранных языков,
ул. Цзиньное, 3658, Чанчунь 130117, Китай

(e-mail: Xiong.leping@bfsu.edu.cn; 1321666299@qq.com)

Аннотация. Перспективы развития государства и общества во многом зависят от качества подготовки высококвалифицированных специалистов в системе высшего образования. Один из аспектов такой подготовки — формирование ценностей и идейно-политическое воспитание, обеспечивающее морально-нравственную основу будущего общественного развития. Чтобы укрепить «четыре аспекта уверенности в себе» (в собственном пути, теории, системе и культуре), руководство Коммунистической партии Китая и китайское правительство решило внедрять идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в вузовское обучение и воспитание. Помимо усиления воспитательной работы, уникальная задача социально-гуманитарных дисциплин — изучение и преподавание иностранных языков, поскольку именно знания языка и культуры обеспечивают международные контакты, поэтому с осени 2022 года китайские вузы начали вводить занятия по иностранным языкам на основе серии учебников под названием «Знакомство с современным Китаем», чтобы развить коммуникационные компетенции, помогающие «услышать голос Китая» во всем мире, а общественности других стран — лучше понять общественные реалии современного Китая. Благодаря беспрецедентному уровню отношений между Китаем и Россией преподавание русского языка с помощью новой серии учебников может способствовать взаимопониманию народов двух стран, хотя внедрение в обучение материалов большой сложности для обучающихся и потребует огромных усилий.

Ключевые слова: идейно-политическое воспитание; управление образованием; студенты; университеты; иностранные языки; новые учебники; знакомство с современным Китаем

*© Сюн Лэпин, Ван Бин, 2025

Статья поступила в редакцию 20.04.2025. Статья принята к публикации 14.10.2025.

Для цитирования: Сюн Лэпин, Ван Бин. Идеино-политическое воспитание как ключевая составляющая управления образованием в китайских вузах (на примере серии учебников «Знакомство с современным Китаем») // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 4. С. 844–859. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-844-859>

В последние годы в китайских вузах активно обсуждается вопрос об усилении идейно-политического воспитания — о его приоритетном значении в деятельности университетов не раз упоминалось в речи председателя КНР, генерального секретаря КПК Си Цзиньпина (1). Партийное руководство и правительство страны, министерства и нижестоящие инстанции по делам образования, руководство всех вузов задаются вопросом о соотношении задач образования и морального воспитания: «Каких людей следует воспитывать, как именно и для решения каких задач?». Ответственность за поиск ответов на этот вопрос берут на себя партийные деятели в сфере высшего образования, поскольку члены Коммунистической партии играют главную роль в управлении высшим образованием в Китае, где давно внедрена «система ответственности ректора перед руководством партийного комитета» в соответствии с законом о высшем образовании [1; 4; 5]. Так, практически в каждом китайском вузе первым должностным лицом обычно является секретарь парткома, а ректор в большинстве случаев занимает пост заместителя секретаря парткома (2). Что касается педагогической деятельности, то в обучении студентов не только партийные управленцы, но и рядовые преподаватели-члены КПК начали внедрять концепцию идейно-политического воспитания. Органы управления образованием и вузами предпринимают меры поддержки и поощрения в виде научных грантов, конкурсов, конференций и мероприятий для обмена опытом, чтобы способствовать достижению целей идейно-политического воспитания.

Данное направление работы вузов имеет большое значение, поскольку влияет на формирование личности студента и его гражданскую идентичность, обеспечивает его интеграцию в общество, содействует развитию чувства социальной ответственности, помогает укреплять общественные идеалы, что, в свою очередь, способствует пониманию молодыми поколениями национальных ценностей и целей. В ходе обучения в любом вузе каждый студент (китайский гражданин, обучающийся на дневном отделении), независимо от специальности и программы подготовки, должен пройти обязательные курсы идейно-политическому блока: «Введение в идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху», «Введение в идеи Мао Цзэдуна и концепцию социализма с китайской спецификой», «Духовно-нравственное воспитание и основы права», «Основы истории Китая (с 1840 года)», «Основополагающие принципы марксизма», «Международная обстановка и национальный политический курс» (3). Кроме того, студентам предлагается широкий набор факульт-

тативов, чтобы глубже познакомиться с современным китайским обществом и окружающим миром.

В системе высшего образования Китая вышеупомянутые дисциплины считаются необходимым компонентом учебной программы, однако сам факт их наличия не гарантирует успешной реализации концепции идейно-политического воспитания. Эти предметы не всегда интересны учащимся, иногда подвергаются их критике, а представители общественности жалуются на неэффективность воспитания молодежи. Соответственно, требуется дополнить обязательные предметы, чтобы достичь реальных результатов — «вырастить» высокоморальных и высококвалифицированных молодых специалистов, т.е. необходимо внедрить концепцию идейно-политического воспитания во все направления подготовки. Критики данного подхода считают его навязыванием молодежи мировоззрения и ценностей, а сторонники, напротив, видят в нем интеграцию целей передаче научной информации и воспитания нравственности, что позволит молодым специалистам адаптировать полученные знания и профессиональные навыки к меняющимся реалиям современного общества. Пример — когда студенты естественно-инженерных специальностей, говоря о научно-техническом прогрессе, приходят к пониманию влияния любого открытия их предшественников и коллег на развитие общества, что формирует у студентов социальную ответственность и повышает интерес к обучению. Таким образом, уместное применение стратегии идейно-политического воспитания не только дополняет обязательную часть вузовского образования, но и обогащает содержание обучения по каждой специальности.

В китайских вузах направления подготовки высоко дифференцированы, поэтому, помимо обязательных курсов по идейно-политическому воспитанию, студенты в основном изучают дисциплины по своей специальности. Например, если человек обучается точным наукам, то объективно лишается возможности посвятить много времени самосовершенствованию в моральном плане, а у будущих специалистов общественно-гуманитарной направленности такого ограничения не существует, поскольку их доступ к ресурсам идейно-политического воспитания значительно шире. Это не означает, что гуманитарии опережают технарей по результатам воспитания, хотя вряд ли кто-то будет оспаривать огромное значение гуманитарного образования для общего развития человека [8]. Если вузы смогут успешно внедрить концепцию идейно-политического воспитания во все аспекты учебных и внеаудиторных занятий, то в стране появится социально ответственное поколение педагогов, журналистов, философов, социологов и представителей других профессий, ориентированных на работу с общественностью.

Среди будущих специалистов гуманитарного образования следует выделить студентов, знающих иностранные языки, поскольку они открывают иную картину мира, закладывая основы для межкультурной коммуникации и укрепления дружбы народов. Однако молодые люди не только расширяют

свой кругозор, узнавая много нового, интересного и полезного, но и поддаются влиянию иностранной культуры и системы ценностей — потенциальный риск воздействия иностранной «мягкой силы» не может игнорироваться управленцами в системе китайского высшего образования. В процессе развития Китая, когда страна открывалась, включалась в обмен молодыми талантами с развитыми партнерами, многие перспективные специалисты предпочитали остаться за рубежом, а не вернуться на родину. В итоге Китай до недавнего времени выступал на международной арене как один из крупнейших «доноров умов» и серьезно пострадал от «утечки мозгов». Кроме того, мечта о прекрасной жизни за границей была и остается целью значительной части китайской молодежи — современных «западников», для которых характерна искренняя симпатия ко всему зарубежному, преувеличение значимости всего иностранного и неуверенность во всем национальном. Чтобы предотвратить такую негативную тенденцию формирования чуждых национальной культуре ценностей, необходимо использовать ресурсы образования, внедряя идеи идейно-политического воспитания в процесс обучения.

Следует отметить, что такой предмет изучения, как иностранные языки, не меняется при «вмешательстве» извне. В подавляющем большинстве случаев практику речи и грамматические правила любого иностранного языка преподают с помощью учебников, составленных носителями языка (или в соавторстве с ними): как правило, они содержат максимальный объем языковых материалов, которые при составлении учебника его авторы старались использовать так, чтобы издание выглядело солидно, а его содержание было максимально близко к языку изучения. Когда изучающие иностранные языки студенты регулярно повторяют новые иностранные слова и выражения, они неосознанно подпитываются теми смыслами, что скрыты за буквами. Пытаясь вникать в то, о чем идет речь, студенты особенно не задумываются о содержании прочитанного и смысле текста, воспринимают его как набор истинных знаний. На последующем этапе изучения иностранных языков многие студенты проходят стажировку в стране изучаемого языка, расширяя свой кругозор и получая незабываемый опыт пребывания в другой стране. Иногда, находясь в обстоятельствах сегодняшнего дня и сравнивая их с относительно коротким периодом стажировки, студент начинает глубже осознать ценность прожитого, неосознанно предпочитает забывать о неприятном и грустном, сохраняя «отфильтрованные» прекрасные впечатления. В этом жизненном настрое человек может критически оценивать свои реальные обстоятельства и потому отдавать предпочтение опыту, полученному за рубежом, игнорируя местные особенности и достоинства своей страны, закрывая глаза на позитивные изменения в обществе и утрачивая объективность оценок.

Чтобы нейтрализовать такое потенциально негативное воздействие на студентов, изучающих иностранные языки, культуру и другие области знаний после овладения иностранным языком, руководители высшего обра-

зования решили проделать «профилактическую» просветительскую работу с молодежью — усилить идейно-политическое воспитание. Оно не отрицает полезное и интересное в чужой культуре и цивилизации, а, наоборот, призывает к изучению иного опыта, чтобы «взять хорошее и отбросить плохое», для чего важно сконцентрироваться на применении заимствований с учетом особенностей Китая. Основным принцип, которого придерживаются в вузах при реализации концепции идейно-политического воспитания, — передача знаний о Китае, его истории, современности и будущем, поскольку знания о своей стране и культуре в значительной степени способствуют взаимопониманию в ходе межкультурной коммуникации. Важнейший аспект диалога цивилизаций — обмен информацией, представляющей взаимный интерес, для чего нужно на иностранном языке донести соответствующие сведения до собеседника из другой страны. А это значит, что изучение и использование знаний об иностранных культурах в основном предназначено скорее для самовыражения, нежели для повторения тех языковых элементов, с которыми так и хорошо знакомы носители языка.

Востребованность нового подхода к обучению китайских студентов иностранным языкам обусловлена тем, что мировой статус Китая за последние десятилетия значительно вырос, об успехах «восточного гиганта» искренне хотят знать многие, но испытывают нехватку объективной информации и ограничения доступа к ней. В то же время достижения китайской модернизации вызывают сомнения и критику со стороны скептиков и недружественных по отношению к Китаю государств. Имидж Китая в международном информационном пространстве формируют чаще не представители китайского народа, а пропагандистские машины коллективного запада — в результате Поднебесную воспринимают предвзято, через набор мифов и стереотипов, недооценивая, игнорируя или даже очерняя вклад Китая в мировое развитие и решение общечеловеческих проблем.

Эту проблему давно осознали в руководстве КПК и китайского правительства: их представители не раз отмечали, что если раньше Китай подвергался контролю и голоду, то сейчас их сменили критика и нападки. От внешнего контроля новый Китай избавился благодаря борьбе за независимость, от голода — победив абсолютную бедность, а борьба с необоснованной критикой требует создания позитивного имиджа и распространения «мягкой силы» страны. Чтобы о Китае лучше и больше знали, нужно подготовить новое поколение молодых специалистов со знанием иностранных языков, которые смогут обеспечивать качественную и эффективную межкультурную коммуникацию в интересах современного Китая.

Предпосылки донесения правдивой информации о Китае до иностранной аудитории таковы: патриотизм и любовь к Родине — без них у человека не возникнет желания поделиться чем-либо позитивным; знания о своей стране и культуре — иначе нечем будет обмениваться; языковые навыки пе-

редачи информации. Патриотизм зависит от воспитания человека с самого раннего детства, требует совместных усилий семейного окружения, учебных заведений, общества и государства, особенно в процессе получения молодежью знаний и личностного роста. Вследствие недостаточного жизненного опыта, больших учебных нагрузок и узкоспециализированной подготовки кадров в вузах, студенты часто не понимают, что происходит в современном обществе. В свою очередь, для достижения высокого уровня владения иностранным языком нужен и талант, и огромный труд, и нравственный стержень: изучение иностранного языка будет успешным, только если человек имеет мощную национальную базу (знание языка, культуры, истории и пр.). Однако в реальной педагогической практике приоритетное значение зачастую отводится не расширению кругозора в отношении своей страны, а преподаванию иностранных языков. Данная ситуация обусловлена тем, что содержание курсов по иностранным языкам мало зависит от современных реалий — оно остается относительно устойчивым на фоне грандиозных перемен в быстроменяющемся мире, которые заставляют нас постоянно обновлять свои запасы знаний, а китайское руководство — прилагать огромные усилия для укрепления идейно-политического воспитания молодежи на фоне недоброжелательных внешних информационных волн.

По всем перечисленным выше причинам было принято решение ввести курс «Знакомство с современным Китаем» на основных программах изучения иностранных языков в Китае: официальные языки ООН, немецкий, японский, итальянский, португальский, корейский. Поскольку китайский язык как иностранный изучают филологи со всего мира, для данной программы были разработаны два учебника — продвинутый курс по чтению и письму и продвинутый курс по аудированию и говорению, тогда как на остальных иностранных языках был введен целый ряд учебников (не менее четырех) — чтение и письмо, публичная речь, перевод (практический курс для бакалавриата и продвинутый курс для магистратуры). Количество изданий, посвященных английскому языку, также больше, потому что продвинутый курс перевода делится на две части — письменный и устный перевод. Таким образом, было подготовлено 43 учебника: 2 на китайском, 5 на английском, по 4 на каждом из 9 других иностранных языков (4). Уникальность этой серии учебников заключается в том, что основные языковые материалы заимствованы из многотомных изданий «Си Цзиньпин о государственном управлении» на иностранных языках. Научно-педагогическое сообщество высшего образования взяло на себя задачу по так называемому «тройному внедрению» — распространение идей генерального секретаря КПК в вузах и включение их в учебные пособия и аудиторные занятия.

Инновационный характер серии учебников «Знакомство с современным Китаем» состоит в том, что обучение иностранным языкам в китайских вузах выполняет новую миссию — знакомство мира с Китаем, тогда как за-

долго до последнего десятилетия изучение иностранных языков преследовало другие цели. Так, с конца XIX до начала XX века знание иностранных языков помогало Цинской империи защищаться от колониалистов; во время революций и войн переводчики сыграли важную роль в борьбе с врагами; после основания КНР подготовка кадров со знанием иностранных языков дало толчок развитию внешних связей страны с миром; с момента начала политики реформ и открытости специалисты со знанием иностранных языков налаживали торгово-экономические связи Китая с другими международными акторами; в новом веке знание иностранных языков содействует всестороннему сотрудничеству Китая с зарубежными партнерами.

Поворотным моментом для изучения иностранных языков стал приход к власти Си Цзиньпина — лидер Китая указал новый путь для развития обучения иностранным языкам в вузах. 27 сентября 2016 года, в ходе выступления на 35-м коллективном семинаре Политбюро ЦК КПК, председатель КНР отметил, что «для участия в глобальном управлении требуется целая армия специалистов, близко знакомых с курсом и политическими установками партии и государства, знающих национальные реалии нашей страны, обладающих глобальным кругозором, свободно владеющих иностранными языками, прекрасно знающих международные правила, способных умело вести международные переговоры» [9. С. 648]. 31 мая 2021 года на 30-м коллективном семинаре Политбюро ЦК КПК лидер Китая подчеркнул, что «важнейшие задачи международного вещания — рассказывать о Китае, транслировать его голос и всесторонне показывать настоящий, трехмерный Китай. Мы должны понимать важность и необходимость усиления и совершенствования международной информационной работы в новых условиях, приложить максимальные усилия для создания соответствующего потенциала, добиться права голоса на международной арене, соответствующего общей мощи и международному статусу нашей страны, и тем самым создать международное общественное мнение, благоприятствующее реформам, развитию и стабильности Китая, а также внести активный вклад в строительство сообщества единой судьбы человечества» [10. С. 464]. Когда Пекинский университет иностранных языков (первый университет иностранных языков, основанный КПК) отмечал свой юбилей в 2021 году, лидер Китая в поздравительном письме отметил, что перед университетами иностранных языков открываются широкие перспективы, поскольку требуется большое количество высококвалифицированных специалистов со знанием иностранных языков для развития обменов между Китаем и зарубежными странами, укрепления дружбы между народами, донесения положительной информации о Китае до всего мира и создания позитивного имиджа страны (5).

Руководствуясь вышеперечисленными принципами, сформулированными главой государства, китайское высшее образование в области иностранных языков берет на себя задачу усиливать позиции страны на международной арене посредством «мягкой силы», смело внедрять инновации в систему

знаний, готовить как можно больше специалистов-переводчиков, остро необходимых стране, особенно переводчиков в области мировой политики, международных коммуникаций и глобального управления, знакомить мир с прекрасной китайской культурой и достижениями современного Китая.

Китай как древнейшая цивилизация с богатой культурой и историей имеет многогранный современный облик. Чтобы его понять, необходимо огромный багаж научных знаний, а недоступность такого для большинства объясняет актуальность ознакомления с мультязычной серией книг «Си Цзиньпин о государственном управлении», в которой Си Цзиньпин как главный китайский коммунист, опираясь на связь теории с практикой и учитывая требования времени, дал системный ответ на целый ряд эпохальных вопросов: каким должен быть социализм с китайской спецификой в новую эпоху и как все китайцы должны его отстаивать и развивать. XIX съезд КПК утвердил идеи Си Цзиньпина в качестве руководящей долгосрочной стратегии.

В сентябре 2014 года вышла в свет первая книга серии «Си Цзиньпин о государственном управлении», которая привлекла широкое внимание китайских и зарубежных читателей. В последующие годы Си Цзиньпин в своих многочисленных выступлениях озвучил новые идеи и стратегические направления государственного управления в новых исторических условиях, обогатив и систематизировав достижения партии [9] (табл. 1). Выступления первого лица государства описывают самую полную картину всех сфер социальной жизни — что происходит в Китае, почему правительство реализует те или иные меры, к чему стремится страна. Издания серии подробно излагают стратегические идеи КПК во главе с Си Цзиньпином по достижению национального процветания, обосновывая китайский вариант модернизации, построения сообщества единой судьбы и содействие мирному развитию человечества.

Таблица 1

**Общая характеристика книг серии «
Си Цзиньпин о государственном управлении»**

Том	Период	Количество разделов	Количество текстов
1	15 ноября 2012 года — 13 июня 2014	18	79
2	18 августа 2014 года — 29 сентября 2017	17	99
3	18 октября 2017 года — 13 января 2020	19	92
4	3 февраля 2020 года — 10 мая 2022	21	109

Многоязычная версия издания «Си Цзиньпин о государственном управлении» помогает преподавателям и студентам освоить навыки перевода и улучшить навыки применения иностранного языка в межкультурной коммуникации. Поскольку издание подготовлено Отделом пропаганды ЦК КПК

(пресс-канцелярией Госсовета КНР) совместно с Центром по изучению партийных документов при ЦК КПК и Управлением по делам издания и распространения литературы на иностранных языках Китая, книга выполняет и функцию стандартизации перевода официальных выступлений китайского руководства на иностранные языки, предлагая читателям внутри страны и за рубежом ознакомиться в основных чертах с идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой, проследить их формирование и понять их суть. Данное издание призвано укреплять национальную «мягкую силу» и способствовать общению Китая с миром, а также помогает перестроить систему знаний и систему занятий по специальности «иностранный язык», реализует концепцию идейно-политического воспитания в подготовке высококлассных переводчиков (патриотов своей страны с широким кругозором и профессиональным компетенциями), готовых нести ответственность за развитие китайского общества.

Основываясь на многотомном и мультязычном издании «Си Цзиньпин о государственном управлении», серия учебников «Знакомство с современным Китаем» пытается систематически интегрировать идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в дисциплины обучения иностранному языку, чтобы помочь студентам закрепить базовые навыки иностранного языка, совершенствуя навыки чтения, письма, разговора и устного перевода применительно к изложению истории Китая на иностранных языках и интерпретации китайских реалий с опорой на китайские концептуальные модели. С осени 2022 года новые учебные пособия и основанные на них занятия постепенно вводятся в учебные программы практически всех китайских вузов.

Во второй половине 2023–2024 учебного года был проведен Всекитайский конкурс по иностранным языкам среди учащихся вузов «Знакомство с современным Китаем». Конкурс проводился на трех уровнях (вузовский, региональный и национальный) и в двух категориях (по английскому языку и по другим иностранным языкам — русский, немецкий, французский, испанский, арабский, японский, итальянский и португальский) с мая по декабрь 2023 года, в нем приняло участие около миллиона студентов из более чем 1300 вузов, а число финалистов достигло 2,5 тысячи человек (6). В 2024 году количество участников гранд-финала превысило 4 тысячи человек (7), причем в конкурсную программу вошли корейский язык и китайский как иностранный.

Данный конкурс имеет огромное значение: во-первых, мероприятия с широчайшим участием студентов — эффективный инструмент проверки качества образования и преподавания, а также самопроверки и самосовершенствования студентов (моделируются конкретные ситуации в международном общении, дипломатии и внешних коммуникациях); во-вторых, конкурс придает мощный импульс для дальнейшего реформирования системы преподавания иностранных языков в вузах (конкурс фокусируется на улучшение практических навыков студентов, способствует обновлению системы знаний и содержания обучения); в-третьих, конкурс выступает площадкой

для выявления и последующего выращивания талантов в области иностранных языков в университетах, способствуя обмену опытом между вузами и продвигая непрерывное улучшение качества подготовки кадров.

Помимо конкурса для студентов, представители университетского управления и научно-педагогического сообщества вузов провели ряд мероприятий для преподавателей: в 2023–2024 годы во время летних каникул состоялись научно-практические конференции, в ходе которых преподаватели иностранных языков, ведущие занятия по серии учебников «Знакомство с современным Китаем», проходили обучение и повышение квалификации, заслушивали доклады высокопоставленных чиновников, курирующих высшее образование, главных редакторов-составителей учебников, лучших преподавателей (проводили мастер-классы). В 2023 году в мероприятиях приняли участие свыше 40 тысяч человек из разных китайских вузов (8), а в 2024 году количество участников в смешанном формате (онлайн и оффлайн) выросло более чем в два раза — 96 тысяч человек (9). Кроме того, на уровне регионов и вузов также проходят встречи педагогов для обмена опытом и эффективными методами ведения занятий.

Для эффективного внедрения курсов «Знакомство с современным Китаем» и модернизации программ обучения преподаватели применяют инновационные методы, включая «виртуальные кафедры»: в ноябре 2023 года 14 виртуальных кафедр на 10 языках были официально отобраны в качестве пилотного проекта виртуальных учебно-исследовательских кабинетов Министерства образования, что способствует сотрудничеству университетов и повышению политической и теоретической грамотности преподавателей, обучающихся студентов разным иностранным языкам. По состоянию на июнь 2024 года 14 виртуальных кафедр провели 156 учебно-исследовательских мероприятий, в которых приняли участие 81 тысяча преподавателей (10). Работа виртуальных кафедр показала значимые результаты в разработке учебных программ и подготовке студентов, способствовала инновациям в системе знаний и повышения квалификации преподавателей, обеспечила интеграцию процессов формирования ценностей, передачи знаний и развития способностей, повысила потенциал высшего образования в сфере международного общения и межкультурной коммуникации.

Следует обратить особое внимание на серию учебников «Знакомство с современным Китаем» на русском языке, поскольку он занимает лидирующую позицию в «рейтинге важности» иностранных языков, на которых были изданы учебники. Статус рабочего языка ООН, широкий пространственный охват использования, огромное количество людей, говорящих и понимающих по-русски объясняют приоритетное внимание к русскому языку: пространство «русского мира» может служить площадкой для культурных обменов и самопрезентации Китая. Кроме того, русский язык используется теми международными организациями, в которых активно участвует Пекин, в частности ШОС и БРИКС. По данным Агентства Синьхуа, русский язык по состоянию на конец 2024 года

изучают в 181 китайском вузе (11). Об особом статусе русского языка свидетельствуют и упомянутые выше студенческие конкурсы, где в многоязычной группе в 2024 году количество призовых мест, выделенных организаторами для русского языка, стало вторым, уступив лишь японскому (видимо, благодаря широкому распространению японской культуры и относительной несложности овладения японским для носителей китайского языка (табл. 2).

Таблица 2

**Результаты всекитайского студенческого конкурса
по серии учебников «Знакомство с современным Китаем»**

Языки	Золотые медали	Серебряные медали
Русский	5	25
Немецкий	5	10
Французский	5	16
Испанский	5	10
Арабский	3	7
Японский	10	49
Итальянский	3	7
Португальский	3	7
Корейский	5	10

Во многих русскоговорящих странах политические деятели, ученые и студенты, представители бизнеса и рядовые граждане искренне интересуются опытом развития современного Китая, откровенно заявляя, что им есть чему поучиться у «восточного гиганта». У таких государств с Китаем исторически складывались добрососедские отношения в духе взаимного доверия и равноправного сотрудничества, большинство русскоговорящих стран разделяют видение и позицию Китая по многим вопросам международной и региональной повестки, высоко оценивают успехи китайской модернизации, интересуясь реформированием Поднебесной, что создает благоприятную почву для сотрудничества. Соответственно, русскоязычное пространство выступает ключевой информационной платформой для создания и поддержания положительного имиджа КНР благодаря географической и культурной близости, высокому уровню политического взаимодоверия и взаимопонимания и инфраструктурной взаимосвязанности. Таким образом, русскоязычная серия учебников «Знакомство с современным Китаем» способствует подготовке нового поколения осведомленных и грамотных русистов.

Безусловно, далеко не каждому китайскому студенту дается изучение русского языка — фактически он чуть ли не самый сложный для обычного китайца среди тех десяти иностранных языков, на которых изданы учебники «Знакомство с современным Китаем». Так, учебник «Чтение и письмо» на русском языке вводится для всех русистов в китайских вузах в четвертом

семестре второго курса, а учебник «Публичная речь» — в 5 семестре 3 курса. В табл. 3 приведены темы учебника «Чтение и письмо» из серии «Знакомство с современным Китаем» и учебника русского языка, предназначенного для того же семестра обучения, из серии «Восток» (самый широко используемый учебник для китайских русистов).

Таблица 3

Тематические блоки двух учебников для подготовки китайских русистов

Чтение и письмо [7]	Текст	Восток–4 [8]	Текст(ы)
Миссия китайской молодежи	Необходимо развивать дух «Движения 4 мая», полностью реализовать возможности новой эпохи	Русский характер	По А.Н. Толстому
Прекрасный Китай	Ключевые принципы строительства экологической цивилизации	Москва	Общие сведения Московское метро
Высококачественное развитие	Необходимо продвигать региональное экономическое планирование	Каменный цветок	По П.П. Бажову
Народная демократия во всем	Укрепление уверенности в «социализме с китайской спецификой»	Великий мыслитель	Конфуций
Равноправное и справедливое общество	Неотступно следовать по пути утверждения верховенства закона	Экзамен	По В.М. Шукшину
Полномасштабное развертывание реформ	Идеи социализма с китайской спецификой новой эпохи и основная стратегия их реализации	Туризм	Я люблю путешествовать Туризм как образ жизни
На пути к национальному возрождению	Укреплять дух «Великого похода», твердо идти по этому пути	Мир вокруг	Рассказ Коли Заменяет ли Интернет живое общение виртуальным?
Гармония без однообразия	Цивилизация расцветает благодаря обмену и обогащается путем совместной учебы	Креповые финские носки	По С.Д. Давлатову
Куда идут цивилизации?	Совместное создание мирового сообщества единой судьбы	Освоение космоса	Ю. Гагарин Выход в открытый космос
Уроки истории во имя лучшего будущего	Речь на торжественном собрании по случаю столетнего юбилея со дня основания Коммунистической партии Китая	Человек и природа	Чувство Земли Зеленый крест Жила-была река
		Высшее образование в России	Ведущие вузы Высшее образование в России сегодня
		Человек и культура	Выступление на Съезде народных депутатов СССР Экология культуры

В табл. 4 представлена сопоставительная характеристика учебника «Публичная речь» из серии «Знакомство с современным Китаем» и пятого учебника по русскому языку из серии «Восток».

Таблица 4

Тематические блоки двух учебников для подготовки китайских русистов

Публичная речь [9]	Текст	Восток– 5 [10]	Текст(ы)
Социализм с китайской спецификой	Укрепление уверенности социализме с китайской спецификой	Выбор профессии	Как выбрать профессию? Сначала определите свой тип
Основные ценности социализма	Молодежь должна сознательно воплощать в жизнь ценности социализма	Спасибо, профессор	
Китайская мечта	Китайская мечта — мечта народа	Любовь и возраст в браке	Борьба за любовь: стоит ли? Большая разница в возрасте или минус?
Ликвидация бедности и повышение общего уровня жизни	Впишем новую страницу в историю борьбы человечества с бедностью	Транспортная проблема и путь ее решения	В Москве как в Лондоне? Пробки на дорогах
Всестороннее углубление реформ и расширение политики открытости	У реформ и открытости нет времени завершения	Выигрышный билет	
Строительство экологической культуры и прекрасного Китая	Стимулировать модель «зеленого» развития и «зеленого» образа жизни	Экономика и общество	История мира — история кризисов Новые горизонты китайской экономики в XXI веке
Всестороннее продвижение высококачественного развития	Экономика перешла от высоких темпов роста к высококачественному развитию	Высшее образование	Детей нужно «заразить» правильным отношением учебе и труду Девальвация диплома
Управление государством на основе закона	Управления государством на основе закона и нравственных норм	Гнездо	
Инициатива «Один пояс — один путь»	Совместная реализация		
Сообщество единой судьбы	Сочетание управления государством на основе закона с управлением государством на основе нравственных норм		

Темы учебников показывают, что серия «Знакомство с современным Китаем» явно превышает языковые компетенции среднего китайского русиста. К тому же студенты вряд ли смогут сразу найти поле применения

знаний, полученных из учебника «Публичная речь», поскольку посещают занятия по этому предмету либо оставшись в Китае на пятый семестр, либо вернувшись в родной университет после стажировки. Кроме того, всем студентам необходимо на четвертом курсе начать заниматься по учебнику «Перевод», когда в плотный график студентов добавляются поиски работы и трудоустройство. Потребуется немало времени, чтобы администрация высшего образования, педагоги, взявшие на себя непростую задачу вести соответствующие курсы, и учащиеся, постепенно адаптировались к нововведениям в рамках идейно-воспитательной работы.

Информация о финансировании

Статья подготовлена при поддержке научного гранта Китайского фонда обучения иностранным языкам (China Foreign Language Education Fund). Проект № ZGWYJYJJ12Z023.

Примечания

- (1) Указания Си Цзиньпина по организации уроков по идейно-политическому воспитанию. URL: https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202405/content_6950548.htm; https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202409/content_6974897.htm
- (2) Официальные сайты двух ведущих вузов Китая — Цинхуа и Пекинского университета. URL: <https://www.tsinghua.edu.cn/xxgk/xrld.htm>; <https://www.pku.edu.cn/leaders.html>.
- (3) Например, информация об обязательных для всех студентов занятиях на официальном сайте Шанхайского университета иностранных языков. URL: <http://www.fss.shisu.edu.cn/15278/list.htm>.
- (4) Общая информация о серии учебников «Знакомство с современным Китаем». URL: <https://heep-jczt.fltrp.com/lijiedangdaizhongguo/ztjs>.
- (5) Образовательный брендинг: о русском языке и руссиеведении в китайских вузах. URL: <https://russiancouncil.ru/blogs/xiong-leping/obrazovatelnyy-brening-o-russkom-yazyke-i-rossievedenii-v-kitayskikh->
- (6) Итоги Всекитайского конкурса по иностранным языкам среди учащихся вузов в 2023 году. URL: <https://ucc.fltrp.com/c/2023-12-09/521593.shtml>.
- (7) В Пекине завершился студенческий конкурс по иностранным языкам «Понимание современного Китая». URL: <https://russian.cgtn.com/news/2024-12-13/1867496841283805186/index.html>.
- (8) Завершены курсы повышения квалификации для преподавателей, работающих на основе серии учебников «Знакомство с современным Китаем» в китайских вузах (2023) // URL: <https://mlp.fltrp.com/article/1649>.
- (9) Завершены курсы повышения квалификации для преподавателей, работающих на основе серии учебников «Знакомство с современным Китаем» в китайских вузах (2024) // URL: <https://mlp.fltrp.com/article/1955>.
- (10) Состоялось рабочее совещание координационной группы по виртуальным кафедрам программы «Знакомство с современным Китаем» (2024). URL: <https://www.fltrp.com/c/2024-07-12/523341.shtml>.
- (11) В 181 китайском вузе изучают русский язык. URL: <https://russian.news.cn/20241203/b49518b5e0eb4116bceacb3124c6b69e/c.html>.

Библиографический список

1. Ван Бин. Система управления в государственных вузах КНР // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. № 10.
2. Восток. Русский язык 4. Пекин, 2021.
3. Восток. Русский язык 5. Пекин, 2023.

4. Гурулева Т.Л., Ван Бин. Высшее образование в КНР: институты и механизмы государственного и партийного управления // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2020. Т. 20. № 3.
5. Донецкая С.С., Ван Бин. Высшее образование в Китае: особенности системы управления в ведущих вузах страны // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2022. Т. 22. № 1.
6. Знакомство с современным Китаем. Публичная речь. Пекин, 2022.
7. Знакомство с современным Китаем. Чтение и письмо. Пекин, 2022.
8. Носоченко М.А. Гуманитарное образование в современном мире: перспективы развития // Мир науки, культуры и образования. 2018. № 4.
9. Си Цзиньпин. О государственном управлении. Т. 2. Пекин, 2018.
10. Си Цзиньпин. О государственном управлении. Т. 4. Пекин, 2023.
11. Троцук И.В. Дискурсивные репрезентации (капиталистических) итогов «китайского экономического чуда» // Социологическое обозрение. 2020. Т. 19. № 2.
12. Narbut N.P., Trotsuk I.V. Neighboring countries' images: Persistent stereotypes of the Russian student youth // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2017. Т. 17. № 3.
13. Trotsuk I.V. Patriotism as a value in the globalizing world: National and international 'measurements' // Вестник РУДН. Серия: Государственное и муниципальное управление. 2018. Т. 5. № 2.
14. Trotsuk I.V. All power to the experts? Contradictions of the information society as both depending on and devaluating expertise // Russian Sociological Review. 2021. Vol. 20. No. 1.

DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-844-859

EDN: JZSKBK

Ideological-political education as a key component of university management in China (based on the textbook series “Understanding Contemporary China”)*

Xiong Leping¹, Wang Bing^{2,3}

¹Beijing Foreign Studies University,
Xisanhuanbeilu Road, 2, Beijing, 100089, China

²RUDN University,
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia

³Jilin International Studies University,
Jingyue Road, 3658, Changchun, 130117, China

(e-mail: Xiong.leping@bfsu.edu.cn; 1321666299@qq.com)

Abstract. The development prospects of the state and society largely depend on the quality of training highly qualified specialists in the higher education system. One aspect of such training is the development of values and ideological-political education, which provides the moral foundation for future social development. To strengthen the “four aspects of self-confidence” (in one’s path, theory, system, and culture), the leadership of the Communist Party of China and the Chinese government have implemented Xi Jinping’s ideas of socialism with Chinese

*© Xiong Leping, Wang Bin, 2025

The article was submitted on 20.04.2025. The article was accepted on 14.10.2025.

characteristics in university education and training. In addition to strengthening educational work, a unique challenge for social sciences and humanities is the study and teaching of foreign languages. Knowledge of language and of other cultures facilitates international contacts; therefore, since the fall of 2022, Chinese universities have introduced foreign language classes based on the textbook series “Understanding Contemporary China”. This series aims at developing such students’ communication skills that would help to “hear the voice of China” all around the world and would allow people in other countries to understand better social realities of today’s China. Given the unprecedented level of relations between China and Russia, teaching Russian with the new textbook series would promote mutual understanding between the peoples of two countries, although introduction of highly complex materials into the university curriculum would require significant efforts of all parties involved.

Key words: ideological-political education; university management; students; universities; foreign languages; new textbooks; introducing contemporary China

For citation: Xiong Leping, Wang Bing. Ideological-political education as a key component of university management in China (based on the textbook series “Understanding Contemporary China”). *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (4): 844–859. (In Russ.). <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-844-859>

References

1. Wang Bing. Sistema upravleniya v gosudarstvennyh vuzah KNR [Management system in public universities of the PRC]. *Gumanitarnye, Sotsialno-Ekonomicheskie i Obshchestvennye Nauki*. 2019; 10. (In Russ.).
2. Vostok. Russky yazyk 4 [East. Russian Language 4]. Beijing; 2021. (In Russ.).
3. Vostok. Russky yazyk 5 [East. Russian Language 5]. Beijing; 2023. (In Russ.).
4. Guruleva T.L., Wang Bing. Vysshee obrazovanie v KNR: instituty i mekhanizmy gosudarstvennogo i partiynogo upravleniya [Higher education in China: Institutions and mechanisms of the state and party management]. *RUDN Journal of Sociology*. 2020; 20 (3). (In Russ.).
5. Donetskaya S.S., Wang Bing. Vysshee obrazovanie v Kitae: osobennosti sistemy upravleniya v vedushchih vuzah strany [Higher education in China: Features of management in leading universities]. *RUDN Journal of Sociology*. 2022; 22 (1). (In Russ.).
6. Znakomstvo s sovremennym Kitaem. Publichnaya rech [Introduction to Contemporary China. Public Speech]. Beijing; 2022. (In Russ.).
7. Znakomstvo s sovremennym Kitaem. Chtenie i pismo [Introduction to Contemporary China. Reading and Writing]. Beijing; 2022. (In Russ.).
8. Nosochenko M.A. Gumanitarnoe obrazovanie v sovremennom mire: perspektivy razvitiya [Humanities education in the contemporary world: Development prospects]. *Mir Nauki, Kultury i Obrazovaniya*. 2018; 4. (In Russ.).
9. Xi Jinping. *O gosudarstvennom upravlenii*. T. 2 [On Public Administration. Vol. 2]. Beijing; 2018. (In Russ.).
10. Xi Jinping. *O gosudarstvennom upravlenii*. T. 4 [On Public Administration. Vol. 4]. Beijing; 2023. (In Russ.).
11. Trotsuk I.V. Diskursivnye reprezentatsii (kapitalisticheskikh) itogov “kitayskogo ekonomicheskogo chuda” [Discursive representations of the (capitalist) results of the “Chinese economic miracle”]. *Russian Sociological Review*. 2020; 19 (2). (In Russ.).
12. Narbut N.P., Trotsuk I.V. Neighboring countries’ images: Persistent stereotypes of the Russian student youth. *RUDN Journal of Sociology*. 2017; 17 (3).
13. Trotsuk I.V. Patriotism as a value in the globalizing world: National and international ‘measurements’. *RUDN Journal of Public Administration*. 2018; 5 (2).
14. Trotsuk I.V. All power to the experts? Contradictions of the information society as both depending on and devaluing expertise. *Russian Sociological Review*. 2021; 20 (1).



РЕЦЕНЗИИ

REVIEWS

DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-860-868

EDN: JZNGYO

Новые вызовы для российского общества*

С.В. Козин¹, Т.П. Жидяева²

¹Южный федеральный университет,
ул. Большая Садовая, 105/42, Ростов-на-Дону, 344082, Россия

²Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова – Алатырский филиал,
ул. Первомайская, 70, Алатырь, 429820, Россия

(e-mail: mister.svk92@yandex.ru; tanya21_84@mail.ru)

Аннотация. Статья представляет собой рецензию на книгу под редакцией М.К. Горшкова и Н.Е. Тихоновой «Российское общество и вызовы времени. Книга восьмая» (М.: «Весь Мир», 2025. 352 с.). Авторский коллектив Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН подготовил работу на основе многолетних социологических исследований (2014–2024), представив комплексный и всесторонний анализ изменений, происходящих в российском обществе под влиянием как внешних, так и внутренних рисков и проблем. В книге рассмотрены особенности оценки гражданами России обстановки на глобальном, национальном и локальном уровнях; факторы, определяющие социальное самочувствие и психологическое состояние широких слоев населения; разные ценностные и мировоззренческие группы; субъективное благополучие россиян, источники сохраняющегося уровня бедности; материальные и нематериальные формы неравенства. В свете усиливающейся напряженности в отношениях с западными странами и новых социокультурных вызовов в книге обозначены жизненные ориентиры, нормативные и ценностные установки, стратегии поведения россиян, поэтому издание может быть рекомендовано широкому кругу исследователей — социологам, психологам, философам, историкам, экономистам, юристам и др.

Ключевые слова: российское общество; общественное мнение; субъективное благополучие; социальный капитал; социально-психологическое самочувствие; смысложизненные ценности; социальные противоречия; историческая память

Для цитирования: Козин С.В., Жидяева Т.П. Новые вызовы для российского общества // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 4. С. 860–868. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-860-868>

*© Козин С.В., Жидяева Т.П., 2025

Статья поступила в редакцию 15.07.2025. Статья принята к публикации 14.10.2025.

*Посвящается памяти академика РАН
М.К. Горшкова (29.12.1950 – 24.11.2025)*

В 2025 году вышла в свет коллективная монография «Российское общество и вызовы времени. Книга восьмая» под редакцией М.К. Горшкова и Н.Е. Тихоновой. Данная монография продолжает многолетний цикл исследований группы ученых Института социологии ФНИСЦ РАН [см., напр.: 11; 12], которые рассматривают трансформационные процессы в российском обществе в их реальном контексте: как происходили изменения, каковы были их результаты и др. В предисловии М.К. Горшков уточняет, что, «не претендуя на “истину в последней инстанции”, и уж тем более не ограничивая возможности иных общественных и гуманитарных наук, заметим все же, что дать комплексный, развернутый ответ на поставленные вопросы», сочетающий эмпирические данные и фундаментальный анализ, способна именно социология (С. 7).

В книге представлены данные разных волн мониторинга — с первого опроса в октябре — ноябре 2014 года до последнего на сегодняшний день опроса — шестнадцатой волны, завершившейся в октябре 2024 года. Объем выборки в каждой волне составлял от 2000 до 4000 респондентов, репрезентирующих взрослое население страны старше 18 лет по параметрам пола, возраста, социально-профессионального статуса, образования и типа населенного пункта (С. 351).

В первом разделе «Динамика массового сознания и его проявлений в период 2014–2024» авторы комплексно и детально анализируют этот переломный период в истории российского общества. Его события оказали глубокое влияние на массовое сознание, породив новые формы коллективного поведения и трансформации ценностных ориентаций: вооруженный конфликт на востоке Украины, обострение геополитической ситуации, санкционное давление Запада и пандемия [3] формировали специфическую картину мира в сознании россиян. Одним из ключевых проявлений динамики массового сознания в этот период стала поляризация общества: конфликтные дискурсы, навязываемые медиа, привели к социальному размежеванию по политическим, идеологическим и ценностным признакам. В обществе усилились консервативные и патриотические настроения — параллельно с ростом протестных движений и критического отношения к власти, причем этот раскол проявился как в политических дебатах, так и в социальных взаимодействиях, создавая напряженную общественную атмосферу.

В первой главе анализируется восприятие россиянами ситуации в мире, стране и местах их проживания — как сложный и многогранный феномен, формирующийся под воздействием целого ряда факторов: личный опыт, уровень образования, доступ к информации (включая СМИ и Интернет) и со-

циальное окружение. Важно понимать, что не существует единого, унифицированного российского взгляда — речь идет о спектре мнений и оценок, зачастую противоречивых и меняющихся со временем.

С марта 2022 года изменения в общественном мнении россиян в отношении специальной военной операции фиксировались множеством научно-исследовательских организаций и независимых коллективов социологов, поскольку «Масштабные вооруженные конфликты и войны практически неизбежно делят жизнь на “до” и “после”. Течение жизни постсоветской России тоже разделилось на “до” и “после” с началом специальной военной операции на Украине (СВО)» (С. 12). Конечно, восприятие международной обстановки в значительной степени зависит от государственной пропаганды и транслируемых ею нарративов, однако значительная часть населения сохраняет критическое мышление и способна адекватно анализировать происходящее самостоятельно: отношение к другим странам варьирует от настороженного до дружелюбного, при этом важную роль играют исторические связи, экономические интересы и культурные стереотипы. Оценка ситуации внутри страны также подвержена влиянию разных факторов: экономическое благосостояние, уровень жизни, доступность образования и медицинского обслуживания задают отношение к действующей власти и определяют степень социальной напряженности (см., напр.: [1; 2; 4; 5; 8]).

По данным шестнадцатой волны мониторинга, проведенного в октябре 2024 года, ситуацию, сложившуюся в мире, как «напряженную и критическую» оценивают преимущественно россияне старше 60 лет (68,6 %), затем идут 51–60-летние (65,6 %), и последнюю позицию занимают представители молодежи (18–30 лет, 56 %). В данных мониторинга прослеживаются интересные тренды (С. 128), в частности, молодые респонденты в меньшей степени обеспокоены текущей обстановкой. Это может быть связано с адаптивностью молодежи к изменениям и оптимистичным взглядом в будущее, а также с тем, что многие когорты нынешней молодежи родились в современной России и не застали эпоху СССР — выросли в эпоху цифровых технологий, глобализации и быстро меняющихся трендов, что сформировало у них гибкость мышления и готовность к переменам. Кроме того, у молодых людей еще не сформировались те устойчивые жизненные установки и убеждения, что часто становятся причиной консервативных взглядов. Молодежь ищет себя, что делает ее более открытой к новым идеям и перспективам.

Восприятие ситуации в местах проживания отражает локальные проблемы и успехи. Состояние инфраструктуры, экологическая обстановка, уровень преступности, доступность социальных услуг — все это непосредственно влияет на качество жизни и формирует отношение к местным властям. В 2024 году свыше 80 % россиян выразили уверенность, что их финансовое состояние в течение будущего года останется на прежнем уровне или

улучшится, около 20 % ожидали некоторого ухудшения (С. 21). В целом восприятие россиянами окружающего мира – динамичный и сложный процесс, требующий глубокого и всестороннего анализа, поскольку это восприятие подвержено влиянию множества факторов и отражает как личный опыт, так и общественно-политический контекст.

Во второй главе социальное самочувствие россиян рассмотрено как сложный и многогранный конструкт, отражающий субъективную оценку человеком своего положения в обществе, удовлетворенность жизнью и уверенность в будущем, и тесно связанный с экономической стабильностью, политической обстановкой и социальными гарантиями. В последние годы под влиянием геополитических изменений и внутренних социально-экономических процессов социальное самочувствие россиян претерпевает значительные изменения, характеризующиеся повышенным уровнем тревожности и неопределенности. Одной из главных составляющих социального самочувствия выступает ощущение безопасности. Основные страхи россиян многообразны: это и опасения, связанные с ухудшением экономического положения, ростом безработицы и снижением уровня доходов, и страхи, вызванные геополитической нестабильностью и угрозой международных конфликтов, а также страх перед увеличением преступности, ухудшением экологической обстановки и неэффективностью системы здравоохранения.

Бесспорно, значимый фактор социального самочувствия — доверие к институтам власти и общественным организациям. Снижение уровня доверия, вызванное коррупцией, неэффективностью управления и отсутствием прозрачности в принятии решений, усиливает чувство незащищенности и способствует росту социальной напряженности: «запрос на равенство – один из самых актуальных для россиян» (С. 76), и главное здесь — обеспечение равных (единых) шансов для реализации потенциала каждого, а не уравнивание доходов, социального статуса и жизненных обстоятельств. Так, с 2013 по 2023 годы от 58 до 68,2 % россиян считают приоритетом именно равенство возможностей (С. 76). В 2019 году, будучи гостем программы «Познер» на Первом канале, директор ФНИСЦ РАН М.К. Горшков рассказал телезрителям о «стабильности без развития», которая, по его мнению, привела к негативной динамике, среди показателей которой – снижение уровня образования, экономическая и политическая нестабильность, проблемы в сфере медицины и т.д. На социальное самочувствие россиян также оказывает воздействие доступность информации и потенциал участия в общественной жизни. Ограничение свободы слова, цензура и отсутствие возможностей для выражения своего мнения негативно отражаются на чувстве гражданской ответственности и уверенности в будущем, формируют сложное и противоречивое восприятие реальности.

Во втором разделе показано, как современный мир, полный турбулентности и перемен, неизбежно влияет на повседневную жизнь россиян. Происходящие экономические колебания, технологический прогресс и геополитические факторы формируют новую реальность, требующую адаптации и переосмысления привычных устоев. В первую очередь, изменения коснулись финансовой сферы: рост цен на товары и услуги, инфляция и нестабильный курс рубля заставляют людей более тщательно планировать бюджет, искать дополнительные (вспомогательные) источники дохода и отказываться от спонтанных покупок. Вместе с тем наблюдается рост интереса к инвестициям, финансовой грамотности и инструментам управления личными финансами. В социальной сфере усиливается осознание ценности здоровья — как физического, так и ментального: люди все больше внимания уделяют правильному питанию, спорту и поддержанию психологического равновесия, набирают популярность практики осознанности, медитации и другие методы борьбы со стрессом. В условиях новых вызовов российское общество проявляет устойчивость (*resilience*) и способность к адаптации. Трансформации в повседневной жизни становятся толчком для поиска новых решений и укрепления социальных связей. Иными словами, любые перемены — это не только трудности, но и возможности для роста и улучшения качества жизни.

В девятой главе утверждается, что «социальное неравенство», будучи неотъемлемой частью любой стратифицированной общественной системы, в современной России обретает особую остроту и многогранность (С. 181), а его восприятие населением подвержено влиянию целого ряда факторов — от экономического положения индивида до доминирующих в обществе идеологических установок. Представители российской молодежи гораздо острее испытывают «неравенство в социальном капитале — наличии знакомств с „нужными людьми“, что менее актуально для людей старшего поколения (28,1 % против 5,9 %)» [10. С. 352].

Одной из ключевых характеристик восприятия неравенства в России является высокая степень его осознания. Особенно остро по сравнению с другими группами неравенство переживают низкодоходные россияне, в частности ощущают отсутствие доступа к необходимым медицинским услугам (38,9 % бедных и 32,6 % малообеспеченных подчеркивают, что данное неравенство особенно болезненно для них) (С. 217). Социологические исследования показывают, что большинство россиян признают существование пропасти между богатыми и бедными и видят ограниченные возможности для «социальной мобильности». М.Ф. Черныш считает, что «уменьшить уровень неравенства можно только посредством осторожных, но последовательных институциональных преобразований — расширения состава участников политического про-

цесса... повышения эффективности социальной политики – с тем, чтобы в России возникло, наконец, работающее социальное государство, способное существенно улучшать жизнь наименее благополучных слоев населения» [14. С. 24].

Важную роль в формировании отношения к неравенству играют СМИ, транслирующие образы как роскошной жизни элиты, так и тяжелого положения социально уязвимых слоев. Эти образы, зачастую гипертрофированные, формируют у зрителя определенные представления о масштабах, характере и причинах неравенства. И, наконец, восприятие социального неравенства тесно связано с уровнем доверия к государственным институтам. В числе наиболее острых проблем, ощущаемых как обществом в целом, так и каждым человеком, выделяется разрыв в уровне доходов, «неравный доступ к медицинской помощи, хорошим рабочим местам и жилищным условиям» [9. С. 987]. По сути, «российские социальные лифты „заржавели“ – критерии служебного продвижения стали зависеть не столько от успехов в образовании или личных качеств (19 %), сколько от социального положения, связанного с обладанием капиталом (67 %), властью (58,2 %) и “связями с нужными людьми” (57 %)» [13. С. 39]. Бесспорно, недостаточная эффективность социальной политики, коррупция и отсутствие равных возможностей для всех подрывают веру в справедливость системы и усиливают негативное отношение к социальному расслоению.

Несомненно, интерес для читателя представляет десятая глава, в которой бедность и малообеспеченность прочно вплетены в «ткань» российской повседневности и представляют собой многогранный социальный феномен, выходящий за рамки простой нехватки денежных средств (С. 200). Согласно данным мониторинга, весной 2024 года численность бедных оценивалась в 11,1 %, а, малообеспеченных – в 28,1 % (С. 202). Бедность — многомерное явление, воздействующее на все аспекты жизни человека — от физического и психического здоровья до доступа к образованию и возможностям самореализации. Повседневная жизнь малообеспеченных россиян зачастую отмечена борьбой за выживание. Ограниченные ресурсы диктуют жесткий режим экономии, когда первоочередное внимание уделяется удовлетворению базовых потребностей (в еде, одежде и жилье). Доступ к качественной медицинской помощи и образованию становится роскошью, что, в свою очередь, ограничивает возможности для социальной мобильности и закрепляет порочный круг бедности.

«Яркой особенностью российской бедности традиционно было ее “сельское” лицо... оно чаще встречается у россиян с более низким уровнем образования и неработающих, а также в семьях с детьми» (С. 203). Действительно, исторически сложилось так, что в нашей стране издавна

в сельской местности уровень жизни оставался заметно ниже, чем в городах. Крестьянство, веками привязанное к земле и ограниченное в своих возможностях, сталкивалось с многочисленными проблемами: нехваткой земли, тяжелым физическим трудом, зависимостью от природных условий и произволом помещиков. Реформы, проводимые в разные исторические периоды, не всегда приводили к ощутимому улучшению положения крестьян, а индустриализация и урбанизация в XX веке, хотя и открыли новые возможности, привели к оттоку наиболее активного и образованного населения в города.

Эта историческая специфика во многом предопределила сохраняющуюся и сегодня связь между бедностью и сельской местностью. Недостаток инфраструктуры, ограниченный доступ к образованию и медицинскому обслуживанию, отсутствие рабочих мест с достойной оплатой труда – все это факторы способствуют сохранению бедности в сельских районах, а также росту класса прекариата [6. С. 182–183]. Многие сельские жители вынуждены заниматься низкоквалифицированным трудом, что не позволяет им выбраться из бедности. Кроме того, демографическая ситуация на селе — старение населения, падение рождаемости и отток молодежи в города — приводит к сокращению трудоспособного населения и увеличению числа пенсионеров. В семьях с детьми расходы на содержание и образование детей требуют значительных средств, которых у сельских жителей часто не хватает. Таким образом, «сельское лицо» российской бедности – не просто статистический факт, а отражение глубоких исторических и социально-экономических проблем, требующих комплексного решения. Необходимы меры по развитию сельской экономики, созданию рабочих мест, развитию сельской инфраструктуры и повышению доступности образования и медицинского обслуживания на селе. Сами малообеспеченные россияне считают, что ключевыми факторами бедности являются «болезнь/инвалидность кого-то из членов семьи (36 %), приверженность вредным привычкам (35 %), семейные несчастья (34 %) и длительная безработица (32 % – в 1,5 раза чаще среднего по стране)» (С. 222–223).

Более того, бедность влечет за собой целый ряд психологических последствий: постоянный стресс, связанный с нехваткой средств и социальной изоляцией, подрывают психическое здоровье и могут приводить к депрессии, тревожности и другим расстройствам, а отсутствие перспектив и веры в собственные силы негативно влияют на самооценку и мотивацию. Социальные связи и поддержка семьи и друзей играют важную роль в смягчении негативных последствий бедности, но в условиях экономической нестабильности и роста социального неравенства даже близкие люди не всегда могут оказать необходимую помощь, поэтому роль государства в обеспечении социальной защиты и создании условий для преодоления бедности особенно важна [7].

Масштаб решаемых авторами рецензируемой книги задач объясняет и некоторые ее недочеты: в работе отсутствует библиографический список, а ссылки на источники даны в затекстовых сносках; нет именного указателя; некоторые страницы буквально перенасыщены прекрасным иллюстративным материалом (рисунки, таблицы), что затрудняет восприятие информации; социальные последствия пандемии в России описаны слишком поверхностно, в частности, протестные общественные настроения этого периода. Тем не менее, этот безусловно фундаментальный труд погружает читателя в мир сложных общественных взаимосвязей, где каждое утверждение подкреплено тщательным анализом эмпирических данных, представлен обширный спектр вопросов и намечены направления дальнейших исследований, ориентированных на содействие стабильному и консолидированному развитию российского общества в условиях сложных внешних вызовов.

Библиографический список

1. Алмакаева А.М., Настина Е.А., Догузов А.В. Динамика счастья и удовлетворенности жизнью в условиях экзогенных шоков // Социологический журнал. 2025. Т. 31. № 2.
2. Горшков М.К., Тюрина И.О. Консолидация российского общества в условиях современных вызовов: историко-социологический и ценностно-мировоззренческий контексты // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2023. Т. 23. № 4.
3. Горшков М.К., Тюрина И.О. Состояние и динамика массового сознания и поведенческих практик россиян в условиях пандемии COVID-19 // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2021. Т. 21. № 4.
4. Дудин И.В. Основные факторы острого восприятия россиянами противоречия между богатыми и бедными в 2024 г. // Социологическая наука и социальная практика. 2025. Т. 13. № 2.
5. Дудин И.В. Отношение населения страны к основным социальным противоречиям российского общества: состояние, динамика, факторы // Социологический журнал. 2024. Т. 30. № 1.
6. Козин С.В., Жидяева Т.П. Рецензия на книгу «От прекарной занятости к прекаризации жизни» (под ред. Ж.Т. Тощенко. М.: Весь Мир, 2022) // Социологический журнал. 2023. Т. 29. № 1.
7. Козин С.В., Жидяева Т.П. О научной монографии «Судьбы общественного договора в России: эволюция идей и уроки реализации» // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. 2025. Т. 18. № 2.
8. Козырева П.М., Смирнова А.И. Как меняют жизнь россиян чрезвычайные события: новые вызовы и устойчивость адаптации // Социологическая наука и социальная практика. 2025. Т. 13. № 2.
9. Коленникова Н.Д. Социальная справедливость и неравенство в зеркале российского общественного мнения // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2024. Т. 24. № 4.
10. Мареева С.В. Социально-экономические неравенства в жизни россиян: особенности восприятия и динамика // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 2.
11. Российское общество и вызовы времени. Кн. 6 / под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. М., 2022.
12. Российское общество и вызовы времени. Кн. 7 / под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. М., 2024.

13. Тощенко Ж.Т. Формы участия высшего образования в решении проблем производительности труда // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2024. Т. 24. № 1.
14. Черныш М.Ф. Институциональные основы неравенства в современном обществе // Мир России. 2021. Т. 30. № 3.

DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-860-868

EDN: JZNGYO

New challenges for the Russian society*

S.V. Kozin¹, T.P. Zhidyaeva²

¹Southern Federal University,
Bolshaya Sadovaya St., 105/42, Rostov-on-Don, 344082, Russia

²I.N. Ulyanov Chuvash State University – Alatyr Branch,
Pervomaiskaya St., 70, Alatyr, 429820, Russia

(e-mail: mister.svk92@yandex.ru; tanya21_84@mail.ru)

Abstract. The article is a review of the book edited by M.K. Gorshkov and N.E. Tikhonova *Russian Society and Challenges of the Time. Book 8* (Moscow: Ves Mir, 2025, 352 p.). This book by the scholars from the Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences is based on many years of sociological research (2014–2024) and presents a comprehensive in-depth analysis of the changes in the Russian society under the influence of both external and internal risks and challenges. The book considers the features of public perception of the situation at the global, national, and local levels; factors determining social well-being and psychological state of different strata; different value and ideological groups; subjective well-being of Russians and causes of the persistent level of poverty; material and non-material forms of inequality. Under growing tensions with Western countries and new social-cultural challenges, the book focuses on life guidelines, normative-value attitudes and behavioral strategies of Russians. Therefore, the book can be recommended to researchers — sociologists, psychologists, philosophers, historians, economists, lawyers, and others.

Key words: Russian society; public opinion; subjective well-being; social capital; social-psychological well-being; life-meaning attitudes; social contradictions; historical memory

For citation: Kozin S.V., Zhidyaeva T.P. New challenges for the Russian society. *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (4): 860–868. (In Russ.). <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-860-868>

*© S.V. Kozin, T.P. Zhidyaeva, 2025

The article was submitted on 15.07.2025. The article was accepted on 14.10.2025.



DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-869-876

EDN: MOMMGQ

Сила и слабость самоорганизации в утопически-идеалистическом описании*

Р.Р. Ишмухаметов

Институт развития образования Республики Башкортостан,
ул. Мингажева, 120, Уфа, Республика Башкортостан, 450005, Россия

(e-mail: rustish@list.ru)

Аннотация. Статья представляет собой рецензию на книгу Йоханна Риттерманна «Сила единства. Политика и экономика через призму сотрудничества» (М.: Издательство «Картина мира», 2025). В аннотации работа заявлена как «больше, чем теория — руководство к действию для тех, кто хочет изменить мир вокруг себя», и такое позиционирование не могло не сказаться на «качестве» «исследования кооперации в мире растущей поляризации и кризисов». Несмотря на многочисленные полезные для социальных исследователей концептуальные положения, исторические обзоры, дискурсивно-аналитические описания социальных, экономических и политических реалий, на основе которых можно проводить теоретические и эмпирические исследования форм солидарности, свойственных и современному российскому обществу, книга носит выраженный научно-популярный (отсутствуют библиография и сноски, даже в случае прямого цитирования) и позитивно-лозунговый характер (призыв к совместному гуманистическому действию).

Ключевые слова: кооперация; сотрудничество; солидарность; политическая, экономическая и социальная теории кооперативизма; капитализм; коммунизм

Для цитирования: Ишмухаметов Р.Р. Сила и слабость самоорганизации в утопически-идеалистическом описании // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 4. С. 869–876. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-869-876>

Книга Йоханна Риттерманна о «силе единства» будет интересна и полезна социологу, занимающемуся вопросами низовой солидарности и мобилизации, коллективного действия и партисипативного управления применительно к самым разным сферам окружающей действительности, а не только к политико-экономической. Книга предлагает читателю хороший обзор исторического развития кооперации как объективного проявления коллективного социального действия, поисков оптимальной концептуализации сотрудничества в целях его эмпирического изучения

*© Ишмухаметов Р.Р., 2025

Статья поступила 11.07.2025 г. Статья принята к публикации 14.10.2025 г.

в фундаментальных (построение общей теории кооперации) и прикладных исследованиях, а также конкретных воплощений кооперативизма (принципиальный авторский термин) в разных контекстах (но читатель должен быть готов к тому, что текст не вычитан и содержит ошибки и опечатки, а также лишен стандартного для научных изданий справочного аппарата).

Риттерманн начинает книгу с утверждения, что для предотвращения глобальных катастроф (независимо от того, признаете ли вы глобальное потепление как факт и как один из источников угроз для выживания человечества) требуются скоординированные действия если не всех, то большинства жителей нашей планеты. «Люди стали взаимозависимы так, как не могли себе представить ни политические мыслители, ни экономисты, ни социальные теоретики даже сорок лет назад» (С. 3), поэтому нам придется пересмотреть множество ранее доминировавших социальных, экономических и политических теорий, которые стали «иллюзорными и обманчивыми, если не сказать гибельными, перед лицом новой реальности» (С. 4). Считая, что мы продолжаем жить в мире двух доминирующих установок — «сурового индивидуализма и правительственной координации», их нынешнее состояние автор характеризует как «тупик», «точку парализующей поляризации», поэтому человечество и нуждается «в ином образе мышления и действий» («демократии сотрудничества»), основанном на «идее солидарного действия всех со всеми ради благополучия людей и окружающей среды» (С. 5).

Если читатель не специализируется в политико-экономической проблематике, наиболее интересной для него будет обзорная первая часть книги, хотя полезные исторические факты о развитии кооперации вплетены в большую часть разделов, посвященных значимым аспектам современного кооперативизма в его авторской трактовке. Риттерманн начинает свое философичное политэкономическое эссе с уточнения, что мы продолжаем переживать конфликт индивидуализма и самодостаточности (глубокое недоверие «индивидуалистов» к правительству — как гаранту обогащения либеральной городской элиты) с одной стороны и своеобразной версии патернализма (обращения «статистов» к правительству с просьбой принять меры для преодоления глобальных кризисов и обеспечения коллективного действия) — с другой. «Обе стороны обвиняют друг друга в непоследовательности и лицемерии, что только усиливает враждебность, поляризацию и подпитывает теории заговора» (С. 8). Это противостояние исторически устойчиво по причине своего мировоззренческого характера, но принимает специфические формы в разных странах в силу их уникальных исторических и культурных траекторий, что автор и показывает на примере США, где «ни одна из парадигм экономической организации — ни дерегулятивная, ни административно-

государственная — не в состоянии добиться большинства голосов и, как следствие, не в состоянии справиться с надвигающимися кризисами; напротив, обе модели лишь служат финансовым интересам богатых и усиливают неравенство в американском обществе... не принося пользы подавляющему большинству американцев» (С. 18–19).

В качестве единственной альтернативы Риттерманн видит «другой путь, гораздо менее громкий, менее конфронтационный, менее агрессивный, фактически гораздо менее известный, в основном потому, что не требует убеждения большинства... и может процветать в небольших группах... его цель — повышение благосостояния всех заинтересованных сторон и улучшение состояния окружающей среды» (С. 22–23). Этот путь — кооперация (или — шире — сотрудничество), которая «работает в рамках существующих государственных структур и потому не требует демонтажа государства... предполагает самоопределение и является результатом большой индивидуальной инициативы, поэтому не противоречит идее свободы личности... Ее путеводные звезды — демократическое участие, самоопределение, справедливость в распределении и обязательствах, инклюзивность, солидарность, забота о благополучии всех заинтересованных сторон и окружающей среде» (С. 23–24). Столь широкий спектр возможностей/обязательств кооперации явно говорит о ее утопическом восприятии автором, однако нельзя не согласиться с тем, что кооперация действительно наблюдается во всех политических спектрах и сферах жизни (в страховой отрасли, фермерские и производственные, потребительские и торговые кооперативы с высоким уровнем выживаемости даже в очень сложных социально-экономических условиях, по крайней мере в рассматриваемом кейсе — США), причем может обосновываться как сугубо прагматическими задачами (поддержание традиционного образа жизни или сохранение местного сельского сообщества), так и крайне утопичными (создание «солидарной экономики»).

Утопичность воззрений Риттерманна прослеживается и в том, как он оценивает статистические данные о масштабах кооперации (хотя они могут скрывать реальное отсутствие кооперации за нужными правительству формальными показателями низовой экономической самоорганизации) — как «тихую революцию» (знаменующую наступление «эры демократии сотрудничества»), которая, с одной стороны, протекает на протяжении многих десятилетий, принимая самые разные формы, с другой стороны, затрагивает сегодня и новейшие социальные феномены, например, в США существует консорциум по платформенному кооперативизму, который продвигает платформенные кооперативы, основанные на гиг-работе, по всему миру. Фактически, перечисляя жизнеспособные формы кооперации в социальной и экономической сферах [см., напр.: 1; 3; 4; 6; 7; 11; 12], но забывая о том, что они хрупки и не всегда добиваются позитивных результатов [см.,

напр.: 2; 5; 8; 9; 10], Риттерманн призывает к идеалу, а не к практическому действию, что просматривается и в размытых формулировках его призывов: «настало время собрать и дистиллировать коэволюционную силу и поместить ее в центр политической, экономической и социальной парадигмы... настало время объединить, использовать и усугубить наиболее перспективные формы сотрудничества... для создания более крупного общества, основанного на совместной деятельности» (С. 38). Звучит прекрасно, но непонятно, о чем идет речь, потому что эмпирические «референты» социального идеала не ясны.

Видимо, понимая шаткость оснований своей «теории единства/солидарности/кооперации», Риттерманн вводит (по его мнению) смягчающий остроту ситуации термин — кооперизм, чтобы «показать, что формы сотрудничества представляют собой политический и экономический режим в отличие от капитализма или коммунизма» (С. 43). Данный термин призван отразить идею концентрированного сотрудничества как обладающего потенциалом превращения в реальную социальную силу, а также отразить широту политического, экономического и социального охвата сотрудничества. Однако одно понятие вряд ли может превратить утопическую идею в реальное руководство к действию (как планировал автор), поэтому Риттерманн вынужден постоянно обращаться к конкретным примерам и уточнять содержательное наполнение понятий, взаимосвязанных с кооперизмом в позитивном или негативном смысле, например, это капитал (преимущественно в финансово-экономическом, марксистском смысле).

Собственно уточнениям и убеждениям и посвящена основная часть книги, «дорожную карту» которой автор представил в первом разделе: сначала он показывает «вездесущность кооперации в современном мире» и «в максимально доступных терминах» раскрывает ее простоту (с точки зрения механизмов ее создания, поддержания и функционирования); далее переходит к разработке собственных версий политической, экономической и социальной теорий кооперизма «как концентрированной формы кооперации, которая переводит ценности и принципы кооперации в единый и последовательный политический, экономический и социальный режим» (С. 49); далее иллюстрирует и подтверждает свои теоретические построения многочисленными примерами из разных областей жизни — «от потребления, жилья, финансов до повседневной жизни и взаимной поддержки»; завершает книгу описанием предлагаемой экономической альтернативы тем доминирующим сегодня экономическим режимам, которые, по его мнению, ошибочно называются капитализмом и коммунизмом, обоснованием разработанной социальной альтернативы нынешней парадигме наказания, объяснением возможного развернутого ответа правым и левым критикам теории кооперирования и модельной структуры «демократии кооперизма/сотрудничества» (С. 50).

Читатель, не интересующийся деталями проектируемого Риттерманном прекрасного глобально-кооперативного будущего планеты, может остановиться на пятидесятой странице книги, поскольку в ее первом разделе суммированы все принципиальные концептуальные положения условной теории кооперации/солидарности, значимые для ее социологического изучения. Однако решение продолжить чтение обогатит категориальный аппарат, исторический кругозор и фактуальный багаж исследователя, интересующегося вопросами кооперации, причем он может выбрать наиболее полезный для собственных задач раздел. Так, в главе о вездесущности сотрудничества перечислены и снабжены многочисленными примерами разные форматы кооперации — локальный и международный, из крупных консорциумов и небольших групп, только зарождающийся и имеющий многовековую историю. Риттерманн делает акцент на «наиболее амбициозных попытках сотрудничества, направленных на создание так называемой “солидарной экономики”, в основе которой лежат понятия демократического принятия решений, инклюзивности, сотрудничества, взаимопомощи, социальной справедливости, равенства и разнообразия» (С. 59).

В главе о простоте сотрудничества (с чем бы поспорили отечественные исследователи кооперации, с трудом обнаруживающие ее проявления в современном российском обществе) Риттерманн сосредотачивается на «чрезвычайно простом создании механизмов, благоприятствующих сотрудничеству» (С. 112), пытаясь убедить (скорее безуспешно) читателя в том, что «методы кооперации так же просты, как методы кодирования капитала» (в книге часто встречаются настолько необщепринятые понятия, что возникают сомнения в правильности перевода) — «мы знаем, как кодировать кооперацию, вопрос не в знаниях и опыте, а в желании» (С. 113).

Классическую политическую теорию кооперизма Риттерманн реконструирует, исходя из трех традиционных обоснований сотрудничества — утопического (Р. Оуэн, Ш. Фурье и П.-Ж. Прудон) сепаратистско-самоопределяющегося (Э.Б. Дю Буа) и эволюционного (здесь в центре внимания оказался «русский эрудит П.А. Кропоткин»), каждый из которых описан как сочетание весьма убедительных аргументов (по крайней мере релевантных в научном и объективном контекстах своего времени) и очевидных ограничений. На этом фундаменте автор формулирует свою политическую теорию кооперизма, требуя «по-новому представить себе кооперацию в наше время — не утопически, не сепаратистски, не эволюционно и уж тем более не исключающе, а скорее инклюзивно и открыто» (С. 142). Задачи новой политической теории кооперизма — «распространить существующие формы сотрудничества на другие аспекты нашей жизни... и сконцентрировать сотрудничество... отдав преимущество и поощряя те его формы, которые приносят наибольшую пользу, объединяя их в интегрированную сеть сотрудничества» (С. 144).

Экономическую теорию кооперизма Риттерманн строит на ином концептуальном фундаменте: во-первых, речь идет о столь же интегрированной и скоординированной, как в политической сфере, но экономической системе, работающей на основе кооперирования (отбор, концентрация и усиление наиболее перспективных форм сотрудничества); во-вторых, эта «интегрированная, единая и целостная экономическая система способна вытеснить два доминирующих режима, определяющих новейшую историю (капитализм и коммунизм Риттерманн считает неправильными терминами, потому что оба опираются на воображаемые идеальные типы, обманчивые и чистые иллюзии, зачастую придуманные их критиками, и предлагает заменить оба термина понятием дирижизма, отражающим уровень государственного контроля в сфере распределения, что сразу подтверждает детальным описанием американского дирижизма в условиях пандемии коронавируса)... и предлагающих только одну альтернативу: исполнение сверху донизу экономических правил, выгодных либо богатым, либо партийной элите; кооперативизм — гораздо лучшая альтернатива, которая благоприятствует остальным людям» (С. 163). Риттерманн определяет его как «последовательную, сознательную, избранную форму концентрированной кооперации, основанную на совместной силе, которая служит лучшей моделью, экономическим режимом и альтернативной формой дирижистской экономики» (С. 194), уточняя, что «экономика кооперирования, опирающаяся на солидарную и экологическую экономики, преодолевает конкуренцию между кооперативными федералистами и индивидуалистами, поскольку все внимание сосредоточено на выигрыше: основных ценностях и принципах кооперации» (С. 198). Здесь текст теряет свою определенность, а читатель — нить повествования (вернее — понимание эмпирических «референтов» описываемого), что происходит на протяжении всей книги, как только автор переходит от конкретных исторических и современных примеров к описанию строительных блоков своей утопической концепции глобального человеческого сотрудничества.

Кооперизм как социальная теория — наиболее сложно воспринимаемая часть авторской концепции, поскольку уровень ее утопичности предельно высок: «создание более справедливого общественного порядка, основанного на равноправии граждан, справедливости, уважении и заботе о других и об окружающей среде»; «выход за рамки парадигмы карательного общества и создание нового общества»; «создание механизмов взаимной поддержки, которые позволяют людям процветать»; «забота о человеке с самого начала, а не инвестиции в него только через строительство тюрем и труд охранников» (С. 205). Эти характеристики тем более вызывают сомнения, что иллюстративные примеры здесь представлены преимущественно американскими реалиями.

Безусловно, книга Риттерманна заслуживает внимательного прочтения всеми исследователями низовой солидаризации, которая сегодня в российском обществе компенсирует множество социально-экономических ограничений, обеспечивая выживание местных сообществ, а не только экономическую самостоятельность или политическую успешность разным социальным акторам. Наиболее интересны два тематических «блока», в разной степени представленные в разделах книги: с одной стороны, это концептуально и фактуально фундированный призыв к изменению основ нашей жизни с рационально-прагматических на идеалистически-солидарные; с другой стороны, книгу можно воспринимать как справочное издание по историческим этапам развития кооперации, типам кооперативизма и принципам научного осмысления сотрудничества в разных исследовательски-дискурсивных и объективно-общественных контекстах.

Библиографический список

1. Божков О.Б. Троцук И.В. Постсоветский фермерский интернационал в сельском хозяйстве Северо-Западного региона // Крестьяноведение. 2020. Т. 5. № 4.
2. Бэнфилд Э. Моральные основы отсталого общества. М., 2019.
3. Крылатых Э.Н., Фролова Е.Ю. Потребительская кооперация и фермеры: взаимные интересы // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2019. № 2.
4. Максимов А.Ф. Количественный анализ и оценка численности сельскохозяйственных потребительских кооперативов // Прикладные экономические исследования. 2018. № 6.
5. Мюррей Д. Безумие толпы. Как мир сошел с ума от толерантности и попыток угодить всем. М., 2022.
6. Овчинцева Л.А. Метод кейс-стади в исследованиях российской сельской кооперации // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2020. Т. 20. № 3.
7. Сарайкин А.В., Янбых Р.Г. Классификация кооперативов и развитие сельскохозяйственной кооперации // АПК: экономика, управление. 2018. № 7.
8. Троцук И.В. Несправедливая справедливость, или как социальный активизм разрушает идеи равенства и «хорошего общества» // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2022. Т. 22. № 2.
9. Троцук И.В. Повседневный народный российский патриотизм: возможности и ограничения социологического исследования и типологизации // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2021. Т. 21. № 4.
10. Nikulin, A., Trotsuk, I. Political and apolitical dimensions of Russian rural development: Populism “from above” and narodnik small deeds “from below” // Politics and Policies of Rural Authenticity / Ed. by P. Pospěch, E.M. Fuglestad, E. Figueiredo. Routledge, 2022.
11. Sobolev A., Kurakin A., Pakhomov V., Trotsuk I. Cooperation in rural Russia: Past, present and future // Universe of Russia. Sociology. Ethnology. 2018. Vol. 27. No. 1.
12. Sovolev A., Kurakin A., Trotsuk I. Methodological approaches to the study of Russian cooperation and “Theory and practice of cooperation” as an academic discipline // Russian Peasant Studies. 2017. Vol. 2. No. 1.

DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-869-876

EDN: MOMMGQ

Strength and weakness of self-organization in its utopian-idealistic description*

R.R. Ishmukhametov

Education Development Institute of Republic of Bashkortostan,
Mingazheva St., 120, Ufa, Republic of Bashkortostan, 450005, Russia

(e-mail: rustish@list.ru)

Abstract. The article is a review of Johann Rittermann's book *The Power of Unity. Politics and Economics through the Lens of Cooperation* (Moscow: Publishing House "Picture of the World", 2025). In its abstract, the book is presented as "more than a theory — a guide to action for those who want to change the world around them", and such positioning could not but affect the "quality" of this "research on cooperation in a world of growing polarization and crises". Despite its numerous conceptual positions, historical reviews, discourse-analytical descriptions of economic and political realities, which are certainly useful for social researchers for conducting theoretical and empirical studies of grassroots solidarity, including in the contemporary Russian society, the book is still popular-scientific (lacks references even when citing specific authors) and even of positive-slogan character (calls for joint humanistic action).

Key words: cooperation; solidarity; political, economic and social theories of cooperativism; capitalism; communism

For citation: Ishmukhametov R.R. Strength and weakness of self-organization in its utopian-idealistic description. *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (4): 869–876. (In Russ.). <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-869-876>

*© R.R. Ishmukhametov, 2025

The article was submitted on 11.07.2025. The article was accepted on 14.10.2025.



DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-877-885

EDN: MNVQUM

Гуманистическая интерпретация городского пространства в постмодернизме*

Ф.Д. Поляков

Российский университет дружбы народов,
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия

(e-mail: dieuxph@mail.ru)

Аннотация. Статья представляет собой рецензию на книгу Ричарда Сеннета «Умо-зрение. Устройство и социальная жизнь городов» (М.: Новое литературное обозрение, 2024. 328 с.). В статье предпринята попытка определить место книги в интеллектуальном контексте социологии города конца XX века и показать, как Сеннет развивает гуманистическую линию урбанистики, переосмысляя ее через визуальную оптику. Отмечена значимость книги благодаря ее оригинальной ключевой идее о необходимости перехода от анализа структур и институтов к исследованию зрительных практик, форм видимости и моральных аспектов восприятия. В то же время подчеркивается метафоричность аргументации и ограниченность эмпирической базы рецензируемой книги, что сближает труд Сеннета с предметным полем и дискурсом философии культуры. Делается вывод, что книга представляет собой важный этап в эволюции постмодернистского подхода в концептуализации городской повседневности и в развитии социологической рефлексии о взгляде как форме социального взаимодействия.

Ключевые слова: социология города; социология пространства; визуальная социология; гуманистическая урбанистика; повседневные практики; философия культуры; постмодернизм

Для цитирования: Поляков Ф.Д. Гуманистическая интерпретация городского пространства в постмодернизме // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 4. С. 877–885. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-877-885>

Книга Ричарда Сеннета «Умо-зрение. Устройство и социальная жизнь городов» — это одна из тех редких работ, в которых город рассматривается не как совокупность зданий и улиц, а как форма мышления и способ восприятия мира. Название «The Conscience of the Eye» можно перевести как «совесть глаза», но гораздо ближе к содержанию книги использованный в русском издании не прямой перевод данного термина —

*© Поляков Ф.Д., 2025

Статья поступила в редакцию 15.05.2025. Статья принята к публикации 14.10.2025.

«умо-зрение» или «мыслящее зрение», поскольку Сеннет объясняет, как зрительное восприятие становится инструментом осмысления и самопонимания человека в городе. Он показывает, что архитектура и визуальные практики не просто отражают общество, но участвуют в его пространственном и моральном конструировании. Соответственно, город — это материальная форма мышления, а человеческое зрение — одновременно акт познания и самосознания [8]. Иными словами, рецензируемая книга не о морали в узком смысле и не об эстетике как вкусе, а о том, как человеческий ум учится видеть «через» форму и как эта форма влияет на структуру нашего сознания и восприятия.

Сеннет отмечает, что данная книга завершает его трилогию о городской культуре, начатую работой «Падение публичного человека» (1977) [5] и продолженную романом «Пале-Рояль» (1986) [13]. Если в первой книге Сеннет анализировал социальную природу публичности и ее упадок, а во второй размышлял о сложности жизни в современном городе, то в «Умо-зрении» он пытается объединить социальную критику и человеческие переживания, чтобы связать «вопросы архитектуры, городского планирования, скульптуры в общественных пространствах и сцены, которые в этих пространствах происходят, в их соотношении с культурной жизнью» [6. С. 10]. Однако интеллектуальные корни завершающей книги цикла можно обнаружить еще в 1970 году, когда вышла работа «Польза беспорядка» [14], где Сеннет впервые поставил вопрос о вреде чрезмерного порядка в городской среде и о том, как архитектура может подавлять спонтанность социальных взаимодействий.

Следует отметить, что на русский язык книга Сеннета была переведена достаточно поздно относительно своего первого издания в 1990 году — эпоху кризиса модернистских утопий и дебатов о конце публичного пространства (см., напр.: [1; 11]). Модернизм, обещавший всем нам жизнь в рациональном и справедливом городе, создал вместо него гомогенное и эмоционально бедное пространство, где человек испытывает скорее изоляцию, чем свободу. Сеннет видит в этом не архитектурный, а антропологический кризис — утрату способности видеть другого и принимать различия, и именно этот кризис он пытается осмыслить.

Книга разделена на четыре части и девять глав, которые реконструируют путь от страха к искусству «открытости», от попыток защититься от мира — к умению быть в нем, от внутреннего — к внешнему, от дома — к улице, от нейтральности — к сочувствию. Каждая часть книги представляет собой не просто исторический обзор или эстетический анализ, а философско-социологическое размышление о том, как формы видимого влияют на формы общественного и личного бытия. В этом плане работа Сеннета тематически и идейно сближается с концепциями экономики знаков и пространства С. Лэша и Дж. Урри [12] символической экономики Ш. Зукки [3].

Первая часть книги «Тени внутри» задает теоретическую основу исследования, определяя зрение не просто как способ восприятия, а как сложный инструмент социальной организации. Автор представляет читателю генеалогию «страха открытости» (*fear of exposure*) и объясняет культурное формирование границы между внутренним и внешним, утверждая, что в совокупности они породили архитектурные формы современного социального (городского) отчуждения. Свой анализ Сеннет начинает с устройства античных городов: жизнь древних греков и ветхозаветных людей не делилась на духовную и мирскую, поскольку их постоянно окружали посланные богами бедствия или знамения. Эта картина принципиальным образом отличается от мировоззрения раннего христианства, в котором формируется представление о едином Боге и непроницаемом внутреннем мире. Такое изменение описывает не только поле теологического, но и модель пространства, где внутреннее понимается как спасенное, а внешнее — как опасное. Взяв за основу трактат Августина, Сеннет резюмирует: «начиная с этого момента наша цивилизация старалась преодолевать духовную неукорененность не только вербально, но и визуально» [6. С. 14]. Так, в средневековом городе церковь, расположенная в центре и отчетливо выделяющаяся среди хаотических улиц, воссоздает дихотомию сакрального и профанного: порог церкви стирает социальные различия и одновременно закрепляет дистанцию; храм интерпретируется как «убежище» от городской неопределенности. С развитием протестантизма и промышленной революции эта дистанция усиливается, приобретая бытовой (повседневный) характер [6. С. 33–34]: религиозная метафора убежища превращается в буржуазный идеал дома, в котором возникает и гендерное разделение пространства: женщина хранит внутренний мир, а мужчина принадлежит улице (миру внешнему).

Тот же принцип разделения Сеннет обнаруживает в пространствах власти современных городов: он используется в архитектуре элитарных клубов и административных зданий, но теперь за счет их «пустоты», внешней понятности, четких линий и геометрической симметрии. Идея убежища эволюционирует в стратегию нейтрализации — протестантская этика внутреннего контроля превращает внешнее пространство в стерильное «нигде». На примере «решетки» (модели застройки) Манхэттена Сеннет показывает, что планировка теперь обусловлена не только инженерной рациональностью, но и формой социального порядка, стирающей индивидуальность и историю: «решетка используется и сейчас как способ сделать окружающую среду нейтральной — это протестантский символ нейтрального города» [6. С. 64]. Городская пространственная решетка напоминает веберовскую «железную клетку», где рациональность служит контролю: отсутствие центра, одинаковые кварталы и вертикаль-

ная геометрия небоскребов создают город без свойств, где нейтральность превращается в форму власти.

Таким образом, первая часть книги позволяет вписать анализ города в более широкий социологический дискурс о пространстве как продукте социальных отношений. Генеалогия страха открытости — это, по сути, вариация идеи А. Лефевра о том, что пространство не предшествует обществу, а создается им и отражает его противоречия [4], или же теоретических построений социологии пространства П. Бурдьё [2]. Однако Сеннет выходит за рамки структурных и экономических интерпретаций городского пространства, предлагая рассматривать город через оптику чувственного и морального опыта. Его критика урбанистического рационализма оригинальна тем, что соединяет анализ архитектуры, этические соображения и особенности восприятия, дополняя их гуманистической перспективой с позиции наблюдателя.

Вторая часть книги «Глаз ищет единства» продолжает реконструировать историческую логику эволюции городов, но переносит акцент со страха открытости на стремление к гармонии и целостности, которые становятся новой формой социальной изоляции. Согласно Сеннету, XVIII век формирует образ рационального наблюдателя, для которого внутренний мир выступает как своего рода «окно» во внешний: «гений Просвещения по-настоящему проявился в тех изобретениях, которые стремились объединять, а не разделять» [б. С. 97]. В качестве примера Сеннет приводит изобретения «аха» — скрытого рва, создающего иллюзию непрерывного ландшафта. Эта иллюзия становится метафорой рационального обмана, в котором человек наслаждается не природой, а контролем над ней. Иллюзия непрерывности и прозрачности выражают принципы новой морали, допускающей свободу только как видимый порядок. Так, еще одно изобретение эпохи Просвещения — это этикет: по сути, вежливость выполняет дисциплинирующую функцию, скрывая различия и позволяя общаться, невзирая на идентичность, но исключая глубину взаимодействия, т.е. это искусство общения без участия в нем, новая форма социальной дистанции под маской вежливости.

В этом контексте Сеннет различает цивилизацию и культуру: первая основана на внешней вежливости, вторая требует внутренней работы. Исторически города «считались местами, более подходящими цивилизации, нежели культуре» [б. С. 117], — фасады городских зданий становятся визуальной метафорой вежливости, симметрия заменяет подлинную интеграцию, а знаменитые площади Просвещения создают зрительный порядок, не обеспечивая человеческого единства. Архитектура Просвещения не только эстетизирует порядок, но и превращает его в норму поведения. Кульминацией этой логики становится модернистская архитектура XX века: герметичные и прозрачные стеклянные здания соз-

дают видимость открытости, которая заменяет реальное социальное взаимодействие горожан [6. С. 145–146]. В результате возникает прозрачность без открытости — чем совершеннее форма, тем сильнее отчуждение ее обитателей: в небоскребах и офисах человек видит мир, но не вступает с ним в контакт, и визуальная доступность становится социальной изоляцией. Здесь веберовская «железная клетка» получает реальное воплощение — в стеклянной коробке, где человек видит все, но не может соприкоснуться ни с чем из увиденного.

Иными словами, во второй части книги Сеннет развивает методологический тезис о том, что пространственные формы городской организации жизни — это не только выражение эстетических идеалов, но и инструменты социальной дисциплины. Идея целостности, возникшая в эпоху Просвещения, превращается в технологию исключения, в архитектуру, которая создает одиночество под видом единства. Такая позиция сближает концепцию Сеннета с идеей «дисциплинарного пространства» М. Фуко, в котором власть действует через организацию взгляда и превращает открытое пространство в форму надзора [10]. Сеннет дополняет эту оптику моральным измерением, поскольку дисциплина зрения для него — не только политическая, но и этическая проблема, поэтому Фуко исследует власть, действующую через тело, а Сеннет обращается к власти, встроенной в чувства.

В третьей части книги «Человечный город» Сеннет переходит от критики рационализированного и изолирующего пространства к поиску способов вернуть городу человеческое измерение, сосредоточившись на «искусстве открытости» (*art of exposure*) — принятии неопределенности и взаимодействии с инаковостью без их подавления. Открытость трактуется не как уязвимость, а как форма присутствия: «связь между зрительным и социальным ярче всего обозначается в переживании границ; тем не менее, речь не идет об этосе слабости» [6. С. 267]. Хотя по логике Сеннета страх открытости и идеал прозрачности породили нейтральную среду города, теперь он стремится понять и показать, как город может объединять людей через их различия. Пытаясь объяснить возможность и истоки взаимности при множестве различий, Сеннет обращается к двум конструкциям — «эмигранта» у Х. Арендт и «чужака» у Дж. Болдуина [6. С. 181, 194]. Эмигрант становится образом «нового горожанина», который говорит не от имени идентичности, а в ответ на ситуацию. Чужак уже находится внутри сообщества, но остается в нем ни на кого не похожим, поэтому напоминает обществу о его границах и удерживает его открытым.

Таким образом, «между» рациональной дистанцией и эмоциональной вовлеченностью Сеннет видит гуманистический идеал общения, основанный на соединении обезличенности и эмпатии, и пространственное выражение этого идеала. Сеннет противопоставляет два типа городского

опыта — «изобретение» (*invention*) и «открытие» (*discovery*) как связанные, соответственно, с рациональным замыслом и случайностью: «если попробовать найти паре “изобретение–открытие” градостроительную аналогию, то это будут улицы, созданные в рамках плана, и улицы, возникшие стихийно» [6. С. 198]. Сеннет приводит в качестве примера градостроителей Возрождения, перспектива планировки которых заставляла взгляд переходить от одной точки к другой, порождая у горожанина чувство поиска и напоминая ему об ограниченности любой позиции. Этот эффект встречается и в современном городе — Сеннет рассматривает 14-ю улицу Нью-Йорка, показывая подлинную уличную жизнь, которая возникает там, где порядок встречается с хаосом.

Продолжая эту мысль, Сеннет обращается к проблеме времени и показывает, что современный город утратил связь с прошлым, стремясь к вечной новизне, и потому лишился настоящего. Модернизм, будь то утопии Ле Корбюзье или ностальгия архитекторов по старым формам, неизменно отрицает временность, просто утопии скорее стирают ее следы, а ностальгия заставляет их механически их копировать. Сеннет противопоставляет модернизму творчество художника Ф. Леже, видя в его искусстве уважение к фрагментам и следам, хранящим отпечатки использования. Тем самым настоящее соединяется с прожитым [6. 229–230], и появляется понятие «нарративного пространства», которое не замораживает время, а впускает его.

В третьей части книги размышления Сеннета о «человеческом городе» во много пересекаются с исследованиями повседневности, которые активно развивались во второй половине XX века. Однако, например, в отличие от М. де Серто [7] и Д. Харви [11], которые рассматривали повседневные практики через телесность, движения и пространство, Сеннет задает этим практикам зрительное измерение. Его «искусство открытости» — это, прежде всего, способность видеть различия и сосуществовать с ними, а не растворять их в анонимности потока.

Четвертая часть книги «Искусство открытости» — философский итог исследования. Если ранее Сеннет рассматривал город как пространство страха, контроля и рационализированной изоляции, то теперь ищет способы вернуть архитектуре и человеку способность быть открытыми миру. В центре внимания оказывается идея «искусства открытых форм» — допускающих изменение, несовершенство и соучастие. Такие формы Сеннет противопоставляет модернистскому стремлению к завершенности по аналогии с «противопоставлением мирского и священного» [6. С. 267]. На смену неподвижной цельности приходит принцип «мутации» — постепенного смешения и адаптации (в уличном искусстве, граффити, временных инсталляциях, архитектуре, оставляющей следы человеческого присутствия). Эти практики возвращают городу способность быть видимым

и чувственным, пробуждая внимание и эмпатию [6. С. 275–276]. Даже в самых кратких визуальных жестах, вроде парижского рисунка на стене или нью-йоркского «тега», Сеннет видит открытость как умение замечать другого и интерпретирует искусство модернизма и деконструктивизма как попытку превратить форму в процесс. Для него это новый тип этики, основанный на отказе от господства над материалом и готовности взаимодействовать с ним.

В заключение Сеннет обращается к античному понятию «*sophrosyne*», означающему чувства меры и самообладания [6. С. 310], и противопоставляет этот идеал христианской интровертности и модернистской безмерности. Примеры искомой идеальной гармонии он находит в творчестве М. Ротко и Дж. Баланчина. В часовне Ротко (Rothko Chapel в городе Хьюстон в штате Техас, США), интерьер которой служит культовым задачам и одновременно выступает произведением современного искусства, свет колеблется между присутствием и пустотой, а балеты Баланчина (особый тип бессюжетных постановок, в которых главное — не содержание и переживание героев, а танцевальные образы, стилистически соответствующие музыке) показывают движение как своего рода дисциплину, живущую изменением. По мнению Сеннета, в такой же логике должен формироваться и развиваться современный гуманный город, в котором устойчивость связана не с завершенностью, а со способностью к постоянной трансформации.

Таким образом, в рецензируемой книге Сеннет предстает не только как культурный теоретик и историк архитектуры, но и как философ и социолог, стремящийся переосмыслить город через зрение как особую форму социального опыта, где соединяются телесное, моральное и эстетическое. Предлагаемая оригинальная оптика восприятия городского пространства помогает понять, как архитектура и порядок видимости формируют модели общественных отношений, т.е. развивает социологическое воображение применительно к городу как объекту анализа.

Безусловно, сильная сторона книги — концептуализация познающего взгляда: Сеннет убедительно обосновывает свою трактовку истории архитектуры как историю социальных эмоций — от страха раскрытия до поиска открытости, т.е. заявленная в названии книги идея умо-зрения сближает визуальность с этикой. Город у Сеннета становится сценой взаимности, где форма конституирует, поддерживает и продолжает отношения. Тем самым Сеннет развивает традицию, оформленную в рамках социологической версии постмодернизма, но переносит акцент с объективного на визуальное и чувственное измерение общественной жизни в ее городском выражении. Однако этот визуально-гуманистический ракурс является и слабостью книги. Сеннет приводит огромное множество примеров в подтверждение своих концептуальных построений — от ан-

тичной архитектуры до модернистских небоскребов, от классической живописи до уличных граффити, но его анализ все равно остается скорее философским, чем эмпирическим — город остается больше метафорой (набором интересных зарисовок), чем полноценным объектом исследования: художественные и архитектурные образы скорее претендуют на роль аргументов, чем действительно подтверждают авторские высказывания, поскольку за визуальными отсылками не стоит или теряется социологическая конкретность, а связность примеров обосновывается интуициями, а не эмпирическими подтверждениями.

Тем не менее, нельзя не признать ценность рецензируемой книги для развития предметного поля, категориального аппарата и теоретико-методологического фундамента социологии города, пусть эта ценность и состоит не столько в фактической доказательности, сколько в концептуальной смелости. Сеннет предлагает понимать город как оптическую мораль, как пространство, в котором форма и восприятие формируют и закрепляют наше поведение. Сеннет вводит визуальное измерение в социологию повседневности в контексте социологии города и показывает, что видеть — означает быть вовлеченным, и взгляд может стать актом участия (что особенно актуально для современных мегаполисов и огромных городских агломераций), благодаря чему книга возвращает урбанистике (в ее социологической версии) гуманистическую глубину, заставляя концептуально и эмпирически задаваться вопросом, как именно нынешнее городское пространство учит нас «видеть» друг друга.

Библиографический список

1. Бауман З. *Текущая современность*. СПб., 2008.
2. Бурдые П. *Социология социального пространства*. СПб., 2007.
3. Зукин Ш. *Культуры городов*. М., 2016.
4. Лефевр А. *Производство пространства*. М., 2015.
5. Сеннет Р. *Падение публичного человека*. М., 2002.
6. Сеннет Р. *Умо-зрение: устройство и социальная жизнь городов*. М., 2024.
7. Серто М. *Изобретение повседневности*. 1. *Искусство делать*. СПб., 2013.
8. Троцук И. Нарративность визуального, или о пользе несоциологического чтения // *Социологическое обозрение*. 2014. Т. 13. № 1.
9. Троцук И.В. Справедливость как критерий оценки «качества» городского пространства (и счастья его жителей) // *Вестник РУДН. Серия: Социология*. 2020. Т. 20. № 3.
10. Фуко М. *Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы*. М., 1999.
11. Харви Д. *Социальная справедливость и город*. М., 2018.
12. Lash S., Urry J. *Economies of Signs and Space*. L., 1994.
13. Sennett R. *Palais Royal. A Novel*. N.Y., 1994.
14. Sennett R. *The Uses of Disorder: Personal Identity & City Life*. N.Y., 1970.

DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-877-885

EDN: MNVQUM

Humanistic interpretation of urban space in postmodernism*

F.D. Polyakov

RUDN University,
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia

(e-mail: dieuxph@mail.ru)

Abstract. The article is a review of Richard Sennett's *The Conscience of the Eye: The Design and Social Life of Cities* (Moscow: New Literary Observer, 2024. 328 p.), which aims at identifying the place of Sennett's book in the intellectual context of urban sociology in the late 20th century and showing how Sennett develops the humanistic line of urban studies by rethinking this line through the visual approach. The author emphasizes the significance of the book due to its original central idea — a shift from the analysis of structures and institutions to the study of visual practices, forms of visibility, and moral aspects of perception. At the same time, the author notes the metaphorical nature of Sennett's argumentation and the limited empirical basis of his research as close to philosophy of culture. However, the book is presented in the article as an important stage in the evolution of a postmodernist approach to the study of urban everyday life and a sociological reflection on visibility as a form of social interaction.

Key words: urban sociology; sociology of space; visual sociology; humanistic urban studies; everyday practices; philosophy of culture; postmodernism

For citation: Polyakov F.D. Humanistic interpretation of urban space in postmodernism. *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (4): 877–885. (In Russ.). <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-877-885>

*© F.D. Polyakov, 2025

The article was submitted on 15.05.2025. The article was accepted on 14.10.2025.



DOI: 10.22363/2313-2272-2025-25-4-886-892

EDN: MNKIWK

Краткий глоссарий для постановки диагноза цифровой эпохе*

А.В. Нименский, А.Д. Герасимов

Российский университет дружбы народов,
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия

(e-mail: 1142220897@rudn.ru; 1132210569@rudn.ru)

Аннотация. Статья представляет собой рецензию на книгу Бен-Чхоль Хана «Инфократия. Истина и свобода в цифровую эпоху» (Пер. с нем. С.О. Мухамеджанова. М.: Изд-во АСТ, 2025. 160 с.). Согласно аннотации, в этом «лаконичном, концептуально насыщенном эссе» автор «исследует трансформацию демократии в условиях цифровой эпохи, где информация, а не идеология или экономика становится главным инструментом власти» (С. 4). Можно не соглашаться со столь радикальным разведением информации — с одной стороны и идеологии и экономики — с другой (все же информация предполагает идеологическую составляющую, а ее распространение требует экономических вложений), но нельзя не признать, что книга предлагает читателю краткий глоссарий (систему понятий для аналитической работы) для «диагностики» нынешней цифровой эпохи. Авторский «диагноз» неутошитель, но читатель может с ним аргументированно не согласиться, используя авторский категориальный аппарат в своей «диагностике».

Ключевые слова: информация; цифровая эпоха; информационный режим; информационное общество; цифровая рациональность; коммуникативная деятельность; инфократия

Для цитирования: Нименский А.В., Герасимов А.Д. Краткий глоссарий для постановки диагноза цифровой эпохе // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 4. С. 886–892. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-886-892>

Научные оценки нынешней цифровой эпохи противоречивы, поскольку опираются на разнообразные критерии, ссылаются на многочисленные несочетающиеся концептуальные модели и апеллируют к разноформатным данным, что не могло не отразиться на «типах» дискурсивных описаний современного общества. С одной стороны, появляются работы скорее исторического, констатирующего характера. Например, в книге С. Робертсона представлена последовательная смена информационных технологий в истории человечества: «цифровая эра, коренным образом изменившая наше повседневное восприятие мира... не была единственным переломным момен-

*© Нименский А.В., Герасимов А.Д., 2025

Статья поступила 05.07.2025 г. Статья принята к публикации 14.10.2025 г.

том в этом процессе... ей предшествовала... целая история революционных моментов в развитии информационных технологий» [6. С. 4]. В частности, «вслед за первоначальной революцией, состоявшей в изобретении письменности, два революционных и совершенно не очевидных изобретения — алфавит и арабская система счисления — стали двумя краеугольными камнями развивающейся информационной технологии. Их влияние, абсолютно невообразимое для их прародителей, будет ощущаться на протяжении столетий — они подарят нам идеи и позволят мыслить о вещах, которые в ином случае были бы попросту недоступны нашему пониманию» [6. С. 30].

В аналогичном ключе Робертсон характеризует все последующие шаги (по созданию систематических коммуникаций) на пути к нашей цифровой эпохе, на котором старые медиа не столько умирали, сколько радикально трансформировались с технологической точки зрения: мы продолжаем «писать письма», причем значительно чаще, чем в прежние эпохи, но делаем это с использованием новых технических средств; бумажные «базы данных» прошлого сменились своими цифровыми аналогами, что расширило возможности не только хранения информации как таковой, но и разных ее составляющих — визуальных, звуковых и пр. Как справедливо отмечено в аннотации, книга не требует от читателя специальных знаний, чтобы понять, как и почему в своем историческом «путешествии» мы собрали и донесли до современности огромное множество самых разных вещей — знаний, концепций, изобретений, способов мышления и деятельности, идей, методов и техник» [6. С. 187]. Нетребовательность к читателю — характерная особенность данного «типа» изданий.

С другой стороны, второй условный «тип» работ, представленный книгой Бен-Чхоль Хана, весьма требователен к своему читателю: автор не просто использует множество сложных категорий, но весьма творчески с ними обращается, предлагая различные их вариации (не всегда ожидаемые). На помощь заинтересованному, но недостаточно подготовленному читателю приходит научный редактор серии изданных на русском языке книг Хана — А.В. Павлов, предваривший данную работу вводной частью (ее сложно назвать введением или предисловием) с весьма говорящим названием «Коммуницировать до смерти». Сначала здесь уточнен «академический статус» Хана и реконструирована хронология его научных поисков, в некоторой степени завершившихся данным философским эссе: «В 2013 году Хан, будучи пророком актуальных социальных проблем, сместил фокус своего анализа с общества как такового на цифровую коммуникацию... в его творчестве постоянно возрастал интерес к тому, как медиа и технологии влияют на человеческое восприятие и взаимодействие, а также к тому, как динамика между технологиями и сознанием организует реальность... в этой книге философ предстает перед нами в новом амплуа... если предшествующие работы Хана философские и в каждой из них свой акцент (эстетика, онтология, политическая и социальная философия и пр.)... то это полноценная работа по философии медиа» (С. 11–13).

Далее редактор суммирует основные положения книги и используемый в ней категориальный аппарат (конец коммуникативного действия, цифровая рациональность, цифровая демократия и т.д.): сегодня информация (а не средства производства, как в индустриальных обществах) управляет поведением людей, поэтому режим существования современного общества — информационный (эксплуатируется коммуникация, а не люди) и психополитический, а не, скажем, биополитический. Хан критикует М. Фуко за то, что тот не заметил наступления информационного режима, сопоставляя два режима — биополитика опирается на демографическую информацию, психополитика — на психографическую и потому предполагает иллюзию свободы (даже в интернете мы не предоставлены сами себе, а включены в систему жесткого информационного надзора (см., [2]). Воплощение информационного режима — инфократия как своего рода глобальное проявление обозначенных другими авторами более «локальных» тенденций, например, счастьекратии [см., напр.: 4] или «негативных отношений» (см., напр.: [3; 7]): «все более усложняющаяся социальная жизнь (и также внутренняя жизнь индивидов) порождает все новые феномены и новые виды власти (-кратии), которые требуют своего языка описания)» (С. 17).

Опираясь на известные социальные концепции, например, «пересказывая наиболее яркие мысли Н. Постмана» (С. 20), уточняя положения теории Ю. Хабермаса и Х. Арендт, ссылаясь на концепцию «стены фильтров» Э. Паризера, Хан создает свою систему категорий и оценок: «смартфон — новый медиум подчинения» (С. 60); в цифровом мире «коммуникативная деятельность закончилась» (или находится в кризисе), потому что «цифровые племена ориентируются на идентичность и принадлежность, а не на знания»; инфократия — «цифровая постдемократия» (власть идеологии заменили программисты с большими данными); главный субъект инфократии — датаисты (противники коммуникативной деятельности и фанаты информации); место политического дискурса в принятии важных для всего общества решений заняли большие данные и искусственный интеллект, место коммуникативной рациональности — рациональность цифровая, место коммуникативной деятельности — рациональность больших данных; оторванная от реальности информация превращается в пространство цифровой гиперреальности — фактичность нормального дискурса исчезает, а вместе с ней и наш «общий мир». Итог, с грустью констатируемый Ханом, — проигравшая истина (нарративна и потому переживает кризис под натиском теорий заговора и микронарративов), победившая информация («порождает кучу бессмысленного мусора») и человек, «превратившийся в убогий набор данных» (С. 114).

Пессимистичное эссе Хана реконструировано во вводной части книги предельно полно, поэтому, ознакомившийся с ней, незаинтересованный читатель может завершить знакомство с книгой, а заинтересованный продолжит чтение, чтобы «услышать» авторский голос и аргументацию, ознакомиться

с подтверждающими авторские утверждения примерами (Д. Трамп занимает здесь особое место) и реконструировать глоссарий книги, куда Хан, кстати, часто вводит весьма оценочные суждения:

- Информационный режим — «такая форма господства, при которой информация и ее переработка посредством алгоритмов и искусственного интеллекта существенно определяют социальные, экономические и политические процессы (в противоположность дисциплинарному режиму, эксплуатации подвергаются не тела и энергия, но информация и данные)», и «которая стыкуется с информационным капитализмом, превращая его в надзорный капитализм, а людей — в потребительский скот и набор данных» (С. 29), тогда как в дисциплинарном режиме капитализма (биополитике) люди — «послушные тела» и «выдрессированный рабочий скот» (С. 30).

- Топологические принципы информационного режима — прерывность вместо непрерывности и открытость вместо заключения: надзор осуществляется не посредством изоляции, а благодаря бесконечному производству данных и интенсивной коммуникации, вследствие чего «свобода и надзор становятся одним целым» (мы сами стремимся к максимальной «видимости»). Информационное общество транспарентно (С. 37): информация циркулирует свободно, а люди — узники транспарентной цифровой тюрьмы.

- Господство информационного режима незаметно, потому что он сливается с повседневностью под предлогом удобства — «прячется за услужливостью социальных сетей, удобством поисковиков, убаюкивающим звучанием голосовых помощников и любезной предусмотрительностью умных приложений... в цифровой тюрьме, поданной как комфорт, исчезает всякое сопротивление господствующему режиму. Лайк исключает любую революцию» (С. 39–40). Неолиберальные техники власти информационного капитализма работают не через принуждение и запрет, а через положительное стимулирование — «эксплуатируют свободу, а не подавляют ее». «Репрессивная власть дисциплины уступает место власти, которая не приказывает, а нашептывает, не раздает команды, а подталкивает... Надзор и наказание... фукольдianского дисциплинарного режима уступают место мотивированию и оптимизации... Господство выдает себя за свободу, коммуникацию и сообщество» (С. 40).

- Датаизм — одержимость данными, которая придает информационному режиму тоталитарные черты (претензия на тотальное знание через алгоритмические операции), но это «тоталитаризм без идеологии».

- Медиакратия — это «театроκραтия: политика исчерпывает себя медийными инсценировками» (апогей — когда актер становится президентом) (С. 56). «Медиакратия низводит предвыборную кампанию до войны инсценировок в масс-медиа: дискурс заменяется шоу... телевидение функционирует как политическая трибуна. При инфократии, напротив, предвыборная кампания вырождается до информационной войны... социальные сети — это не медиакратическая трибуна, а инфократическая арена» (С. 69), а мемы — «медий-

ные вирусы в Сети», т.е. коммуникация на основе мемов «заразительна как вирус и препятствует рациональному дискурсу, так как в первую очередь мобилизует аффект» (С. 73).

- Цифровая демократия — демократия присутствия в реальном времени: «смартфон становится мобильным парламентом, а дебаты ведутся круглосуточно», однако порождаемые такой демократией «цифровые стаи — это не ответственный и политически активный коллектив... а потребительский скот, деполитизированный... Смартфон ускоряет распад публичной сферы, потому что беспрепятственно выставляет напоказ личное... скорее ж он производит потребляющих и коммуницирующих зомби, чем зрелых граждан» (С. 79).

- Трайбализм сегодняшнего дня: сетевые/цифровые племена — результат дефактизации и рефактизации жизненного мира, т.е. создания внутрисетевых пространств без общественного опыта и опыта идентичности (С. 89), на основе не нарративных, а абсолютных притязаний на правоту. Сетевые племена замыкаются в себе, крайне избирательны в потреблении информации в интересах своей политики идентичности, игнорируют все, что противоречит их убеждениям, отклоняют любой дискурс и диалог. «Цифровая коммуникация как коммуникация без общности разрушает политику слышания» (С. 94).

- Цифровая рациональность — та, что обходится без коммуникативной деятельности: большие данные и искусственный интеллект датаисты считают функциональным эквивалентом распадающейся сегодня публичной сферы — «дискурс заменяется данными» (С. 99), а люди — социометриками, и «майнинг реальности при помощи цифровых сенсоров делает все общество вычислимым и контролируемым» (С. 111), но «человек растворяется, превращаясь в убогий набор данных» (С. 114).

- Новый нигилизм — результат «распада дискурса до информации (центробежная внутренняя логика, аддитивность и кумулятивность), что ведет к кризису демократии» и истины (центростремительная сила, которая спланирует общество, нарративная и эксклюзивная). В результате «значение утрачивает само различие между истиной и ложью» (С. 120) — мы живем не в мире лжи, а в мире *fake news*, которые «нападают на саму фактичность, дефактицируют истину» (С. 121), поэтому сегодня мы прекрасно информированы о самых разных вещах, но при этом совершенно дезориентированы. Идея истины связана с тем, могут ли притязания на достоверность выдержать контраргументы и быть признаны всеми потенциальными участниками дискурса, но нынешний нарративный кризис ведет нас к смысловой пустоте и кризису идентичности. В этом причина устойчивости и популярности теорий заговора [см., напр.: 1; 8; 10] — в них можно почерпнуть идентичность и смысл, несмотря на свой выдуманный характер, они выступают основой восприятия действительности: выдуманность превращается в фактичность, но не истинного положения дел, а нарративной когерентности.

• «Сегодня философия распростилась с правдивой речью, с заботой об истине... отворачивается от настоящего, а потому у нее нет будущего» (С. 141–142). Мы же стали «узниками цифровой пещеры, хотя мним себя свободными, но прикованы к цифровому экрану» (С. 143). «Истина обладает бытийной устойчивостью, в цифровом порядке на ее место приходит текучесть информации... В тоталитарном государстве, основанном на тотальной лжи, правдивая речь — это революционный акт... Напротив, в постфактическом информационном обществе пафос истины совершенно растворяется в пустоте... теряется в шуме информационного потока. Истина распадается до информационной пыли, которую развеивает цифровой ветер» (С. 144).

К счастью, эта дистопичная и потому пессимистичная картина непрерывного и несветлого будущего вряд ли способна вогнать даже самого впечатлительного читателя в депрессивное состояние — она построена на слишком сильных и слишком широкомасштабных обобщениях в отношении реалий, которые крайне неравномерно распределены даже в пределах конкретных стран. Сложно опасаться наступления эпохи полной инфократии в ситуации постоянно возрастающего цифрового разрыва (см., напр.: [5; 9; 11]), который, в свою очередь, определяется серьезным уровнем социального неравенства, в том числе с точки зрения доступа к тем технологиям, благодаря которым мы сегодня в принципе говорим о цифровом обществе и постепенно захватывающей его инфократии.

Библиографический список

1. *Ариели Д.* Время заблуждений: почему умные люди поддаются фальсификациям, распространяют слухи и верят в теории заговора. М., 2024.
2. *Зубофф Ш.* Эпоха надзорного капитализма. Битва за человеческое будущее на новых рубежах власти. М., 2022.
3. *Иллуз Е.* Почему любовь уходит? Социология негативных отношений. М., 2024.
4. *Иллуз Е., Кабанас Э.* Фабрика счастливых граждан: как индустрия счастья контролирует нашу жизнь. М., 2023.
5. *Ричи С.* Наукообразная чушь. Разоблачение мошенничества, предвзятости, недобросовестности и хайпа в науке. М., 2024.
6. *Робертсон С.* До компьютеров: об информационных технологиях от письменности до эпохи цифровых данных. М., 2025.
7. *Троцук И.В.* (Не) любовь и другие последствия (не) свобод и (не) выбора в эпоху «эмоционального (пост) модерна (что бы таковой ни значил) // Социологическое обозрение. 2025. Т. 24. № 3.
8. *Троцук И.В.* Плоская земля: от живучего мифа к научной метафоре // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2025. Т. 25. № 2.
9. *O'Neill C.* Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. New York, 2016.
10. *Trotsuk I.* Eschatological conspiracy theories: Models and ways for identifying apocalyptic semantics and syntax // Russian Sociological Review. 2023. Vol. 22. No. 4.
11. *Trotsuk I.V.* All power to the experts? Contradictions of the information society as both depending on and devaluating expertise // Russian Sociological Review. 2021. Vol. 20. No. 1.

A short glossary for diagnosing the digital age*

A.V. Nimensky, A.D. Gerasimov

RUDN University,

Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia

(e-mail: 1142220897@rudn.ru; 1132210569@rudn.ru)

Abstract. The article is a review of Byung-Chul Han's *Infocracy: Digitalization and the Crisis of Democracy* (translated from German by S.O. Mukhamedzhanova, Moscow: AST Publishing House, 2025. 160 p.). According to the annotation, this is a "laconic, conceptually rich essay" in which the author "examines the transformation of democracy in the digital age — when information, not ideology or economics, becomes the main instrument of power" (P. 4). One may disagree with the author's radical separation of information, on the one hand, and ideology and economics, on the other (after all, information presupposes an ideological component, and its dissemination requires economic investments), but one cannot help but admit that the book offers the reader a brief glossary (a system of concepts for analytical work) for "diagnosing" the current digital age from. The author's "diagnosis" is disappointing, but the reader can argue with it based on the author's categorical apparatus in his own "diagnosis".

Key words: information; digital age; information regime; information society; digital rationality; communication activities; infocracy

For citation: Nimensky A.V., Gerasimov A.D. A short glossary for diagnosing the digital age. *RUDN Journal of Sociology*. 2025; 25 (4): 886–892. (In Russ.). <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2025-25-4-886-892>



МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ ГОРШКОВ
(29.12.1950– 24.11.2025)

Социологическая наука понесла тяжелейшую утрату — на 75 году ушел из жизни крупнейший российский ученый и организатор науки, директор Института социологии ФНИСЦ РАН, академик РАН Михаил Константинович Горшков. Он внес огромный вклад в развитие российской социологии — его заслуги в научной и организационной сферах просто невозможно переоценить. Являясь автором многочисленных научных трудов, руководителем фундаментальных социологических исследований, получивших широкое общественное признание, он на протяжении многих лет был одним из ведущих российских ученых, в разные годы возглавляя ведущие социологические центры страны.

Мы высоко ценим тесные и плодотворные связи в различных областях научной и учебно-педагогической деятельности, уже много лет существующие между Институтом социологии ФНИСЦ РАН и кафедрой социологии РУДН во многом благодаря М.К. Горшкову. В последние годы он был председателем ГАК по социологии в нашем Университете, а более 15 лет — членом редколлегии и постоянным автором журнала «Вестник РУДН. Серия: Социология».

Уход из жизни Михаила Константиновича — невосполнимая утрата для социологического сообщества и каждого из нас.

*Кафедра социологии РУДН,
редколлегия журнала «Вестник РУДН. Серия: Социология»*



НАШИ АВТОРЫ

Алимбекова Гульжан — кандидат социологических наук, директор Центра изучения общественного мнения (Казахстан) (e-mail: g.alimbekova@gmail.com).

Андреев Андрей Леонидович — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой истории и философии Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова; главный научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (e-mail: sympathy_06@mail.ru).

Андреев Иван Андреевич — кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры истории и философии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова; младший научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (e-mail: v-andreev_07@mail.ru).

Бакытжанова Айнур — докторант кафедры социологии и социальной работы Казахского национального университета имени Аль-Фараби (Казахстан) (e-mail: ainurb1997@gmail.com).

Беляева Людмила Александровна — доктор социологических наук, исполняющая обязанности руководителя Центра изучения социокультурных изменений Института философии Российской академии наук (e-mail: bela46@mail.ru).

Безрукова Ольга Николаевна — кандидат социологических наук, заведующая кафедрой социологии молодежи и молодежной политики Санкт-Петербургского государственного университета (e-mail: o.bezrukova@spbu.ru).

Буланова Марина Борисовна — доктор социологических наук, главный научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (e-mail: marina_bulanova@inbox.ru).

Ван Бин — аспирантка кафедры социологии Российского университета дружбы народов; преподаватель института Центрально-Восточно-Европейских языков Цзилиньского университета иностранных языков (e-mail: 1321666299@qq.com).

Герасимов Андрей Денисович — магистрант Инженерной академии Российского университета дружбы народов (e-mail: 1132210569@rudn.ru).

Гончаров Николай Владимирович — кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философии, культурологии и социологии Оренбургского государственного университета (e-mail: nik567485@mail.ru).

Гусаков Тимур Юрьевич — научный сотрудник Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (e-mail: gusakov-ty@ranepa.ru).

Дунаев Владимир Юрьевич — доктор философских наук, главный научный сотрудник Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (e-mail: vlad.dunaev2011@yandex.kz).

Жидяева Татьяна Павловна — старший преподаватель кафедры гуманитарных и экономических дисциплин Алатырского филиала Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова (e-mail: tanya21_84@mail.ru).

Ишмухаметов Рустам Рифатович — кандидат социологических наук, доцент кафедры управления современным образованием Института развития образования Республики Башкортостан (e-mail: rustish@list.ru).

Карпова Дарья Николаевна — кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации (e-mail: d.karpova@inno.mgimo.ru).

Катерный Илья Владимирович — кандидат философских наук, доцент кафедры социологии Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации (e-mail: yarkus@mail.ru).

Козин Сергей Владимирович — кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных технологий Южного федерального университета (e-mail: mister.svk92@yandex.ru).

Козловский Владимир Вячеславович — доктор философских наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой социологии культуры и коммуникации Санкт-Петербургского государственного университета; главный научный сотрудник и научный руководитель Социологического института РАН – филиала Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (e-mail: vvk_soc@mail.ru).

Комарова Вера — доктор экономики, ведущий исследователь Института гуманитарных и социальных наук Даугавпилсского университета (e-mail: vera.komarova@du.lv).

Кравченко Сергей Александрович — доктор философских наук, профессор кафедры социологии Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации; главный научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (e-mail: sociol7@yandex.ru).

Курганская Валентина Дмитриевна — доктор философских наук, главный научный сотрудник Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (e-mail: vkurganskaya@mail.ru).

Ли Мэнлун — кандидат исторических наук, доцент Института международных и общественных отношений Цзилиньского университета (Китай) (e-mail: limenglong@jlu.edu.cn).

Меньшиков Владимир — доктор социологии, профессор Института гуманитарных и социальных наук Даугавпилсского университета (e-mail: vladimirs.mensikovs@du.lv).

Панкратова Лилия Сергеевна — доцент кафедры социологии культуры и коммуникации Института теологии Санкт-Петербургского государственного университета; старший научный сотрудник Социологического института РАН – филиала Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (e-mail: l.s.pankratova@spbu.ru).

Поляков Федор Денисович — аспирант кафедры социологии Российского университета дружбы народов (e-mail: dieuxph@mail.ru).

Рахмонов Абубакр — кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук; докторант Института народонаселения и социальных исследований Университета Махидол (Таиланд) (e-mail: abubak.93@mail.ru).

Рязанцев Никита Сергеевич — младший научный сотрудник отдела геоурбанистики и пространственной демографии Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (e-mail: nikipaulistano@gmail.com).

Рязанцев Сергей Васильевич — доктор экономических наук, директор Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук; профессор кафедры международных экономических отношений Российского университета дружбы народов (e-mail: svriazan@gmail.com).

Сагикызы Аяжан — доктор философских наук, главный научный сотрудник Центра философии Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (e-mail: ayazhan@list.ru).

Самойлова Валентина Алексеевна — кандидат психологических наук, доцент кафедры теории и практики социальной работы Санкт-Петербургского государственного университета (e-mail: v. samojlova@spbu.ru).

Светлов Роман Викторович — доктор философских наук, профессор и заведующий кафедрой богословия и церковной истории факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета (e-mail: r.svetlov@spbu.ru).

Скульчук Екатерина Васильевна — ассистент кафедры социологии Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации (e-mail: catherine.ccr@mail.ru).

Сюн Лэпин — кандидат политических наук, старший преподаватель Пекинского университета иностранных языков (e-mail: Xiong.leping@bfsu.edu.cn).

Тойкко Тимо — профессор социальных наук в Университете Восточной Финляндии (e-mail: timo.toikko@uef.fi).

Троцук Ирина Владимировна — доктор социологических наук, профессор кафедры социологии Российского университета дружбы народов; ведущий научный сотрудник Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Центра фундаментальной социологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (e-mail: irina.trotsuk@yandex.ru).

Филиппов Руслан Игоревич — кандидат социологических наук, соискатель-докторант кафедры социологии Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации (e-mail: R16888@yandex.ru).

Чжан Сяоху — кандидат исторических наук, старший преподаватель Института философии, истории и культуры Сянтаньского университета (Китай) (e-mail: xhzhang@xtu.edu.cn).

Цуркан Евгений Геннадьевич — кандидат философских наук, старший преподаватель кафедр социальной философии и философии истории Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (e-mail: unigendeth@gmail.com).

Шаукенова Зарема Каукеновна — доктор социологических наук, академик-секретарь Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (e-mail: zarema_13@bk.ru).



К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

В журнале публикуются статьи по методологии, истории и теории социологии, статьи по результатам социологических и междисциплинарных исследований по широкому кругу вопросов социально-гуманитарного знания на русском и английском языках, а также реферативные обзоры и рецензии.

Редакция принимает к рассмотрению статьи, оформленные в строгом соответствии со следующими правилами:

1. **Объем рукописи** — от 30 до 50 тысяч знаков (с пробелами) для статей, от 20 до 30 тысяч знаков — для рецензий. Формат страницы — А4, шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 12, межстрочный интервал — полуторный, нумерация страниц не проставляется. Отступ первой строки абзаца — 1,25, поля на странице — 30 мм слева, 20 мм справа, сверху и снизу. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках, внутри которых первая цифра указывает на номер источника в библиографическом списке, вторая, стоящая после прописной буквы «С», — на номер страницы в источнике (например, [1. С. 26]; ссылка на несколько источников — [1. С. 126; 4. С. 43]). Ссылки на примечания даются в круглых скобках, например, (1).
2. **Все таблицы, схемы, графики и рисунки** встраиваются непосредственно в текст статьи. Они должны быть пронумерованы и озаглавлены. Таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, рисунки — подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна.
3. **Формулы** размечаются, поясняются и снабжаются библиографическими ссылками.
4. В рукописях необходимо приводить два списка ссылок на использованные в работе источники — «**Библиографический список**» и «**References**». Ссылки на источники в Библиографическом списке следует оформлять в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008; References — в стиле Vancouver в версии AMA. Требования к оформлению Библиографического списка и References приведены на сайте журнала: http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/References_guidelines.
5. К статье обязательно прилагаются:
 - ♦ **аннотация** (резюме) объемом 250–300 слов на русском и английском языках;

- ♦ **список 7–8 ключевых слов** на русском и английском языках; каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого точкой с запятой;
- ♦ **авторская справка** на русском и английском языках, где указываются: Ф.И.О. (полностью), официальное наименование места работы, должность, ученая степень, а также **данные для связи с автором** — адрес места работы, включая почтовый индекс, номер телефона (служебный, мобильный), электронный адрес; **в статье допускается не более четырех соавторов.**

Срок рассмотрения и принятия решения о публикации составляет не менее **шести** месяцев со дня регистрации рукописи в редакции. Материалы, не принятые к изданию, не возвращаются. Редколлегия не вступает с авторами в переписку в случае отказа от публикации их материалов.

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, цитат, статистических и социологических данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений.

Публикуемые материалы могут не отражать точки зрения редколлегии.

Представляя в редакцию рукопись, автор берет на себя обязательство не публиковать ее ни полностью, ни частично в ином издании без согласия редколлегии.

С содержанием вышедших номеров и аннотациями статей можно ознакомиться на сайте журнала в сети Интернет: <http://journals.rudn.ru/sociology/index>.

Для отправки статьи в редакцию необходимо заполнить форму на сайте журнала <http://journals.rudn.ru/sociology/information/authors>, где также приведена подробная информация для авторов.

AUTHORS' GUIDELINES

The journal publishes articles on the methodology, history and theory of sociology, articles on the results of sociological and interdisciplinary studies covering a wide range of issues in social sciences and humanities written in Russian and English, as well as brief surveys and book reviews.

The editors will consider articles strictly complying with the following standards:

1. **The size of the manuscript** — from 30 to 50 thousand symbols for articles; from 20 to 30 thousand symbols for reviews. References are to be given in the text in square brackets, inside of which the first figure indicates the number of the source in the references list, the second one, following the capital letter “P”, indicates the page number in the source (for example, [1. P. 126]; references to several sources — [1. P. 126; 4. P. 43]). References to footnotes are to be given in round brackets, for example, (1).
2. All the **tables, diagrams, graphs, and drawings** are to be incorporated in the text of the article. They are to be numbered and supplied with a title. Tables are to be given a title placed above the table, drawings are to have captions. When several tables and/or drawings are used in the article, their numeration is obligatory.
3. **Formulas** are to be marked out, explained and provided with references.
4. The manuscript must include a list of references submitted in accordance with the Vancouver style of the AMA version. Requirements to ‘References’ can be found on the journal’s website: http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/References_guidelines.
5. **It is obligatory to attach** the following to the manuscript:
 - ♦ **abstract (summary)** of 250–300 words in Russian and English;
 - ♦ **a list of 7–8 key terms** in Russian and English; each key term or word-combination is to be separated from another one with a semicolon;
 - ♦ **information about the author** in Russian and English, including: the author’s full name, the official name of the place of employment, position, scientific degree, as well as the **author’s contact data** — mailing address, telephone number (office, mobile), electronic address; **the number of co-authors cannot be more than four**.

The decision as to publication is made no less than within **six** months from the day the manuscript is registered at the editorial office. Materials which are not accepted for publication will not be returned. The editors will not enter into correspondence with the authors in case of refusal to publish the articles submitted by them.

The authors will bear full responsibility for the selection and authenticity of the given facts, quotations, statistical and sociological data, proper names, geographical names and other information.

The published materials may not reflect the viewpoint of the editorial board and the editors.

The author, submitting a manuscript to the editors, undertakes not to have it published, either in full or partially, in any other publication without the editors' consent.

The published issues and abstracts of the articles are available on the website of the journal: <http://journals.rudn.ru/sociology/index>.

To send the article to the editors the author need to fill in a form on the website <http://journals.rudn.ru/sociology/information/authors>, which also provides the detailed information for authors.